This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

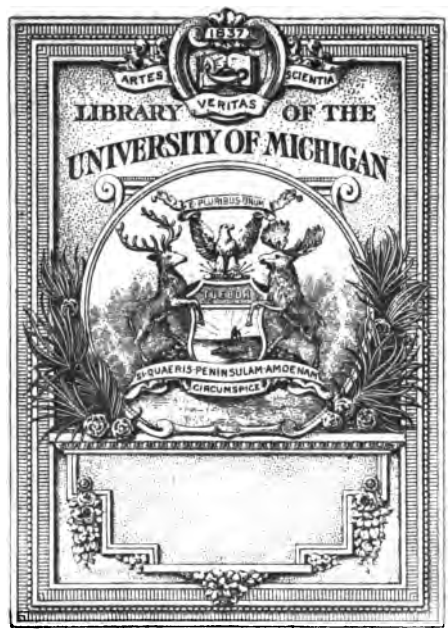
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

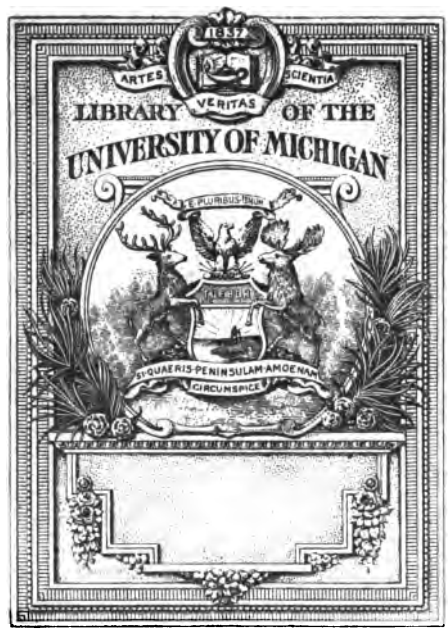
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

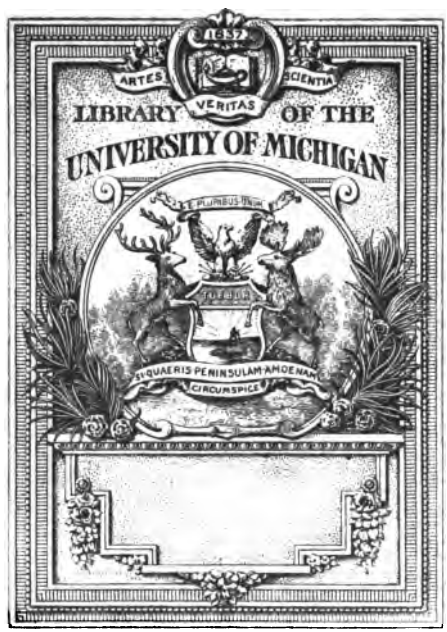
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

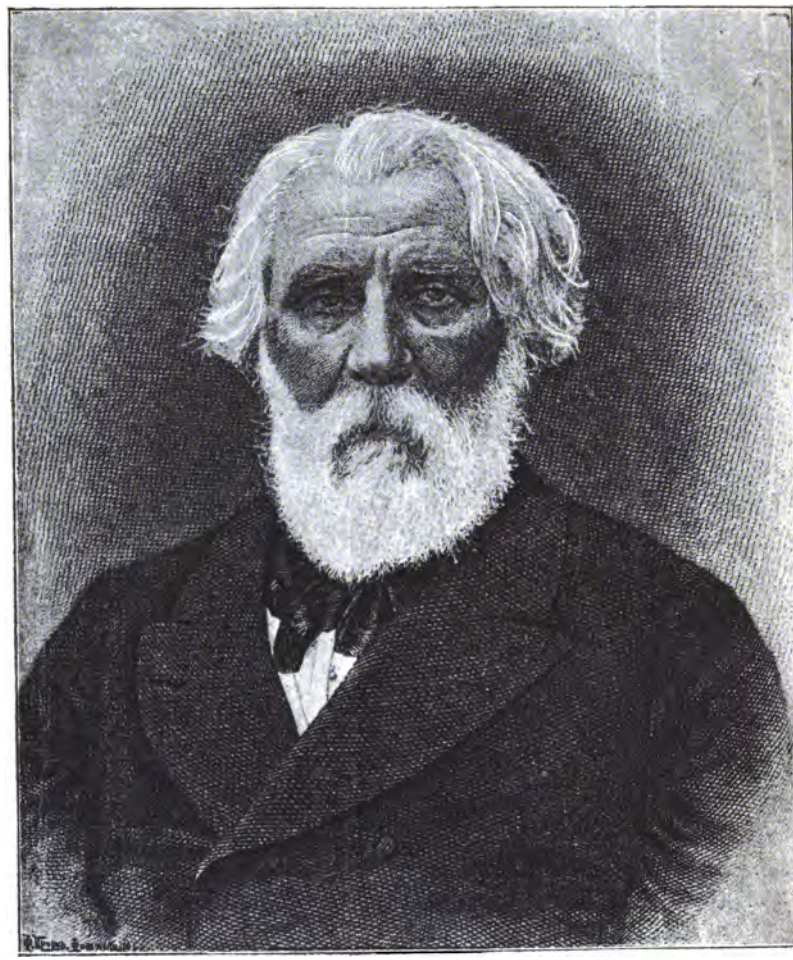
891.78
N3-75-
Q3
Vol. 7


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

891.78
N3-75-
Q3
Vol. 7


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

891.78
N3-75-
Q3
Vol. 7



Цинкографія Ф. Кройса.

И. С. Тургеневъ.

Тип. Исидора Гольдберга, Спб.

Собраніе сочиненій

А. И. НЕЗЕЛЕНОВА.

Изданіе К. Т. Мартынова.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ПРОФЕССОРА

А. И. Незеленова.

ТОМЪ ВТОРОЙ

И. С. ТУРГЕНЕВЪ

въ его произведеніяхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1903.

Иванъ Сергѣевичъ

ТУРГЕНЕВЪ

въ его

ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ.

Сочиненія профессора А. Н. Веселовскаго одобрены Ученымъ Комитетомъ Министр. Народнаго Просвѣщенія и помѣщены въ каталогахъ, изданныхъ Министерствомъ для Среднихъ Учебныхъ Заведеній на стр. 84 за № 1261, 62, для Безплатныхъ народныхъ читаленъ на стр. 85.

С.-Петербургъ.

Изданіе Книгопродавца *Н. Т. Мартыкова.*

1903.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

ПРЕДИСЛОВІЕ . . . . . I—II

ГЛАВА I. Общій очеркъ поэзіи Тургенева 1

ГЛАВА II. Первый періодъ дѣятельности Тургенева . 29

1. Вліяніе Лермонтова. — Стихотворенія.— Поэмы. — Повѣсти: „Андрей Колосовъ". — „Бреттеръ".—„Три портрета".

2. Вліяніе школы „сантиментальнаго натурализма".—Повѣсть „Пѣтушковъ".—Комедіи: „Нахлѣбникъ". — „Холостякъ". — Отношенія къ Тургеневу критики Бѣлинскаго и К. Аксакова.

3. Народное направленіе.—„Записки охотника". — Повѣсти: „Муму". — „Постоялый дворъ".

ГЛАВА III. Второй періодъ дѣятельности Тургенева . . 110

1. Критическая статья „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ".—Повѣсти: „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда".—„Дневникъ лишняго человѣка".— „Затишье".—„Яковъ Пасынковъ". — Изображеніе любви въ повѣстяхъ: „Фаустъ". „Первая любовь". „Переписка".

2. Романъ „Рудинъ".

3. „Дворянское гнѣздо".

4. „Наканунѣ".

5. „Отцы и дѣти".

ГЛАВА IV. Третій періодъ дѣятельности Тургенева . . 250

1. „Призраки", — „Довольно". — Романъ „Дымъ".—Повѣсти: „Два пріятеля". „Переписка". „Ася".—Повѣсть „Вешнія воды".

2. Романы: „Дымъ".—„Новь".

3. Небольшія повѣсти фантастическаго содержанія: „Стукъ... стукъ... стукъ!".—„Странная исторія".—„Собака".—„Пѣснь торжествующей любви".—„Разсказъ отца Алексѣя".— „Стихотворенія въ прозѣ".

4. Общія заключенія о поэзіи Тургенева . 312

185074

ПРЕДИСЛОВІЕ

Къ первому изданію.

Предлагаемая книга моя заключаетъ въ себѣ разборъ сочиненій Тургенева. Названіе книги—„Тургеневъ въ его произведеніяхъ"—указываетъ на мою задачу, на цѣль, къ которой я стремился.

Истинный поэтъ, весь живущій въ мірѣ своего творчества, создаетъ не случайно; его произведенія выходятъ изъ души, пережитыя мыслью и сердцемъ. Они составляютъ въ своей совокупности стройное цѣлое, міръ, замкнутый въ себѣ самомъ. Въ этомъ мірѣ въ своемъ твореніи отражается творецъ. Періоды художественнаго творчества писателя соотвѣтствуютъ періодамъ его жизни; за образами, созданными фантазіей поэта, скрывается его личность; сочиненія разныхъ эпохъ отражаютъ въ себѣ разныя настроенія души автора, ходъ его развитія, сокровенныя стремленія его и мысли, его идеалы.

Нарисованныя поэтомъ людскіе характеры, картины быта и природы полны интереса, какъ все живое. Но самое важное въ изученіи произведеній писателя—его личность, объединяющая эти произведенія.—И чѣмъ больше эта личность выражаетъ собою духъ своего времени, чѣмъ она типичнѣе, чѣмъ болѣе по-праву писатель можетъ называться представителемъ и выразителемъ своего общества, своего народа, тѣмъ важнѣе его значеніе. Черезъ личность писателя въ его созданіяхъ выражается его эпоха, его народность, со всѣмъ, что есть въ ней и особеннаго, индивидуальнаго, и общечеловѣческаго безусловнаго, вѣчнаго.

Я желалъ въ своемъ сочиненіи помѣтить духовный образъ Тургенева въ его произведеніяхъ, разсматривалъ эти произведенія, какъ моменты развитія духа поэта. Удалось-ли мнѣ это; удалось-ли указать и на типическое значеніе Тургенева, на отраженіе

въ поэтѣ особенностей нашей русской жизни, оригинальныхъ чертъ переживаемаго нами времени,— гудить, конечно, не мнѣ.

Не касаясь біографіи знаменитаго писателя (что̀ теперь было бы еще преждевременно), я разобралъ въ хронологическомъ порядкѣ всѣ главныя его сочиненія. Если нѣкоторыя изъ второстепенныхъ остались не затронутыми, то читатель можетъ составить ихъ оцѣнку на основаніи анализа однородныхъ съ ними созданій той-же эпохи творчества.

Сочиненіе мое было предметомъ публичныхъ чтеній зимою прошедшаго (1883—1884) года въ Педагогическомъ Музеѣ (въ Соляномъ Городкѣ). Эти чтенія были такъ называемыми „бесѣдами", т. е. допускали (правиламъ Коммиссіи Педагогическаго Музея) возможность собесѣдованія читавшаго съ слушателями. Съ благодарностью вспоминаю участіе въ этомъ дѣлѣ: К. К. Арсеньева, Н. С. Карцова, О. Ѳ. Миллера, князя Д. Н. Цертелева и другихъ лицъ. Многими ихъ замѣчаніями и возраженіями я воспользовался, приготовляя свои чтенія къ печати.— Особенную признательность выражаю графу А. А. Голенищеву-Кутузову за его совѣты и указанія.

Позволю себѣ кстати упомянуть, что подобныя же „бесѣды", о другомъ поэтѣ, о Лермонтовѣ, я велъ въ Педагогическомъ Музеѣ зимо настоящаго года. Онѣ происходили въ публичныхъ засѣданіяхъ Коммиссіи Педагогическаго Музея подъ предсѣдательствомъ В. П. Коховскаго, и въ нихъ благосклонно участвовали нѣкоторые поэты, профессора и преподаватели, благодаря которымъ возникали литературные споры и разъясненія, видимо возбуждавшіе живой интересъ. Осенью настоящаго года я надѣюсь выпустить въ свѣтъ и эти свои чтенія о Лермонтовѣ.

А. Незеленовъ.

12 февраля 1885 г.

Иванъ Сергѣевичъ

ТУРГЕНЕВЪ

въ его произведеніяхъ.

ГЛАВА I.

Общій очеркъ поэзіи Тургенева.

Русское общество съ сердечною болью почувствовало, когда умеръ Тургеневъ, какую великую утрату понесла наша литература. — Мы всѣ и всегда любили и свѣтлыя созданія великаго поэта, и его самого; но въ ту минуту, когда умолкли вдохновенныя уста, мы еще яснѣе сознали, какъ дорогъ намъ почившій геній, — ушелъ отъ насъ въ жизнь безконечную человѣкъ родной душѣ нашей.

Проснувшееся и встревоженное чувство вызвало много толковъ. Много было сказано по поводу смерти Тургенева. Его именовали и великимъ поэтомъ, и вождемъ русскаго прогресса, и представителемъ западническаго направленія нашей литературы и образованности... Но глубже вдумываясь въ его творчество, слѣдуетъ признать, что кромѣ перваго опредѣленія всѣ остальныя неточны и совершенно ошибочны.—Тургеневъ былъ поэтъ въ высочайшемъ смыслѣ слова; и этого достаточно, и это исключаетъ для него возможность быть представителемъ какой-либо партіи, какого-либо направленія. Поэтъ стоитъ выше односторонности направленій.—Мы забыли многое, чему учила насъ русская критика въ блестящую эпоху ея развитія (разумѣю время съ середины 30-хъ годовъ до 60-хъ); мы забываемъ порою и что̀ такое поэзія? Многіе считаютъ ее такимъ же спеціальнымъ занятіемъ, какъ, напр., адвокатская дѣятель-

ность, учительство, торговля, занятіе какою-нибудь спеціальной наукой...

Жизнь человѣческая давно раздвоилась, отправленія ея спеціализировались; чѣмъ дольше живетъ міръ, тѣмъ болѣе усиливается раздвоеніе душевныхъ силъ человѣка. Но есть, однако, область жизни, гдѣ это ненормальное для нашей природы явленіе не имѣетъ мѣста, гдѣ сохраняется цѣлость души и гармоническое единство ея способностей; эта область — искусство. И здѣсь причина его царственнаго значенія: всѣ мы, раздѣленные между собою, иногда враждебно, образомъ мыслей, занятіями, образованіемъ, національностью, сходимся братски въ увлеченіи искусствомъ, одинаково ясно говорящимъ всякой душѣ. Искусство возстановляетъ нарушенную гармонію духа и изъ всѣхъ дѣлъ человѣческихъ всѣхъ ближе подходитъ къ религіи. Во всякой другой дѣятельности мы работаемъ преимущественно одною изъ душевныхъ силъ; въ искусствѣ, а, слѣдовательно, и въ поэзіи, какъ одной изъ его отраслей, равномѣрно и въ полномъ согласіи дѣйствуютъ и умъ, и сердце, и фантазія, и воля; и вотъ почему поэзія вліяетъ на насъ неотразимо; она говоритъ полнотѣ души; она доступна и человѣку искусившемуся во всей мудрости земной, и младенцу; для нея, подобно старшей сестрѣ ея, вѣрѣ—„нѣсть Еллинъ, ни Іудей, обрѣзаніе и необрѣзаніе, варваръ и Скиѳъ, рабъ и свободь: но всяческая и во всѣхъ Христосъ“ (Ап. Павла Посл. къ Колоссаямъ, III, 11). Созданіе поэта свободно, въ немъ нѣтъ ничего гнетущаго, удручающаго; оно ясно, оно даетъ миръ душѣ и счастье, ибо ставитъ насъ на самой границѣ вѣчной правды, безусловнаго идеала.—Люди легкомысленные готовы считать поэзію дѣломъ легкимъ, и даже не дѣломъ, а забавою, потому что она легко дается нашему пониманію; но они не видятъ ея неисчерпаемой глубины. Вѣра тоже въ этомъ смыслѣ дѣло легкое, ибо доступна самому темному разуму; Христосъ изъ устъ младенцевъ совершилъ Себѣ хвалу. Но какая же область спеціализированной человѣческой дѣятельности можетъ хотя сколько-нибудь подойти къ глубинѣ религіознаго созерцанія?

„Что такое поэзія?“ задавалъ себѣ и читателю вопросъ Бѣлинскій въ одной изъ лучшихъ статей своихъ (о стихотвореніяхъ Лермонтова), и отвѣчалъ на него словами:

„Поэзія есть выраженіе жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзіи жизнь болѣе является жизнью, нежели въ самой дѣйствительности". Искусство не выдумываетъ „новой и небывалой дѣйствительности", но извлекаетъ существенное изъ той, которая есть. Дѣйствительность—„золото, но неочищенное, въ кучѣ руды и земли": „искусство очищаетъ это золото, перетопляетъ его въ изящныя формы". Оттого въ созданіи поэзіи „нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное". Искусство идетъ дальше: для поэта не существуютъ дробныя явленія,—онъ, „заимствуя у дѣйствительности матерьялы, возводитъ ихъ до общаго, родоваго, типическаго значенія".

„Какая цѣль поэзіи?" ставитъ критикъ другой вопросъ въ той же статьѣ своей, и отвѣчаетъ на него: поэзія—„выразительница и жрица красоты", „не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи". „Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настроиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ,—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности, это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта".

Прекрасныя слова эти — истина; но что-то не вполнѣ удовлетворяетъ насъ въ нихъ, и это потому, что истина ихъ—неполная. Бѣлинскій не совсѣмъ точно опредѣлялъ—что̀ такое поэтъ. „Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ; словомъ—глубже чувствуетъ", говоритъ онъ про поэта, съ большимъ, конечно, основаніемъ; но дальше у него идутъ уже странныя рѣчи: „по самому устройству своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайность и, возносясь превыше всѣхъ къ небу, можетъ быть ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни". — Критикъ смѣшалъ здѣсь впечатлительность и чуткость даровитой и живой натуры, какою обыкновенно обладаетъ поэтъ, съ отличительнымъ свойствомъ собственно поэта. Пушкинъ увлекался и вда-

вался въ крайности, особенно въ годы юнаго кипѣнія силъ; но это не потому, что онъ былъ поэтъ, а потому, что обладалъ пылкою натурой; объ немъ же, какъ о поэтѣ, свидѣтельствуютъ именно тѣ созданія его творчества, гдѣ онъ владѣетъ собою, гдѣ слышится внутренняя гармонія его душевныхъ силъ.

Эта гармонія духа и есть отличительный признакъ и сущность поэзіи. — Говорятъ, что для каждаго человѣка бываютъ минуты, когда онъ становится поэтомъ, и это совершенно вѣрно; еще вѣрнѣе то, что въ душѣ каждаго изъ насъ, гдѣ-то въ ея сокровенной глубинѣ, таится поэтическое начало, т. е. начало душевной гармоніи, и оно-то и есть самое драгоцѣнное въ нашей душѣ, оно и роднитъ насъ съ Пушкиными, Шиллерами, Тургеневыми и заставляетъ наше сердце звучать отзывно на художническое одушевленіе, на вдохновенное творчество.

Можно быть поэтомъ въ душѣ и не написать ни строчки. Но если такой человѣкъ одаренъ отъ Бога талантомъ, онъ становится творцемъ. Тогда онъ возсоздаетъ дѣйствительную жизнь въ своихъ произведеніяхъ, не разсуждая о ней отвлеченно, а переживая ее въ себѣ, переводя ее сквозь свою цѣльную душу, и потому освѣщая ее свѣтомъ своей личности; всѣ шероховатости и односторонности жизни, все ея ложное и злое, все безобразное обличается передъ внутреннимъ судомъ его душевной гармоніи, его идеала. И въ этомъ судѣ надъ дѣйствительностью и заключенъ весь смыслъ поэзіи. Личность поэта должна быть органически связана съ его созданіями,—тогда эти созданія получаютъ великое значеніе, неотразимую силу дѣйствія на людей.

Это прекрасно понималъ и прекрасно (хотя и очень кратко) разъяснилъ въ своей статьѣ о стихотвореніяхъ Тютчева самъ Тургеневъ. „Поэтическія произведенія, говоритъ онъ, не должны быть „придуманы“, они должны вырости сами, какъ плодъ на деревѣ“. „Мы возстаемъ (пишетъ Тургеневъ) противъ отдѣленія таланта отъ той почвы, которая одна можетъ дать ему и сокъ, и силу—противъ отдѣленія его отъ жизни той личности, которой онъ данъ въ даръ, отъ общей жизни народа, къ которой, какъ часность, принадлежитъ сама та личность“. „Произведеніе поэта не должно

даваться ему легко, и не долженъ онъ ускорять его развитіе въ себѣ посторонними средствами. Давно уже и прекрасно сказано, что онъ долженъ выносить его у своего сердца... собственная его кровь должна струиться въ его произведеніи, и этой животворной струи не можетъ замѣнить ничтò внесенное извнѣ: ни умныя разсужденія и такъ называемыя задушевныя убѣжденія, ни даже великія мысли, если-бъ таковыя имѣлись въ запасѣ... Человѣкъ, желающій создать что-нибудь цѣлое, долженъ употребить на это цѣлое свое существо".

И вотъ такимъ истиннимъ, полнымъ поэтомъ считалъ Тургеневъ Пушкина; такимъ поэтомъ хотѣлъ онъ быть самъ. Здѣсь и разгадка всѣмъ извѣстной мысли его, что онъ— ученикъ Пушкина. Эта мысль можетъ порождать, собственно говоря, недоумѣнія: Тургеневъ такъ оригиналенъ, такъ самобытенъ, что повидимому ничто въ его созданіяхъ не похоже на Пушкинскія созданія (о подражаніи не можетъ быть, разумѣется, и рѣчи). Но онъ видѣлъ въ Пушкинѣ „полную соразмѣрность, соотвѣтственность таланта съ жизнію автора", и этому учился онъ у величайшаго нашего художника.

Въ одномъ частномъ письмѣ, говоря о Пушкинѣ, онъ выразился: „я всегда считалъ себя его ученикомъ — и мое высшее литературное честолюбіе состоитъ въ томъ, чтобы быть современемъ признаннымъ за хорошаго его ученика". Тургеневъ былъ скроменъ въ сужденіяхъ о себѣ, не смотря на свою знаменитость во всемъ мірѣ; но мы можемъ, и не дожидаясь суда исторіи, съ увѣренностью сказать, что онъ достойный ученикъ великаго учителя. Тургеневъ возставалъ противъ отдѣленія таланта отъ личности поэта (т. е. одной обособленной силы творца отъ цѣльности его души); онъ говорилъ, что „подобное отдѣленіе можетъ имѣть свои выгоды: оно можетъ способствовать къ легчайшей обработкѣ таланта, къ развитію въ немъ виртуозности; но это развитіе всегда совершается насчетъ его жизненности. Изъ отрубленнаго высохшаго куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не вырости на томъ сукѣ свѣжему листу, не раскрыться на немъ пахучему цвѣтку, какъ ни согрѣвай его весеннее солнце". И вѣрный этой живой своей мысли, онъ не впалъ въ такую ошибку: въ

его произведеніяхъ мы видимъ цѣльную его личность, отдѣльныя стихіи духа человѣческаго не обособливались въ его творчествѣ. Есть въ нашей литературѣ большіе поэты „виртуозы“ (говоря словомъ Тургенева), которые поражаютъ насъ силою своею анализа или чувства, глубиною мысли и простотой, или художественностью изображенія жизни; но при всемъ могуществѣ ихъ дѣйствія на нашу душу, они далеко не совсѣмъ развязываютъ ея крылья. Тургеневъ стоитъ выше: обаяніе его творчества полно̀, внутренняя гармонія его душевныхъ силъ въ его лучшихъ созданіяхъ близка къ идеальной,—и оттого эти созданія покоряли насъ безусловно и властно уносили въ свое царство. И таково будетъ ихъ дѣйствіе всегда, во всѣхъ будущихъ поколѣніяхъ русскихъ людей. Тургеневъ—поэтъ въ полномъ смыслѣ слова: на немъ лежитъ печать того, что, говоря его словами, „составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій“.

Какихъ же размѣровъ кругъ жизни доступенъ былъ изображенію этого „великаго дарованія“? Какое мѣсто принадлежитъ Тургеневу въ средѣ нашихъ крупныхъ писателей-художниковъ?—Бываютъ поэты, „великіе“ въ указанномъ Тургеневымъ смыслѣ, кругъ творчества которыхъ очень ограниченъ; таковъ былъ Тютчевъ: въ его поэзіи „нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто лирическихъ“. Тургеневъ, очевидно, не принадлежитъ къ ихъ числу: въ его высокомъ творчествѣ отразилась полно и разносторонне цѣлая эпоха. Втеченіи цѣлаго литературнаго періода, болѣе 30-ти лѣтъ, Тургеневъ стоялъ впереди русской жизни, чутко улавливая все, что въ ней было истинно живаго, движущаго, властнаго, и воплощая весь смыслъ ея историческаго движенія въ яркихъ образахъ, навсегда сдѣлавшихся намъ родными и дорогими, въ яркихъ картинахъ быта окруженныхъ русской природою, озаренныхъ русскимъ солнцемъ. Не уголокъ русской дѣйствительности, не одну сторону человѣка своей эпохи изображалъ Тургеневъ, онъ нарисовалъ намъ всю русскую жизнь своего времени. И въ этомъ смыслѣ его мѣсто—среди Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя.

Одинъ, неудавшійся правда, но великій по природнымъ силамъ поэтъ того же порядка, какъ и сейчасъ названные,

нарисовавши выразителя думъ и чувствъ своего поколѣнія, далъ ему прозвище „героя времени". Это удачное слово можетъ быть примѣнено и къ типамъ другихъ нашихъ великихъ художниковъ: „герой времени"—тотъ, кто въ данную минуту становится во главѣ духовной жизни общества, дѣлается хотя бы на короткое время вождемъ, въ положительную или отрицательную сторону—это все равно. „Героями времени" были: Грибоѣдовскій Чацкій, Пушкинскіе—Онѣгинъ, Ленскій, Бѣлкинъ, Татьяна, Гоголевскіе отрицательные типы — Чичиковъ, Сквозникъ-Дмухановскій... Подобно своимъ великимъ предшественникамъ, Тургеневъ далъ намъ такіе же крупные типы—Рудина, Лаврецкаго, Лизу, Базарова и другихъ носителей думъ поколѣнія; подобно своимъ великимъ предшественникамъ, Тургеневъ въ лицахъ этихъ своихъ героевъ изобразилъ и судомъ поэтической правды судилъ все существенное содержаніе своей эпохи.

Мы подошли къ страшному слову, къ наименованію Тургенева—геніальнымъ писателемъ. Но, собственно говоря, это слово страшно только для насъ, русскихъ. Втеченіи цѣлаго мѣсяца послѣ смерти поэта мы читали отзывы о немъ и его творчествѣ иностранной печати, статьи и рѣчи Юліана Шмидта, Мериме, Ренана, Рольстона, Брандеса и многихъ другихъ, — и много разъ попадались намъ слова „великій" и „геніальный". Такъ выражались знаменитѣйшіе иностранные критики; они находили возможнымъ и совершенно естественнымъ сопоставлять нашего Тургенева съ Диккенсомъ, съ Викторомъ Гюго, съ Шиллеромъ, Гете съ Сервантесомъ, Дантомъ, Шекспиромъ, отдавая ему даже, какъ это ни изумительно для насъ, предпочтеніе передъ нѣкоторыми изъ этихъ всемірныхъ славъ. Они говорили, что вліяніе Тургенева простиралось на всемірную словесность, что онъ создалъ всемірную литературную школу.

Мы, русскіе,—люди нѣсколько странные: мы не цѣнимъ достаточно своего. Давно ли мы догадались, что Пушкинъ не подражатель Байрона, а поэтъ гораздо высшаго порядка. Конечно, случалось намъ грѣшить и самонадѣянностью и самохвальствомъ (извѣстна знаменитая фраза—„закидаемъ шапками"),—не даромъ въ числѣ героевъ нашего народнаго эпоса есть хвастливый Алеша Поповичъ. Но гораздо чаще мы грѣшимъ другимъ грѣхомъ—симоуничиженіемъ. Есть въ

этомъ дѣлѣ и хорошая сторона—смиреніе (одно изъ тургеневскихъ лицъ говоритъ: „русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ прескверпаго мнѣнія“); но гораздо больше здѣсь другаго, того, о чемъ другое тургеневское лицо, Потугинъ, этотъ западникъ и въ то же время вполнѣ русскій человѣкъ, нѣсколько рѣзко и преувеличенно, выражается: „намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ, большею частью, живой субъектъ, иногда какое нибудь такъ называемое направленіе“. Къ этому можно бы прибавить, что постояннымъ нашимъ „бариномъ“ остается Западная Европа,—мы не просто ее уважаемъ, что, конечно, было бы вполнѣ справедливо, мы зачастую на колѣняхъ стоимъ передъ нею. „Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное“—основательно разсуждаетъ Потугинъ.—Постоянно и всюду намъ приходится слышать отъ русскихъ людей и читать въ русскихъ критическихъ статьяхъ сѣтованія на такъ называемую бѣдность нашей литературы. А что-бы сказали критики иностранные, если бы они были настолько же знакомы съ другими нашими писателями, насколько имъ извѣстенъ Тургеневъ? Гдѣ и когда литература представляла такое богатство крупныхъ дарованій, великихъ художественныхъ силъ, какъ наша въ завершающійся теперь періодъ, тотъ періодъ, яркимъ представителемъ котораго былъ такъ уважаемый въ Европѣ Тургеневъ?

Этотъ вопросъ невольно вызываетъ другой: откуда такой роскошный цвѣтъ поэзіи? откуда это неизмѣримое богатство?—Должно быть свѣжо то дерево, которое даетъ такіе цвѣты, должны быть могучи и его корни. — Это дерево—русское общество и его историческая жизнь со временъ Петра Великаго; эти корни—великія наслѣдованныя нами отъ прошлаго, цивилизаціи—древней Руси и Западной Европы.—Много несовершеннаго, темнаго, злаго и пустаго въ нашей жизни, особенно въ переживаемое нами мрачное время, но въ основѣ этой жизни, таятся свѣтъ и правда.—Исторія русскаго общества, созданнаго реформою Петра, есть нѣчто необыкновенное и полное глубокаго интереса: въ этой исторіи совершается великій міровой процессъ сліянія противоположныхъ началъ, общинныхъ началъ древней Руси и личнаго начала западноевропейской

образованности. Въ Пушкинѣ, въ томъ, что назвали въ его поэзіи всечеловѣчностью и всеединствомъ, уже были указаны нѣкоторые плоды этого сліянія; Пушкинъ — свой во всѣхъ сферахъ всемірной дѣйствительности, и ему одинаково дороги и западно-европейскіе идеалы и стихіи простонародной русской жизни. Борьба между западничествомъ и славянофильствомъ, еще не совсѣмъ кончившаяся у насъ въ области отвлеченной мысли, уже закончилась въ мірѣ поэзіи. И западники, и славянофилы — одинаково правы; а неправы они только въ томъ, въ чемъ другъ друга отвергаютъ, — противорѣчіе ихъ лишь кажущееся. Раздвоеніе міровой образованности не есть явленіе нормальное,—положенъ роковой предѣлъ развитію обособившихся стихій человѣческаго духа; онѣ должны примириться и слиться,— и тогда только будетъ доступна истина. Современная общественная жизнь Россіи при всемъ ея злѣ, есть колыбель этого сліянія, и пусть не говорятъ, что отъ Галилеи пророкъ не приходитъ. Въ нашей поэзіи загорается заря будущей всемірной истины, и Тургенева, какъ и нѣкоторыхъ другихъ нашихъ писателей, мы можемъ привѣтствовать тѣми же словами, которыми поэтъ привѣтствовалъ Пушкина,—какъ

предтечу
Тѣхъ чудесъ, что, можетъ быть,
Намъ въ разцвѣтѣ нашемъ полномъ
Суждено еще явить.

Чуткость, и, такъ сказать, женственная впечатлительность есть одно изъ всѣми признанныхъ оригинальныхъ свойствъ Тургенева. Эта впечатлительность сказалась и въ ходѣ развитія его таланта.—Онъ началъ съ подражанія Лермонтову. Энергическій, страстный и мрачный геній Лермонтова наложилъ свою печать на стихотворенія и поэмы Тургенева, печатавшіяся въ русскихъ журналахъ въ началѣ сороковыхъ годовъ.

Я слышу робкій шумъ шаговъ,
И страстный лепетъ милыхъ словъ,
И въ головѣ моей сѣдой
Нѣтъ мѣста мысли неземной.

Такъ говоритъ, такъ грезитъ умирающій въ одномъ изъ первыхъ стихотвореній молодаго писателя. Отрицаніе, земная страсть и насмѣшка звучатъ въ его стихотворныхъ опытахъ, не смотря на всю противоположность его мягкой натуры съ желѣзной и суровой природой Лермонтова.—То же вліяніе видимъ мы и въ первыхъ повѣстяхъ,—въ „Андреѣ Колосовѣ", „Бреттерѣ" и „Трехъ портретахъ". Но здѣсь начинающій великій талантъ уже не подчиняется слѣпо своему могучему предшественнику, а борется съ нимъ, борется съ печоринскимъ типомъ, то невольно увлекаясь имъ (въ послѣдней изъ названныхъ повѣстей), то пытаясь его унизить (въ „Бреттерѣ"—въ тупой и самолюбивой личности Авдѣя Лучкова).

Такъ идетъ до 1847 года, когда появляется въ свѣтъ повѣсть инаго характера—„Пѣтушковъ". За нею, въ 1848 и 1849 годахъ, слѣдуютъ комедіи „Нахлѣбникъ" и „Холостякъ". Всѣ эти произведенія относятся къ той литературной школѣ, которую Апол. Григорьевъ назвалъ „школой сантиментальнаго натурализма" и которой главное произведеніе — „Бѣдные люди" Достоевскаго. Выраженная въ этихъ сочиненіяхъ болѣзненная симпатія къ людямъ нравственно-слабымъ и мелкимъ — прямая противоположность лермонтовскому міросозерцанію. Изъ одной крайности начинающій поэтъ бросился въ другую.

Но отъ возведенія на степень права мелочныхъ притязаній мелочныхъ личностей скоро поднялся самъ глава школы — Достоевскій, поднялся до правдиваго сочувствія дѣйствительно униженнымъ и оскорбленнымъ „Записки изъ Мертваго дома" и послѣдующіе романы Достоевскаго, конечно, несравненно выше „Бѣдныхъ людей", если не по художественности выполненія, то по идеѣ и симпатіямъ автора.— Еще раньше подобный переходъ совершился въ творчествѣ Тургенева,—въ одинъ годъ съ „Пѣтушковымъ" вышелъ въ свѣтъ первый очеркъ изъ „Записокъ охотника" — „Хорь и Калинычъ".

„Записками охотника" Тургеневъ вступилъ на широкую и вѣрную дорогу народности. Втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ одинъ за другимъ появлялись безпритязательные, простые и великолѣпные очерки изъ русской крестьянской и помѣщичьей жизни; въ этихъ очеркахъ сказались уже и

сила, и самобытность дарованія новаго писателя; только еще не обозначились тѣ широкія границы, которыя захватитъ впослѣдствіи его творчество.—Правдиво, безъ всякаго разочарованія и безъ сантиментальности нарисовалъ Тургеневъ цѣлый рядъ живыхъ типовъ. Русскій крестьянинъ явился передъ нами среди своей обыденной обстановки, окруженный своею родною природой, явился человѣкомъ въ полномъ значеніи этого слова,—передъ русскимъ обществомъ открылась крестьянская душа. Рисуя со всѣхъ сторонъ жизнь, Тургеневъ изобразилъ и крѣпостное право и всю его тяжесть для народа. Поэтъ былъ далекъ отъ тенденціозности: онъ нигдѣ намѣренно не сгущаетъ красокъ, нигдѣ не подбираетъ односторонне фактовъ; между его помѣщиками много и симпатичныхъ личностей, — и именно вслѣдствіе всего этого особенно сильное впечатлѣніе производитъ его поэтическій протестъ противъ крѣпостнаго права. Путемъ своихъ „Записокъ охотника“ Тургеневъ сдѣлался сподвижникомъ благородныхъ дѣятелей освобожденія крестьянъ.—Нѣсколько позже онъ написалъ еще двѣ повѣсти, изображающія народъ: „Постоялый дворъ“ и „Муму“. Въ совершенно художественныхъ формахъ здѣсь заключенъ горячій протестъ противъ той же неправды — крѣпостнаго права.—Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на чудныя картины природы въ „Запискахъ охотника“; по нимъ, а также по подобнымъ же картинамъ въ другихъ произведеніяхъ поэтъ не даромъ заслужилъ славу одного изъ величайшихъ живописцевъ природы: онъ заставляетъ насъ жить жизнью неба, лѣса, поля, жизнью каждаго дерева и каждой травки, онъ заставляетъ насъ чувствовать всѣ малѣйшіе оттѣнки измѣненій въ природѣ, — онъ, можетъ быть даже слишкомъ подчиняется ея красотамъ и насъ подчиняетъ.

Достигъ полнаго развитія и вполнѣ развернулъ свои крылья талантъ Тургенева въ 1855 году, когда появился въ свѣтъ его первый большой романъ „Рудинъ“.—Съ этихъ поръ Тургеневъ всталъ во главу движенія русской литературы. Рудинъ — первый въ его творчествѣ „герой времени“.—Рудинъ — западникъ, человѣкъ весь проникнутый

идеями отвлеченной нѣмецкой философіи; онъ отдалъ этимъ идеямъ всю свою душу, и является передъ нами пламеннымъ и вдохновеннымъ ихъ проповѣдникомъ. Вотъ какъ рисуетъ его Тургеневъ, когда онъ говоритъ въ гостиной помѣщицы Ласунской:

„Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна, вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной — музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія... Всѣ мысли Рудина казались обращенными въ будущее; это придавало имъ что-то стремительное и молодое... казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное“.

И этой своей вдохновенной рѣчью Рудинъ могущественно дѣйствовалъ на молодыя души, будилъ сердца и умы, спасалъ отъ равнодушія, вялости, апатіи.—„Въ немъ есть энтузіазмъ, выразился про него Лежневъ, и прибавилъ: а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное качество въ наше время“.—„Не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства; огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ“, сказалъ Лежневъ позже самому Рудину.

Но, рисуя высокія свойства своего героя, Тургеневъ тутъ-же показываетъ намъ и оборотную сторону медали. Рудина „какъ китайскаго балванчика. постоянно перевѣшивала голова“, злобно отозвался про него однажды Пигасовъ; и въ этихъ словахъ заключена истина. Лежневъ также считаетъ его „холоднымъ въ душѣ и чуть-ли не робкимъ“. И онъ самъ сознаетъ недостатокъ въ себѣ сердца и воли: когда Наталья, увлеченная его рѣчами, полюбила его, онъ растерялся, онъ надѣлалъ глупостей.

„Какъ доказать вамъ (писалъ онъ ей потомъ), что я могъ бы полюбить васъ настоящей любовью — любовью сердца, не воображенія— когда я самъ не знаю, способенъ ли я на такую любовь!... Да, природа мнѣ много дала, но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда“.

Тургеневъ является намъ въ романѣ не только изобра-

зителемъ „героя времени“, но и поэтомъ, развѣнчивающимъ этого героя. Нѣсколько разъ втеченіи разсказа наши отношенія къ Рудину измѣняются, по волѣ автора: энтузіазмъ переходитъ въ разочарованіе, и наоборотъ. Поэтъ-аналитикъ разлагаетъ и анатомируетъ передъ нами художественно рисуемый имъ типъ.

Слѣдующій „герой времени“ у Тургенева — Лаврецкій, главное мужское лицо самаго задушевнаго произведенія поэта—великаго романа „Дворянское гнѣздо“. Въ противоположность Рудину, Лаврецкій — „славянофилъ“; такъ назвалъ его въ своихъ воспоминаніяхъ самъ его творецъ, и назвалъ справедливо. Паншинъ, воплощеніе ложныхъ сторонъ западничества, проповѣдуетъ въ домѣ Калитиныхъ, что „мы больны оттого, что только на-половину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лечиться должны“, — Лаврецкій поднимается и начинаетъ возражать ему.

„Лаврецкій отстаивалъ (говоритъ поэтъ) молодость и самостоятельность Россіи... и спокойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надмѣнныхъ передѣлокъ съ высоты чиновничьяго самосознанья, — передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею, — того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна“.

Свои мысли о смиреніи передъ народной правдою Лаврецкій вынесъ изъ воспитавшей его деревни, изъ сердца родной земли. Вернувшись въ Россію послѣ разрыва съ женой, онъ удалился въ сельскую глушь.

„Пусть же меня вытрезвитъ здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло“ (говорилъ онъ себѣ),

и окружавшая его спокойная дѣятельность, тихая жизнь — отрезвляли его,

„скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ — и странное дѣло! — никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“.

Онъ и кончилъ тѣмъ, что

„сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, на-сколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ“.

Лаврецкому, повидимому, вполнѣ симпатизируетъ самъ поэтъ (Лучшій критикъ Тургенева, Ап. Григорьевъ, заподозрилъ его даже за это въ наклонности къ славянофильству). И эти симпатіи тѣмъ болѣе понятны, что Лаврецкій—человѣкъ вполнѣ просвѣщенный, въ лучшемъ смыслѣ этого слова; онъ не только знаетъ, по словамъ Михалевича, на какую ножку хромаютъ французъ и нѣмецъ, но у него есть и кровныя связи съ Западомъ: не даромъ поэтъ поставилъ его въ дружескія отношенія съ благороднымъ представителемъ германской расы—Леммомъ, съ мечтателемъ-романтикомъ Михалевичемъ. — Но однако и Лаврецкимъ Тургеневъ не удовлетворился, и его, въ концѣ концовъ, развѣнчалъ, признавъ несостоятельнымъ передъ высшимъ образомъ Лизы: Лаврецкій оказался не въ-силахъ исполнить то, что̀ Лиза сочла и признала его нравственнымъ долгомъ, — и великія его силы пошли послѣ этого на дѣло—хорошее, конечно, но не соотвѣтствовавшее размѣрамъ этихъ силъ: тотъ, кто могъ-бы быть передовымъ дѣятелемъ эпохи, сталъ хотя и полезнымъ, но зауряднымъ работникомъ.

Лиза—высшій типъ тургеневской поэзіи (какъ Татьяна—поэзіи пушкинской). Образъ Лизы, какъ внутренній духовный свѣтъ, все проникаетъ въ романѣ и царитъ въ немъ; образъ этотъ есть воплощеніе религіознаго идеала. Безпощадный судъ тургеневскаго анализа изъ всѣхъ героевъ Тургенева выдержала одна только Лиза, только ее, цѣломудренную дѣвушку, просвѣтленную вѣрою въ Бога, любовью къ человѣку и христіанскимъ смиреніемъ, только ее не развѣнчалъ поэтъ, только къ ней отнесся онъ съ полной и благоговѣйной любовью, какъ Пушкинъ къ своей Татьянѣ.

Слѣдующій послѣ „Дворянскаго гнѣзда“ большой романъ Тургенева носитъ названіе „Наканунѣ“. Самое это названіе указываетъ на его [illegible] ъ немъ великій поэтъ, развѣнчавшій пр[illegible] типа русской жизни, [illegible]тъ нова[illegible]ая времени“, могущаго [illegible]ъ [illegible]ленія. Онъ не находитъ [illegible]лощ[illegible] образѣ Елены.

Впечатлительная, нервная, чуткая, Елена ждетъ человѣка твердой воли, широкой мысли и настоящаго дѣла; она рѣзко отворачивается отъ хорошихъ, но несостоятельныхъ русскихъ людей—Шубина, Берсенева, и всю жизнь свою и всю свою душу отдаетъ Инсарову, практическому дѣятелю, герою не роднаго, хотя и родственнаго намъ народа. — Елена — удивительное явленіе въ тургеневской поэзіи: она жива только наполовину (по-скольку выражаетъ чуткость и здоровую цѣльность души русской женщины), на половину-же она — головное созданіе, отвлеченно-выдуманное лице, — единственный примѣръ въ правдивомъ творчествѣ Тургенева (примѣръ, замѣтимъ мимоходомъ, показывающій всю громадность силъ нашего поэта, съумѣвшаго приковать вниманіе русскаго общества къ полубезжизненной личности, которую въ-сущности нельзя даже любить). И можетъ быть никого изъ своихъ лицъ Тургеневъ не развѣнчалъ такъ безжалостно, какъ эту Елену, къ которой онъ въ началѣ романа почти насильственно возбуждалъ наши симпатіи: онъ нетолько показалъ намъ, что Елена грубо ошиблась въ Инсаровѣ, онъ заставилъ ее самое сознать и осудить свою вину передъ покинутой ею родной землей и передъ „горемъ бѣдной, одинокой матери“... „Я искала счастья—и найду, быть можетъ, смерть. Видно такъ слѣдовало; видно была вина“... (пишетъ Елена матери).

Безпощаденъ Тургеневъ и къ Инсарову. Инсаровъ, конечно, заслуживаетъ сочувствія за многое. Елена справедливо замѣчаетъ въ дневникѣ: когда онъ говоритъ о своей родинѣ,

„онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ—какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ-бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ — онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать“.

Но съ другой стороны — изъ романа до очевидности ясно, что Шубинъ правъ не только въ своей мести № 1, когда лѣпитъ въ подарокъ Еленѣ „отмѣнно-схожій, отличный бюстъ Инсарова“, придавая чертамъ его лица выраженіе „славное: честное, благородное и смѣлое“, — но правъ и въ мести № 2, когда изображаетъ этого Инсарова, тоже улавливая „несомнѣнное, поразительное сходство“,

въ образѣ поднявшагося на заднія ножки и склоняющаго рога для удара барана, на физіономіи котораго „такъ и отпечатались“ — „тупая важность, задоръ, упрямство, неловкость“ и „ограниченность“.

Въ отрицательномъ отношеніи Тургенева къ Инсарову и Еленѣ сказалась, безсознательно, инстинктивно, но глубоко-жизненно, горячая любовь его къ родинѣ, вѣра въ родную землю. Та же любовь и та же вѣра, но уже сознательно, выразились въ великолѣпномъ образѣ „черноземной силы“ — Увара Ивановича, въ чудесныхъ сценахъ его бесѣдъ съ Шубинымъ, бесѣдъ, изъ которыхъ ясно, что будутъ у насъ люди, что мы наканунѣ ихъ появленія, хотя и поэтъ, и оба его героя, по свойственной русскому человѣку сдержанности и строгости отношеній къ себѣ, и не высказываютъ этого такъ прямо, такъ положительно.

Послѣдній большой романъ Тургенева, еще полный надеждъ и дышащій силой вѣры,—„Отцы и Дѣти“; онъ превосходитъ по художественному творчеству все написанное прежде, хотя и уступаетъ „Дворянскому гнѣзду“ въ идеальной высотѣ замысла, въ задушевности его выполненія. Можетъ быть никого изъ своихъ героевъ (кромѣ Лизы) Тургеневъ не любилъ такъ сильно, какъ главное лицо этого романа, потому что никого не развѣнчивалъ онъ такъ рѣшительно, такъ сразу, какъ его. Рудинъ, Лаврецкій—рисуя ихъ, художникъ колебался: сомнѣніе въ значеніи ихъ боролось въ его душѣ съ вѣрою въ ихъ состоятельность;— по отношенію къ Базарову никакихъ колебаній не было: какъ опредѣлененъ и цѣленъ его образъ, такъ опредѣленны и цѣльны отношенія къ нему поэта. Базаровъ—сила, сила трезвенной личности, личности твердо стоящей на своихъ ногахъ, свободной отъ всѣхъ „вѣяній“, которыя лишаютъ человѣка самостоятельности, закруживаютъ въ своемъ водоворотѣ и сбиваютъ съ почвы, какъ отвлеченное философствованіе сбило Рудина, какъ романтизмъ закружилъ Веретьева (въ „Затишьѣ“), какъ художническій эпикуреизмъ спуталъ Шубина, и т. д. Базаровъ—простъ, и потому „свой“ всѣмъ и каждому—и малообразованной женщинѣ Ѳеничкѣ, и мужику, и ребенку. Но сразу же въ романѣ поэтъ показываетъ противорѣчія, въ которыхъ Базаровъ запутался; показываетъ намъ, что въ душѣ этого человѣка, отрицаю-

щаго принципы, живетъ, вопреки его волѣ и на зло его сознанію, все имъ отрицаемое: и семейное начало, любовь къ семьѣ, и романтизмъ, и даже рыцарство, и проч. и проч. Есть въ романѣ удивительное мѣсто: личность, ни во что не вѣрящая, стала лицомъ къ лицу съ внѣшней матерьяльной природою, лишь незначительной частицей которой признаетъ она человѣка,—и возмутилась противъ такого признанія, противъ признанія своего ничтожества. Базаровъ говоритъ своему пріятелю и ученику Аркадію Кирсанову:

„Я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ тою вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобразіе! что за пустяки!..

...они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не безпокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я“...

Въ этихъ словахъ слышится „великое сердце“, подмѣченное Достоевскимъ въ Базаровѣ [1]), слышится жажда невѣрующимъ человѣкомъ безсмертія, жажда имъ вѣры. По силѣ впечатлѣнія на читателя это мѣсто въ романѣ уступаетъ только трогательнымъ заключительнымъ словамъ его, въ которыхъ опять, какъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, просвѣчиваетъ скрытый религіозный идеалъ тургеневской поэзіи: поэтъ говоритъ о родителяхъ Базарова, приходящихъ молиться на его могилу:

„Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое-бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи „равнодушной“ природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной“.

Замѣчательно, что въ одинъ годъ съ „Отцами и дѣтьми“ Тургеневъ написалъ „Воспоминаніе объ А. А. Ивановѣ. Поѣздка въ Альбано и Фраскати“. Въ этомъ воспоминаніи о великомъ русскомъ художникѣ поэтъ съ глубокимъ сочувствіемъ относится къ его религіозному идеалу.

---

[1]) См. „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“.

Въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ Тургеневъ изобразилъ разладъ поколѣній. Это обстоятельство, равно, впрочемъ, какъ и типъ Базарова, вызвало цѣлую бурю литературной и публицистической полемики. Многіе не замѣтили тогда, что Тургеневъ не удовлетворенъ ни отцами, ни дѣтьми. Мы имѣемъ объясненіе знаменитаго романа самимъ поэтомъ, объясненіе, вызванное временнымъ и несправедливымъ охлажденіемъ къ великому художнику части русскаго общества.

„Отцами и дѣтьми“ завершился главный періодъ дѣятельности Тургенева. Въ это время уже вполнѣ обозначились и размѣры таланта поэта, и оригинальность его генія.—Въ чемъ же эта оригинальность?

Есть въ душѣ человѣческой великія силы, созидающія духовную жизнь. Перевѣсомъ въ творчествѣ той или другой изъ нихъ различаются наши великіе поэты.—Поэтъ чуждъ односторонности—таково его главное опредѣленіе; но это—идеалъ, и до идеала не достигъ еще ни одинъ геній міра: тѣнь раздвоенія замѣтна въ творчествѣ даже величайшихъ представителей поэзіи.—Такъ, Пушкинъ былъ художникъ по-преимуществу; въ чистой и строгой красотѣ созданныхъ его фантазіей образовъ и картинъ ему не было и нѣтъ соперника, какъ нѣтъ соперника Гоголю въ силѣ скорбнаго чувства, въ силѣ любви къ падшему человѣку и тоски по немъ. Тургеневъ былъ поэтъ ума, художникъ-мыслитель; въ его поэзіи сильно философское начало.—Эта стихія человѣческаго духа сказалась въ его творчествѣ, во 1-хъ, сознательностью этого творчества, доходящею порой до отвлеченія, во 2-хъ—разлагающимъ анализомъ, которому явно, на глазахъ читателя подвергаетъ онъ образы своихъ героевъ, въ 3-хъ—раздвоеніемъ, рефлексіей, особенно отличающими третій, послѣдній періодъ его дѣятельности.

Мы видѣли уже философское сознаніе Тургенева въ томъ, какъ онъ понимаетъ и объясняетъ значеніе поэта въ статьѣ о стихотвореніяхъ Тютчева. Вспомнимъ теперь критическую статью „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“ (едва-ли не лучшую критическую статью во всей русской литературѣ). Анализируя два типа двухъ великихъ геніевъ, Тургеневъ обобщаетъ дѣло до объясненія всей жизни человѣчества и вмѣстѣ съ этимъ (не высказывая того явно) объясняетъ

два основныхъ теченія своей собственной поэзіи.—Гамлетъ и Донъ-Кихотъ—олицетворенія двухъ противоположныхъ началъ. Въ ихъ противоположности,

„въ этомъ разъединеніи, въ этомъ дуализмѣ... мы должны признать (говоритъ Тургеневъ) коренной законъ всей человѣческой жизни; вся эта жизнь есть ничто иное, какъ вѣчное примиреніе и вѣчная борьба двухъ непрестанно разъединенныхъ и непрестанно сливающихся началъ... Гамлеты суть выраженіе коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считаетъ себя центромъ творенія...

Донъ-Кихоты „представляютъ собою" принципъ противоположный—силу центробѣжную.

„Что выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся внѣ отдѣльнаго человѣка... Донъ-Кихотъ—энтузіастъ, служитель идеи, и потому обвѣянъ ея сіяніемъ". „Что-же представляетъ собою Гамлетъ? Анализъ прежде всего и эгоизмъ, а потому безвѣрье... Сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ, разумѣется, не щадитъ и самого себя... онъ сознаетъ свою слабость, но всякое самосознаніе есть сила: отсюда проистекаетъ его иронія, противоположность энтузіазму Донъ-Кихота"... „не будемъ слишкомъ строги къ Гамлету: онъ страдаетъ—и его страданія и больнѣе и язвительнѣе страданій Донъ-Кихота".

Два основныхъ человѣческихъ типа, такъ превосходно философски разсмотрѣнные Тургеневымъ въ критической статьѣ, мы видимъ и въ его художественномъ творчествѣ. Большимъ романамъ Тургенева предшествовалъ и потомъ шелъ параллельно съ ними—рядъ повѣстей и небольшихъ разсказовъ, въ однихъ изъ которыхъ художественно нарисованы и глубоко анализированы современные Гамлеты, скептики (таковы повѣсти: „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда", „Дневникъ лишняго человѣка"),—въ другихъ изображены противоположные скептикамъ романтики, люди сердца и вѣры (сюда относятся повѣсти „Яковъ Пасынковъ", „Затишье" и друг.).—Эти сочиненія были подготовкою Тургенева къ его большимъ романамъ. Главныя лица этихъ послѣднихъ (т. е. романовъ) обыкновенно представляютъ собою болѣе или менѣе гармоническое сліяніе противоположныхъ типовъ; но между лицами второстепенными мы встрѣчаемъ и Донъ-Кихотовъ, напр. Михалевича (въ „Дворянскомъ гнѣздѣ"), и Гамлетовъ, напр. Нежданова (въ позднѣйшемъ романѣ „Новь").

Раздвоеніе въ человѣческой жизни, о существованіи котораго такъ положительно говоритъ Тургеневъ, жило въ немъ самомъ. Оно сказывается ясно и въ развѣнчиваніи имъ всѣхъ своихъ героевъ.—Мы видѣли, что передъ побѣдною силою его анализа (управляемаго, конечно, высокими требованіями его идеала) не устоялъ ни одинъ изъ начертанныхъ имъ типовъ (кромѣ Лизы). Но, какъ въ истинномъ и высокомъ поэтѣ, разлагающій умъ не могъ сдѣлаться въ немъ вполнѣ преобладающимъ началомъ творчества, не могъ подорвать цѣлостнаго взгляда на жизнь: лица Тургенева—живые люди и, въ противоположность анализу, живое, горячее сердце участвовало въ ихъ созданіи. Сомнѣвающійся умъ художника открывалъ несостоятельность всякаго изображеннаго имъ „героя времени"; но самъ художникъ горячо и сильно любилъ развѣнчиваемыхъ имъ людей (И вотъ здѣсь опять открывается уже упомянутая раньше личная черта Тургенева—мягкость, нѣжность, женственность его натуры, противоположной жесткой и страстной натурѣ Лермонтова). Чѣмъ строже былъ анализъ поэта, тѣмъ горячей становились порывы его сердца.—Отсюда недоразумѣнія и споры, часто волновавшіе критиковъ Тургенева: однимъ казалось, что поэтъ враждебно относится къ тому или другому лицу, про котораго другіе, напротивъ, утверждали, что онъ его любитъ. Эти недоразумѣнія происходятъ отъ того, что есть двойственность въ самыхъ отношеніяхъ Тургенева къ своимъ героямъ.

Эта двойственность, этотъ скептицизмъ съ особенною силою выразились въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности великаго поэта. Развѣнчавши своего послѣдняго героя и не находя, не видя новаго вождя въ нашей жизни, онъ пришелъ къ разочарованію въ жизни вообще, къ тому разочарованію, къ которому уже и раньше влекъ его скептическій умъ.—За „Отцами и дѣтьми" появляются въ свѣтъ двѣ совершенно новыя, оригинальныя вещи, совсѣмъ не похожія ни на что́, прежде выходившее изъ-подъ пера поэта; эти вещи—удивительно художественныя и философскія вмѣстѣ, скорбно-лирическія „фантазіи" (какъ назвалъ одну изъ нихъ самъ авторъ)—„Призраки" и „Довольно".—Мысль о могуществѣ грубой матерьяльной природы и о противорѣчіи ея законовъ съ свѣтлыми стремленіями чело-

вѣка къ безусловному и вѣчному—становится съ этихъ поръ господствующей мыслью произведеній Тургенева.—Въ „Довольно“ онъ говоритъ про природу:

„Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ ея дитя; но человѣческое—искуственное—ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ.

Человѣку

одному дано „творить“... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на часъ,какъ былъ,говорятъ, калифъ на часъ.Въ этомъ наше преимущество—и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ“ самъ по себѣ, именно онъ, не кто другой, именно это я, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному,—и живетъ, долженъ жить въ мгновеньѣ и для мгновенья. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу“.

Эти скорбныя рѣчи, эта скорбная мысль о міровомъ раздвоеніи, безотрадное разочарованіе въ жизни звучатъ съ этихъ поръ во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева.

Въ 1867 году напечатанъ романъ „Дымъ“. — Одинъ изъ глубочайшихъ нашихъ поэтовъ, признанный за таковаго самимъ Тургеневымъ, Тютчевъ, былъ пораженъ этимъ произведеніемъ, рѣзкимъ отличіемъ его отъ романовъ прежнихъ. Сравнивая поэзію Тургенева съ „могучимъ и прекраснымъ лѣсомъ“, полнымъ жизни и обаянья, въ которомъ былъ „для чувствъ роскошный свѣтлый пиръ“, онъ говоритъ:

И вотъ опять къ таинственному лѣсу
Мы съ прежнею любовью подошли.
Но гдѣ же онъ? кто опустилъ завѣсу,
Спустилъ ее отъ неба до земли?

Въ самомъ дѣлѣ — новое сочиненіе великаго писателя производитъ грустное, хотя и могучее впечатлѣніе. Оно отличается, по-прежнему, красотою, горячимъ чувствомъ, силою мысли; но въ немъ нѣтъ прежней вѣры; оно проникнуто — не скажемъ еще отчаяньемъ, но почти безотрадной тоскою. — Въ „Дымѣ“ нарисованы двѣ группы „отрицателей“: отрицатели-генералы, сановники, недовольные освобожденіемъ крестьянъ и другими реформами 60-хъ годовъ; и отрицатели-революціонеры, желающіе перестроить

русскую жизнь по своимъ грубымъ мечтаніямъ. Пошлость, себялюбіе, наклонность къ деспотизму и вмѣстѣ къ моральному лакейству и тѣхъ и другихъ нарисованы поэтомъ съ одинаковой ироніей и одинаковымъ негодованіемъ. — Но противовѣса этой двойной пошлости, положительнаго, хотя бы до нѣкоторой степени, типа, на которомъ можно бы сосредоточить надежды настоящаго русской жизни, поэтъ не находитъ, не рисуетъ въ романѣ. На-счетъ главнаго лица своего произведенія — Литвинова — онъ не ошибался ни минуты, не возлагалъ на него никакихъ упованій: Литвиновъ — хорошій человѣкъ, и когда освободился отъ душившаго его кошмара, сдѣлался даже полезнымъ практическимъ дѣятелемъ и добрымъ мужемъ хорошей и простой русской женщины,—но онъ—личность пассивная, безхарактерная, совершенно безсильная, напр., противъ очарованія страсти, въ которой онъ самъ видитъ господство зла и пошлости. Литвиновъ до того слабъ волею, что, будучи несомнѣнно честенъ и уменъ, поступаетъ нечестно съ довѣрившейся ему душою подъ обаяніемъ чужой злой воли и красоты.—Героиня романа—Ирина—та одарена и волей, и блестящимъ умомъ, и огнемъ чувства; но тѣмъ безотраднѣе дѣйствуетъ на насъ зрѣлище ея рабства передъ пошлостью, передъ роскошью, богатствомъ, пустыми законами свѣтскаго тщеславія, рабства тѣмъ болѣе унизительнаго и безобразнаго, что она сама его сознаетъ и порой ненавидитъ, но не можетъ и не хочетъ въ себѣ побороть. — Третье выдающееся лице произведенія — Потугинъ (въ которомъ такъ напрасно иные готовы видѣть самого Тургенева) — еще нѣсколько примиряетъ насъ съ жизнью; онъ тоже безхарактеренъ и несостоятеленъ, и, сознавая себя таковымъ (а также, впрочемъ, въ качествѣ кореннаго русскаго человѣка съ его готовностью къ безпощадному самоосужденію), онъ впадаетъ въ пессимизмъ, проповѣдуетъ крайнее западничество и отрицаетъ всякое наше значеніе въ настоящую минуту среди другихъ образованныхъ народовъ; но въ сущности, въ глубинѣ души онъ вѣритъ въ здоровую мощь русской народности и въ ея будущее,—отсюда и отрадная сила и блескъ его ироніи.

„Весь вопросъ въ томъ — крѣпка ли натура? а наша натура (говоритъ онъ про русскій народъ) — ничего, выдержитъ: не въ такихъ была

передрягахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные да слабые народы".

Черезъ 10 лѣтъ послѣ „Дыма" вышелъ послѣдній большой романъ Тургенева — „Новь". — Общее содержаніе въ немъ то-же, что и въ „Дымѣ": передъ нами тѣ-же двѣ группы отрицателей, нарисованныя съ тою же художественною силой; но только они не витаютъ въ своихъ мечтахъ, въ воздухѣ заграничной жизни, а изображены въ дѣйствіи, на многострадальной родной почвѣ. Надо ли говорить — съ какой безпощадной художественной правдой нарисовалъ поэтъ несостоятельность своихъ героевъ? У него нѣтъ даже негодованія противъ нихъ, — это чувство, такъ замѣтное въ „Дымѣ", здѣсь совершенно потонуло въ ироніи и сожалѣніи. — Извѣстно, что романъ „Новь" не произвелъ сильнаго впечатлѣнія на читающее общество; поднялись толки объ истощеніи таланта Тургенева, о незнаніи имъ новой Россіи, толки (кстати вспомнить) повторяющіеся у насъ о каждомъ великомъ писателѣ въ концѣ его дѣятельности. Но въ-сущности дѣло объясняется иначе: „Новь" — еще безотраднѣе предъидущаго романа, потому что еще бѣднѣе вѣрою; въ немъ нѣтъ даже такого лица какъ Потугинъ, а герой его — Неждановъ (если только можно Нежданова называть героемъ)—еще несостоятельнѣй Литвинова. Изсякло героическое въ русской жизни,—и не поэтъ, конечно, виноватъ, что его новыя произведенія перестали отличаться захватывающимъ интересомъ его прежнихъ созданій. — Главное лице „Нови" — Неждановъ — человѣкъ талантливый, поэтъ; но онъ вполнѣ слабъ волею и въ душѣ его — полное раздвоеніе: онъ не можетъ отдаться ни своему художническому призванію, въ значеніе котораго не вѣритъ, ни своему „дѣлу", революціонному хожденію въ народъ, въ которое тоже не вѣритъ, и кончаетъ малодушно, самоубійствомъ; его смерть производитъ тяжелое впечатлѣніе. — Единственные люди въ романѣ, на которыхъ можно остановиться съ положительной (а не отрицательной) симпатіей, это — Маріанна и Соломинъ. Но Маріанна — еще не опредѣлившаяся личность, въ сущности дитя; а Соломинъ — лице загадочное, какой-то намекъ, какое-то предчувствіе, а не типъ.

Съ особеннымъ, напряженнымъ вниманіемъ останавли-

вался Тургеневъ въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ на безвольныхъ, слабыхъ людяхъ. Таковъ и герой чудной повѣсти „Вешнія воды“, одного изъ вдохновеннѣйшихъ и чистѣйшихъ созданій искусства. Санинъ полюбилъ чистой и свѣтлой любовью чистую дѣвушку Джемму; но соблазнъ мутной, чувственной страсти всесиленъ надъ нимъ, и, самъ себя осуждая и презирая, онъ покоряется этой страсти и разбиваетъ счастье и вѣру отдавшейся-было ему искренней души. Скорбное впечатлѣніе оставляетъ въ читателѣ эта повѣсть... но, впрочемъ, не безотрадно-скорбное, и это потому, что сквозь ея содержаніе ясно просвѣчиваетъ благородная личность творца ея, сердце котораго стоитъ явно на сторонѣ духа и горестно оплакиваетъ слабость человѣка, подчинившагося животной стихіи своего существа.—Въ художественныхъ образахъ повѣсти „Вешнія воды„ Тургеневъ выразилъ ту же идею, которая лирически вылилась въ „Призракахъ“ и „Довольно“: мы видимъ въ повѣсти тоску поэта о противорѣчіи законовъ природы съ стремленіями человѣка къ безусловному, къ вѣчному.

Эта мысль о борьбѣ матерьяльной природы и духа человѣческаго проходитъ черезъ цѣлый рядъ мелкихъ повѣстей, написанныхъ втеченіи послѣднихъ 15—20 лѣтъ. Въ повѣстяхъ этихъ поэтъ подвергаетъ многостороннему и глубокому художественному анализу мысль о чудесномъ. Онъ разсматриваетъ чудесное и въ связи его съ случайностями и самообманомъ человѣческаго самолюбія (въ разсказѣ „Стукъ-стукъ-стукъ“), и въ связи даже съ корыстнымъ обманомъ и преступленіемъ („Исторія лейтенанта Ергунова“), и въ связи съ магнетизмомъ („Странная исторія“, также „Пѣснь торжествующей любви“), и наконецъ—какъ проявленіе и дѣйствіе духа (повѣсть „Собака“ и „Разсказъ отца Алексѣя“). Съ живымъ захватывающимъ интересомъ и съ глубокой (хотя затаенной и тоскливой) сердечной симпатіей изображаетъ Тургеневъ наклонность человѣка къ чудесному, его жажду сверхъестественнаго, безсмертнаго (вспомнимъ героиню „Странной исторіи“—Софи, бросившую все и пошедшую служить больному юродивому, вспомнимъ сына отца Алексѣя).—Въ этихъ мелкихъ повѣстяхъ человѣкъ, стремящійся къ вѣчному, заблуждающійся и путающійся въ своихъ стремленіяхъ, поставленъ на границѣ

съ одной стороны—грубыхъ волнъ окружающей его могучей матерьяльной природы, съ другой—яснаго и чистаго свѣта чаемаго и желаемаго имъ безсмертнаго міра. То природа торжествуетъ надъ человѣческой личностью, и тогда вопли муки, стоны отчаянья слышатся въ тонѣ разсказа поэта, какъ напр. въ повѣсти „Пѣснь торжествующей любви", производящей впечатлѣніе мрачнаго ужаса; то поэту кажется, что возможно торжество духа, что не самообманъ—порывы нашей личности къ вѣчному, и тогда, не смотря на то, что человѣкъ измученъ борьбою, въ разсказѣ звучитъ отрадная вѣра, слышится возможность покоя и блаженства безконечнаго,—таковъ „Разсказъ отца Алексѣя", повѣсть мало кому извѣстная; но могущая быть названной однимъ изъ глубочайшихъ прозрѣній и вдохновеній искусства.—Справедливость требуетъ, впрочемъ, сказать, что сомнѣнія чаще владѣли душой Тургенева въ послѣднемъ періодѣ его жизни, нежели вѣра, и это обстоятельство подрывало его могучій геній; здѣсь слабый пунктъ его творчества.—Однако высокое сердце поэта стремилось къ вѣрѣ, томилось жаждою ея. Тургеневъ былъ болѣе скептикъ, чѣмъ энтузіастъ, болѣе Гамлетъ, чѣмъ Донъ-Кихотъ (говоря его собственнымъ сравненіемъ); но сердце его больше лежало къ Донъ-Кихоту.

Все сказанное о мелкихъ повѣстяхъ всецѣло примѣняется и къ такъ называемымъ „Стихотвореніямъ въ прозѣ", этимъ чуднымъ лирическимъ замѣткамъ, исполненнымъ глубокихъ мыслей и озаренныхъ искреннимъ чувствомъ (всего чаще, однако, скорбнымъ, а порой и безотраднымъ). Остановимся на двухъ изъ этихъ „стихотвореній": „Природа" и „Воробей".—Въ первомъ высказывается мысль о враждѣ природы ко всему человѣческому и объ ея безотрадномъ для нашей личности могуществѣ. Человѣкъ видитъ природу въ самой храминѣ ея творчества и спрашиваетъ ее о человѣкѣ:

„развѣ мы—люди—не любимыя твои дѣти?... Всѣ твари мои дѣти—промолвила она — и я одинаково о нихъ забочусь и одинаково ихъ истребляю.

Но добро... разумъ... справедливость... пролепеталъ я снова.

Это—человѣческія слова,—раздался желѣзный голосъ.—Я не вѣдаю ни добра, ни зла... Разумъ мнѣ не законъ—и что такое справедливость? Я тебѣ дала жизнь—я ее отниму и дамъ другимъ, червямъ или людямъ... мнѣ все равно... А ты, пока, защищайся—и не мѣшай мнѣ!".

Совсѣмъ другая идея, свѣтлая и отрадная, заключена въ разсказѣ „Воробей“: маленькая птичка, трепеща и замирая отъ ужаса, жертвуя собою, спасаетъ свое дѣтище отъ гибели въ пасти представляющейся ей чудовищемъ—собаки.

„Я благоговѣлъ (говоритъ поэтъ) передъ той маленькой, героической птицей, передъ любовнымъ ея порывомъ.

Любовь, думалъ я, сильнѣе смерти и страха смерти.—Только ею, только любовью держится и движется жизнь“.

Мысль, выраженная на этихъ словахъ, — та же самая, полная вѣры, отрадная для человѣка мысль, которою Тургеневъ закончилъ свою статью о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ:

„Все пройдетъ, все исчезнетъ, высочайшій санъ, власть, всеобъемлющій геній, все разсыплется прахомъ...

Все великое земное
Разлетается какъ дымъ...

Но добрыя дѣла не разлетятся дымомъ; онѣ долговѣчнѣе самой сіяющей красоты; „все минется, сказалъ апостолъ, одна любовь останется“.

Затаенный религіозный идеалъ тургеневской поэзіи сказался въ этой мысли, какъ сказался онъ и въ образѣ Лизы „Дворянскаго гнѣзда“, и въ удивительныхъ по глубинѣ міросозерцанія заключительныхъ словахъ „Разсказа отца Алексѣя“ и великаго романа „Отцы и дѣти“.

Намъ остался еще вопросъ о народности тургеневской поэзіи. Но, послѣ всего сказаннаго выше, отвѣтъ на него не можетъ, кажется, быть затруднительнымъ. Конечно, въ глубокомъ и всестороннемъ представителѣ жизни русскаго общества — Тургеневѣ, какъ въ Пушкинѣ, Гоголѣ и другихъ высокихъ дѣятеляхъ нашей поэзіи, выразились лучшія и благороднѣйшія черты русской народности. Тургеневъ народенъ въ своихъ „Запискахъ охотника“, въ которыхъ онъ нарисовалъ намъ душу и жизнь русскаго крестьянина и, чуждый лжи высокомѣрнаго снисхожденія къ „низшему брату“, выказалъ истинно-христіанское и русское пониманіе равенства и братства. Тургеневъ народенъ и въ смиреніи его взгляда на свое личное значеніе въ литературѣ, народенъ и въ свойственной русскому человѣку строгости отношеній его къ себѣ и къ изображаемой русской жизни:

чуткій и впечатлительный, одаренный великимъ здравымъ смысломъ и юморомъ, поэтъ, какъ ни любилъ своихъ героевъ, не могъ удовлетвориться ни однимъ изъ нихъ; великій вождь общественнаго сознанія, онъ не указалъ намъ ложнаго идеала.

Но особенно поразительна въ усопшемъ писателѣ приближающая его къ Пушкину необъятная широта пониманія и сочувствія, широта воззрѣнія на жизнь и человѣка: для него были одинаково дороги всѣ начала русской жизни — и унаслѣдованныя нами отъ прошлаго родной земли, взятыя изъ быта простаго народа, и заимствованныя и усвоенныя отъ западной Европы. Тургеневъ не былъ ни западникомъ, ни славянофиломъ; онъ былъ русскимъ человѣкомъ. И всю внутреннюю жизнь свою, и все свое творчество, какъ русскій—онъ и отдалъ Россіи. И все существенное и жизненное въ эпохѣ, представителемъ которой былъ онъ, отразилось свѣтло и правдиво въ чистомъ зеркалѣ его высокаго творчества [1]).

Мы переживаемъ знаменательную и тревожную минуту: на нашихъ глазахъ оканчивается блестящій литературный періодъ: сошли въ могилу гр. А. Толстой, Некрасовъ, Достоевскій, Писемскій; а теперь закатилось яркое солнце нашей поэзіи — Тургеневъ. — Начинается новая эпоха: не будемъ заранѣе сѣтовать о будто-бы грозящей намъ бѣдности поэзіи, а съ надеждой и вѣрою устремимъ наши духовныя очи въ даль будущаго: еще не замолкли голоса великихъ дѣятелей періода завершающагося, и не можетъ быть никакого сомнѣнія, что послѣ такого прошлаго геній русскаго творчества вновь широко и свободно развернетъ свои крылья, когда настанетъ для этого пора. Чуткое ухо и зоркій глазъ могутъ и теперь уже подслушать и подмѣтить начало новаго литературнаго движенія. Только да не раздѣляетъ насъ вражда.

---

[1]) Н. Н. Страховъ, впослѣдствіи не совсѣмъ сочувственно относившійся къ поэзіи Тургенева, въ 1871 году въ журн. „Заря“ (№ 2) справедливо писалъ:

„Въ образахъ Тургеневъ нигдѣ и никогда не рѣшался противопоставить западную жизнь русской жизни. Тайное сочувствіе къ русскому складу ума и сердца, къ нравственнымъ началамъ, которыми сложилась и держится русская жизнь, безпрестанно сквозитъ у Тургенева“.

Надъ гробомъ великаго поэта да не будетъ мѣста раздвоенію и розни! Какъ на праздникѣ Пушкина, какъ на похоронахъ Достоевскаго, соединимся и теперь воедино всѣ мы, идущіе по разнымъ направленіямъ загадочной русской жизни. Всѣ мы, безъ различія этихъ направленій, одинаково любили и любимъ поэзію Тургенева. Пусть-же эта высокая, вдохновенная, сердечная, чуждая односторонности поэзія примиряетъ насъ, ведетъ къ согласію, ведетъ къ тому всеединству, къ которому сама она была такъ близка. Тургеневъ любимъ въ Европѣ; пусть-же его творчество сближаетъ съ нами и нашихъ западныхъ братій!

Любовь, разумъ и вѣра, и поэзія — да будутъ великими дѣятелями нашего примиренія и единенія.

ГЛАВА II.

Первый періодъ дѣятельности Тургенева.

I.

Стихотворенія.—Поэмы.—Повѣсти: „Андрей Колосовъ", „Бреттеръ" и „Три портрета".

Въ пушкинскомъ періодѣ нашей литературы былъ одинъ поэтъ, поражающій насъ могуществомъ своего генія и вмѣстѣ печальной судьбою: онъ умеръ почти юношей, не успѣвши вполнѣ развить своихъ силъ, хотя размѣры ихъ и выяснились уже въ написанномъ имъ, не успѣвши выдти изъ-подъ чуждаго вліянія, хотя оригинальность и самобытность сквозятъ у него всюду и не могутъ подлежать никакому сомнѣнію; онъ и подражатель подавляетъ своей мощью того, кому подражаетъ.

Тургеневу только два раза мелькомъ пришлось увидать этого поэта,—и вотъ что говоритъ онъ о вынесенномъ имъ впечатлѣніи:

„Въ наружности Лермонтова было что-то зловѣщее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью вѣяло отъ его смуглаго лица, отъ его большихъ и неподвижно-темныхъ глазъ. Ихъ тяжелый взоръ странно не согласовался съ выраженіемъ почти дѣтски нѣжныхъ и выдававшихся губъ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, съ большой головой на сутулыхъ широкихъ плечахъ возбуждала ощущеніе непріятное; но присущую мощь тотчасъ сознавалъ всякій" (Воспоминанія).

Такъ оцѣнилъ Лермонтова великій поэтъ въ пору зрѣлости своего таланта; не такъ смотрѣлъ онъ на автора „Демона" въ ранней молодости.—Кто изъ насъ не подчинялся могучему обаянію энергической и страстной силы лермонтовской поэзіи? Къ самому Лермонтову можно примѣнить то, что́ онъ сказалъ про своего „Демона":

Какъ царь, нѣмой и гордый, онъ сіялъ
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно, и душа тоскою
Сжималася.

Даже образъ Печорина, сильно пострадавшій и отъ времени, и отъ разоблаченій критики, и отъ усердія увлекавшихся подражателей Лермонтова (вспомнимъ Авдѣевскаго Тамарина), даже этотъ образъ не потерялъ еще понынѣ своего очарованія, особенно надъ юной и неопытной женской душой.

Впечатлительная, чуткая, женственная муза Тургенева отдала дань увлеченія былому „властителю думъ" русскаго общества. Первыми шагами Тургенева на литературномъ поприщѣ были подражательныя произведенія: будущій великій поэтъ писалъ въ духѣ Лермонтова—сначала стихотворенія и поэмы, потомъ даже прозаическія повѣсти. Въ послѣднихъ, впрочемъ, можно уже замѣтить борьбу Тургенева съ гнетущимъ его очарованіемъ, порывы генія вырваться изъ-подъ чужой и чуждой его природѣ власти.

Цѣломудренно-ясная душа К. Аксакова была возмущена первыми произведеніями Тургенева. Можно, конечно, удивляться, какъ этотъ человѣкъ, чуткій и высоко-даровитый, не подмѣтилъ въ стихотвореніяхъ Тургенева, сквозь ихъ подражательность, будущій геній автора „Дворянскаго гнѣзда"; но слѣдуетъ помнить, что самъ Тургеневъ не любилъ впослѣдствіи этихъ стихотвореній и не включалъ ихъ въ собранія своихъ сочиненій.—Они талантливы, конечно, и звучны, и даже поэтичны, какъ все выходившее изъ-подъ его пера; но духъ ихъ—духъ ложный.

Остановимся немного на самомъ источникѣ первыхъ вдохновеній Тургенева— на Лермонтовѣ.

И умеръ онъ съ глубокой жаждой мщенья,
Съ отрадой тайною обманутыхъ надеждъ,—

такъ говоритъ Лермонтовъ про Пушкина въ своемъ стихотвореніи на смерть великаго поэта. Это стихотвореніе вдохновенно, глубоко-прочувствовано, полно благороднаго негодованія... но „жажда мести", о которой въ немъ говорится,—это совсѣмъ не то чувство, съ которымъ умиралъ величайшій русскій художникъ; месть загорѣлась, правда, въ душѣ его въ тотъ моментъ, когда, смертельно

раненый, онъ направилъ дуло своего пистолета на противника; но мы знаемъ (изъ поэтическаго свидѣтельства Жуковскаго), что вслѣдъ затѣмъ въ душѣ Пушкина злоба смѣнилась любовью: онъ умеръ какъ истинный христіанинъ, всѣмъ простивши и примѣрившись со всѣми. Лермонтову же казалось, что гораздо поэтичнѣе и эффектнѣе умирать въ мрачномъ настроеніи, съ затаенною въ сердце злобной местью.

Месть представлялась Лермонтову порою чувствомъ болѣе высокимъ, чѣмъ любовь. Въ поэмѣ „Хаджи-Абрекъ" герой ея, мстя своему врагу убіеніемъ любимой имъ женщины, которую и самъ неожиданно полюбилъ, такъ исповѣдуетъ передъ ней свою душу:

Любовь... но знаешь-ли, какое
Блаженство на землѣ второе
Тому, кто все похоронилъ,
Чему онъ вѣрилъ и любилъ?
Блаженство то вѣрнѣй любви,
Но только хочетъ слезъ да крови...
Въ немъ утѣшенье для людей,
Когда умретъ другое счастье;
Въ немъ преступленій сладострастье,
Въ немъ адъ и рай души моей.
Оно при насъ всегда, безсмѣнно;
То мучитъ, то ласкаетъ насъ...
Нѣтъ, за единый мщенья часъ,
Клянусь, я не взялъ бы вселенной!

Сама любовь обыкновенно соединяется у Лермонтова съ враждою; для нея, для такой любви, можно все позабыть и всѣмъ пожертвовать.

По мнѣ отчизна только тамъ,
Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ,

говоритъ Зара въ поэмѣ „Измаилъ-бей". Нѣсколько далѣе она такъ характеризуетъ любовь:

Будь передъ міромъ онъ (т. е. любимый человѣкъ) злодѣй—
Что для любви слова людей?
Что ей небесъ опредѣленье?
Нѣтъ, охладить любовь—гоненье
Еще ни разу не могло!
Она сама свое добро и зло.

Такою любовью Демонъ любитъ Тамару. Въ поэмѣ „Демонъ“, этомъ, можетъ быть, самомъ задушевномъ произведеніи Лермонтова, насъ поражаетъ какая-то двойственность поэта: онъ очевидно сочувствуетъ Ангелу; но не менѣе очевидно, что Демонъ ближе его сердцу, что Демонъ поставленъ имъ выше Ангела. А любовь въ душѣ Демона соединяется и перепутывается съ чувствами—зависти, злобы, ревности и мщенія:

Оставь ее! она моя!

говоритъ Демонъ Ангелу про Тамару:

Явился ты, защитникъ, поздно—
И ей, какъ мнѣ, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложилъ печать мою;
Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни!
Здѣсь я владѣю и люблю.

Бросивъ, изъ ревности и ненависти къ Ангелу, свое желаніе возродиться къ добру, Демонъ начинаетъ соблазнять Тамару величіемъ своей гордости, своихъ страданій, презрѣніемъ къ ничтожеству людей:

Я тотъ, чей взоръ надежду губитъ,
Едва надежда разцвѣтетъ;
Я тотъ, кого никто не любитъ,
И все живущее клянетъ.
Ничто пространство мнѣ и годы;
Я бичъ рабовъ моихъ земныхъ,
Я царь познанья и свободы,
Я врагъ небесъ, я зло природы,
И видишь—я у ногъ твоихъ!

Онъ клянется Тамарѣ въ безконечности любви своей — не только торжествомъ вѣчной правды, но и горькой мукой паденья и краткой и гордой мечтою своей побѣды.

Онъ соблазняетъ Тамару и земными благами:

Я дамъ тебѣ все, все земное—
Люби меня!..

Чувство Демона—чувство слишкомъ земное.

Лермонтовъ—поэтъ весьма субъективный, и въ героевъ своихъ по большей части влагалъ свои чувства. Онъ часто самъ отождествлялъ себя съ лицами, созданными его фантазіей.

Какъ демонъ мой—я зла избранникъ,
Какъ демонъ—съ гордою душой,

говоритъ онъ въ одномъ стихотвореніи.—Замѣчательна въ этомъ смыслѣ, одна его поэтическая исповѣдь, озаглавленная имъ „Молитва".

Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мракъ земли могильной
Съ ея страстями я люблю,
За то, что рѣдко въ душу входитъ
Живыхъ рѣчей Твоихъ струя;
За то, что въ заблужденьи бродитъ
Мой умъ далеко отъ Тебя.

И эту преданность свою земнымъ страстямъ поэтъ считалъ какъ бы дѣйствіемъ и созданіемъ своего поэтическаго дара; онъ оканчиваетъ стихотвореніе словами:

Отъ страшной жажды пѣснопѣнья
Пускай, Творецъ, освобожусь;
Тогда на тѣсный путь спасенья
Къ Тебѣ я снова обращусь.

Матерьяльное начало такъ сильно въ любви лермонтовской поэзіи, что поэтъ готовъ былъ идеализировать сладострастіе, гордое своимъ позоромъ: въ стихотвореніи „Склонись ко мнѣ, красавецъ молодой" изображена, женщина у которой

. . . святости черты не выражали,
Глаза огнемъ неистовымъ пылали
И грудь, волнуясь, поцалуй звала.

Эта женщина говоритъ человѣку, котораго полюбила:

Мнѣ милъ мой стыдъ! Онъ право мнѣ даетъ
Тебя лобзать, тебя на мигъ одинъ
Отторгнуть отъ мучительныхъ заботъ!
О, наслаждайся! ты мой господинъ!

Хвостова сохранила въ своихъ запискахъ чрезвычайно интересный случай — комментированія Лермонтовымъ одного изъ чистѣйшихъ произведеній Пушкина:

Я васъ любилъ; любовь еще, быть можетъ,
Въ моей душѣ угасла не совсѣмъ, —
Но пусть она васъ больше не тревожитъ,
Я не хочу печалить васъ ничѣмъ.

„О нѣтъ (замѣтилъ Лермонтовъ), — пускай тревожитъ, это вѣрнѣйшее средство не быть забыту.

Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томимъ.

Я не понимаю робости и безмолвія (продолжалъ поэтъ), а безнадежность предоставляю женщинамъ.

Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно,
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ!

Это совсѣмъ надо перемѣнить; естественно-ли желать счастья любимой женщинѣ, да еще съ другимъ? Нѣтъ, пусть она будетъ несчастлива; я такъ понимаю любовь, что предпочелъ бы ея любовь — ея счастью; несчастіе черезъ меня — это связало бы ее навѣкъ со мною!“ — Лермонтовъ не понималъ чистыхъ вдохновеній, чистыхъ чувствъ пушкинской поэзіи. „Мелкими и сладкими“ натурами назвалъ онъ людей, способныхъ пожелать любимой женщинѣ счастья съ другимъ.

И то-же самое, тѣ-же мысли и чувства видимъ мы и въ наиболѣе художественныхъ произведеніяхъ Лермонтова, напримѣръ, въ поэмѣ „Мцыри“, въ романѣ „Герой нашего времени“.

Конечно, Мцыри вызываетъ нашу невольную симпатію огнемъ своего сердца, энергіей воли; мы не можемъ не сочувствовать его любви къ родинѣ, къ свободѣ, къ красѣ Божьяго міра, его жаждѣ жизни, борьбы и подвига. Но этотъ Мцыри полонъ злобы противъ людей, полонъ презрѣнія къ нимъ и готовъ (безъ всякаго даже повода) гордо оттолкнуть людскую руку, если она протянется для помощи ему. Поэзіей, чѣмъ-то даже нѣжнымъ и чистымъ вѣетъ отъ его любви къ грузинкѣ; но въ немъ есть и звѣрство, въ прямомъ, въ матерьяльномъ смыслѣ этого слова: въ борьбѣ въ лѣсу съ звѣремъ онъ самъ превратился въ звѣря; онъ говоритъ:

И я былъ страшенъ въ этотъ мигъ:
Какъ барсъ пустынный золъ и дикъ,
Я пламенѣлъ, визжалъ какъ онъ,
Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействѣ барсовъ и волковъ
Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.

Казалось, что слова людей
Забылъ я — и въ груди моей
Родился тотъ ужасный крикъ,
Какъ будто съ дѣтства мой языкъ
Къ иному звуку не привыкъ.

Въ самомъ Печоринѣ нельзя не сочувствовать „стихіямъ его натуры до ея извращенія", какъ выразился Апол. Григорьевъ. Нельзя не видѣть настоящаго огня въ сердцѣ этого разочарованнаго скептика; нельзя не цѣнить остраго, глубокаго и тонкаго анализа его ума, силы его воли. Но всѣ эти свѣтлыя качества застыли въ холодѣ его самомнѣнія и эгоизма. Свое „я" у него до такой степени на первомъ планѣ, что онъ впадаетъ въ комическую мелочность: соперничаетъ съ Грушницкимъ, тратитъ сознаваемыя въ себѣ великія силы на нечестное ухаживаніе за неопытными барышнями. — Въ очеркѣ характера Печорина слишкомъ много субъективнаго; Тургеневъ совершенно справедливо сказалъ, что Лермонтовъ „до нѣкоторой степени изобразилъ самого себя въ Печоринѣ". Въ самомъ дѣлѣ, поэтъ не можетъ подняться до суда надъ своимъ героемъ; напримѣръ, его не возмущаетъ, не приводитъ въ негодованіе теорія Печорина, руководящая отношеніями его къ княжнѣ Мери и другимъ:

„А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! (говоритъ лермонтовскій герой). Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подыметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы".

Лермонтовъ не видитъ и комической черты въ Печоринѣ, когда этотъ человѣкъ, страдающій будто-бы міровою скорбью, не хочетъ обнять растроганнаго Максима Максимыча изъ-за напускной холодности и, можетъ быть, изъ боязни помять свою изящно накрахмаленную манишку и свой модный сюртучекъ, сшитый для путешествія по горамъ Кавказа и по Персіи.

Не временное душевное раздвоеніе, какъ думалъ Бѣлинскій, но безумный эгоизмъ и рисовка этимъ эгоизмомъ

породили въ Печоринѣ тотъ ледяной душевный холодъ, который все усиливается въ немъ вмѣстѣ съ ходомъ его жизни, вопреки его прежнему сердечному жару.

Этотъ холодъ былъ и въ огненной природѣ самого Лермонтова: его „Дума“ есть искренняя исповѣдь сердца:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы—случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.

Такое же значеніе исповѣди имѣетъ и чудная элегія „И скучно и грустно“:

Любить... но кого-же? На время—не стоитъ труда,

(говоритъ поэтъ),—

А вѣчно любить невозможно...
Въ себя ли заглянешь,—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда,
И радость, и муки—и все тамъ ничтожно.
Что страсти? вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка;
И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ—
Такая пустая и глупая шутка.

Ошибка и зло лермонтовской поэзіи не въ томъ, конечно, что она отдавала предпочтеніе чувствамъ страстнымъ, тревожнымъ, гордымъ передъ тихими и добрыми,—это было явленіемъ временнымъ и наноснымъ. „Не было сомнѣнія (говоритъ Тургеневъ про Лермонтова), что онъ, слѣдуя тогдашней модѣ, напустилъ на себя извѣстнаго рода байроновскій жанръ“. Въ юношѣ-поэтѣ были и иные задатки; онъ самъ сознавалъ, что онъ

. . . не Байронъ, а другой,
Еще невѣдомый избранникъ.

Гоголь вѣрно замѣтилъ, что въ немъ готовился великій живописецъ русскаго быта. И въ самомъ дѣлѣ, творецъ Печорина несомнѣнно симпатизировалъ и Максиму Максимычу, хотя подсмѣивался надъ нимъ; авторъ мрачной „Думы“ написалъ также и стихотворенія: „Въ минуту жизни трудную“, „Когда волнуется желтѣющая нива“ и другія подобныя вещи, проникнутыя чувствомъ простымъ и добрымъ, которое впослѣдствіи могло-бы въ его творчествѣ уравновѣситься съ чувствомъ инаго порядка.—Зло лермонтовской

поэзіи заключалось въ другомъ,—въ томъ, что къ байронизму примѣшались у него (какъ мягко выразился Тургеневъ)—„еще худшіе капризы и чудачества". Въ его сердцѣ, по его собственному свидѣтельству, „безумно и напрасно"

Съ враждой боролася любовь,—

и вражда побѣдила. Демонъ одолѣлъ въ его душѣ Ангела; начало демоническое и злое, начало эгоизма и звѣрства облекалось въ его поэзіи въ чудныя формы несказанной красоты,—притворялось духомъ. Самъ онъ страдалъ отъ этого: не даромъ въ стихотвореніяхъ послѣднихъ лѣтъ его краткой жизни ему все грезилась смерть:

. . . я безъ страха жду довременный конецъ,
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый...

Тургеневъ говоритъ: „Внутренно Лермонтовъ вѣроятно скучалъ глубоко; онъ задыхался въ тѣсной сферѣ, куда его толкнула судьба".

Въ Лермонтовѣ погибъ великій поэтъ, который могъ бы занять одно изъ первыхъ мѣстъ во всемірной литературѣ.

Въ томъ же 1841 году, когда скончался Лермонтовъ, Тургеневъ началъ печатать въ журналахъ свои стихотворенія. Въ нихъ слышатся явно мотивы лермонтовской поэзіи.

Умираетъ старикъ („Старый помѣщикъ") и сокрушается передъ смертью объ одномъ только—что не удалось ему извѣдать страсти, всепоглощающей, беззавѣтной страсти:

. . . лишь бы смерть подождала
И насладиться мнѣ дала...
Ахъ, дайте страсть узнать и жизнь—
И я умру безъ укоризнъ!

Я грѣшникъ, Ваня. Мнѣ бы слѣдъ
Теперь подумать и о томъ,
Какъ Богу въ жизни дать отвѣтъ,
Послать бы надо за попомъ...
Но все мерещится—вотъ, вотъ
Ко мнѣ красавица идетъ...
Я слышу робкій шумъ шаговъ,
И страстный лепетъ милыхъ словъ—
И въ головѣ моей сѣдой
Нѣтъ мѣста мысли неземной.

Лермонтовская идея о томъ, что „вѣчно любить невозможно"—развивается новымъ поэтомъ въ „Варіяціяхъ", напечатанныхъ имъ въ сборникѣ 1845 г. „Вчера и Сегодня".

Когда такъ радостно, такъ нѣжно
Глядѣла ты въ глаза мои,
И лобызалъ я безмятежно
Рѣсницы длинныя твои;
Когда, бывало, ты стыдливо
Задремлешь на груди моей
И я любуюсь боязливо
Красой задумчивой твоей...
. . . . . .
Скажи мнѣ, могъ-ли я предвидѣть,
Что намъ обоимъ суждено
И разойтись и ненавидѣть
Любовь, погибшую давно?

Въ другой „варіяціи" поэту представляется даже смѣшнымъ миновавшее чувство:

А теперь этотъ день намъ смѣшонъ,
И порывы любовной тоски
Намъ смѣшны, какъ несбывшійся сонъ,
Какъ простые плохіе стишки.

Но гдѣ особенно сказалась ревность ученика-послѣдователя, такъ это въ стихотвореніи „Толпа" (Отеч. Зап. 1844 г., кн. 11). Здѣсь гордая, разочарованная личность таитъ въ себѣ свои муки и презираетъ не могущую понять ихъ толпу:

Среди людей, мнѣ близкихъ... и чужихъ,
Скитаюсь я—безъ цѣли, безъ желанья.
Мнѣ иногда смѣшны забавы ихъ,
Мнѣ самому смѣшнѣй мои страданья.
Страданій тѣхъ толпа не признаетъ,
Толпа—могучая—и ѣстъ и пьетъ исправно;
И что въ душѣ задумчивой живетъ—
Болѣзнію считаетъ своенравной...

„И права ты, толпа!" иронически восклицаетъ поэтъ. Онъ радъ что независимъ матерьяльно отъ людей; онъ таитъ отъ нихъ свою любовь и ненависть; онъ такъ замкнутъ въ своемъ гордомъ одинокомъ страданьѣ, что не хочетъ даже

... мечтать съ самимъ собой,
Бесѣдовать съ прекрасными друзьями.
. . . . . .
А потому... (говоритъ онъ) мнѣ жить не суждено,
И я тяну съ усмѣшкой торопливой
Холодной злости, злости молчаливой
Хоть горькое, но пьяное вино.

Таково общее настроеніе тургеневской лирики. Но однако, и въ эту пору уже начало у новаго писателя пробиваться что-то иное, свое, самобытное, какой-то смутный протестъ противъ покорившаго его духа. Есть у него одно, драгоцѣнное въ этомъ смыслѣ, стихотвореніе 1843 года; въ началѣ слышится лермонтовскій мотивъ, даже усиленный, но потомъ этотъ мотивъ смѣняется нѣжными и добрыми звуками иныхъ струнъ, иной лиры:

Когда давно забытое названье
Расшевелитъ во мнѣ внезапно вновь
Уже давно затихшее страданье,
Давнымъ-давно погибшую любовь,—
Мнѣ стыдно, что такъ медленно живу я
Что этотъ хламъ хранитъ душа моя,
Что ни слезы, ни даже поцалуя—
Что ничего не забываю я.
Мнѣ стыдно, да; а тамъ мнѣ грустно станетъ,
И неужель подумать я могу,
Что жизнь меня теперь ужь не обманетъ,
Что до конца я сердце сберегу?
Что въ-правѣ я отринуть горделиво
Всѣ прежнія, всѣ дѣтскія мечты,
Все, что въ душѣ цвѣтетъ такъ боязливо,
Какъ первые, весенніе цвѣты?
И грустно мнѣ, что то воспоминанье
Я былъ готовъ презрѣть и осмѣять.
Я повторю знакомое названье—
Въ былое весь я погруженъ опять.

Выше лирическихъ стихотвореній стоятъ, въ художественномъ отношеніи, тургеневскія поэмы. Между ними первое мѣсто, конечно, принадлежитъ „Парашѣ“, которую такъ одобрилъ Бѣлинскій. Эпиграфомъ этой поэмы явился стихъ Лермонтова: „и ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно“. Содержаніе произведенія—горестная исторія из-

бранной гордой натуры, вродѣ лермонтовской Тамары. Тургеневъ обрисовываетъ свою героиню такими поэтическими чертами:

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ—
Но не блестѣлъ онъ блескомъ торопливымъ;
То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,
То холодомъ проникнутъ горделивымъ,
То чуть мерцалъ, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.
Но взглядъ ея, задумчиво спокойный,
Я больше всѣхъ любилъ: я видѣлъ въ немъ
Возможность страсти горестной и знойной,
Залогъ души любимой Божествомъ.

Въ дальнѣйшихъ строфахъ къ этому очерку прибавляются еще двѣ черты:

. . . она подъ-часъ бывала зла
И жалиться умѣла какъ пчела.
—
Она была насмѣшливо—горда.

(Здѣсь поэтъ присоединяетъ кстати свое, до наивности подражательное замѣчаніе: „А гордость — добродѣтель, господа!“)

Параша мечтала о тревожной страсти, о бурной жизни сердца:

Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ,
Земля чужая вдругъ являлась ей...
И кто-то милый голосомъ призывнымъ
Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней.

(Замѣтимъ, что въ эту пору изображенія людей тревожныхъ и гордыхъ Тургеневъ былъ западникомъ и отрицательно относился къ русской дѣйствительности).

Таинственной исполненные муки,
Надъ ней, звеня, носились эти звуки...
И вотъ—искалъ ея молящій взоръ
Другихъ небесъ, высокихъ, пышныхъ горъ...
—
И тополей, и трепетныхъ оливъ...
Искалъ земли плѣнительной и дальней...

Но мечтамъ Параши не суждено сбыться. Она встрѣчаетъ человѣка, который возбуждаетъ въ ея сердцѣ любовь, который похожъ нѣсколько на ея мечтательный идеалъ, который кажется и разочарованнымъ, и горделивымъ... но

въ-сущности—это человѣкъ пустой, жившій весь вѣкъ чужимъ умомъ и теперь только по подражанію напустившій на себя скептицизмъ и другія плѣнительныя черты байронизма. Онъ „мѣтилъ въ бѣсы", но... (замѣчаетъ поэтъ):

Русскій бѣсъ не то, что чортъ нѣмецкій.
Нѣмецкій чортъ, задумчивый чудакъ,
Смѣшонъ и страшенъ; нашъ-же бѣсъ природный,
Россійскій бѣсъ,—и толстъ и простоватъ...

Герой поэмы боится страсти, боится отдаться искреннему чувству. Они идутъ въ-двоемъ съ Парашей по саду—

И можетъ быть онъ началъ понимать

(говоритъ поэтъ)

Всю прелесть первыхъ трепетныхъ движеній
Ея души... и сталъ въ немъ утихать
Крикливый рой смѣшныхъ предубѣжденій.
Но ей одной доступна благодать
Любви простой, и дѣтской, и стыдливой...
Нѣтъ, о любви не думаетъ она—
Но какъ листокъ блестящій и счастливый
Ее несетъ широкая волна...
Все въ этотъ мигъ кругомъ ей улыбалось,
Надъ ней одной все небо наклонялось,
И колыхаясь модленно, трава
Ей въ слѣдъ шептала милыя слова...

А онъ—онъ испугался, онъ предложилъ вернуться въ домъ и затѣмъ, ѣдучи послѣ ужина къ себѣ, благоразумно размышлялъ:

„Я радъ сосѣдямъ... дочь
У нихъ одна онъ человѣкъ богатый...
Притомъ она мила..."

Затѣмъ послѣдовало сватовство, свадьба; отецъ построилъ молодымъ обширный домъ, по старинному удобно расположенный; мужъ любилъ жену и уважалъ,—и потянулась будничная. обыденная, пошлая жизнь, безъ всякихъ волненій чувства, безъ радостей и страданій.

„Тѣмъ лучше", скажутъ мнѣ,—

(замѣчаетъ иронически поэтъ)

„разгаръ страстей"
„Опасенъ..." Точно; лучше безъ сомнѣнья
Спокойно жить и приживать дѣтей—
И не давать, особенно въ началѣ,

Щекамъ пылать... склоняться головѣ...
А сердцу забываться—и такъ далѣ.
Не правда-ль? Общепринятой молвѣ
Я покоряюсь—молча...

Поэтъ скорбитъ о своей героинѣ:

Но, Боже! то-ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмаго обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святаго, благодатнаго страданья!
. . . . . .
И вотъ что ей сулили ночи той,
Той лѣтней ночи страстныя мгновенья,
Когда съ такой тревожной быстротой
Въ ея душѣ смѣнялись вдохновенья...
Прощай, Параша!..

Ложная черта поэмы Тургенева—не въ томъ, конечно, что поэтъ отрицательно относится къ жизненной пошлости и къ своему благоразумному, разсудительному герою, не въ томъ что онъ сочувствуетъ тревожной душѣ своей Параши, ея жаждѣ бурь и радостей страстнаго чувства; а въ томъ,—что онъ не видитъ, не признаетъ возможности другой жизни, другихъ чувствъ, простыхъ и добрыхъ; онъ готовъ отрицать тихое счастье семейнаго быта,—и считаетъ достойнымъ человѣка назначеніемъ лишь „гордое страданье", котораго и желалъ своей героинѣ.

Та же идея о необходимости для избранной души гордаго страданья, да еще соединеннаго съ презрѣніемъ къ людямъ, высказывается и въ одномъ очень поэтическомъ эпизодѣ юмористической поэмы „Помѣщикъ". Описывается деревенскій балъ, обыденныя помѣщичьи лица.

Но вотъ—среди толпы густой
Мелькаетъ быстро передъ вами
Ребенокъ робкій и нѣмой
Съ большими, грустными глазами.
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ.
Но за собой она невольно
Влечетъ васъ... за нее вамъ больно
И страшно... блѣдный, томный цвѣтъ
Лица, — печальный слѣдъ сомнѣній,
Тревожныхъ, раннихъ размышленій,
Тоски, неопытныхъ страстей, —
И взглядъ внимательный — все въ ней

Вамъ говоритъ о самовластной
Душѣ... ребенокъ бѣдный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу надъ тобой...

—

О, нѣтъ! пускай твои желанья,
Твои стыдливыя мечты
Въ суровомъ холодѣ страданья
Погибнутъ... не погибнешь ты.
Безъ одобренья, безъ участья
Среди невѣждъ осуждена
Ты долго жить... но ты сильна,
А сильному не нужно счастья.
О немъ не думай... но судьбѣ
Не покоряйся; знай: въ борьбѣ
Съ людьми таится наслажденье
Неистощимое: презрѣнье
Какъ ядъ цѣлительный, оно
И жжетъ и заживляетъ рану
Души...

Въ послѣднихъ словахъ, въ наслажденіи ядомъ презрѣнья къ людямъ слышится суровый тонъ лермонтовскаго эгоизма; но первая половина этого очерка поэтической дѣвушки напоминаетъ другаго поэта, въ творчество котораго вылилось все, что было грустнаго, задушевнаго и горестнаго въ поэзіи Лермонтова; этотъ поэтъ — Огаревъ. И тутъ опять сказалась душевная мягкость Тургенева.

Поэма „Помѣщикъ“ отрицательно (и надо сказать—довольно слабо) изображаетъ русскую деревенскую жизнь. — Вотъ, напримѣръ, образъ деревенской барышни:

Вотъ — чисто русская красотка —
Одѣта плохо, тяжела,
И неловка, — но весела,
Добра, болтлива какъ трещотка,
И пляшетъ, пляшетъ отъ души.

Или вотъ картина бала, гдѣ поэтъ не пожалѣлъ темныхъ красокъ и неудачной ироніи:

Вообразите вереницу
Широкихъ лицъ, большихъ носовъ,
Улыбокъ томныхъ, башмаковъ
Козлиныхъ, лентъ и платьевъ бѣлыхъ,
Турбановъ, перьевъ, плечъ дебелыхъ,

Зеленыхъ, сѣрыхъ, карихъ глазъ,
Румяныхъ губъ и... и такъ далѣ, —
Заставьте барынь кушать квасъ —
найте: вы нарусскомъ балѣ.

Въ тонѣ поэмы слышится отрицаніе и разочарованіе; такъ, напримѣръ, говоря про помѣщика, что гнѣвъ его исчезъ, поэтъ прибавляетъ сравненіе:

Какъ паръ,
Какъ пыль, какъ женскія страданья,
Какъ дымъ, какъ юношескій жаръ,
Какъ радость перваго свиданья.

Но непрочно было разочарованіе молодаго писателя; непрочно было и его отрицательное отношеніе къ родной землѣ: мы неожиданно встрѣчаемъ среди насмѣшливыхъ строфъ и такіе сердечные стихи:

О, Русь! люблю твои поля,
Когда подъ яркимъ солнцемъ лѣта
Свѣтла, роскошно, вся согрѣта,
Блеститъ и нѣжится земля....
Люблю бродить въ лугу росистомъ
Весной, когда веселымъ свистомъ
И влажнымъ запахомъ полна
Степей живая тишина...

А незадолго передъ этимъ въ „Парашѣ" и русская природа, и даже русская пѣсня принижались передъ западною природой, о которой мечтала героиня.

Есть въ „Помѣщикѣ" еще одна интересная подробность: изображенъ здѣсь нѣмецъ-гувернеръ, человѣкъ уже старѣющій, но все еще мечтающій о своей невѣстѣ, оставленной на родинѣ, а также и объ этой родинѣ. Онъ немножко смѣшонъ, этотъ переписывающійся съ отцомъ своей невѣсты и сантиментально играющій на гитарѣ нѣмецъ; но позже, въ повѣсти „Фаустъ" онъ превратится въ болѣе симпатичнаго учителя Шиммеля; а еще позже, въ „Дворянскомъ гнѣздѣ", изъ него выйдетъ грандіозная и трогательная фигура Лемма. Такъ зрѣли и видоизмѣнялись типы въ душѣ великаго художника.

Не будемъ подробно останавливаться на двухъ остальныхъ поэмахъ Тургенева: „Разговоръ" (1845 г.) и „Андрей" (1846 г.). — Въ послѣдней нарисована простая, будничная

семейная жизнь не совсѣмъ обыденной молодой женщины съ любящимъ ее, но пожилымъ и вполнѣ прозаичнымъ мужемъ, котораго занимаютъ лишь мелочные интересы и который не можетъ дать пищи ея сердечнымъ порывамъ; эти порывы заглохли-было, — но явился молодой человѣкъ съ возвышенными стремленіями, съ живымъ умомъ, съ сердцемъ; завязалась дружба, разыгравшаяся въ любовь. Молодой человѣкъ (Андрей, герой поэмы) счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ удалиться, надорвавъ и ея душу, и свою. Мораль поэмы — въ написанномъ черезъ значительный промежутокъ времени послѣ разлуки письмѣ героини къ этому Андрею, письмѣ, гдѣ она говоритъ ему, что онъ не любилъ ее, что если-бы любилъ, такъ не бросилъ [1]).

„Разговоръ" (довольно далекая отъ реальной дѣйствительности, но написанная звучными стихами, сцена бесѣды разочарованнаго старика отшельника съ разочарованнымъ тоже молодымъ человѣкомъ, его ученикомъ) — представляетъ развитіе мысли лермонтовской „Думы" о томъ, что

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ цѣли и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.

Здѣсь отрицается значеніе и новаго поколѣнія, и поколѣній прежнихъ. „Молодой человѣкъ" говоритъ старику:

Что-жь? отвѣчайте намъ! Увы!
Какъ наши внуки — на покой
Безсмысленный спѣшили вы
Съ работы трудной, но пустой...
И мы не лучше васъ... о нѣтъ!
Намъ то-же предстоитъ.

Выше и лучше самой поэмы коротенькое стихотворное предисловіе къ ней; вотъ его вторая строфа, изображающая думы поэта послѣ того какъ „блестящій пиръ утихъ":

И спящій міръ дышалъ безсмертной красотой...
Но глазъ не подымалъ, и проходилъ я мимо;
О жизни думалъ я, объ истинѣ святой,

---

[1]) Мотивъ, затронутый въ наши дни другимъ поэтомъ, писателемъ новаго, начинающагося періода литературы, въ его поэмѣ „Забытый дневникъ", но затронутый иначе (Стихотворенія гр. А. А. Голенищева-Кутузова).

О всемъ, что на землѣ навѣкъ неразрѣшимо.
Я небо вопрошалъ... и тяжко было мнѣ —
И вся душа моя пересытилась тоскою...
А звѣзды вѣчныя спокойной чередою
Торжественно неслись въ туманной вышинѣ.

Изъ этихъ прекрасныхъ стиховъ мы видимъ, что подражательное недовольство жизнью, увлеченіе этимъ недовольствомъ привели Тургенева не къ разочарованію, а къ строгой думѣ объ истинѣ и о жизни, другими словами — не подорвали его генія. Въ стихахъ этихъ слышится нѣчто болѣе серьезное и живое, чѣмъ печоринское разочарованіе.

Въ томъ-же году, когда сочинена поэма „Разговоръ", т. е. въ 1844, Тургеневъ выступилъ на свою настоящую дорогу — написалъ прозаическую повѣсть „Андрей Колосовъ".

Эта повѣсть, — произведеніе молодое и незрѣлое, — очень замѣчательна однако, по происходящей въ ней борьбѣ молодаго писателя съ тяготѣющимъ надъ его душою лермонтовскимъ міросозерцаніемъ. Онъ подмѣтилъ уже нѣкоторыя ложныя черты печоринскаго типа, мрачное разочарованіе напримѣръ, но самый типъ еще увлекаетъ его; онъ воплотилъ этотъ типъ въ Андреѣ Колосовѣ, хотя и въ своихъ собственныхъ мягкихъ формахъ (что, впрочемъ, вышло нѣсколько странно и даже противорѣчиво). Юноша, студентъ Андрей Колосовъ слылъ между товарищами необыкновеннымъ человѣкомъ; у него была какая-то сила, какая-то власть надъ людьми. — Колосовъ былъ веселъ и ласковъ.

„Въ немъ не было ни той таинственности, которою щеголяютъ юноши, одаренные самолюбіемъ, блѣдностью, черными волосами и „выразительнымъ" взглядомъ, ни того поддѣльнаго равнодушія, подъ которымъ будто-бы скрываются громадныя силы; нѣтъ: онъ весь былъ, какъ говорится, на-распашку; но когда имъ овладѣвала страсть, во всемъ существѣ его внезапно проявлялась порывистая, стремительная дѣятельность; только онъ не тратилъ своей силы по пустому, и никогда, ни въ какомъ случаѣ не становился на ходули.

Въ образѣ этого Колосова Тургеневъ очень искусно отдѣлилъ отъ печоринскаго типа всѣ тѣ черты, которыя

составляютъ Грушницкаго и которыя самъ творецъ Печорина еще въ значительной мѣрѣ оставилъ за своимъ героемъ, эти черты: разочарованіе, мрачность, напускное равнодушіе и рисовка всѣмъ этимъ.

Главныя свойства Колосова собственно: эгоизмъ, безсердечность отношеній къ людямъ и откровенная готовность слѣдовать своимъ страстямъ и ощущеніямъ. Но разсказчикъ повѣсти, товарищъ Колосова (въ это лице Тургеневъ вложилъ видимо много своего, субъективнаго), не смѣетъ такъ думать и, увлеченный, объясняетъ все въ своемъ другѣ — его простотой, правдивостью и искренностью его натуры. — Характеръ Колосова выказывается въ его отношеніяхъ къ другу, Гаврилову, и къ любимой дѣвушкѣ — Варѣ. — Гавриловъ былъ глупый, но „робкій и кроткій“ мальчикъ; онъ спасъ Колосову жизнь, любилъ его и былъ ему безпредѣльно преданъ. И вотъ Колосовъ эксплоатируетъ его преданность: деспотически пользуясь его безмолвіемъ, онъ заставляетъ его по цѣлымъ днямъ играть въ карты съ „старымъ плутомъ“ Иваномъ Семенычемъ и доставлять такимъ образомъ возможность ему, Колосову, наслаждаться бесѣдами съ Варей.

Варя, какъ Гавриловъ, всею душой была предана Колосову и полюбила его первой и чистой дѣвической любовью. Послѣ бесѣдъ съ нимъ въ саду, —

„Все лице ея дышало восторженною преданностью, усталостью отъ избытка блаженства... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута имъ, что незамѣтно перенимала его привычки, такъ-же взглядывала, такъ-же смѣялась, какъ онъ... А онъ... Колосовъ (замѣчаетъ разсказчикъ) не утратилъ своей свободы; онъ былъ все тѣмъ-же безпечнымъ, веселымъ и счастливымъ человѣкомъ, какимъ мы его всегда знавали“.

Т. е. (прибавимъ мы отъ себя) Колосовъ былъ вполнѣ доволенъ своей личностью и не могъ, не умѣлъ, да и не хотѣлъ, любить такъ искренно и душевно, какъ Варя. Оттого его чувство скоро и прекратилось. Да онъ и зналъ, что такъ будетъ, онъ не ждалъ вѣчной привязанности, — не даромъ онъ и не думалъ о сватовствѣ и не прекращалъ своихъ связей съ другою дѣвушкою. (Разсказчикъ говоритъ про эту другую, что она была „весьма легкая барышня, черноволосая, смуглая, лѣтъ 25-ти, развязная и умная какъ

бѣсъ... Колосовъ ссорился и мирился съ нею разъ 5 въ мѣсяцъ. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждетъ его крови... да и Андрей не могъ бы обойтись безъ нея"). — Когда Колосовъ охладѣлъ къ Варѣ, онъ спокойно пересталъ къ ней ѣздить, и остался по-прежнему веселымъ и безпечнымъ. А брошенная дѣвушка тосковала горько и безотрадно; но онъ объ этомъ не безпокоился. — Разсказчикъ, замѣнявшій ему въ это время Гаврилова, вознегодовалъ, сталъ его упрекать; и вотъ что сказалъ ему Колосовъ:

„Положимъ, что тебѣ, какъ другу моему, позволено осуждать меня... Но выслушай-же мое оправданіе, хотя"... Тутъ онъ помолчалъ немного и странно улыбнулся. „Варя прекрасная дѣвушка, продолжалъ онъ: и ни въ чемъ передо мной не виновата... Напротивъ, я ей многимъ обязанъ, очень многимъ. Я пересталъ ходить къ ней по весьма простой причинѣ — я разлюбилъ ее"... „Да отчего-же? отчего-же?" перебилъ я его. — А Богъ знаетъ отчего. Пока я любилъ ее, я весь принадлежалъ ей; я не думалъ о будущемъ, и всѣмъ, всей жизнью своей дѣлился съ нею... теперь эта страсть во мнѣ погасла... Что-жь? Ты мнѣ прикажешь притворяться, прикидываться влюбленнымъ что-ли? Да изъ чего? изъ жалости къ ней? Если она порядочная дѣвушка, такъ она сама не захочетъ такой милостыни; а если она рада тѣшиться моимъ... участіемъ, такъ чортъ-ли въ ней?"...

Колосовъ даже смѣется надъ только-что миновавшей своей любовью:

„Ты сидѣлъ съ ней подъ яблоней въ саду?"

(сказалъ онъ пріятелю).

„Помнится въ маѣ и я сидѣлъ съ ней на этой скамейкѣ... Яблонь была въ цвѣту, изрѣдка падали на насъ свѣжіе бѣлые цвѣточки, я держалъ обѣ руки Вари... мы были счастливы тогда... Теперь яблонь отцвѣла, да и яблоки на ней кислые".

У Колосова хватаетъ безсердечія на вопросъ: „По крайней мѣрѣ, что ты велишь сказать Варѣ?" отвѣтить словами:

Она тебѣ сказывала, что мы вмѣстѣ съ ней читали Пушкина... Напомни ей одинъ пушкинскій стихъ...

Что было, то не будетъ вновь.

Подобныя до цинизма эгоистическія рѣчи не могли, конечно, успокоить взволнованное сердце неиспорченнаго юноши, принужденнаго ихъ выслушивать, — и онъ, уже ранѣе романтически жаждавшій любви и мечтательно влю-

бленный даже немножко въ Варю, теперь, растроганный чувствомъ состраданія, вообразилъ себя окончательно влюбленнымъ — и съ горяча посватался; но затѣмъ тотчасъ-же испугался и бѣжалъ, не явился совсѣмъ къ невѣстѣ. Онъ обвиняетъ себя безпощадно за такой поступокъ, — и это даетъ ему поводъ опять поднять высоко Колосова въ своихъ глазахъ. Онъ сравниваетъ Колосова съ собою:

Какъ глубоко я чувствовалъ (говоритъ онъ) его превосходство надо мною! Какъ смѣшны показались мнѣ всѣ мои затѣи... Я разыгралъ плохую, крикливую и растянутую комедію, а онъ такъ просто, такъ хорошо прожилъ это время... Вы мнѣ скажете: „что-жь тутъ удивительнаго? вашъ Колосовъ полюбилъ дѣвушку, потомъ разлюбилъ и бросилъ ее... Да это случалось со всѣми“... Согласенъ; но кто изъ насъ успѣлъ во время разстаться съ своимъ прошедшимъ? Кто, скажите, кто не боится упрековъ, не говорю упрековъ женщины... упрековъ перваго глупа? Кто изъ насъ не поддавался желанію то щегольнуть великодушіемъ, то себялюбиво поиграть съ другимъ, преданнымъ сердцемъ? Наконецъ, кто изъ насъ въ силахъ противиться мелкому самолюбію, мелкимъ хорошимъ чувствамъ: сожалѣнію и раскаянію... Если ясный, простой взглядъ на жизнь, если отсутствіе всякой фразы въ молодомъ человѣкѣ можетъ назваться вещью необыкновенною Колосовъ заслужилъ данное ему имя. Въ извѣстныя лѣта быть естественнымъ значитъ — быть необыкновеннымъ“.

Эта тирада чрезвычайно интересна въ психологическомъ смыслѣ: очевидно, разсказчикъ хочетъ здѣсь возвеличить Колосова, но такъ-же очевидно, что въ глубинѣ души онъ не далекъ отъ осужденія своего необыкновеннаго друга. Онъ называетъ (по подражанію) сожалѣніе и раскаяніе „мелкими хорошими чувствами“; но ему самому, слава Богу, эти чувства хорошо знакомы, не то что безсердечному Колосову. Онъ дурно поступилъ съ Варей, но поступилъ какъ мальчикъ, легкомысленно, вѣтренно — и не болѣе; Колосовъ дѣйствовалъ какъ холодный эгоистъ, не любящій никого, кромѣ своей личности, своего „я“. — Если есть что́ въ Колосовѣ необыкновенное, такъ это—душевный холодъ, безсердечіе въ такія молодыя, юношескія лѣта.

Печоринскому типу, какимъ онъ явился въ Колосовѣ, Тургеневъ, какъ мы видимъ, если не совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени сочувствуетъ. Нельзя сказать того-же про этотъ типъ въ повѣсти „Бреттеръ“. — Здѣсь, напротивъ, въ лицѣ Авдѣя Лучкова, поэтъ намѣренно и сознательно развѣнчиваетъ нѣкоторыя черты Пе-

чорина, а именно тѣ самыя, отъ которыхъ онъ освободилъ Колосова: мрачность, напускное разочарованіе и рисовку, то, что Апол. Григорьевъ назвалъ „внѣшними сторонами“ печоринскаго типа.

Лучковъ сдѣлался разочарованнымъ не потому, что много испыталъ въ жизни, а потому, что хочетъ маскою равнодушія прикрыть бѣдность своей душевной жизни.

„Онъ принадлежалъ (говоритъ авторъ) къ числу людей, которымъ какъ-будто дано право власти надъ другими; но природа отказала ему въ дарованіяхъ — необходимомъ оправданіи подобнаго права. Не получивъ образованія, не отличаясь умомъ, онъ не долженъ бы былъ разоблачаться; можетъ быть, ожесточеніе въ немъ происходило именно отъ сознанія недостатковъ своего воспитанія, отъ желанья скрыть себя всего подъ одну неизмѣнную личину. Авдѣй Ивановичъ сперва заставлялъ себя презирать людей; потомъ замѣтилъ, что ихъ пугнуть не трудно и дѣйствительно сталъ ихъ презирать. Лучкову было весело прекращать однимъ появленіемъ своимъ всякій не совсѣмъ пошлый разговоръ. „Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нѣтъ“, думалъ онъ про себя: „такъ и вы ничего не знайте и не выказывайте своихъ способностей при мнѣ“...

Внутренняя пустота, грубость и холодность Лучкова обнаруживаются въ его отношеніяхъ къ Машѣ Перекатовой и къ Кистеру. — Молодая дѣвушка наслышалась о разочарованіи Лучкова, вообразила его непонятымъ страдальцемъ и заинтересовалась имъ. Добросердечный и немножко сантиментальный Кистеръ, идеализировавшій своего страннаго друга, невольно раздулъ это дѣло. И вотъ Лучковъ, польщенный, что возбудилъ вниманіе къ своей особѣ, начинаетъ рисоваться равнодушіемъ и отвагою: рискуя упасть въ воду, онъ срѣзываетъ палашомъ водяной цвѣтокъ, и тутъ же, по тупости своей и надутому эгоизму, не можетъ воздержаться, чтобы не обнаружить сокровенныхъ пружинъ своихъ дѣйствій: „а я не умѣю плавать“, прибавляетъ онъ неожиданно. — Маша, идеализируя Лучкова и воображая, что онъ хочетъ сказать ей что-то важное, лежащее у него на душѣ, неосторожно назначаетъ ему встрѣчу въ рощѣ. — Довольный, потому что удовлетворено его самолюбіе. Лучковъ идетъ хвастать объ этомъ Кистеру:

„я хотѣлъ тебѣ замѣтить (говоритъ онъ между прочимъ), что ты насчетъ женщинъ ошибаешься, другъ мой. Повѣрь мнѣ, Федя, онѣ всѣ на одну стать. Стоитъ похлопотать немного, повертѣться около нихъ, и дѣло въ шляпѣ“.

„Лучковъ покачивался на креслахъ (разсказываетъ поэтъ), жмурился, потягивался, — и приписывая ревности волненіе Кистера, чуть не задыхался отъ удовольствія. Но Кистера мучила не ревность: онъ былъ оскорбленъ не самимъ признаніемъ, но грубой небрежностью Авдѣя, его равнодушнымъ и презрительнымъ отзывомъ о Машѣ". — На свиданіи Лучковъ ведетъ себя такъ-же глупо и совершенно грубо, обнаруживая недостатокъ и сердца, и уваженіе къ другому человѣку: вмѣсто „нѣжныхъ и почтительныхъ рѣчей", которыхъ ожидала Маша, — онъ самонадѣянно цѣлуетъ ее, а въ отвѣтъ на ея испугъ говоритъ:

„Чего-же вы боитесь? Велика важность? Вѣдь между нами уже все... того... Ну, полноте! Что за глупости!"

Когда-же испуганная Маша зоветъ горничную, — онъ выходитъ изъ себя отъ самолюбиваго гнѣва и кричитъ:

„Браво! браво! Умно — нечего сказать! Вы я вижу приняли всѣ мѣры предосторожности, Марья Сергѣвна? Осторожность никогда не мѣшаетъ. Каково? Въ наше время барышни дальновиднѣе стариковъ. Вотъ тебѣ и любовь

— Я не знаю, господинъ Лучковъ (замѣчаетъ Маша), кто вамъ далъ право говорить о любви... о какой любви?

— Какъ кто! Да вы сами! перебилъ ее Лучковъ: вотъ еще!... я понимаю, что вамъ угодно было смѣяться надо мной...

— Совсѣмъ нѣтъ, Авдѣй Иванычъ... я даже очень сожалѣю...

— Ужь, пожалуйста, не толкуйте о вашемъ сожалѣніи, съ запальчивостью перебилъ ее Авдѣй: ужь отъ этого-то вы меня избавьте!

— Господинъ Лучковъ...

— Да не извольте смотрѣть герцогиней... Напрасный трудъ! меня вы не запугаете".

Свою неудачу съ Машей Лучковъ приписываетъ не себѣ, не своей грубости, а проискамъ Кистера. Онъ идетъ къ своему былому пріятелю и грубо его оскорбляетъ, высказывая ему подозрѣніе, что тотъ интриговалъ противъ него, причемъ откровенно сознается въ своемъ эгоизмѣ: „я имѣю слабость думать (заявляетъ онъ), что другіе люди не лучше меня". Онъ вызываетъ Кистера на дуэль, мстя этимъ и ему, и Машѣ, которую считаетъ своей оскорбительницей.

„Я, признаться (злобно смѣется онъ уже послѣ вызова), съ большимъ удовольствіемъ наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное и бѣлокурое лицо".

На дуэли онъ, какъ извѣстно, убиваетъ Кистера. — Должно замѣтить, что здѣсь поэтъ, глубоко справедливый въ отношеніяхъ къ своимъ героямъ, показываетъ намъ, что не все доброе заглохло въ душѣ Лучкова:

„Авдѣй подошелъ къ убитому. На его сумрачномъ и похудѣвшемъ лицѣ выразилось свирѣпое, ожесточенное сожалѣніе... Онъ поглядѣлъ на адъютанта и на маіора, наклонилъ голову, какъ виноватый, молча сѣлъ на лошадь и поѣхалъ шагомъ прямо на квартиру полковника“.

Это „сожалѣніе“ Лучкова свидѣтельствуетъ, что онъ нѣсколько любилъ Кистера, что не совсѣмъ ложно считался его другомъ.

Борьба Тургенева съ печоринскимъ типомъ, такъ замѣтна въ этой повѣсти, можетъ, однако, возбудить недоумѣніе и показаться напрасной, ибо за внѣшнимъ холодомъ и грубостью Лучкова нѣтъ ни ума, ни сердца Печорина; стоило-ли развѣнчивать однѣ внѣшнія стороны типа? На это недоумѣніе можно отвѣтить, что повѣстью достигнуты двѣ цѣли: во 1-хъ, она выясняетъ намъ, что подъ разочарованностью, подъ равнодушіемъ можетъ такъ и не быть никакого внутренняго содержанія, что эти свойства вовсе не предполагаютъ въ прошломъ человѣка богатой духовной жизни, душевныхъ бурь и страстей; во 2-хъ, повѣсть показываетъ, что подобныя разочарованіе и равнодушіе неизбѣжно, необходимо связаны съ эгоизмомъ и сомнѣніемъ.

Третье произведеніе, въ которомъ передъ нами опять печоринскій типъ,—есть повѣсть 1846 года „Три портрета“. — Типъ облекся здѣсь въ историческія формы, явился въ образѣ вольтерьянца прошлаго вѣка—Василія Лучинова. — Въ этой повѣсти Тургеневъ уже видимо выросъ, поднялся до относительной объективности изображенія жизни.

Въ Василіи Лучиновѣ мы видимъ — съ одной стороны: душевный холодъ, беззавѣтный эгоизмъ, отсутствіе всякихъ нравственныхъ принциповъ; съ другой стороны — огонь страсти, силу воли, могущество очарованія надъ людьми. (По словамъ Ап. Григорьева, Лучиновъ, въ этомъ смыслѣ, даже „сильнѣе и обаятельнѣе“ Печорина). Двойственность его души, его натуры прекрасно видитъ самъ поэтъ:

„Лучиновъ всегда оставался загадкой для всѣхъ (говоритъ онъ); въ самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствіе

страннаго, почти южнаго пламени; и въ самомъ бѣшеномъ разгарѣ страсти отъ этого человѣка вѣяло холодомъ".

Разсказу о похожденіяхъ Василія Лучинова предшествуетъ такая его характеристика:

„Вообразите себѣ человѣка, одареннаго необыкновенной силой воли, страстнаго и разсчетливаго, терпѣливаго и смѣлаго, скрытнаго до чрезвычайности и — по словамъ всѣхъ его современниковъ — очаровательно, обаятельно любезнаго. Въ немъ не было ни совѣсти, ни доброты, ни честности, хотя никто его не могъ назвать положительно злымъ человѣкомъ. Онъ былъ самолюбивъ, но умѣлъ таить свое самолюбіе, и страстно любилъ независимость. Когда, бывало, Василій Ивановичъ, улыбаясь, ласково прищуритъ черные глаза, когда захочетъ плѣнить кого-нибудь, говорятъ, невозможно было ему противиться".

Пріѣхавъ изъ Петербурга въ родную деревню, онъ съумѣлъ очаровать всѣхъ: и суроваго отца своего Ивана Андреича, и свою несчастную мать, и братьевъ, которые „нѣмѣли передъ нимъ и удивлялись ему, какъ существу высшему". — Старый, преданный Ивану Андреичу слуга Юдичъ такъ былъ обойденъ Василіемъ, что обманулъ для него барина и готовъ былъ безропотно перенести на себѣ всѣ послѣдствія этого обмана, не выдавая Василія. — Бѣдная простодушная Ольга Ивановна, на свѣжую степную красоту которой Василій удостоилъ обратить свое временное вниманіе, предалась ему вся, беззавѣтно; Василій съумѣлъ заставить ее „перестать его дичиться" и кончилось тѣмъ, что „въ Ольгѣ исчезла, наконецъ, всякая самостоятельность, всякая воля... она даже не хотѣла противиться обаянью". — Василій съумѣлъ очаровать и жениха Ольги, простодушнаго, робкаго, слабаго, но вполнѣ добраго и честнаго Рогачева. — Въ Лучиновѣ, говоритъ Апол. Григорьевъ, „старый типъ Донъ-Жуана, Ловласа и т. д. впервые принялъ наши русскія, оригинальныя формы".

Нельзя не замѣтить, что сила Лучинова, способность его увлекать людей, его страстный внутренній огонь очаровываютъ и самого Тургенева; поэтъ даже нѣсколько идеализируетъ своего безнравственнаго героя; это видно, напримѣръ, въ слѣдующемъ изображеніи дѣятельности Василія, когда Ольга, полюбивши его, совсѣмъ растерялась и легко могла выдать и себя, и его, — тогда Василій сталъ работать за двухъ (говоритъ поэтъ):

„въ его буйномъ и шумномъ весельѣ только опытный наблюдатель могъ бы замѣтить лихорадочную напряженность; онъ игралъ братьями, сестрами, Рогачевымъ, сосѣдями, сосѣдками — какъ пѣшками; вѣчно былъ на-сторожѣ, не терялъ ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнѣйшимъ человѣкомъ; каждое утро вступалъ въ сраженіе и каждый вечеръ торжествовалъ побѣду. Онъ нисколько не тяготился такой страшной дѣятельностью, спалъ четыре часа въ сутки, ѣлъ очень мало — и былъ здоровъ, свѣжъ и веселъ“.

Эта горячая тирада автора „Трехъ портретовъ“ теперь, намъ (знакомымъ съ дальнѣйшими, высшими созданіями Тургенева) представляется даже нѣсколько комичной: игра не стоила свѣчъ, — не стоило съ такимъ одушевленіемъ говорить о пустыхъ, пошлыхъ и низкихъ продѣлкахъ Лучинова. — Впослѣдствіи подобный характеръ потерялъ всякую власть надъ душой Тургенева: вольтерьянецъ, который казался поэту прежде такимъ интереснымъ и обаятельнымъ существомъ, сталъ ему представляться просто жалкимъ и смѣшнымъ. Таковъ Иванъ Петровичъ Лаврецкій, отецъ героя „Дворянскаго гнѣзда“, воспитавшійся на философской мудрости XVIII вѣка и выросшій въ тогдашнемъ модномъ свѣтѣ, подобно Василію Лучинову. (Замѣчательно, что и умираютъ они оба одинаково: въ деревнѣ, разбитые параличомъ).

Справедливость требуетъ, однако, сказать, что и въ 1846 году, т. е. сочиняя „Три портрета“, Тургеневъ не закрывалъ глазъ на темныя стороны своего героя, и хоть не развѣнчивалъ его рѣшительно, но и не инстинктивно только и робко протестовалъ противъ его зла, — а нарисовалъ это зло, эту безнравственность объективно, не стараясь ее оправдать и разъяснить въ пользу героя, какъ въ „Андреѣ Колосовѣ“.

Въ повѣсти откровенно разсказывается, какъ Василій Лучиновъ похитилъ у отца деньги (впрочемъ надѣясь ихъ къ сроку возвратить), какъ онъ подвелъ этимъ стараго слугу подъ позорное наказаніе, и хоть въ рѣшительную минуту поэтъ и заставляетъ его заступиться за Юдича и открыть себя, но тутъ же повѣствуетъ, что Василій не стѣснился вынуть шпагу на пригрозившаго ему отца. (Кстати будетъ замѣтить, что должно быть въ эту минуту блестящій Василій думалъ то-же самое, что наивно говорилъ глу-

пый фонвизинскій вольтерьянецъ Иванушка своему отцу-бригадиру: „я такой же дворянинъ, какъ и вы, monsieur“). — Откровенно разсказывается въ повѣсти и о подломъ поступкѣ Василія съ Ольгой и Рогачевымъ: когда бѣдная дѣвушка ему надоѣла, онъ рѣшился посредствомъ обмана и насилія устроить ея бракъ съ бывшимъ женихомъ. Онъ сказалъ Ольгѣ, что надо все открыть матери,—и открылъ, но только оставивъ себя въ сторонѣ и обвинивъ во всемъ неповиннаго Рогачева; а чтобы мать не стала упрекать Ольгу, или вѣрнѣе — чтобы она какъ-нибудь не открыла истины, Василій грозитъ ей, что за лишнее слово не пощадитъ ее — откроетъ извѣстную ему ея былую ошибку, ея заблужденіе. Когда Ольга начинаетъ догадываться о низкомъ обманѣ, Василій не даетъ ей сказать слова, и, разъигрывая благороднаго защитника чести своей семьи, ѣдетъ объясняться къ Рогачеву. Возмутителенъ его нахально дерзкій разговоръ съ Рогачевымъ.

— Даешь ты мнѣ слово жениться на ней завтра же?

— Да, помилуйте, Василій Иванычъ... не сами ли вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Безъ васъ она бы давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значатъ ваши угрозы, ваши настоятельныя требованія.

Павелъ Афанасьевичъ отеръ потъ съ лица.

— Даешь ли ты мнѣ слово? говори: да или нѣтъ? повторилъ съ разстановкой Василій.

— Извольте... даю-съ, но...

— Хорошо. Помни же... А она во всемъ призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да въ чемъ призналась?

— Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павелъ Афанасьевичъ? Я вѣдь вамъ не чужой.

— Въ чемъ я притворяюсь? я васъ не понимаю, рѣшительно не понимаю. Въ чемъ могла Ольга Ивановна признаться?

— Въ чемъ? вы мнѣ надоѣли! Извѣстно — въ чемъ.

— Убей меня Богъ...

— Нѣтъ, я тебя убью, если ты на ней не женишься... понимаешь?

И онъ, дѣйствительно, убиваетъ Рогачева, когда тотъ понялъ дѣло и отказался отъ своего слова, убиваетъ какъ разбойникъ, ибо нельзя даже назвать дуэлью поединокъ съ человѣкомъ завѣдомо неумѣющимъ держать шпагу въ рукѣ.

Такимъ образомъ, если въ повѣсти и замѣтно еще увлеченіе Тургенева страстнымъ и эгоистическимъ типомъ, замѣтно даже нѣкоторое идеализированіе его, то съ другой стороны типъ разоблаченъ фактами, показаны, безъ софистическихъ оправданій, его дѣла, показана его способность къ совершенію низкихъ поступковъ, вслѣдствіе непомѣрнаго себялюбія и гордости. — Ясно, что поэтъ въ душѣ борется съ печоринскимъ типомъ, что онъ даже близокъ къ освобожденію изъ-подъ удручающаго его геній вліянія лермонтовской поэзіи.

И въ самомъ дѣлѣ, въ слѣдующей же повѣсти мы увидимъ это освобожденіе.

2.

Повѣсть «Пѣтушковъ». — Комедія: «Нахлѣбникъ» и «Холостякъ».

„Тремя портретами“ закончилась эпоха увлеченія Тургенева Лермонтовымъ и печоринскимъ типомъ. Въ слѣдующемъ послѣ „Трехъ портретовъ“ 1847 году написанъ „Пѣтушковъ“, повѣсть прямо противоположнаго направленія, въ которой героемъ оказался человѣкъ маленькій и слабый, человѣкъ толпы, и въ которой поэтъ сочувственно отнесся къ этому слабому и ничтожному герою. — И повѣсть „Пѣтушковъ“, и новое отношеніе Тургенева къ жизни — опять не самобытны, не оригинальны: впечатлительный и чуткій писатель, оставивъ одного учителя, увлекся творчествомъ другаго крупнаго таланта; и что особенно странно или оригинально, это то обстоятельство, что новымъ руководителемъ Тургенева оказался его современникъ и сверстникъ — Достоевскій. „Пѣтушковъ“, какъ можно догадываться, навѣянъ „Бѣдными людьми“, явился результатомъ того сильнаго впечатлѣнія, которое произвелъ и на писателей, и на публику первый романъ Достоевскаго, напечатанный въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ 1846 года. Романъ этотъ создалъ литературную школу. Такъ какъ Тургеневъ былъ нѣкоторое время однимъ изъ выдающихся дѣятелей

этой школы, то мы должны нѣсколько остановиться на „Бѣдныхъ людяхъ“ и на выразившемся въ нихъ оригинальномъ отношеніи къ человѣку и къ жизни вообще.

Бѣлинскій, какъ извѣстно, восторженно привѣтствовалъ „Бѣдныхъ людей“ и справедливо сказалъ про Достоевскаго, что рѣдко кто изъ писателей такъ блистательно начиналъ свою дѣятельность. Однако знаменитый критикъ указалъ и на то обстоятельство, что Достоевскій собственно пошелъ по дорогѣ открытой и проторенной Гоголемъ.

Въ годину смерти Достоевскаго, когда такъ напряженно, такъ страстно проявились, всегда впрочемъ жившія въ русскомъ обществѣ, благородныя симпатіи къ автору „Мертваго дома“ и другихъ чудесныхъ произведеній, — одинъ изъ нашихъ уважаемыхъ мыслителей и критиковъ — Н. Н. Страховъ, въ своей рѣчи о знаменитомъ покойникѣ, поставилъ его „Бѣдныхъ людей“ гораздо выше, чѣмъ это дѣлалъ Бѣлинскій, поставилъ выше „Шинели“ и „Записокъ сумасшедшаго“ Гоголя.

„Конечно, сказалъ онъ, Гоголь лилъ тѣ тайныя слезы, о которыхъ онъ говоритъ; но это были слезы сожалѣнія восторженнаго идеализма, а не слезы любви“ (Русь 1881 г. № 16, стр. 16). Напряженно-чуткое настроеніе, благодаря которому Гоголь видѣлъ пошлость жизни, было слишкомъ напряженно, и оттого въ поэтѣ поднималось преимущественно „непобѣдимое отвращеніе... при видѣ безобразія и безсмыслія русской жизни“. Отношеніе Гоголя къ Акакію Акакіевичу (герою „Шинели“), и даже къ человѣку вообще, критикъ назвалъ „безжалостнымъ“, „жестокимъ“, „сухимъ“; иронію великаго юмориста—„безпощадной“. „Между тѣмъ какъ у Гоголя, выразился онъ, выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость, Макаръ Дѣвушкинъ (герой „Бѣдныхъ людей“), этотъ новый Поприщинъ, обладаетъ сокровищами нѣжности, самоотверженія, лучшихъ сердечныхъ чувствъ, о красотѣ которыхъ онъ самъ не догадывается“. Вслѣдствіе всего этого въ „Бѣдныхъ людяхъ“ и въ дальнѣйшей дѣятельности Достоевскаго критикъ увидѣлъ — „смѣлую и рѣшительную поправку Гоголя, существенный, глубокій поворотъ въ нашей литературѣ“.

Въ этихъ своихъ мысляхъ, которыя, замѣтимъ мимоходомъ, „Русь“ напечатала съ оговоркой, что Достоевскій

не „поправка“, а „дополненіе“ Гоголя, въ этихъ мысляхъ уважаемый современный писатель далеко отошелъ отъ Апол. Григорьева, послѣдователемъ котораго онъ нѣкогда считался. Апол. Григорьевъ думалъ обо всемъ этомъ совершенно иначе: онъ считалъ Достоевскаго, какъ автора „Бѣдныхъ людей“, главою одного изъ двухъ направленій нашей новой литературы, пошедшихъ отъ Гоголя, но стоящихъ гораздо ниже поэтическаго направленія своего родоначальника.

„Гоголь оставилъ по себѣ двѣ школы (писалъ Апол. Григорьевъ, разумѣя тѣ два направленія творчества, представителями которыхъ были: одного—Достоевскій, другого — Писемскій. Соч. Григ. I. 18—19). Въ произведеніяхъ этихъ двухъ натуральныхъ школъ... раздвоился полный и цѣльный Гоголь“.

Про то изъ этихъ направленій, во главѣ котораго стоялъ Достоевскій, критикъ сказалъ слѣдующее:

„Шинель“ и нѣкоторыя другія произведенія Гоголя подали поводъ къ... рѣзкой односторонности въ произведеніяхъ такъ называемой „натуральной“ школы, которую гораздо вѣрнѣе можно назвать школою „сентиментальнаго натурализма“. Вопль идеалиста Гоголя за идеалъ, за „прекраснаго человѣка“ — перешелъ здѣсь въ вопль и протестъ за разслабленнаго, за хилаго морально и физически человѣка. Горькій смѣхъ великаго юмориста надъ измельчавшимъ и унизившимся человѣкомъ, смѣхъ, соединенный съ пламеннымъ негодованіемъ на ложь и формализмъ той среды жизни, въ которой мельчаетъ и унижается человѣкъ, перешли въ болѣзненный протестъ за измельчавшаго и униженнаго человѣка, вслѣдствіе чего и самый протестъ противъ ложной и чисто формальной дѣйствительности лишился своего высшаго нравственнаго значенія. Отдѣлите этотъ болѣзненный юморъ раздражительной натуры отъ стремленій къ идеалу въ творчествѣ Гоголя — и чудовищныя созданія появятся въ свѣтъ вслѣдствіе причудъ этого болѣзненнаго юмора! Взгляните на Акакія Акакіевича съ сентиментальной точки зрѣнія, проникнитесь въ отношеніи къ нему не общечеловѣческимъ правильнымъ сочувствіемъ, а исключительнымъ; болѣзненною симпатіею возведите на степень права требованія героя „Записокъ сумасшедшаго“, — и вотъ вамъ произведенія сентиментальнаго натурализма, котораго вина противъ искусства заключается въ рабской натуральности, не отличающей въ дѣйствительности явленій случайныхъ отъ типическихъ и необходимыхъ, не повѣряющей общечеловѣческимъ идеаломъ своего болѣзненнаго юмористическаго настройства“. (Соч. Григ. I, стр. 327).

Мы видимъ изъ всего приведеннаго — какъ противо-

рѣчивы въ настоящую минуту воззрѣнія на автора „Бѣдныхъ людей“. Попробуемъ разобраться въ этомъ вопросѣ.

Самъ Достоевскій въ первомъ своемъ романѣ несочувственно посмотрѣлъ на отношенія Гоголя къ Акакію Акакіевичу: онъ заставилъ своего Макара Дѣвушкина, который (замѣтимъ мимоходомъ) съ восторгомъ читалъ пушкинскаго „Станціоннаго смотрителя“, оскорбиться „Шинелью“.

„Какъ! (пишетъ онъ Варинькѣ). Такъ послѣ этого и жить себѣ смирно нельзя въ уголочкѣ своемъ,—каковъ ужь онъ тамъ ни есть,— жить водой не замутя, по пословицѣ, никого не трогая, зная страхъ Божій, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и въ твою конуру не пробрались, да не подсмотрѣли, — что, дескать, какъ ты себѣ тамъ по-домашнему, что вотъ есть-ли напр. у тебя жилетка хорошая... есть-ли сапоги, да и чѣмъ подбиты они, что ѣшь, что пьешь, что переписываешь? Да и что-же тутъ такого, маточка, что вотъ хоть бы и я, гдѣ мостовая плоховата, пройду иной разъ на цыпочкахъ, что я сапоги берегу! Зачѣмъ писать про другаго, что вотъ-де онъ иной разъ нуждается, что чаю не пьетъ? А точно всѣ и должны ужь такъ непремѣнно чай пить? Да развѣ я смотрю въ ротъ каждому, что, дескать, какой онъ тамъ кусокъ жуетъ? Кого-же я обижалъ такимъ образомъ?“ (Отд. изд. 1865 г. 89—90).

И такъ, Гоголь обвиняется въ томъ, что онъ безсердечно отнесся къ своему герою, посмѣялся надъ нимъ холоднымъ, оскорбительнымъ смѣхомъ. — Но такъ-ли это? Вспомнимъ стараго нашего знакомца — Акакія Акакіевича Башмачкина.

Акакій Акакіевичъ — смѣшонъ своей ограниченностью, своей неспособностью думать, своимъ отсутствіемъ всякихъ духовныхъ интересовъ: онъ любитъ и понимаетъ только свою переписку да свою новую шинель. Мы смѣемся, когда поэтъ съ неподражаемымъ юморомъ повѣствуетъ, какъ герой его выводилъ на бумагѣ свои фаворитныя буквы, добираясь до которыхъ „былъ самъ не свой: и подсмѣивалъ, и подмигивалъ, и помогалъ губами“. Мы смѣемся, читая о томъ, какъ онъ восторгался новой шинелью, сравнивая ее съ „прежнимъ капотомъ своимъ, совершенно располошимся“ .Но Гоголь показываетъ намъ и симпатичныя черты въ своемъ мелкомъ героѣ; мы знаемъ за Башмачкинымъ немало положительно хорошаго. Такъ, онъ горячо преданъ своему дѣлу. „Врядъ-ли гдѣ можно было найти человѣка, который такъ жилъ-бы въ своей должности

(говоритъ Гоголь). Мало сказать онъ служилъ ревностно; нѣтъ, онъ служилъ съ любовью. Тамъ, въ этомъ переписываньи ему видѣлся какой-то свой разнообразный и пріятный міръ". Затѣмъ, Акакій Акакіевичъ отличался умѣренностью, твердостью воли и самообладаніемъ: когда понадобилось скопить денегъ для новой шинели, онъ долгое время отказывалъ себѣ даже въ томъ, что люди привыкли считать необходимостью: въ чаѣ, въ свѣчѣ вечеромъ. Онъ добродушенъ: у него нѣтъ злобы противъ смѣющихся надъ нимъ товарищей-чиновниковъ, онъ кротко сноситъ обиды. И это не безчувствіе одеревенѣвшей души; напротивъ, — поэтъ показываетъ намъ, что въ его смѣшномъ героѣ живо чувство человѣческаго достоинства: когда шутили надъ нимъ ужь слишкомъ невыносимо, онъ произносилъ: „оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?" и не даромъ эти слова остановили навсегда одного молодаго человѣка отъ дальнѣйшихъ насмѣшекъ. „Въ этихъ проникающихъ словахъ (говоритъ Гоголь) звенѣли другія слова: „я братъ твой". И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ!"

Можно ли сказать послѣ этого, что Гоголь не цѣнитъ въ своемъ героѣ того, что́ въ немъ прекрасно и достойно сочувствія?... что въ повѣсти „Шинель" выставлена только „ужасающая пустота и пошлость?" Надо еще прибавить, что Гоголь говоритъ нѣсколько несомнѣнно теплыхъ словъ объ Акакіи Акакіевичѣ по поводу его кончины: „Исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому недорогое, ни для кого неинтересное... существо, переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго все-же таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь, и на которое также потомъ нестерпимо обрушилось несчастіе, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего"... Сквозь сочувствіе здѣсь прорывается, можетъ быть,

и нѣкоторая иронія. Но, правдивый художникъ, Гоголь и не могъ поступить иначе.

Глубокій смыслъ его повѣсти заключается въ указаніи трагическаго противорѣчія между возвышенными, свѣтлыми чертами характера героя и мелочностью его интересовъ. Сокровища теплаго душевнаго чувства Акакія Акакіевича ушли на ничтожныя привязанности; горячая любовь его къ дѣлу пропала безъ пользы; человѣкъ, пренебрегающій, и что особенно дорого—искренно, безъ всякой рисовки пренебрегающій внѣшними благами жизни, впадая безсознательно въ противорѣчія съ самимъ собою, отдается всей душой любви къ шинели и кладетъ за нее свою жизнь.—По справедливому замѣчанію одного изъ лучшихъ критиковъ Гоголя—архимандрита Ѳеодора (Бухарева), Гоголь показалъ намъ въ ничтожномъ Акакіи Акакіевичѣ брата нашего. Но поэтъ впалъ-бы въ ошибку, если-бы пошелъ далѣе и идеализировалъ своего героя: повѣсть его была-бы тогда сантиментальной.

Обратимся теперь къ „Бѣднымъ людямъ“ и посмотримъ на отношенія Достоевскаго къ своему Макару Алексѣевичу Дѣвушкину, котораго г. Страховъ справедливо называетъ новымъ Поприщинымъ и правильно относитъ къ тому-же типу, къ которому принадлежатъ этотъ послѣдній и Акакій Акакіевичъ.—Въ послѣдующихъ произведеніяхъ, начиная съ „Записокъ изъ Мертваго дома“ и романа „Униженные и оскорбленные“, Достоевскій поднялся гораздо выше своихъ первыхъ повѣстей и во многомъ измѣнилось его міросозерцаніе. Но этой главной полосы его творчества намъ теперь не должно касаться, это не относится къ дѣлу; мы ограничимся воззрѣніями знаменитаго романиста только какъ автора „Бѣдныхъ людей“ (на что и просимъ обратить вниманіе). Главное различіе между Гоголемъ въ „Шинели“ и „Запискахъ сумасшедшаго“ и Достоевскимъ въ „Бѣдныхъ людяхъ“—не въ обрисовкѣ поэтами характеровъ своихъ героевъ, а во взглядахъ ихъ на этихъ героевъ. Какъ Гоголь, такъ и Достоевскій художественно и правдиво изображаютъ и пошлыя, ложныя, и истинныя, правдивыя черты Акакія Акакіевича, Поприщина и Макара Алексѣевича Дѣвушкина. Но Достоевскій сосредоточиваетъ всѣ свои симпатіи на сочувственныхъ сторонахъ Макара

Алексѣевича, оставляя въ тѣни пошлое и смѣшное въ немъ. Гоголь доискивается въ человѣкѣ безусловной правды, положительно идеальнаго, и не удовлетворяется тѣми хорошими качествами людей, которыя перепутались у нихъ съ ложью и помрачились ею; оттого онъ не закрываетъ глазъ на зло и не преувеличиваетъ достоинства добрыхъ задатковъ въ душахъ своихъ героевъ. Судъ его надъ Акакіемъ Акакіевичемъ и Поприщинымъ строже, чѣмъ судъ Достоевскаго надъ Дѣвушкинымъ; но это потому, что Гоголь требуетъ отъ человѣка положительной правды, влечетъ его въ царство идеала, что̀, конечно, вовсе не свидѣтельствуетъ о недостаткѣ любви. Достоевскій собственно и не судитъ своего Дѣвушкина.

Макаръ Алексѣевичъ—человѣкъ добрый, и искреннимъ и теплымъ чувствомъ привязанъ онъ къ бѣдной оскорбленной дѣвушкѣ—Варинькѣ.—У Макара Алексѣевича сердце наболѣло отъ несправедливости людской. Нищій мальчикъ наводитъ его на грустныя думы о людской жестокости. „А еще люди богатые не любятъ, чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались (пишетъ онъ по поводу встрѣчи съ другимъ нищимъ); да и всегда бѣдность назойлива: спать что-ли мѣшаютъ ихъ стоны голодные?“—Макаръ Алексѣевичъ сознаетъ и свое человѣческое достоинство, и то, что и онъ нуженъ и приноситъ своего рода пользу. Есть въ немъ въ то-же время и смиренное сознаніе своего ничтожества; смиреніе это слышится въ его отношеніяхъ къ начальству и товарищамъ.—Таковы свѣтлыя стороны героя Достоевскаго. Въ изображеніи ихъ непосредственно-художественная сила поэта не расходится съ его сознаніемъ.—Но зато, рисуя въ Макарѣ Алексѣевичѣ другое—черты непривлекательныя,—поэтъ какъ-бы не замѣчаетъ ихъ, закрываетъ глаза на пошлое и смѣшное.

А этого пошлаго и смѣшнаго въ Дѣвушкинѣ не мало. Такъ, любовь его къ Варинькѣ—не похожа на любовь отца къ дочери, что было-бы естественно и разумно; нѣтъ: онъ, старикъ сравнительно съ Варинькой и самъ сознающій, что стоитъ ниже ея въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, влюбляется въ Вариньку, кокетничаетъ съ нею, заигрываетъ; у него (безсознательно, конечно, и неясно для него самого) развиваются какія-то мечты, планы и стран-

ныя надежды. Онъ боится явно ходить къ Варинькѣ, чтобы не поднялось сплетень,—онъ предпочитаетъ переписываться. Варинька смутно чувствуетъ, что тутъ есть какая-то ложь, и проситъ Макара Алексѣевича быть проще; но ему лестно сохранять тайну въ отношеніяхъ (какъ будто въ нихъ есть что-нибудь, что надо скрывать отъ постороннихъ глазъ!), онъ дрожитъ за то, чтобы не открылась ихъ переписка. Онъ пишетъ: „развѣ приходить мнѣ, прокрадываясь ночью темною? Онъ пробирается къ Варинькѣ украдкой,—и результатомъ этого, дѣйствительно, является сплетня. Макаръ Алексѣевичъ говоритъ, что онъ въ отчаяніи отъ нея; но не скрылъ-ли поэтъ, что герою его въ тайнѣ души лестно, что явилась такая сплетня?—Макаръ Алексѣевичъ придумываетъ какіе-то условные знаки для переговоровъ съ Варинькой: „ну, а какова наша придумочка на-счетъ занавѣски вашей, Варинька? (пишетъ онъ). Премило, не правда-ли?.. Хитро?.. А вѣдь придумочка-то моя! А что, каковъ я на эти дѣла, Варвара Алексѣевна?"—При такой своей пошлой сантиментальности, Макаръ Алексѣевичъ еще тщеславенъ. Онъ хвалится передъ Варинькой: „износилъ я вицъ-мундировъ довольно, возмужалъ, поумнѣлъ... пожилъ на свѣтѣ, такъ, что меня хотѣли разъ къ полученію креста представить". Посѣщая литературныя собранія своего сосѣда Ротозяева и чувствуя себя глупѣе своихъ собесѣдниковъ, Макаръ Алексѣевичъ въ то-же время себялюбиво мучится стараніями придумать какой-нибудь умный разговоръ, не желая (какъ это сдѣлалъ бы Акакій Акакіевичъ) смиренно сознаться въ своей ограниченности. Онъ мечтаетъ даже, глупо и самонадѣянно, объ авторствѣ, о литературной славѣ и знакомствѣ съ свѣтскими дамами. „Вѣдь каково это было-бы (пишетъ онъ), когда-бы всякій сказалъ, что вотъ-де идетъ сочинитель литературы и піита Дѣвушкинъ, что вотъ, дескать, это и есть самъ Дѣвушкинъ. Ну, что̀-бы я тогда, напр., съ своими сапогами сталъ дѣлать... Ну, что тогда-бы было, когда-бы всѣ узнали, что вотъ у сочинителя Дѣвушкина сапоги въ заплаткахъ! Какая-нибудь тамъ контесса-дюшесса узнала-бы, ну, что̀-бы она-то, душка, сказала?" Здѣсь уже Макаръ Алексѣевичъ начинаетъ приближаться къ себялюбивымъ мечтамъ и претензіямъ гоголевскаго Поприщина, къ его испанскому тро-

ну.—Поприщина напоминаетъ онъ намъ и своими юношескими похожденіями, своими ухаживаньями за „актриской“; въ этомъ волокитствѣ за „актриской“ лежитъ уже зародышъ его волокитства на старости лѣтъ за Варинькой (каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку!).—Въ отношеніи тщеславія, да и вообще въ нравственномъ отношеніи Дѣвушкинъ стоитъ ниже Акакія Акакіевича: тотъ, смиренный и кроткій, любитъ свою шинель безкорыстно, потому что надо-же на кого-нибудь или на что-нибудь излиться не умершему еще въ душѣ чувству любви. Акакій Акакіевичъ не станетъ принаряжаться для людей, на-показъ. Не таковъ Макаръ Алексѣевичъ: „вѣдь для людей и въ шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для нихъ-же носишь (пишетъ онъ). Сапоги, въ такомъ случаѣ, маточка, душечка вы моя, нужны мнѣ для поддержки чести и добраго имени“. Акакій Акакіевичъ не идеализируетъ своего чувства любви къ шинели и не вмѣняетъ его себѣ въ заслугу. А Макаръ Алексѣевичъ, возмущаясь повѣстью Гоголя „Шинель“, пишетъ по поводу ея такія, можно сказать—гадкія слова: „конечно, правда, иногда сошьешь себѣ что-нибудь новое,—радуешься, не спишь, а радуешься; сапоги новые, напр., съ такимъ сладострастіемъ надѣваешь;—это правда, я ощущалъ, потому что пріятно видѣть свою ногу въ тонкомъ щегольскомъ сапогѣ,—это вѣрно описано!“

Вотъ главныя пошлыя черты въ характерѣ Дѣвушкина, черты, надъ которыми авторъ „Бѣдныхъ людей“ не счелъ нужнымъ, не хотѣлъ посмѣяться.—Можно-ли послѣ этого согласиться съ Н. Н. Страховымъ, сказавшимъ: „между тѣмъ какъ никто въ мірѣ не пожелалъ-бы быть Акакіемъ Акакіевичемъ или Поприщинымъ, всякій читатель долженъ съ завистью смотрѣть на несчастнаго Макара Алексѣевича Дѣвушкина и все-таки долженъ сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты“ (Русь 1881 г. № 16, стр. 16).—Такимъ, дѣйствительно, хотѣлъ представить Достоевскій своего мелкаго героя, не осмѣивая, а возводя на степень права его мелочныя претензіи и поползновенія; но такъ не вышло на самомъ дѣлѣ,—такъ и не должно было выйдти.

Оканчиваются „Бѣдные люди“ выраженіемъ искренняго сердечнаго горя Макара Алексѣевича о судьбѣ выходящей замужъ Вариньки; этому чувству, чуждому пошлыхъ при-

мѣсей, можно симпатизировать; но противорѣчіе его съ прежними сантиментальными и низменными чувствами Дѣвушкина не производитъ того потрясающаго впечатлѣнія, которое мы испытываемъ, читая послѣднія страницы гоголевскихъ „Записокъ сумасшедшаго", гдѣ Поприщинъ, забывъ свои вздорныя и себялюбивыя мечты, изъ глубины наболѣвшаго, измученнаго пошлостью сердца обращается съ горячимъ порывомъ тоски и любви къ свѣтлымъ воспоминаніямъ дѣтства. Не производитъ повѣсть Достоевскаго такого впечатлѣнія потому, что не судитъ въ ней поэтъ жизнь высшимъ нравственнымъ судомъ, предъ лицемъ идеала,—не судитъ, а преклоняется передъ нею, сантиментально ее идеализируетъ.

Такова новая школа литературы, созданная авторомъ „Бѣдныхъ людей". И вотъ къ этой-то школѣ и примкнулъ впечатлительный молодой поэтъ Тургеневъ, послѣ того, какъ разочаровался въ лермонтовскомъ міросозерцаніи. Изъ одной крайности онъ перескочилъ въ другую: отъ болѣзненнаго презрѣнія къ толпѣ и идеализированія личной гордости перешелъ къ болѣзненному-же сочувствію мелочнымъ претензіямъ ничтожныхъ личностей.

Тремя произведеніями отдалъ Тургеневъ дань новому направленію: повѣстью „Пѣтушковъ" и комедіями: „Нахлѣбникъ" и „Холостякъ".

Поручикъ Пѣтушковъ (главное лицо повѣсти тогоже имени) былъ человѣкъ лѣтъ подъ 40, простой, добродушный, ограниченный, робкій и смирный. Онъ велъ однообразную, пустую и уединенную жизнь со своимъ деньщикомъ Онисимомъ, который былъ преданъ ему, но смотрѣлъ на него свысока, какъ на неопытнаго ребенка, и покровительствовалъ ему. — Въ жизни Пѣтушкова случилось однажды непріятное событіе: онъ „по утрамъ за чаемъ любилъ кушать свѣжую, бѣлую булку; безъ этого лакомства онъ жить не могъ", — и вдругъ однажды такой булки не оказалось; на негодующій вопросъ его — „что̀-бы это такое значило?" Онисимъ отвѣчалъ: „булки всѣ поразобравшись". Пѣтушковъ отправился самъ добывать булку, и этотъ случай привелъ его къ знакомству съ работницей въ булочной, Василисой. — Вся повѣсть есть исторія отношеній его къ этой Василисѣ, исторія его любви. — Василиса была жен-

щина добродушная, но незадумывающаяся и весьма легкаго характера. А чувство Пѣтушкова къ ней было искреннее и глубокое, хотя и не заключавшее въ себѣ ничего идеальнаго (ему и въ голову не приходила, до послѣднихъ минутъ, мысль о женитьбѣ: онъ наивно свысока смотрѣлъ на Василису, какъ на женщину низшаго сословія). Въ проявленіяхъ его любви много и смѣшнаго, и грустнаго; а отношенія къ нему самому и къ этому его чувству автора очень напоминаютъ отношенія Достоевскаго къ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину.

Начавши неискусно свои ухаживанія за Василисой и оттолкнутый и испуганный ея восклицаніемъ: „полноте, безстыдники, на улицы!“ Пѣтушковъ пишетъ ей наивно-глупое письмо:

„Милостивая Государыня Василиса Тимофѣевна! Будучи отъ природы человѣкъ необидчивый, какъ же бы могъ я вамъ причинить непріятность... Я человѣкъ чювствительный, и всякую ласку чювствую и благодаренъ...“ и т. д.

Письмо это, не безъ содѣйствія однако Онисима (безъ него безпомощный Пѣтушковъ шагу не можетъ ступить), все уладило — и чувство Ивана Афанасьича (такъ зовутъ Пѣтушкова) нашло легкую взаимность въ Василисѣ.—Иванъ Афанасьичъ „понемногу перетащилъ весь свой скарбъ, по крайней мѣрѣ всѣ чубуки свои, къ Прасковьѣ Ивановнѣ (тетка Василисы, булочница) и по цѣлымъ днямъ сидѣлъ у ней въ задней комнатѣ“. Безпритязательный и нетребовательный во всякомъ смыслѣ этихъ словъ,

„онъ былъ счастливъ вполнѣ. Его душа согрѣлась... Василиса привыкла къ нему, работала, пѣла, пряла при немъ, иногда молвила съ нимъ слова два; Пѣтушковъ поглядывалъ на нее, покуривалъ трубочку, покачивался на стулѣ, посмѣивался и въ свободные часы игралъ съ нею и съ Прасковьей Ивановной въ дурачки. Иванъ Афанасьичъ былъ счастливъ...“.

Но счастье его было непродолжительно: оно смѣнилось мученіями ревности и горемъ измѣны. Пѣтушковъ надоѣлъ Василисѣ — и она стала имъ тяготиться. Авторъ подробно повѣствуетъ о всѣхъ перипетіяхъ душевныхъ страданій своего мелкаго героя, и видимо сочувствуетъ всѣмъ этимъ страданіямъ, и нигдѣ надъ Пѣтушковымъ не смѣется, за исключеніемъ развѣ случая, когда, разсказавъ, какъ онъ

раззнакомился изъ-за Василисы съ товарищами, прибавляетъ съ легкой ироніей замѣчаніе, что, когда онъ встрѣчался съ ними, то

„принималъ отчаянно суровый и сосредоточенный видъ зайца, который барабанитъ посреди фейерверка“.

Иванъ Афанасьичь попробовалъ объясниться съ Василисой, выговорить ей,—но совершенно растерялся на ея слова: „Что-жь, Богъ съ вами, Иванъ Афанасьичь. Я сама по себѣ, а вы сами по себѣ... Вы меня все обижаете“.

Не буду, душа, не буду (заговорилъ онъ). Прости меня, стараго человѣка. Я впередъ уже не буду никогда. Ну, простила меня, что-ли?

Богъ съ вами, Иванъ Афанасьичь.

— Ну, засмѣйся, засмѣйся...

Василиса отвернулась.

— Засмѣялась, душа, засмѣялась! закричалъ Пѣтушковъ и запрыгалъ на мѣстѣ какъ ребенокъ.

Онъ попытался читать Василисѣ, вернуть къ себѣ ея сердце посредствомъ книгъ (которыя для него самого были дѣломъ труднымъ и малоинтереснымъ). Порывшись у себя въ ящикахъ, онъ нашелъ первую часть Рославлева, Наталью Долгорукую Козлова и кое-какія другія сочиненія. — Для начала онъ выбралъ романъ Загоскина.

„Василиса сидѣла неподвижно, сперва улыбалась, потомъ какъ-будто призадумалась... потомъ нагнулась немного впередъ, глаза ея съежились, ротъ слегка раскрылся, руки упали на колѣни; она задремала. Пѣтушковъ читалъ скоро, невнятно и глухимъ голосомъ, — поднялъ глаза...

— Василиса, ты спишь?

Она встрепенулась, потерла себѣ лице и потянулась. Пѣтушкову досадно стало на нее и на себя...

— Скучно, проговорила лѣниво Василиса“.

Онъ схватился было за стихи, „стремительно подбѣжалъ“ къ Василисѣ и началъ читать поэму Козлова; но Василиса „вдругъ залилась звонкимъ и рѣзкимъ хохотомъ... такъ и покатилась“. Пѣтушковъ „съ досадой швырнулъ книгу на полъ“.

Счастливымъ соперникомъ Пѣтушкова оказался товарищъ его—разбитной малый на всѣ руки—Бублицынъ. Къ этому Бублицыну стала бѣгать Василиса. — Огорченный и обиженный, Иванъ Афанасьичь рѣшился бросить на-время

измѣнницу и показать твердость характера; онъ сталъ даже хвалиться этой твердостью передъ Онисимомъ; но, при всемъ своемъ простодушіи, онъ легко замѣтилъ, что Онисимъ ему не вѣритъ. — Преданный слуга, видя мученія своего барина, вздумалъ-было его разговорить, успокоить, убѣдить:

Плюньте, Иванъ Афанасьичь, просто плюньте, послушайтесь меня... Ну, сами посудите: вѣдь такихъ, какъ она, у насъ какъ собакъ... только свистни...

Какъ бѣшеный вскочилъ Пѣтушковъ съ дивана... но къ изумленію Онисима, уже поднявшаго обѣ руки въ-уровень своихъ ланитъ, сѣлъ опять, словно кто ноги ему подкосилъ... По блѣдному его лицу катились слезы, косичка волосъ торчала на темени, глаза глядѣли мутно... искривленныя губы дрожали... голова упала на грудь.

Онисимъ посмотрѣлъ на Пѣтушкова и тяжко бросился на колѣни.

— Батюшка, Иванъ Афанасьичь, воскликнулъ онъ: ваше благородіе, извольте наказать меня, дурака! Я васъ обезпокоилъ, Иванъ Афанасьичь... Да какъ я смѣлъ! Извольте наказать меня, ваше благородіе... Стóитъ вамъ плакать отъ моихъ глупыхъ рѣчей... батюшка, Иванъ Афанасьичь...

Это прекрасное мѣсто повѣсти свидѣтельствуетъ, что самъ авторъ глубоко сочувствуетъ горю своего героя, увлеченъ состраданіемъ къ нему и болѣзненной симпатіей къ его личности. — О томъ-же говоритъ и заключительная сцена повѣсти, гдѣ Иванъ Афанасьичь съ-горя впервые напивается пьянъ, въ то время какъ Онисимъ, видя, что ничто не помогаетъ, отправился убѣждать и упрашивать Василису навѣстить барина. Онисимъ привелъ Василису — и видитъ положеніе Пѣтушкова. „Иванъ Афанасьичь, помилуйте!“ завопилъ онъ.

— Изволь. И это изволь. Милую, милую и прощаю, возразилъ Пѣтушковъ, неопредѣленно помахивая рукой.—Всѣмъ прощаю, и тебѣ прощаю, и Василисѣ прощаю, и всѣмъ, всѣмъ прощаю. А я, братъ, хватилъ... Хва-атилъ, братъ.

Онъ видитъ затѣмъ Василису, остановившуюся въ передней, зоветъ ее, — и между ними происходитъ трогательный разговоръ, возбуждающій въ читателѣ сильное участіе къ бѣдному Ивану Афанасьевичу.

„Ты не гляди, что я пьянъ. Я точно пьянъ; только я убитъ. Оттого и пьянъ, что убитъ.

Помилуй Богъ, Иванъ Афанасьичь.

— Убитъ, Василиса, ужь я тебѣ говорю. Ты мнѣ вѣрь. Я тебя ни когда не обманывалъ...

А кто виноватъ?... Я виноватъ, я первый. Мнѣ бы чтó слѣдовало сдѣлать? мнѣ бы слѣдовало тебѣ сказать: Василиса, я тебя люблю Ну, хорошо. Ну, хочешь за меня замужъ? Хочешь? Правда, ты мѣщанка положимъ; ну, да это ничего. Это бываетъ...

А все-таки тебѣ грѣхъ, большой грѣхъ. Я тебя любилъ, я тебя уважалъ, я... да ужь что! Я и теперь готовъ хоть сейчасъ подъ вѣнецъ. Хочешь? Ты только скажи, и ужь тамъ мы сейчасъ. А только ты меня обидѣла кровно. Хоть бы ты сама отказала, а то черезъ тетку, черезъ толстую эту бабищу. Вѣдь только у меня и было радости, что ты. Вѣдь я бездомный человѣкъ, вѣдь я сирота. Кому теперь приласкать меня? кто мнѣ доброе слово молвитъ?

Эти рѣчи тѣмъ болѣе трогательны, что Пѣтушковъ является въ нихъ романтикомъ, юнымъ душою мечтателемъ: онъ и не понимаетъ, что кумиръ его Василиса вовсе не способна увлекаться радостями тихой семейной жизни.

Замѣчательно окончаніе этой сцены:

„Не хочешь... ну, какъ хочешь! Богъ съ тобой (говорилъ Иванъ Афанасьичь). Въ такомъ случаѣ прощай! Прощай, Василиса. Желаю тебѣ всякаго счастія и благополучія... а я... а я...

И Пѣтушковъ зарыдалъ въ три ручья. Онисимъ изъ всѣхъ силъ поддерживалъ его сзади... сперва перекосилъ лицо... потомъ самъ заплакалъ... И Василиса тоже заплакала...“

Мы видимъ, что Тургеневъ относится къ своему мелкому герою какъ-будто такъ-же, какъ Достоевскій къ своему въ „Бѣдныхъ людяхъ“, т. е. съ полнымъ, безусловнымъ участіемъ, не замѣчая въ немъ ничего пошлаго, и этимъ идеализируетъ Пѣтушкова. — Но есть, однако, въ окончаніи повѣсти черты, говорящія о другомъ.

Иванъ Афанасьичь, предлагая Василисѣ выдти за него замужъ, вслѣдъ затѣмъ дѣлаетъ и инаго рода предложеніе:

„Василиса, послушай-ка, чтó я тебѣ скажу: позволь мнѣ, этакъ, попрежнему ходить къ тебѣ. Не бойся... я буду, того, смирнехонько. Ты ходи къ кому тамъ знаешь, я — ничего: этакъ, безъ возраженій, знаешь. Ну, соглашаешься? хочешь я на колѣнки стану?“

Такимъ словамъ и чувствамъ, такому самоуничиженію, такой нравственной неразборчивости и готовности примириться со всѣмъ, съ чѣмъ угодно, — сочувствовать нельзя. Здѣсь Пѣтушковъ отталкиваетъ насъ отъ себя.

Развѣнчиваетъ поэтъ своего героя и развязкою его

исторіи. Василиса вышла замужъ за рыжеватаго и подслѣповатаго мѣщанина „Демофонта“ и наслѣдовала хозяйство умершей своей тетки. А Пѣтушковъ спился, и все-таки не могъ отстать отъ предмета своей любви.

„Лѣтъ черезъ 10 (разсказываетъ поэтъ) можно было встрѣтить на улицахъ городка О... человѣка худенькаго, съ красненькимъ носикомъ, одѣтаго въ старый зеленый сюртукъ съ плисовымъ засаленнымъ воротникомъ. Онъ занималъ небольшой чуланчикъ въ извѣстной намъ булочной... За человѣкомъ въ зеленомъ сюртукѣ водилась одна слабость: любилъ выпить, впрочемъ велъ себя смирно. Читатели, вѣроятно, узнали въ немъ Ивана Афанасьевича.

Сознаніемъ своимъ Тургеневъ всецѣло на сторонѣ своего мелочнаго героя; но какъ художникъ онъ рисуетъ такіе факты его жизни и его внутренняго міра, которые его совершенно развѣнчиваютъ. — У автора „Бѣдныхъ людей“ мы видимъ какъ-будто то-же самое; но у Достоевскаго сознаніе пересиливало, и творческая сила уступала сознанію; оттого творецъ Макара Дѣвушкина велъ своихъ читателей къ болѣзненной односторонности. Въ Тургеневѣ — художникъ, поэтъ былъ сильнѣе, — и творчество поправляло ошибки сознанія, спасало отъ ложныхъ увлеченій; мы видѣли, что такимъ-же путемъ, какъ-бы помимо воли автора, чуть не вопреки ей, такимъ-же путемъ какъ Пѣтушковъ, былъ развѣнчанъ раньше герой „Трехъ портретовъ“ — Василій Лучиновъ.

Повѣсть „Пѣтушковъ“ производитъ далеко не такое сильное впечатлѣніе, какъ „Бѣдные люди“. Но это не потому, конечно, что талантъ Тургенева былъ тогда слабѣе таланта Достоевскаго; а потому, что въ „Бѣдныхъ людей“ Достоевскій положилъ всю свою душу; а Тургеневъ — не весь ушелъ въ своего „Пѣтушкова“. И благо ему, что не отдалъ онъ всего себя одностороннему увлеченію. Мы увидимъ, что въ эту самую пору уже начинали выясняться въ его душѣ иные идеалы. Сила поэзіи спасла его отъ односторонности, отъ тенденціозности.

Сказанное о „Пѣтушковѣ“ можно примѣнить и къ комедіямъ: „Нахлѣбникъ“ и „Холостякъ“. — И здѣсь героями являются мелкія, слабыя личности, которымъ авторъ видимо сочувствуетъ; и здѣсь, какъ правдивый ху-

дожникъ, онъ рисуетъ не однѣ свѣтлыя, симпатичныя, а и пошлыя, смѣшныя черты своихъ героевъ. Но перевѣса творческой силы надъ тенденціей мы здѣсь не замѣчаемъ. Драматическая форма, какъ извѣстно, какъ-то мало давалась Тургеневу (что прежде всѣхъ признавалъ онъ самъ), и его комедіи и въ художественномъ, и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ гораздо слабѣе его повѣстей. И вотъ почему болѣзненная симпатія писателя школы „сантиментальнаго натурализма" къ нравственно-мелкимъ людямъ выступаетъ въ „Нахлѣбникѣ" и „Холостякѣ" на первый планъ, придавая этимъ піесамъ сантиментальный характеръ.

Кузовкинъ — главное лице первой комедіи — живетъ нахлѣбникомъ въ богатомъ помѣщичьемъ домѣ. Живетъ онъ здѣсь ужé давно, призрѣнный покойнымъ бариномъ. Комедія начинается съ ожиданія всѣмъ домомъ пріѣзда молодой хозяйки имѣнія, недавно только вышедшей замужъ. Кузовкинъ вѣритъ и надѣется, что бывшая барышня узнаетъ его и милостиво и сочувственно отнесется къ нему. Эта вѣра въ человѣка, въ доброту его сердца есть одна изъ свѣтлыхъ чертъ характера бѣднаго нахлѣбника. Онъ, кромѣ того, человѣкъ простодушный, добрый, смиренный, и въ то-же время неспособный къ самоуниженію (по крайней мѣрѣ такимъ хотѣлъ представить его авторъ): когда мужъ Ольги Петровны — Елецкій хочетъ деньгами побудить его отказаться отъ своихъ словъ, онъ не беретъ денегъ, говоря, что онъ „и такъ вдоволь стыда наглотался"... и что „купить его нельзя"; когда въ той-же сценѣ Елецкій хочетъ силою вынудить его говорить и кричитъ:

„Не выводите меня изъ терпѣнія!... Не заставляйте меня напомнить вамъ кто вы такой!"

онъ гордо отвѣчаетъ:

„Я столбовой дворянинъ... Вотъ кто я-съ!"

Нѣкоторыя другія лица комедіи, къ которымъ съ явной антипатіей относится авторъ (какъ напр. этотъ Елецкій, сухой петербургскій чиновникъ; Тропачевъ, помѣщикъ, отставной кавалеристъ, „грубоватый и даже подловатый"; играющій при послѣднемъ роль шута „очень глупый" Карпачевъ), выгодно оттѣняютъ собою простодушнаго Кузов-

кина. Автору несомнѣнно удается пробудить въ читателѣ или зрителѣ комедіи состраданіе и симпатію къ своему герою въ той сценѣ, гдѣ тотъ наивно и съ чрезвычайными подробностями разсказываетъ о своей тяжбѣ, вызванный на этотъ разсказъ для потѣхи подпаивающимъ его Тропачевымъ, или въ той сценѣ, гдѣ Карпачевъ надѣваетъ на него бумажный колпакъ, а онъ рыдаетъ отъ оскорбленія.

Но въ Кузовкинѣ есть и нѣчто другое, вовсе ужь не симпатичное. — Драматизмъ пьесы состоитъ въ томъ, что Кузовкинъ, унижаемый и оскорбляемый въ домѣ Ольги Петровны, оказывается отцемъ этой Ольги Петровны. Авторъ развязываетъ драму тѣмъ, что Ольга признаетъ себя дочерью бѣдняка, обнимаетъ его, прижимается къ его груди, — и онъ счастливъ и вознагражденъ за всѣ свои страданія. — Но разъясненіе всего этого дѣла бросаетъ очень темную тѣнь на личность Кузовкина, и отталкиваетъ насъ отъ него, можетъ быть помимо воли и вѣдома самого автора. — Кузовкинъ разсказываетъ Ольгѣ о печальномъ событіи ея рожденія. Помѣщикъ Коринъ, мужъ ея матери, былъ человѣкъ очень крутаго нрава и сурово, безчеловѣчно относился къ женѣ; чѣмъ она болѣе „передъ нимъ смирялась, тѣмъ онъ пуще злился“; онъ пересталъ съ ней разговаривать, пропадалъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, и наконецъ поднялъ на нее палку... Мѣра терпѣнія бѣдной женщины переполнилась.

Должно полагать-съ (разсказываетъ нахлѣбникъ), что у вашей матушки, у покойницы, отъ такой обиды кровной на ту пору умъ помѣшался, болѣзнь приключилась... Какъ теперь ее вижу... Вошла въ образную, постояла передъ иконами, подняла-было руку для крестнаго знаменія, да вдругъ отвернулась и вышла... даже засмѣялась потихоньку... Осилилъ таки и ее лукавый. Жутко мнѣ стало, глядя на нее. За столомъ ничего не изволила кушать, все изволила молчать и на меня смотрѣла пристально... а вечеромъ-съ... По вечерамъ я, Ольга Петровна, одинъ съ ней сиживалъ, — вотъ именно въ этой комнатѣ,— знаете, эдакъ, въ карты иногда отъ скуки, а иногда такъ, разговоръ небольшой... Ну-съ, вотъ-съ, въ тотъ вечеръ... (Онъ начинаетъ задыхаться) ваша матушка покойница долго, долго помолчавши, эдакъ обратилась вдругъ ко мнѣ... А я, Ольга Петровна, на вашу матушку только что не молился, и любилъ же я ее, вашу матушку... вотъ она и говоритъ мнѣ вдругъ: „Василій Семенычъ, ты, я знаю, меня любишь, а онъ вотъ меня презираетъ, онъ меня бросилъ, онъ меня оскорбилъ... Ну такъ и я же...“ Знать, разсудокъ у ней отъ обиды помутился, Ольга Петровна, потерялась она вовсе... А я то, а я... я ничего не понимаю-съ,

голова тоже эдакъ кругомъ... вотъ, даже вспомнить жутко, она вдругъ мнѣ въ тотъ вечеръ... ...Матушка, Ольга Петровна, пощадите старика... Не могу... Скорѣй языкъ отсохнетъ!“

Это мѣсто піесы — удивительно по глубинѣ анализа души бѣдной оскорбленной женщины: мы видимъ, какъ осѣтилъ ее лукавый, какъ помрачился ея разсудокъ—и тѣло на мигъ одолѣло душу... Но анализъ измѣнилъ поэту въ изображеніи Кузовкина: Кузовкинъ гадокъ, животненно-низокъ въ этой сценѣ,—и въ піесѣ долженъ бы слышаться негодующій смѣхъ надъ нимъ; но этого смѣха нѣтъ, и вмѣсто него зрителю предлагается болѣзненное состраданіе; въ этомъ ложь піесы. Впрочемъ, художественная сила подсказала Тургеневу небольшую поправку: онъ заставилъ Кузовкина сознать свою вину, свою низость:

„я было хотѣлъ (продолжаетъ тотъ свой разсказъ) бѣжать, куда глаза глядятъ... виноватъ—не хватило силы—бѣдности испугался, нужды кровной. Остался, виноватъ...“

Поэтъ заставляетъ затѣмъ Ольгу содрогнуться отъ страшнаго разсказа нахлѣбника и отвернуться отъ него; она потомъ разсудкомъ убѣждаетъ себя, что должна отнестись къ старику иначе, она „хочетъ принудить себя броситься ему на шею“,—но не можетъ этого сдѣлать—и „съ содроганьемъ отворачивается и убѣгаетъ“. Все это психологически глубоко вѣрно. Поэтъ, однако, не остановился здѣсь — и кончилъ тѣмъ, что и въ Ольгѣ возбудилъ болѣзненную симпатію къ своему ничтожному герою.

Герой другой комедіи — „Холостякъ“, — Мошкинъ, по общественному положенію лице самостоятельное; но онъ также человѣкъ мелкій — по своему уму, по слабости характера, по робости нрава. Онъ представленъ лицемъ весьма симпатичнымъ и, подобно Кузовкину въ „Нахлѣбникѣ“, оттѣненъ въ піесѣ непривлекательными личностями — сухаго и холоднаго чиновника-карьериста изъ нѣмцевъ фонъ-Фонка, безхарактернаго и пустаго Вилицкаго, глупой и болтливой кумушки Пряжкиной. — Мошкинъ — человѣкъ добрый и сердечный: онъ принялъ къ себѣ въ домъ бѣдную сироту Машу, заботится о ней и любитъ ее какъ отецъ дочку (по крайней мѣрѣ онъ самъ такъ увѣряетъ и такъ, дѣйствительно, кажется въ двухъ первыхъ актахъ комедіи.)

— Содержаніемъ піесы служитъ устроеніе судьбы этой сироты Маши, выдача ея замужъ. Трогательны заботы объ этомъ Мошкина, трогательны его дружески-любовныя отношенія къ жениху Маши, Вилицкому, даже его робкія старанія занять разговоромъ надмѣннаго фонъ-Фонка, когда тотъ удостоилъ его своего посѣщенія. Мы невольно сочувствуемъ смиренію и великодушію Мошкина, когда онъ въ сердечной тревогѣ ловитъ отвиливающаго отъ женитьбы Вилицкаго и кротко упрекаетъ его за горе Маши (о своемъ горѣ онъ забываетъ и не считаетъ даже приличнымъ говорить).

„А вы даже въ лицѣ измѣнились, бѣдный мой Михайло Иванычь (говоритъ старику пристыженный Вилицкій)... Какъ я виноватъ, какъ непростительно виноватъ передъ вами!

Вона! (возражаетъ ему Мошкинъ). Три года сряду ты меня радовалъ и утѣшалъ... разъ какъ-то опечалилъ, велика важность! Стоитъ говорить! А что касается до объясненія (съ Машей), — я на тебя полагаюсь, ты вѣдь у меня уменъ... ты все къ лучшему устроишь. Только, пожалуйста, будь снисходителенъ. Машу, ты самъ знаешь, запугать ничего не стоитъ. А что она застѣнчива и сиротлива — ты на это не смотри: она не комъ-эль-фонтъ, положимъ; да не въ этомъ счастье жизни заключается, Петруша, повѣрь мнѣ; а въ нравственности, въ любви, въ добротѣ сердечной. У тебя, конечно, друзья ученые — ну, и разговоръ, конечно, эдакой, все отвлеченный... а мы... мы только любить тебя умѣемъ отъ всего сердца... Въ этомъ, Петруша, съ нами ужь никто не поспоритъ...

„Добрый, добрый Михайло Иванычь... (говоритъ растроганный Вилицкій, пожимая Мошкину руку). Чѣмъ я заслужилъ такое расположеніе?

А Мошкинъ улыбается и махаетъ рукою. Добрый старикъ чуть не извиняется передъ Вилицкимъ за то, что тотъ поступилъ съ ними скверно.

Трогательнымъ представляется намъ и гнѣвъ старика, когда онъ, въ третьемъ актѣ комедіи, получивъ письмо, въ которомъ женихъ отказывается отъ руки Маши, наивно хочетъ привести Вилицкаго силой или вызвать его на дуэль. Невольную симпатію возбуждаетъ наконецъ и его объясненіе съ Машей, когда онъ хотѣлъ-было подготовить ее къ тяжелому извѣстію, да не съумѣлъ; онъ наивно надѣется ее утѣшить:

„Да это просто сонъ (говоритъ онъ), какое-то навожденіе, туманъ какой-то! Вотъ посмотри, мы вдругъ съ тобой проснемся; глядь, анъ

все по старому. Какъ это отъ тебя отказаться, помилуй; скажи сама? Чѣмъ, ну скажи, чѣмъ ты не берешь?"

Неограничиваясь всѣмъ приведеннымъ, поэтъ хотѣлъ представить намъ симпатичнымъ и трогательнымъ—и намѣреніе Мошкина жениться на Машѣ, чтобы только не разлучаться съ нею, чтобы она отъ него не уѣзжала, когда та говоритъ ему, что, во избѣжаніе сплетень и толковъ, не можетъ болѣе оставаться жить у него. Но тутъ внезапно и неожиданно открываются передъ нами весьма непривлекательныя черты героя комедіи.

Мошкинъ старается увѣрить Машу, что его сватовство къ ней вызвано лишь заботами объ ея судьбѣ, лишь обстоятельствами, и что тутъ съ его стороны нѣтъ никакихъ нелѣпыхъ мечтаній о себѣ лично.

„Я самъ незнаю (говоритъ онъ Машѣ), какъ эта мысль мнѣ въ голову пришла, но я долженъ ее высказать. Средство, я согласенъ, отчаянное, да и положеніе-то наше каково?.. Еслибъ я надѣялся на возвращеніе Петруши... Позволь-же мнѣ, по крайней мѣрѣ, объясниться, а то ты меня, точно, въ правѣ за сумасшедшаго счесть или даже... Нѣтъ! ты не можешь подумать, что я въ состояніи тебя оскорбить... Вольно-жь тебѣ было пугнуть меня своимъ отъѣздомъ... Вѣдь изъ чего я бьюсь, Маша? Чего мнѣ хочется? Мнѣ хочется, чтобъ тебя всѣ уважали какъ королеву; мнѣ хочется доказать всѣмъ, всѣмъ, что руку твою получить—да это верхъ степени благополучія!.. Одинъ дуракъ, мальчишка, отказался, отъ своего счастья отказался; а вотъ я, человѣкъ степенный, безукоризненный, какъ говориться, чиновникъ, и передъ тобой на колѣняхъ; дескать, Марья Васильевна, удостойте. Вотъ что мнѣ хочется всему міру доказать—ему тоже, Петру Ильичу то-есть. Вотъ что пойми... Ради Бога, не вздумай ты...

„Михайло Иванычъ... (перебиваетъ Маша).

Постой, постой, я знаю (продолжаетъ онъ), я все знаю, что ты мнѣ хочешь возразить; но пойми меня. Какой я тебѣ мужъ—помилуй; объ этомъ нечего и говорить... Но я чувствую, точно, тебѣ нельзя жить у меня эдакъ, по прежнему, а оставить меня ты не можешь. Я предлагаю тебѣ покой, тишину, уваженіе, пріютъ—вотъ что́ я тебѣ предлагаю. Я человѣкъ честный, ты знаешь, Маша, ничѣмъ не замаранный; я буду тебя лелѣять такъ же точно, какъ до сихъ поръ лелѣялъ. Отцомъ я тебѣ буду—вотъ что. А! тебя хотѣли бросить, обидѣть: ты вотъ сирота безпомощная, пріемышъ; ты у чужихъ людей изъ милости на хлѣбахъ живешь,—такъ нѣтъ-же! Вотъ ты хозяйка, ты госпожа, ты барыня... а я... ширмы, понимаешь, ширмы и больше ничего. Ну, что́ ты на это скажешь?".

Такъ краснорѣчиво говоритъ Мошкинъ; но чрезъ нѣсколько мгновеній оказывается, что эти слова его—совер-

шенный вздоръ и даже ложь (хотя можетъ быть и безсознательная). Недаромъ самъ старикъ чувствуетъ въ приведенныхъ разсужденіяхъ своихъ, что въ его предложеніи Машѣ заключается что́-то нелѣпое и оскорбительное для нея. Мошкинъ здѣсь напоминаетъ намъ (и ходомъ своихъ мыслей, и даже рѣчью) Макара Дѣвушкина. Есть что-то отталкивающее въ его обѣщаніи, что онъ будетъ „ширмами, ширмами и ничего болѣе"; и уже положительной фальшью звучатъ слова: „я чувствую, точно, тебѣ нельзя жить у меня эдакъ, по-прежнему", слова, сказанныя послѣ того, какъ за минуту онъ увѣрялъ:

„Ты у меня живешь"—да Маша, перекрестись: вѣдь я старикъ, вѣдь я степенный человѣкъ, вѣдь всѣ знаютъ, что ты мнѣ дочь... Помилуй, помилуй! Я тебя, ей Богу, не понимаю.

Старикъ и степенный человѣкъ, кажется, съ удовольствіемъ ухватился теперь, безсознательно, конечно, за идею, что Машѣ будто бы неудобно у него жить. Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро. Онъ старается и себѣ, и Машѣ представить дѣло такъ, что для него важно не согласіе Маши на бракъ, а то—остается она у него, или нѣтъ. Но онъ невольно проговаривается; на замѣчаніе Маши:

„имѣю ли я право располагать вами... за что-же вы...

онъ кричитъ:

„Вотъ что выдумала! Да старому дураку, какъ я, такого счастья и сниться-то не слѣдуетъ!

а когда Маша говоритъ ему, что остается у него,—онъ не ограничивается словами:

„Ну, и слава Богу, слава Богу! Лишь бы ты была покойна и счастлива. А о прочемъ не безпокойся, ради Бога...

нѣтъ, онъ прибавляетъ, какъ бы шутя (впрочемъ, онъ и самъ думаетъ, что шутитъ):

„Говорятъ, въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ спросить у возлюбленной, то-есть, особы: могу ли я, дескать, надѣяться? Но ты не бойся, я ничего у тебя не спрошу".

Тогда Маша подаетъ ему надежды,—и старикъ растерялся отъ радости и раскрылся весь передъ нами, забывъ всѣ свои хитрости и всякія попытки самообманыванія „Что

это она сказала? Вы можете надѣяться? (говоритъ онъ въ чаду восторга, и прыгаетъ).

„Стой, старый дуракъ! (продолжаетъ онъ, справедливо придавая себѣ такой эпитетъ):

Что это ты разскакался? Развѣ ты не понимаешь? Но, Господи, Боже мой! Кто бы могъ это все предвидѣть? Это, просто, такія чудеса, какихъ на свѣтѣ никогда не бывало!.. Я женюсь? Въ мои года, и на комъ-же? На совершенствѣ на какомъ-то, на ангелѣ... Да это сонъ, это бредъ; просто, я въ чаду хожу... въ горячкѣ, я въ горячкѣ. А, Петръ Ильичъ? Вы думали насъ подкузьмить? Анъ нѣтъ-же, вотъ! Шишъ тебѣ, мой голубчикъ!

Петръ Ильичъ представляется здѣсь Мошкину побѣжденнымъ соперникомъ,—онъ забываетъ, что Маша того любила; вообще, въ своихъ радостяхъ, о сердцѣ Маши, о томъ, что бѣдная дѣвушка чувствуетъ, выходя за него,—онъ забываетъ и не думаетъ (Да забываетъ объ этомъ и авторъ комедіи).—Мошкинъ доходитъ, въ порывахъ своего восторга, до признанія, что и прежде Маша ему нравилась; что не отеческое (или, по крайней мѣрѣ, не одно отеческое) чувство было въ его душѣ; онъ говоритъ (оглядываясь и тихонько, про себя):

„То-то у меня и прежде сердце замирало, когда я ее сваталъ,

и прибавляетъ, самодовольно „махая рукою“:

Молчи, молчи, старый, молчи!“

Таковъ Мошкинъ. И ужь, конечно, нельзя, не хорошо сочувствовать его старческой влюбленности, его старческимъ поползновеніямъ. И очень жаль, что поэтъ не осмѣялъ своего добродушно-наивнаго, но вмѣстѣ и нѣсколько пошлаго героя правдивымъ скорбнымъ гоголевскимъ смѣхомъ.

Комедіи „Нахлѣбникъ“ и „Холостякъ“ обличаютъ собою, своимъ существованіемъ ложь школы „сантиментальнаго натурализма“ и должны быть признаны несомнѣнно ошибками тургеневскаго творчества. Положительное значеніе ихъ развѣ только въ томъ, что они были въ дѣятельности Тургенева противовѣсомъ прежнимъ, другаго характера, но тоже ложнымъ увлеченіямъ великаго поэтическаго таланта, который долго искалъ своей особой самостоятельной дороги.

Замѣчательно, однако, что эта дорога уже была имъ найдена, когда онъ писалъ двѣ разсмотрѣнныя нами комедіи. Комедіи эти относятся къ 1848 и 1849 годамъ; а еще въ январьской книжкѣ „Современника“ 1847 года былъ напечатанъ первый разсказъ изъ „Записокъ охотника“ — „Хорь и Калинычъ“, разсказъ, дышащій всей красотою живой, правдивой и оригинальной поэзіи.

Этотъ разсказъ привѣтствовали высоко-даровитые критики тѣхъ временъ: къ нему сочувственно отнеслись и западникъ Бѣлинскій, и славянофилъ К. Аксаковъ.

Остановимся здѣсь кстати на отзывахъ о началѣ поэтической дѣятельности Тургенева — Бѣлинскаго и К. Аксакова.

Первый написалъ о „Парашѣ“ большую статью въ Отеч. Запискахъ; онъ расхвалилъ поэму: ему, находившемуся тогда подъ обаяніемъ поэзіи Лермонтова, понравилось все въ произведеніи начинающаго писателя: и идея поэмы, и характеръ героини, и разочарованный взглядъ автора на жизнь. „Вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящная и тонкая иронія, подъ которою скрывается столько чувства,—все это (говоритъ Бѣлинскій) показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его“. Далѣе критикъ прибавилъ, что поэма „обличаетъ въ авторѣ не только творческій талантъ, но и зрѣлость и силу таланта, умѣющаго владѣть своимъ предметомъ“. Оканчивается, однако, статья какъ-бы оговоркой, нѣсколько скептической: „Дай Богъ, чтобы наша встрѣча съ талантомъ автора „Параши“ не была... случайна... Грустно было-бы думать, что такой талантъ—не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе молодой крови, а не признакъ призванія“ (Соч. VII, 279—281).

Отзывъ Бѣлинскаго о другой поэмѣ—„Разговоръ“—значительно холоднѣе. Онъ считаетъ „Разговоръ“ шагомъ новаго поэта впередъ; говоритъ: „всякій, кто живетъ и, слѣдовательно, чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнію нашего вѣка—апатіею чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли,—всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный, поэтическій „Разговоръ“; критикъ признаетъ, что „Тургеневъ—поэтъ въ истинномъ и современ-

номъ значеніи этого слова"; но однако онъ высказываетъ увѣренность, что муза Тургенева „не обѣщаетъ намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой, великой школы искусства" (X, 32—33).

О поэмѣ „Помѣщикъ" Бѣлинскій выразился, что это— „легкая, живая, блестящая импровизація, исполненная ума, ироніи, остроумія и граціи. Кажется, здѣсь талантъ г. Тургенева нашелъ свой истинный родъ, и въ этомъ родѣ онъ неподражаемъ"; но тутъ-же критикъ прибавляетъ, что этотъ родъ произведеній (къ которому относятся „Нулинъ" и „Домикъ въ Коломнѣ" Пушкина) низшій, сравнительно съ „Онѣгинымъ" великаго поэта (X, 363).

Объ „Андреѣ Колосовѣ" и „Трехъ портретахъ" Бѣлинскій отозвался очень холодно, и то—мимоходомъ.

Тургеневъ говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ о знаменитомъ критикѣ, что тотъ „послѣ перваго привѣтствія" его „литературной дѣятельности весьма скоро ... охладѣлъ къ ней: не могъ же онъ поощрять меня (смиренно поясняетъ поэтъ) въ сочиненіи тѣхъ стихотвореній и поэмъ, которымъ я тогда предавался".

Далѣе Тургеневъ приводитъ изъ письма къ нему Бѣлинскаго такія слова: „вашъ „Каратаевъ" хорошъ, хотя и далеко ниже „Хоря и Калиныча"... Мнѣ кажется, у васъ чисто-творческаго таланта нѣтъ—или очень мало—и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть-бы „Ермолай и мельничиха"—не Богъ знаетъ что, бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслію. А въ „Бреттерѣ"—я увѣренъ—вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто—въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе—наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію... А „Хорь" обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя въ будущемъ".

Мы видимъ такимъ образомъ, что, начавъ съ восторженныхъ отношеній, Бѣлинскій постепенно охладѣвалъ къ Тургеневу; онъ не провидѣлъ въ начинающемъ писателѣ будущаго великаго поэта,—ему стало измѣнять въ ту пору его великое эстетическое чутье. Однако должно замѣтить, что на разсказѣ „Хорь и Калинычъ" основывалъ онъ нѣкоторыя надежды.

К. Аксаковъ, въ противоположность Бѣлинскому, началъ съ отрицанія поэзіи Тургенева; онъ сурово отозвался (въ Моск. Сборн. 1847 г.) о юмористической поэмѣ „Помѣщикъ“ и очень ѣдко подсмѣялся надъ тенденціями автора въ этомъ произведеніи. Но къ очерку „Хорь и Калинычъ“ онъ отнесся съ великимъ сочувствіемъ (съ бо̀льшимъ, нежели Бѣлинскій). Въ примѣчаніи къ своей статьѣ о „Петербургскомъ Сборникѣ“ (въ которомъ напечатанъ „Помѣщикъ“) критикъ написалъ: „Мы должны указать на появившійся въ 1 № Современника превосходный разсказъ г. Тургенева „Хорь и Калинычъ“. Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и народу: въ-мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, — все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ — и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ-мигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ“ (М. Сб. 38—39).

Пожеланіе Аксакова исполнилось: поэтъ дѣйствительно пошелъ по новой дорогѣ.

Разсказъ „Хорь и Калинычъ“, признанный за прекрасное созданіе противоположными направленіями нашей критики, вернулъ Тургенева къ писательству, которое онъ, какъ теперь оказывается изъ его воспоминаній, намѣревался-было бросить.

„Я скоро догадался самъ (пишетъ великій поэтъ про свои стихотворныя сочиненія), что не предстояло никакой надобности продолжать подобныя упражненія — и возымѣлъ твердое намѣреніе оставить литературу; только вслѣдствіе просьбъ И. И. Панаева, не имѣвшаго чѣмъ наполнить отдѣлъ „смѣси“ въ 1 № Современника, я оставилъ ему очеркъ, озаглавленный „Хорь и Калинычъ“. (Слова: „Изъ записокъ охотника“ были придуманы и прибавлены тѣмъ-же И. И. Панаевымъ, съ цѣлью расположить читателя къ снисхожденію). Успѣхъ этого очерка побудилъ меня написать другіе; и я возвратился къ литературѣ“.

3.

«Записки охотника».—Повѣсти: «Муму» и «Постоялый дворъ».

Середина 40-хъ годовъ нашего столѣтія была важнымъ моментомъ въ развитіи русской литературы: выступилъ рядъ новыхъ писателей съ блестящими дарованіями, явились новыя направленія творчества. Одно изъ этихъ направленій обратилось къ народу, занялось изображеніемъ деревенскаго быта. Честь и слава перваго начала въ этомъ прекрасномъ дѣлѣ принадлежитъ уважаемому современному писателю Д. В. Григоровичу. Въ 1846 году появилась въ свѣтъ его повѣсть „Деревня". Это не художественное созданіе въ строгомъ смыслѣ слова, но оно важно тѣмъ, что признало крестьянскую жизнь достойной сочувственнаго вниманія. Вотъ справедливый отзывъ о „Деревнѣ" Бѣлинскаго: авторъ (говоритъ знаменитый критикъ)

„хотѣлъ сдѣлать изъ своей „Деревни" повѣсть, и отсюда вышли всѣ недостатки его произведенія... Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренній міръ героини его повѣсти... Но что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, — это блестящая сторона произведенія г. Григоровича. Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла, и умѣлъ выказать то и другое въ ббразахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ". (Соч. т. XI, 62, ст. „Взглядъ на рус. лит. 1846 г.").

Къ этимъ словамъ Бѣлинскаго мы можемъ теперь прибавить, что, собственно говоря, отношенія автора „Деревни" къ народу, къ простымъ людямъ неясны и неопредѣленны; эти отношенія могутъ представиться даже какъ-будто отрицательными: передъ нами въ повѣсти нѣтъ ни одной личности, вызывающей своимъ характеромъ положительную симпатію къ себѣ. — Но съ другой стороны несомнѣнно, что молодой писатель считаетъ народную жизнь достойной подробнаго и обстоятельнаго изображенія, съ чѣмъ совершенно согласуется и прекрасная ироническая выходка его (въ 5 гл.) противъ отношеній къ народу прежнихъ писателей.

„Хотя разсказчикъ этой повѣсти (пишетъ г. Григоровичъ) чувствуетъ неизъяснимое наслажденіе говорить о просвѣщенныхъ, образованныхъ и принадлежащихъ къ высшему классу людяхъ; хотя онъ вполнѣ убѣжденъ, что самъ читатель несравненно болѣе интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавокъ еще глупыми мужиками и бабами,

однакожь онъ перейдетъ скорѣе къ послѣднимъ, какъ лицамъ, составляющимъ, увы! главный предметъ его повѣствованія" (Деревня, изд. 1882 г., стр. 31).

Эти слова, равно какъ и весь разсказъ г. Григоровича, видимо проникнуты сочувствіемъ къ крестьянскому быту.

Въ слѣдующемъ послѣ появленія „Деревни" Григоровича — 1847 году русское общество прочитало первый Тургеневскій очеркъ изъ народнаго быта—„Хорь и Калинычъ"[1]).

Весьма вѣроятно, что на мысль обратиться къ изображенію народа навела Тургенева повѣсть г. Григоровича. Но то, что у послѣдняго явилось какъ смутное предчувствіе, у Тургенева выразилось сознательно и ясно. Инстинктивная и робкая симпатія автора „Деревни" къ крестьянину и его жизни замѣнилась у геніальнаго художника явно сочувственнымъ изображеніемъ народа въ глубоко-поэтическихъ очеркахъ его быта.

Нѣкоторые современные критики готовы считать „Записки охотника" главнымъ созданіемъ Тургенева. Съ этимъ нельзя согласиться: „Записки охотника" рисуютъ лишь одну сторону русской дѣйствительности, и потому были только подготовкою Тургенева къ всестороннему изображенію нашей жизни; въ нихъ талантъ Тургенева не достигъ еще полнаго развитія, доступной ему широты пониманія, хотя геніальная сила таланта уже сказалась въ этихъ истинно-художественныхъ очеркахъ.

„Записки охотника" были собственно для Тургенева школою народности, какъ предшествовавшія произведенія (слагавшіяся подъ вліяніемъ Лермонтова и „сантиментальнаго натурализма") — школою западно-европейскаго міросозерцанія. Чтобы изображать жизнь русскаго общества, великій талантъ долженъ былъ подготовить въ себѣ всесторонность

---

[1]) Можно догадываться, что новое созданіе даровитаго писателя явилось не повѣстью, а именно очеркомъ вслѣдствіе одного замѣчанія Бѣлинскаго о „Деревнѣ": критикъ пожалѣлъ, что г. Григоровичъ написалъ „повѣсть", а не „ограничился безсвязными внѣшнимъ образомъ, но дышущими одною мыслію картинами деревенскаго быта крестьянъ" (XI, 62). По крайней мѣрѣ не только „Хорь и Калинычъ", но и всѣ остальные разсказы изъ „Записокъ охотника" именно отвѣчаютъ этой мысли, этому желанію знаменитаго критика, представляя рядъ живыхъ картинъ и типовъ жизни, а не повѣстей.

взгляда. Чтобы русскій духъ вѣялъ въ его созданіяхъ, чтобы они были народны, Тургеневъ долженъ былъ сосредоточиться нѣкоторое время на изображеніи крестьянской и отчасти помѣщичьей среды, деревенской жизни вообще. Въ этомъ смыслѣ Тургеневъ въ „Запискахъ охотника" — еще ученикъ, но ученикъ не уступающій никакому учителю, хотя и не проявившій еще вполнѣ своихъ силъ, не выказавшій всей своей самобытности и оригинальности.

„Записки охотника" замѣчательны во многихъ отношеніяхъ, и прежде всего тѣмъ, что русское общество узнало по нимъ душу русскаго крестьянина, узнало какъ много прекраснаго, свѣтлаго и чистаго въ простонародной жизни. Тургеневъ нарисовалъ намъ цѣлый рядъ личностей, вызывающихъ наше полное сочувствіе, и нарисовалъ рукою мастера, вполнѣ живо и художественно.

Какъ разнообразна жизнь, такъ разнообразны и эти личности тургеневскаго деревенскаго міра. — Такъ, Хорь и Калинычъ прямо противоположны другъ другу, хотя ихъ и соединяетъ сильное взаимное расположеніе. Первый, по опредѣленію поэта,

„былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т. е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями; Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ... Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина (его помѣщикъ); Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ".

Такъ говоритъ поэтъ. Продолжимъ его сравненіе. Хорь — человѣкъ ума, здраваго смысла, онъ порой даже скептикъ, иронически смотрящій на жизнь. Калинычъ — человѣкъ сердца, чувства, вѣры. Хорь разсуждаетъ толково и здраво и прекрасно устроилъ и свое хозяйство (у него въ домѣ довольство и порядокъ, чистота), и свою семью. Калинычъ — мечтатель и почти безпріютный странникъ; но во всемъ и всюду проявляется нѣжность его сердца, — такъ, авторъ былъ свидѣтелемъ, какъ „Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую онъ нарвалъ для своего друга Хоря".—Противоположность этихъ людей особенно выразилась въ ихъ бесѣдѣ съ поэтомъ о заграничной жизни; чужія земли заняли обоихъ, въ обоихъ возбудили любопытство;

„но Калиныча (говоритъ авторъ) болѣе трогали описанія природы горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку: „Что, у нихъ это тамъ есть такъ-же, какъ у насъ, аль иначе?... Ну, говори, батюшка, какъ же?...“ „А! ахъ, Господи, твоя воля!“ восклицалъ Калинычъ во время... разсказа. Хорь молчалъ, хмурилъ брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что „дескать это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо, это — порядокъ“.

Бесѣда съ Хоремъ привела поэта (по его словамъ) къ убѣжденію,

„что Петръ Великій былъ по-преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что не прочь и поломать себя: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Чтó хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ — ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ“.

Замѣчательно, что Хоря и Калиныча сблизила не одна противоположность характеровъ; мы видимъ много общаго въ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ этихъ повидимому совершенно несходныхъ людей: поэтическое свидѣтельство, что въ русскомъ простомъ народѣ нѣтъ крайняго раздвоенія жизни, сохраняется ея живое единство даже въ рѣзкихъ различіяхъ типовъ. — Калинычъ, совершенно согласно съ его характеромъ, „заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ червей, пчелы ему дались, рука у него была легкая“. Хорь, при всемъ своемъ скептицизмѣ, признавалъ эти способности своего друга.

„Хорь при мнѣ попросилъ его (т. е. Калиныча, разсказываетъ поэтъ) ввести въ конюшню новокупленную лошадь; Калинычъ съ добросовѣстною важностью исполнилъ просьбу стараго скептика“.

Еще одно сближало ихъ—общая любовь къ музыкѣ:

„Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и поигрывалъ на балалайкѣ. Хорь слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: „доля ты моя, доля!“ Федя не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. „Чего, старикъ, разжалобился?“ Но Хорь подпиралъ щеку рукой и продолжалъ жаловаться на свою долю“.—

Хоря напоминаетъ нѣсколько герой другаго разсказа— однодворецъ Овсянниковъ. Это тоже человѣкъ здраваго смысла, ума. Поэтъ говоритъ про него, что онъ

„своею важностью и неподвижностью, смышленностью и лѣнью, своимъ прямодушіемъ и упорствомъ напоминалъ.. русскихъ бояръ до-петровскихъ временъ... Ферязь бы къ нему пристала. Это былъ одинъ изъ послѣднихъ людей стараго вѣка“.

Но, несмотря на это, несмотря и на свою старость, Овсянниковъ не стоитъ за старое время; онъ признаетъ, что прежде „спокойнѣе жили; довольства больше было“, однако прибавляетъ: „а все-таки теперь лучше, а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ дастъ“. „Душа у него была... свободная“, говоритъ авторъ. Замѣчательно, что онъ былъ друженъ съ иностранцемъ Леженемъ (оставшимся въ Россіи солдатомъ наполеоновской арміи). Спокойствіе, самообладаніе (не покинувшее его даже тогда, когда онъ свалился съ понесшимъ его конемъ въ оврагъ), доброта—составляютъ его отличительныя свойства: онъ почитаетъ грѣхомъ продавать хлѣбъ, и въ голодный годъ роздалъ его даромъ нуждающимся; онъ покровительствуетъ и помогаетъ своему племяннику, который занимается писаніемъ просьбъ для бѣдныхъ людей и, по мѣрѣ своихъ знаній, ходатайствуетъ за нихъ въ судахъ и защищаетъ ихъ отъ богатыхъ и властныхъ, хотя практическій смыслъ и заставляетъ его предостерегать этого племянника: „не сдобровать ей, твоей головѣ... человѣкъ ты сумасшедшій вовсе“.

Нѣсколько подходитъ къ типу Калиныча, хотя гораздо замѣчательнѣе его,—Касьянъ съ Красивой Мечи, герой очерка того же имени. Касьянъ—юродивецъ, человѣкъ слабый и хилый отъ рожденья, „неразумный съ мальства“ (какъ онъ самъ опредѣлилъ себя), но съ поэтической душой, съ нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ. Красота природы, древнихъ городовъ съ ихъ Божьими храмами, поэтическія повѣрья старыхъ временъ, надежда встрѣтить правду между людьми—сдѣлали Касьяна непосѣдомъ, любителемъ скитаній.

„Да и что! много ли дома-то высидишь? (разсуждаетъ онъ). А вотъ какъ пойдешь, какъ пойдешь... и полегчитъ, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты виднѣй, и поется-то ладнѣе. Тутъ, смотришь,—трава какая ростетъ; ну, замѣтишь—сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напр., ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься—замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя... И не одинъ я грѣшный... много другихъ хрестьянъ

въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ,—вотъ оно что...“

Касьянъ считаетъ грѣхомъ охоту, убіеніе Божіей твари.

— Баринъ, а баринъ!.. Ну, для чего ты пташку убилъ? (говоритъ онъ охотнику).

— Какъ для чего?.. Коростель—это дичь: его ѣсть можно.

— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

— Да, вѣдь, ты самъ, небось, гусей или курицъ, напр., ѣшь?

— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель - птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой—и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... А человѣку пища положена другая, пища ему другая и другое питье: хлѣбъ—Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ... Святое дѣло—кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣта прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!

Слабый тѣломъ и умомъ, Касьянъ ничѣмъ не промышляетъ, какъ самъ говоритъ; „отъ рукъ отбился... отъ работы“, по замѣчанію кучера Ерофея. Онъ весь погруженъ въ созерцаніе природы, собираетъ травы и лечитъ (онъ—„лекарка“), слушаетъ пѣніе птицъ и подражаетъ имъ, ловитъ соловьевъ, „не на муку... не на погибель ихъ живота (поясняетъ онъ), а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселье“. Онъ живетъ въ своихъ мечтахъ и грезахъ, любитъ пѣть и поетъ хорошо (по словамъ того же Ерофея); онъ даже сочиняетъ пѣсни.—Касьянъ человѣкъ безсемейный,—„задачи въ жизни не вышло“, какъ говоритъ онъ; но у него есть дочка, молоденькая дѣвушка. Авторъ былъ свидѣтелемъ встрѣчи Касьяна съ дочкой въ лѣсу, и видѣлъ—какъ горячо старикъ ее любитъ; онъ замѣтилъ, что „въ долгой усмѣшкѣ“, съ которой Касьянъ проводилъ уходившую дѣвушку,

„въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ (такъ ее звали), въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нѣжность“.

Нѣжной и поэтической личности Касьяна противоположна суровая, но великодушная натура Бирюка. Это тоже хорошій человѣкъ, хоть и грубый съ-виду. Онъ живетъ одинъ въ лѣсу, въ избѣ „закоптѣлой, низкой и пустой,

безъ палатей и перегородокъ", съ двумя дѣтьми, покинутый женою, сбѣжавшей съ прохожимъ мѣщаниномъ,— должно быть семейное горе и сдѣлало его угрюмымъ. Онъ лѣсникъ и про него говорятъ, что „вязанки хворосту не дастъ утащить... и ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ".

— Я, братъ, слыхалъ про тебя (ведетъ съ нимъ бесѣду авторъ). Говорятъ, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю,—отвѣчалъ онъ угрюмо:—даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится.

Автору довелось быть свидѣтелемъ, какъ этотъ неподкупно-честный человѣкъ отпустилъ пойманнаго имъ въ лѣсу вора, мужика срубившаго дерево, отпустилъ, потому что почувствовалъ своимъ честнымъ и великодушнымъ сердцемъ безъисходное горе бѣдняка, рѣшившагося, съ отчаянья, на опасное дѣло. Поэтъ прекрасно рисуетъ въ этой сценѣ весь ужасъ бѣдности, до которой иногда доходитъ крестьянинъ.

Между разсказами „Записокъ охотника" очень видное мѣсто занимаютъ „Пѣвцы" и „Смерть". Въ этихъ чудныхъ очеркахъ авторъ показываетъ намъ отношенія русскаго человѣка къ двумъ важнѣйшимъ явленіямъ бытія: къ искусству и къ смерти. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ русская душа, по неподкупному свидѣтельству поэзіи, стоитъ очень высоко.

Мы видѣли уже въ нѣсколькихъ изъ названныхъ выше личностей, въ Хорѣ, Калинычѣ, Касьянѣ, сердечное расположеніе къ музыкѣ, къ пѣснѣ. Въ „Пѣвцахъ" поэтъ изображаетъ потрясающее дѣйствіе этого искусства на самыхъ разнородныхъ по характерамъ своимъ русскихъ людей. Въ неприглядной обстановкѣ кабака происходитъ состязаніе двухъ пѣвцовъ, и чистое вѣяніе искусства все очищаетъ и просвѣтляетъ вокругъ. Состязаются рядчикъ изъ Жиздры и Яшка Турокъ, и слушатели съ замирающимъ сердечнымъ участіемъ слѣдятъ за исходомъ благородной борьбы. Побѣдителемъ оказывается Яковъ. Вотъ какими поэтическими чертами рисуетъ Тургеневъ его пѣніе:

„понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. „Не одна въ полѣ дороженька пролегала", пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко... Русская, правдивая, горячая душа зву-

чала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо овладѣвало упоеніе: онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе—онъ дрожалъ, но той едва замѣтной, внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся... Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участьемъ. Онъ пѣлъ, и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ нами, уходя въ безконечную даль".

Слушатели всѣмъ серцемъ отозвались на вдохновенное пѣніе: авторъ чувствовалъ, что у него „закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы"; онъ видѣлъ, что „жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну"; цѣловальникъ Николай Иванычъ потупился; легкомысленный и несообразный Оболдуй, „весь разнѣженный, стоялъ, глупо разинувъ ротъ"; посторонній и случайный свидѣтель состязанія—„сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой"; и самъ суровый „Дикій Баринъ" былъ растроганъ: „по желѣзному лицу" его, „изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза". Соперникъ Якова—рядчикъ первый призналъ себя побѣжденнымъ: „ты... твоя... ты выигралъ", произнесъ онъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Чуткой и нѣжно-отзывчивой на впечатлѣнія искусства изображена Тургеневымъ въ „Пѣвцахъ" русская душа, и тонко подмѣтилъ поэтъ народныя особенности, народныя черты широкой и вольной русской пѣсни.

Можетъ быть, еще болѣе замѣчателенъ разсказъ „Смерть", гдѣ поэтъ изобразилъ, какъ умираетъ русскій человѣкъ. Онъ встрѣчаетъ смерть спокойно и просто, безъ внутренней борьбы, тревогъ и колебаній, безъ отчаянья и страха. Въ этомъ сказывается здоровая цѣльность, простота и правдивость русской души.—Умираетъ подрядчикъ Максимъ, пришибленный деревомъ.

— Батюшка, заговорилъ онъ едва внятно (обращаясь къ наклонившемуся къ нему помѣщику):—за попомъ... послать... прикажите... Господь меня наказалъ... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вотъ... ребятъ-то не распустилъ.

Онъ молчалъ. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои... женѣ... женѣ дайте... за вычетомъ... вотъ Онисимъ знаетъ... кому я... что долженъ.

— Мы за лекаремъ послали, Максимъ, заговорилъ мой сосѣдъ:— можетъ быть ты еще и не умрешь.

Онъ раскрылъ было глаза и съ усиліемъ поднялъ брови и вѣки.

— Нѣтъ, умру. Вотъ... вотъ подступаетъ, вотъ она, вотъ... Простите мнѣ, ребята, коли въ чемъ...

— Богъ тебя проститъ, Максимъ Андреичъ, глухо заговорили мужики въ одинъ голосъ и шапки сняли:—прости ты насъ.

Столько-же самообладанія, если не болѣе, выказываетъ мельникъ, пріѣхавшій смертельно-больной къ фельдшеру полечиться. Когда онъ узнаетъ безнадежность своего положенія, онъ не хочетъ остаться въ больницѣ, а ѣдетъ домой распорядиться и дѣла устроить. „Ну, прощайте, Капитонъ Тимофѣичъ“ (говоритъ онъ фельдшеру, не слушаясь убѣжденій того остаться):

„не поминайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте, коли что“... „Эй, останься, Василій!“—Мужикъ только головой тряхнулъ, ударилъ возжей по лошади и съѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ-слѣдъ (разсказываетъ авторъ). Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадью и со встрѣчными раскланивался... На четвертый день онъ умеръ“.

Такъ умираютъ простые русскіе люди, мужики. Но замѣчательно, что въ очеркѣ „Смерть“ поэтъ разсказываетъ о подобномъ-же спокойномъ отношеніи къ кончинѣ и людей барской и интеллигентной среды,—старушки помѣщицы, недоучившагося студента Авенира Сорокоумова. Старушка хотѣла сама заплатить священнику за свою отходную и, приложившись къ поданному имъ кресту, засунула-было руку подъ подушку, чтобъ достать приготовленный тамъ цѣлковый, да не успѣла,—„и испустила послѣдній вздохъ“.

Бѣднякъ учитель Сорокоумовъ, больной чахоткою и зная о близкой смерти,—„не вздыхалъ, не сокрушался, даже ни разу не намекнулъ на свое положеніе“... Авторъ разсказываетъ, что, когда онъ посѣтилъ его, то бѣднякъ,

„собравшись съ силами, заговорилъ о Москвѣ, о товарищахъ, о Пушкинѣ, о театрѣ, о русской литературѣ; вспоминалъ наши пирушки, жаркія пренія нашего кружка, съ сожалѣніемъ произнесъ имена двухъ-трехъ умершихъ пріятелей“.

Онъ даже шутилъ передъ смертью, даже высказалъ довольство своей судьбою (забывъ, по сердечной добротѣ,

какъ неприглядна была его жизнь въ домѣ тяжелаго шутника помѣщика Гура Крупянникова, дѣтей котораго Фофу и Зезю училъ онъ русской грамотѣ).

— Все бы ничего (сказалъ онъ своему собесѣднику послѣ мучительнаго приступа кашля)...—кабы трубочку выкурить позволили... А ужь я такъ не умру, выкурю трубочку! прибавилъ онъ, лукаво подмигнувъ глазомъ.—Слава Богу, пожилъ довольно; съ хорошими людьми знался"...

Одинаковое отношеніе къ смерти и простаго мужика, и образованнаго человѣка свидѣтельствуетъ, по поэтическому указанію Тургенева, о томъ, что въ русскомъ обществѣ живы народныя начала, что нѣтъ у насъ на Руси страшной внутренней розни между простымъ народомъ и культурными его слоями, по крайней мѣрѣ тѣмъ изъ нихъ, который стоитъ ближе къ народу, живетъ въ деревнѣ, или сочувствуетъ народному быту, народной нуждѣ.—О томъже отсутствіи розни свидѣтельствуетъ и то обстоятельство, что Тургеневъ, какъ увидимъ, не подмѣтилъ, не нарисовалъ въ своихъ „Запискахъ охотника" вражды, ненависти крестьянина къ помѣщику, хотя и изобразилъ всю тяжесть для перваго крѣпостнаго права.

Самъ русскій человѣкъ и стоящій въ „Запискахъ охотника" на народной почвѣ, на народной точкѣ зрѣнія, Тургеневъ чуждъ тенденціозности и вовсе не хочетъ противополагать крестьянина помѣщику въ томъ смыслѣ, что первый вполнѣ хорошъ, а послѣдній совсѣмъ худъ. Нарисовавши рядъ прекрасныхъ личностей изъ простаго народа, онъ рисуетъ намъ и нѣсколько симпатичныхъ типовъ дворянъ; таковы, напр., Каратаевъ, Татьяна Борисовна, взбалмошный Чертопхановъ, уѣздный лекарь (въ разсказѣ тогоже имени).

Человѣкъ малообразованный, но съ сердцемъ, съ живымъ и прямымъ, открытымъ характеромъ, помѣщикъ Каратаевъ полюбилъ чужую крестьянскую дѣвушку. Вслѣдствіе неосторожной прямоты и, пожалуй, нѣкоторой рѣзкости нрава, ему не удалось выкупить ее отъ изнѣженной, капризной и высокомѣрной ея помѣщицы. Онъ-было увезъ Матрену (такъ звали эту дѣвушку); но дѣло кончилось тѣмъ, что онъ принужденъ былъ разстаться съ нею. Чувство его было искреннимъ и сильнымъ—и разлука разбила

его жизнь. Авторъ встрѣчаетъ его потомъ въ Москвѣ въ кофейной въ нетрезвомъ видѣ. Но Каратаевъ не погибъ нравственно; сквозь непривлекательный внѣшній обликъ его жизни просвѣчиваетъ благородная душа: его поддерживаютъ вѣра въ людей, любовь къ поэзіи, къ театру.

„Здѣсь житье хорошее (говоритъ онъ про Москву, обрадованный встрѣчею съ знакомымъ), народъ здѣсь радушный. Здѣсь я успокоился.

Служите? (спросилъ его авторъ).

Нѣтъ-съ, еще не служу, а думаю скоро опредѣлиться. Да что служба?.... люди—вотъ главное. Съ какими я здѣсь людьми познакомился!...

. . . . . .

Чѣмъ-же вы жить будете, Петръ Петровичь?

— А не умру съ голоду, Богъ дастъ! денегъ не будетъ,—друзья будутъ. Да чтó деньги?—прахъ. Золото—прахъ!

Онъ зажмурился, пошарилъ рукой въ карманѣ и поднесъ ко мнѣ на ладони двя пятіалтынныхъ и гривенникъ.

Что это? Вѣдь прахъ? (И деньги полетѣли на полъ). А вы лучше скажите мнѣ, читали-ли вы Полежаева?

Читалъ.

— Видали-ли Мочалова въ Гамлетѣ?

Нѣтъ, не видалъ.

— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева поблѣднѣло, глаза безпокойно забѣгали; онъ отвернулся; легкія судороги пробѣжали по его губамъ). Ахъ, Мочаловъ, Мочаловъ!

и онъ началъ глухимъ, растроганнымъ голосомъ декламировать изъ Гамлета стихи, въ которыхъ, казалось ему, выражено было душевное настроеніе.—Въ безалаберномъ и, пожалуй, безпутномъ Каратаевѣ поэтъ съумѣлъ подмѣтить прекрасную душу, съумѣлъ возбудить въ насъ сочувствіе къ этой простой и искренней душѣ.

Сочувствіе возбуждаетъ въ насъ и образъ Татьяны Борисовны, мучимой своимъ празднымъ и заплывшимъ жиромъ племянникомъ, самодовольнымъ художникомъ, дико завывающимъ въ ея мирныхъ нѣкогда комнаткахъ романсъ: „я стражду.... я стражду!“

Въ Татьянѣ Борисовнѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго, выдающагося; она ничего даже не дѣлаетъ, даже хозяйствомъ не занимается; но она плѣняетъ своей добротой, простотой, своимъ спокойствіемъ. „Лицо ея дышетъ привѣтомъ, лаской“; она всякаго человѣка

„въ бѣдѣ, въ горѣ утѣшитъ, добрый совѣтъ подастъ. Сколько людей повѣрили ей свои домашнія, задушевныя тайны, плакали у ней на рукахъ! Бывало, сядетъ она противъ гостя, обопрется тихонько на локоть и съ такимъ участіемъ смотритъ ему въ глаза, такъ дружелюбно улыбается, что часто невольно въ голову придетъ мысль: „какая-же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебѣ разскажу, что́ у меня на сердцѣ". Въ ея небольшихъ уютныхъ комнаткахъ хорошо, тепло человѣку; у ней всегда въ домѣ прекрасная погода, если можно такъ выразиться".

Татьяна Борисовна сочувствуетъ молодости, ея живымъ стремленіямъ.

„Особенно любитъ она глядѣть на игры и шалости молодежи; сложитъ руки подъ грудью, закинетъ голову, прищуритъ глаза и сидитъ, улыбаясь, да вдругъ вздохнетъ и скажетъ: ахъ, вы, дѣтки мои, дѣтки!.. Такъ, бывало, и хочется подойти къ ней (говоритъ авторъ), взять ее за руку и сказать: послушайте, Татьяна Борисовна, вы себѣ цѣны не знаете, вѣдь вы при всей вашей простотѣ и неучености необыкновенное существо! Одно имя ея звучитъ чѣмъ-то знакомымъ, привѣтнымъ, охотно произносится, возбуждаетъ дружелюбную улыбку".

Взбалмошный, страстно, бѣшено увлекающійся Чертопхановъ—полонъ гордости, даже тщеславія, не прочь отъ самоуправства; но гордость его—порой хорошая гордость, свидѣтельствующая о сознаніи имъ своего человѣческаго достоинства. Онъ не смотритъ на лица, онъ смѣлъ, никого не побоится и готовъ защитить оскорбляемаго, какъ защитилъ онъ отъ презрительныхъ насмѣшекъ Недопюскина. Не будемъ останавливаться далѣе на его характерѣ. Замѣтимъ только, что разсказъ „Конецъ Чертопханова", печатающійся обыкновенно въ „Запискахъ охотника", написанъ значительно позднѣе, въ 1872 году, и носитъ на себѣ характеръ послѣдней эпохи творчества Тургенева: выдержавъ совершенно прежній нравъ своего героя, поэтъ художественно анализировалъ въ его образѣ муки человѣческаго сомнѣнія.

Не будемъ долго останавливаться и на характерѣ уѣзднаго лекаря. Это—человѣкъ опустившійся въ тину уѣздной жизни, пристрастившійся къ преферансу и женившійся на купеческой дочери, „злой бабѣ" (по его опредѣленію), съ 7000 приданаго. Но въ его душѣ поэтъ подмѣтилъ сочувственныя черты: и умъ, и смиренный взглядъ на себя, и остатки возвышенныхъ романтическихъ чувствъ: съ поэтическимъ одушевленіемъ и сердечнымъ прямодушіемъ, хо́тя

порой и нѣсколько комично, разсказываетъ докторъ своему неожиданному паціенту исторію любви къ нему умирающей дѣвушки, любви, которую онъ, смиренно не смѣя отнести лично къ себѣ, объясняетъ просто желаніемъ молодой души хоть на кого-нибудь, на перваго встрѣчнаго излить передъ смертью таившійся въ сердцѣ потокъ чувства. Поэтъ не смѣется надъ тѣмъ, что есть въ уѣздномъ лекарѣ пошлаго, потому что тотъ самд осмѣялъ въ себѣ это пошлое, осмѣялъ даже сзыше мѣры.

Обратимся еще разъ къ хорошимъ людямъ изъ народа. Передъ нами двѣ прекрасныхъ женскихъ личности: Акулина въ очеркѣ „Свиданіе" и Лукерья—„живыя мощи".

Первая — еще совсѣмъ молодая дѣвушка, неопытное сердце, полюбившее первой любовью. Она полюбила неудачно, полюбила пошло-самодовольнаго, изломаннаго лакея. Поэтъ видитъ ее на свиданіи, ожидающей.

„Мнѣ особенно нравилось (говоритъ онъ) выраженіе ея лица: такъ оно было просто и кротко, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнья передъ собственной грустью".

Пришелъ наконецъ—кого она ожидала, и сталь ломаться,—а она поднесла ему набранные для него васильки,

„глядѣла на него.... Въ ея грустномъ взорѣ было столько нѣжной преданности, благоговѣйной покорности и любви. Она... была такъ хороша въ это мгновеніе: вся душа ея довѣрчиво, страстно раскрывалась передъ нимъ, тянулась, ластилась къ нему, а онъ... онъ уронилъ васильки на траву, досталъ изъ боковаго кармана пальто круглое стеклышко въ бронзовой оправѣ и принялся втискивать его въ глазъ"...

Другой женскій образъ — героиня разсказа „Живыя мощи"—есть едва-ли не лучшій, не самый поэтическій изъ всѣхъ образовъ „Записокъ охотника". Поэтъ показалъ намъ въ немъ, до какой духовной высоты можетъ подняться простой русскій человѣкъ-вообще. — Молодая дѣвушка крестьянка Лукерья, веселая, живая, бойкая, красавица, невѣста, любимая женихомъ и сама любящая его, внезапно заболѣла такою болѣзнью, которая изсушила ее, навсегда приковала къ постели, исключила изъ числа живыхъ людей. Женихъ ее погоревалъ да и женился на другой. А она проводитъ цѣлые годы въ уединеніи, неподвижная, одна съ своими думами.—Но она не пала духомъ въ безотрадномъ положеніи; напротивъ, она дошла до полнаго про-

свѣтлѣнія,—она счастлива, она радуется жизни, всякому ея мелкому проявленію; она рада и смерти—и ждетъ ее какъ блаженства и не знаетъ и не понимаетъ страха передъ нею. Лукерья—олицетвореніе народнаго религіознаго идеала.

Поэтъ неожиданно увидѣлъ Лукерью въ плетеномъ сарайчикѣ близъ пасѣки, гдѣ она проводила лѣто; вотъ какъ онъ описываетъ ея наружность:

„Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая,—ни дать ни взять—икона стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать,—только зубы бѣлѣютъ и глаза..... лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется..... это лицо, что по немъ по металлическимъ его щекамъ....—силится.... силится и не можетъ расплыться улыбка“.

Лукерья не знаетъ себялюбія, зависти, ревности, злобы. Она рада, что ея бывшій женихъ нашелъ себѣ добрую жену, „и очень ему, слава Богу, хорошо, говоритъ она. Она тихо слѣдитъ за жизнью природы и веселится ею.

Гречиха въ полѣ зацвѣтетъ или липа въ саду—мнѣ и сказывать ненадо (говоритъ она): я первая сейчасъ слышу. Лишь бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что Бога гнѣвить?—многимъ хуже моего бываетъ.

Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жужжатъ да гудятъ; голубь на крышу сядетъ да заворкуетъ; курочка насѣдочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать, а то воробей залетитъ или бабочка—мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужь какъ же оно было занятно!..... А то разъ... вотъ смѣху-то было! Заяцъ забѣжалъ, право!.... сѣлъ близехонько, и долго таки сидѣлъ, все носомъ водилъ и усами дергалъ—настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значитъ, что я ему нестрашна.... Смѣшной такой!“

Она о себѣ не думаетъ, но о другихъ у ней болитъ сердце. Когда баринъ спрашиваетъ ее—не нужно ли ей чего? Она отвѣчаетъ:

Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу.... А вотъ вамъ-бы, баринъ, матушку вашу уговорить—крестьяне здѣшніе бѣдные—хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они-бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно,—всѣмъ довольна.

Въ Лукерьѣ сохранилась обычная любовь русскаго человѣка къ пѣнію: она поетъ, слабымъ, едва слышнымъ, но чистымъ и вѣрнымъ голосомъ, всякія пѣсни, которыхъ прежде много знала. „Только вотъ плясовыхъ не пою (го-

воритъ она). Въ теперешнемъ моемъ званіи — оно не годится".

Смиреніе русскаго человѣка дошло въ Лукерьѣ до высшей степени. Собесѣдникъ подивился ея терпѣнію, а она возражаетъ ему:

„Эхъ, баринъ!... что вы это? Какое такое терпѣніе? Вотъ Симона Столпника терпѣніе было точно великое, тридцать лѣтъ на столбу простоялъ.... А то вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начетчикъ...

и она передаетъ поэтическое преданіе объ Іоаннѣ д'Аркъ; „святой дѣвственницѣ", какъ та прогнала агарянъ изъ своей родной земли, и потомъ велѣла этимъ агарянамъ сжечь себя, чтобы „огненною смертью за свой народъ помереть".

Лукерья религіозна въ самомъ возвышенномъ и чистомъ смыслѣ этого слова. Богъ ей близокъ.

„А то я молитвы читаю (разсказываетъ она о своей жизни). Только не много я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и начто я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я Его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, что мнѣ надобно. Послалъ Онъ мнѣ крестъ—значитъ меня Онъ любитъ. Такъ намъ велѣно это понимать. Прочту Отче нашъ, Богородицу, акаѳистъ Всѣмъ Скорбящимъ,—да и опять полеживаю себѣ безъ всякой думочки. И ничего!"

Она видитъ таинственные, чудесные, пророческіе сны,— Христа видитъ и царство небесное; видитъ во снѣ смерть свою, въ образѣ большой женщины съ глазами желтыми, какъ у сокола, и свѣтлыми-пресвѣтлыми; она радостно проситъ смерть взять ее, и та назначаетъ ей время—„послѣ, молъ, Петровокъ".

И Лукерья, дѣйствительно, умираетъ послѣ Петровокъ,— она какъ-бы провидѣла свой конецъ.

„Разсказывали (заключаетъ поэтъ свое повѣствованіе о ней), что въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ, хотя отъ Алексѣевки до церкви считаютъ пять верстъ слишкомъ и день былъ будничный. Впрочемъ Лукерья говорила, что звонъ шелъ не отъ церкви, а „сверху".—Вѣроятно, она не посмѣла сказать: съ неба".

Закончимъ воспоминанія о прекрасныхъ людяхъ изъ народа, изображенныхъ Тургеневымъ въ „Запискахъ охотника", дѣтскими образами „Бѣжина луга".—Кто не помнитъ живо этой чудесной картины „ночнаго", бесѣды крестьянскихъ ребятишекъ, стерегущихъ табунъ, бесѣды о страшныхъ и поэтическихъ повѣрьяхъ?—Между нѣсколь-

кими крестьянскими мальчиками, нарисованными здѣсь поэтомъ, выдается энергическій и умный Павлуша.

Малый былъ не казистый,—что и говорить! (пишетъ авторъ про его наружность), а все-таки онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила".

Собаки заслышали что-то въ лѣсу,—Павлуша подумалъ, что волкъ,—и поскакалъ на ихъ лай.

„Я невольно полюбовался Павлушей (говоритъ поэтъ). Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лице, оживленное быстрой ѣздой, горѣло смѣлой удалью и твердой рѣшимостью. Безъ хворостинки въ рукѣ, ночью, онъ, ни мало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка... „Что за славный мальчикъ!" думалъ я, глядя на него".

Такъ-же смѣло отнесся Павлуша и къ предсказанію смерти: ему послышалось, когда онъ пошелъ къ рѣкѣ за водою, что его кто-то зоветъ изъ воды: „Павлуша, а Павлуша, подь сюда!"—„Ахъ, эта примѣта дурная" (сказалъ ему Ильюша).—„Ну, ничего, пущай! произнесъ Павелъ рѣшительно и сѣлъ опять: своей судьбы не минуешь".

Интересно, что въ концѣ очерка авторъ говоритъ, что предсказаніе судьбы (или предчувствіе Павла) въ томъ-же году сбылось: Павелъ не утонулъ, правда, но убился, упавъ съ лошади.

Живой и умный, Павлуша умѣетъ подмѣтить смѣшное, и его разсказъ о „предвидѣньи" небесномъ, о томъ, какъ у нихъ въ деревнѣ бочара Вавилу, надѣвшаго жбанъ на голову, приняли-было за Тришку-антихриста, полонъ юмора.

„Бѣжинъ лугъ" есть вообще одинъ изъ самыхъ поэтическихъ разсказовъ „Записокъ охотника": особенно прекрасны нѣкоторыя его частности, отдѣльныя картинки и эпизоды. Остановимся на двухъ изъ нихъ:

„Настало опять молчаніе.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани (младшій изъ мальчиковъ, лѣтъ семи): гляньте на Божьи звѣздочки, — что пчелки роятся!

Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожи, оперся на кулачекъ и медленно поднялъ кверху свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и нескоро опустились.

А что, Ваня, ласково заговорилъ Федя: что твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова, отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходитъ?...

МГОУ

— Не знаю.

Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

— А мнѣ дашь?

И тебѣ дамъ.

— Ну, нѣтъ, мнѣ ненадо. Дай ужь лучше ей: она такая у насъ добренькая.

И Ваня опять положилъ свою голову на землю.

Не менѣе прекрасенъ эпизодъ съ голубемъ:

„Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ откуда ни возьмись бѣлый голубокъ, — налетѣлъ прямо въ это отраженье, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крыльями.

— Знать отъ дому отбился, замѣтилъ Павелъ. Теперь будетъ летѣть, покуда на что́ наткнется, и гдѣ ткнетъ, тамъ и ночуетъ до зари.

— А что, Павлуша, промолвилъ Костя: — не праведная-ли это душа летѣла́ на небо, ась?

Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.

— Можетъ быть, проговорилъ онъ наконецъ“.

Приведенные отрывки показываютъ намъ, въ какомъ удивительномъ соотвѣтствіи изображаются Тургеневымъ человѣкъ и природа. И звѣзды небесныя, и рѣющій въ воздухѣ голубь, и лѣса, поля и воды, окружающія мальчиковъ въ „ночномъ“, все это входитъ въ ихъ духовную жизнь, красоту всего этого чуютъ они своимъ сердцемъ и живутъ и дышатъ этой красотою Божьяго міра.

Тургеневъ — великій живописецъ природы, и всѣ его очерки народной жизни, какъ въ прекрасную рамку, вставлены въ художественныя и живыя описанія ея.

Какъ прекрасно дополняетъ изображеніе горя бѣдной покидаемой дѣвушки въ „Свиданіи“ сравненіе тоскующей души ея съ блѣдной осенью:

„Порывистый вѣтеръ быстро мчался мнѣ навстрѣчу черезъ желтое, высохшее жнивье (пишетъ поэтъ); торопливо вздымаясь передъ нимъ, стремились мимо, черезъ дорогу, вдоль опушки, маленькіе, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стѣною въ поле, вся дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ, четко, но не ярко; на красноватой травѣ, на былинкахъ, на соломенкахъ, всюду блестѣли и волновались безчисленныя нити осеннихъ паутинъ. Я остановился... Мнѣ

стало грустно: сквозь невеселую, хотя свѣжую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страхъ недалекой зимы".

Въ какомъ чудесномъ соотвѣтствіи изображается таже осенняя природа съ думами и воспоминаніями человѣка, пробуждающимися въ душѣ среди ея картинъ, ея впечатлѣній, въ очеркѣ „Лѣсъ и степь":

„И какъ этотъ лѣсъ хорошъ поздней осенью, когда прилетаютъ вальдшнепы! Они не держатся въ самой глуши: ихъ надобно искать вдоль опушки. Вѣтра нѣтъ, и нѣтъ ни солнца, ни свѣта, ни тѣни, ни движенія, ни шума; въ мягкомъ воздухѣ разлитъ осенній запахъ, подобный запаху вина; тонкій туманъ стоитъ вдали надъ желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревъ мирно бѣлѣетъ неподвижное небо; кой-гдѣ на липахъ висятъ послѣдніе золотые листья. Сырая земля упруга подъ ногами; высокія сухія былинки не шевелятся; длинныя нити блестятъ на поблѣднѣвшей травѣ. Спокойно дышетъ грудь, а на душу находитъ странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тѣмъ любимые образы, любимыя лица, мертвыя и живыя, приходятъ на память, давнымъ-давно заснувшія впечатлѣнія неожиданно просыпаются; воображеніе рѣетъ и носится, какъ птица, и все такъ ясно движется и стоитъ передъ глазами. Сердце то вдругъ задрожитъ и забьется, странно бросится впередъ, то безвозвратно потонетъ въ воспоминаніяхъ. Вся жизнь развертывается легко и быстро, какъ свитокъ; всѣмъ своимъ прошедшимъ, всѣми чувствами, силами, всею своею душою владѣетъ человѣкъ. И ничего кругомъ ему не мѣшаетъ — ни солнца нѣтъ, ни вѣтра, ни шума..."

И не только осень, поэтъ рисуетъ съ такимъ-же совершенствомъ и весну, и лѣто, когда въ лѣсу „золотой голосокъ малиновки звучитъ невинной, болтливой радостью" и такъ „идетъ къ запаху ландышей".

Позволю себѣ привести еще одно описаніе изъ „Касьяна Красивой Мечи":

„Удивительно пріятное занятіе лежать на спинѣ въ лѣсу и глядѣть вверхъ! Вамъ кажется, что вы смотрите въ бездонное море, что оно широко разстилается подъ вами, что деревья не поднимаются отъ земли, но, словно корни огромныхъ растеній, спускаются, отвѣсно падаютъ въ тѣ стеклянно-ясныя волны; листья на деревьяхъ то сквозятъ изумрудами, то сгущаются въ золотистую, почти черную зелень. Волшебными подводными островами тихо наплываютъ и тихо проходятъ бѣлыя круглыя облака... Вы не двигаетесь, вы глядите: и нельзя выразить словами, какъ радостно, и тихо, и сладко становится на сердцѣ. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждаетъ на устахъ вашихъ улыбку, невинную, какъ она сама; какъ облака по небу, и какъ будто вмѣстѣ съ ними, медлительной вереницей проходятъ по душѣ счастливыя воспоминанія, и все вамъ кажется, что взоръ вашъ уходитъ дальше и дальше, и тянетъ васъ самихъ за собой въ ту спокойную,

сіяющую бездну, и невозможно оторвать отъ этой вышины, отъ этой глубины"...

Ап. Григорьевъ въ своей статьѣ: „О законахъ и терминахъ органической критики" высказываетъ очень глубокую мысль объ отношеніяхъ къ природѣ Тургенева и нѣкоторыхъ другихъ нашихъ поэтовъ. Онъ видитъ въ описаніяхъ этихъ поэтовъ сильное вліяніе мѣстности на характеръ племени, вліяніе, доходящее до подчиненія природѣ, причемъ онъ замѣчаетъ, что такому подчиненію подверглись лишь населенія Украинъ — малорусской и великорусской.

„Нѣкотораго рода пантеистическое созерцаніе (пишетъ критикъ), созерцаніе подчиненное, тяготѣетъ надъ отношеніями къ природѣ великорусской Украйны; но это подчиненное созерцаніе и сообщаетъ имъ при переходѣ въ творчество ихъ особенную красоту и прелесть, даетъ: 1) подмѣтку тонкихъ, почти неуловимыхъ чертъ природы; 2) полнѣйшее, почти непосредственное, сліяніе съ нею; и, наконецъ, 3) въ Тютчевѣ, напримѣръ, возводитъ ихъ, эти отношенія до глубины философскаго созерцанія, до одухотворенія природы... Два первыхъ качества особенно ярки въ томъ совершенно непосредственномъ, часто вовсе не оразумленномъ чувствѣ, которымъ дышутъ лучшія стихотворенія Фета, въ тонкой живописи Тургенева, въ туманномъ, мечтательномъ, вечерней или утренней зарею облитомъ, колоритѣ вдохновеній Полонскаго" (Соч. Григ. I, 334).

Намъ придется не разъ говорить о природѣ въ поэзіи Тургенева, и въ послѣднемъ періодѣ творчества великаго поэта мы увидимъ гораздо болѣе яркія проявленія того „полнаго и подчиненнаго сліянія съ природою", которое чуткій критикъ подмѣтилъ уже въ „Запискахъ охотника" особенно въ „Бѣжиномъ лугѣ".

Есть въ „Запискахъ охотника" еще одно начало, служащее, подобно описаніямъ природы, рамкою, или, лучше сказать, фономъ, на которомъ поэтъ рисуетъ свои живые образы. Это начало — юморъ. Въ прежнихъ произведеніяхъ Тургенева былъ тоже смѣхъ, но смѣхъ несвободный, искусственный, часто неудачный, какъ напр. въ поэмѣ „Помѣщикъ". Прикоснувшись къ народному быту, сблизившись съ роднымъ народомъ, здравый умъ котораго такъ умѣетъ и любитъ подмѣчать смѣшное, Тургеневъ почувствовалъ и въ себѣ живые задатки здраваго, остраго, веселаго, мѣткаго смѣха. Этотъ смѣхъ прекрасно и свободно звучитъ почти во всѣхъ разсказахъ „Записокъ охот-

ника“, преслѣдуя и поражая все пошлое и нравственно ничтожное; характеръ его — народный: изъ-подъ пера Тургенева льются не злые сарказмы, а добродушный и тонкій юморъ.

Поэтъ подсмѣивается и надъ петербургскимъ чиновникомъ-юмористомъ, выражавшимся „языкомъ нестерпимо-чистымъ, бойкимъ и правильнымъ“ и начавшимъ-было глумиться надъ бѣднымъ Недопюскинымъ, пока не заставилъ его замолчать и извиниться Чертопхановъ; — и надъ добродушнымъ и простымъ съ виду, но плутоватымъ въ душѣ, степнымъ помѣщикомъ Анастасѣемъ Иванычемъ (въ „Лебедяни“), ловко продающимъ запаленныхъ и искалѣченныхъ лошадей довѣрчивымъ покупателямъ, которые зайдутъ „почтить старичка“, по наивному приглашенію его объявленія; — и надъ молоденькимъ офицерикомъ княземъ (въ той-же „Лебедяни“), бывшимъ шалуномъ и мотомъ, который теперь сталъ сановникомъ, и его не узнать — такъ онъ затянутъ, гордъ и занятъ службой; — и надъ говорящимъ вычурнымъ языкомъ и подражающимъ господамъ охотникомъ Владиміромъ (въ „Льговѣ“); — и надъ несообразнымъ Обалдуемъ (въ „Пѣвцахъ“), который „отроду не сказалъ не только умнаго, даже путнаго слова; все лотошилъ да вралъ“ и тѣмъ не менѣе находилъ „средство каждый день покутить на чужой счетъ“; — и надъ нелѣпо-разсудительнымъ кучеромъ Ерофеемъ, который крикомъ останавливаетъ готовое скатиться съ оси колесо (впрочемъ, послушавшееся его) и который такъ выражается о Касьянѣ: „какое лечитъ! ну, гдѣ ему! Таковскій онъ человѣкъ. Меня, однако, отъ золотухи вылечилъ... Гдѣ ему! Глупый человѣкъ какъ есть“; — и надъ благодѣтельной помѣщицей, устроившей больницу, т. е. велѣвшей прибить къ господскому флигелю голубую доску съ надписью бѣлыми буквами „Красногорская больница“; — и надъ любителями французскаго языка, изъ которыхъ одинъ сочинилъ французскіе стихи въ честь этой помѣщицы, а другой приписалъ къ нимъ въ альбомѣ больницы изрѣченіе своей мудрости: „Et moi aussi j'aime la nature! Jean Kobyliatnikoff“; — и надъ помѣщикомъ „Любозвоновымъ“, который испугалъ крестьянъ народнымъ своимъ костюмомъ и ласковой рѣчью; — и надъ многими и многими другими комическими личностями. — Про помѣщика Любо-

звонова однодворецъ Овсянниковъ такъ разсказывалъ автору: вышелъ онъ къ крестьянамъ,

„смотрятъ мужики — что за диво! — ходитъ баринъ въ плисовыхъ панталонахъ, словно кучеръ, а сапожки обулъ съ оторочкой; рубаху красную надѣлъ и кафтанъ тоже кучерской; бороду отпустилъ, а на головѣ такая шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, — пьянъ не пьянъ, а не въ своемъ умѣ. „Здорово, говоритъ, ребята! Богъ вамъ въ помощь". Мужики ему въ поясъ,—только молча: заробѣли, знаете. И онъ словно самъ робѣетъ. Сталъ онъ имъ рѣчь держать: „я-де русскій", говоритъ, „и вы русскіе; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская"... Да вдругъ какъ скомандуетъ: „а ну, дѣтки, спойте-ка русскую народственную пѣсню!" У мужиковъ поджилки затряслись; вовсе одурѣли. Одинъ — было смѣльчакъ запѣлъ, да и присѣлъ тотчасъ къ землѣ, за другихъ спрятался"...

Въ параллель съ мнимымъ славянофиломъ Любозвоновымъ можно поставить ту сантиментальную пожилую дѣвицу, которая чуть не уморила простодушную Татьяну Борисовну. Она наслышалась о Татьянѣ Борисовнѣ отъ своего брата, и рѣшилась познакомиться съ нею и подружиться, и въ одинъ прекрасный день неожиданно нагрянула къ сосѣдкѣ въ длинной амазонкѣ, со шляпой на головѣ, зеленымъ вуалемъ и распущенными кудрями. Не давъ хозяйкѣ опомниться,

„гостья сбросила съ себя шляпу (разсказываетъ поэтъ), тряхнула кудрями, усѣлась подлѣ Татьяны Борисовны, взяла ее за руку...—„И такъ вотъ она", начала она голосомъ задумчивымъ и тронутымъ: „вотъ это доброе, ясное, благородное, святое существо. Вотъ она эта простая и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокая женщина! Какъ я рада, какъ я рада! Какъ мы будемъ любить другъ друга! Я отдохну наконецъ... Я ее себѣ именно такою воображала", прибавила она шепотомъ, упираясь глазами въ глаза Татьяны Борисовны.—„Не правда-ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя?"—„Помилуйте, я очень рада... Не хотите-ли вы чаю?"—Гостья снисходительно улыбнулась.—„Wie wahr, wie unreflectirt", прошептала она, словно про себя. „Позвольте обнять васъ, моя милая!"—Старая дѣвица высидѣла у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновеніе. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ея значенье. Тотчасъ послѣ ухода нежданной гостьи бѣдная помѣщица отправилась въ баню, напилась липоваго чаю и легла въ постель".

Съ этого визита чувствительная дѣвица стала ежедневно посѣщать Татьяну Борисовну, думая ее „окончательно развить" и „довоспитать", и, по словамъ поэта, „уходила-бы ее наконецъ совершенно", если-бы недѣли черезъ двѣ, во

1-хъ, не разочаровалась въ ней, а во 2-хъ, не влюбилась въ проѣзжавшаго студента, котораго и стала преслѣдовать длинными посланіями, чуть не доведшими „бѣднаго юношу до мрачнаго отчаянія“.

Кромѣ такого юмора, мы встрѣчаемъ въ „Запискахъ охотника“ еще и смѣхъ нѣсколько иного характера,—смѣхъ, въ которомъ слышится серьезное негодованіе. Онъ направленъ на нѣкоторыхъ помѣщиковъ, на злоупотребленіе крѣпостнаго права, и на самое это право.

Это приводитъ насъ къ незатронутой мною до сихъ поръ очень важной сторонѣ „Записокъ охотника“ — къ поэтической борьбѣ автора этихъ художественныхъ очерковъ народной жизни съ крѣпостничествомъ, съ крестьянскимъ рабствомъ.

Этой сторонѣ своей литературной дѣятельности самъ Тургеневъ придавалъ, и конечно совершенно справедливо, большое значеніе. Въ вступленіи къ своимъ воспоминаніямъ онъ говоритъ, что одною изъ причинъ удаленія его въ молодости съ родины заграницу было негодованіе на крѣпостное право.

„Я не могъ дышать (пишетъ поэтъ) однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпосное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примѣриться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда“.

Эту борьбу съ крѣпостнымъ правомъ, о которой говоритъ Тургеневъ, мы и встрѣчаемъ въ „Запискахъ охотника“, большая часть которыхъ (по его собственному указанію, въ воспоминаніяхъ) писана заграницей.

Передъ нами рядъ помѣщиковъ, самовольничающихъ надъ своими крѣпостными рабами, рядъ разбитыхъ существованій, загубленныхъ жизней этихъ рабовъ.—И что особенно замѣчательно, Тургеневъ не рисуетъ вовсе какихъ-нибудь помѣщиковъ-злодѣевъ, рѣзко выдающихся суровостью проявленій помѣщичьяго права; нѣтъ, онъ изобра-

жаетъ „почти исключительно“ „заурядныя явленія крѣпостной поры“.

„Но въ томъ-то именно и заключалась (по справедливымъ словамъ О. Ѳ. Миллера, въ его „Публичныхъ лекціяхъ“) неотразимая сила этихъ, какъ-бы лишенныхъ всякой умышленности, просто правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ее никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенною эпическою невозмутимостью отражали все то, что встрѣчалось само собою на каждомъ шагу“ („Публич. лекціи“, изд. 2-е Спб. 1878 г. стр. 10).

Прибавимъ къ этому, что изобличеніе крѣпостнаго права не навязано поэтомъ „Запискамъ охотника“ отвлеченно, какъ тенденція, а входитъ, какъ составной элементъ, въ поэтическое, художественное воспроизведеніе жизни,—и въ этомъ сила изобличенія.

Однодворецъ Овсянниковъ, разсказавъ автору про суровое самовольство иныхъ помѣщиковъ въ старые годы, говоритъ, что теперь лучше стало. Онъ правъ въ томъ смыслѣ, что рѣже стали встрѣчаться примѣры грубыхъ выходокъ, звѣрства. Но про тѣ времена, въ которыя онъ велъ бесѣду съ поэтомъ (начало 50-хъ годовъ), справедливо сказано было Самаринымъ въ его „Запискѣ“ о крѣпостномъ правѣ (Соч. II, 66): „личный безцѣльный произволъ убываетъ, постоянное, отчетливое давленіе на народъ усиливается“.

Остановимся на нѣсколькихъ личностяхъ изъ „Записокъ охотника“. Вотъ передъ нами г. Звѣрьковъ и его жена (въ очеркѣ „Ермолай и мельничиха“), люди ограниченные, себялюбивые и капризные, хотя вовсе не злодѣи; они сгубили жизнь крѣпостной своей дѣвушки, не позволивъ ей выдти замужъ за любимаго человѣка, и они-же считаютъ себя оскорбленными неблагодарною: г. Звѣрьковъ доказывалъ ей, что не можетъ согласиться на ея бракъ, потому что нельзя-же женѣ его остаться безъ хорошей горничной; а она не поняла этихъ доводовъ.

Подобно супругамъ Звѣрьковымъ поступаетъ и барыня въ очеркѣ „Контора“, не позволяющая своей дворовой дѣвушкѣ Татьянѣ выдти замужъ, по проискамъ плута конторщика, стакнувшагося съ ея ключницей

При крѣпостномъ правѣ могли развиваться и процвѣтать

личности, подобныя этому конторщику, выходившія изъ народа, но чуждыя добрыхъ свойствъ народной души. Таковъ Бурмистръ (въ очеркѣ того же имени). Помѣщикъ, г. Пѣночкинъ, вполнѣ ему довѣрился; а онъ обратилъ деревню почти въ свою собственность, сына своего поставилъ старостой и безсовѣстно жметъ раззоряемыхъ имъ крестьянъ. Пѣночкинъ—не изъ мягкихъ сердцемъ людей (за неподогрѣтое къ завтраку вино онъ, совершенно спокойно и не затрудняя даже себя гнѣвомъ, приказываетъ сурово наказать лакея); и вотъ ему-то вздумали разъ два доведенные до отчаянья крестьянина, отецъ съ сыномъ, принести жалобу на бурмистра. Произошла такая возмутительная сцена:

„Батюшка, раззорилъ въ конецъ (жалуется помѣщику старикъ на бурмистра). Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ—вонъ его милость (Онъ указалъ на старосту)... Не дай въ конецъ раззориться, кормилецъ.

Г. Петочкинъ нахмурился. „Что же это, однако, значитъ?“ спросилъ онъ бурмистра вполголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человѣкъ-съ, отвѣчалъ бурмистръ... неработящій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ уже пятый годъ-съ.

Софронъ Яковличь за меня недоимку внесъ, батюшка, продолжалъ старикъ:—вотъ пятый годочекъ пошелъ, какъ внесъ, а какъ внесъ—въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и...

— А отчего недоимка за тобой завелась? грозно спросилъ г. Пѣночкинъ. (Старикъ понурилъ голову).—Чай пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (Старикъ разинулъ было ротъ).—Знаю я васъ, съ запальчивостью продолжалъ Аркадій Павлычь: ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубіянъ тоже, ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужь это само собою разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужь я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грубитъ, а теперь въ ногахъ валяется.

Батюшка, Аркадій Павлычь, съ отчаяніемъ заговорилъ старикъ: помилуй, заступись,—какой я грубіянъ? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, не въ моготу приходится. Не возлюбилъ меня Софронъ Яковличь, за что не возлюбилъ—Господь ему судья! Раззоряетъ въ конецъ, батюшка... Послѣдняго вотъ сыночка... и того... (На желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика сверкнула слезинка). Помилуй, государь, заступись.

Да и не насъ однихъ... началъ-было молодой мужикъ.

Аркадій Павлычь вдругъ вспыхнулъ.

— А тебя кто спрашиваетъ, а? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи... Это что такое? Молчать, говорятъ тебѣ, молчать!.. „Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ“.

Не останавливаясь на другихъ подобныхъ примѣрахъ, замѣтимъ въ пополненіе сказаннаго, что крѣпостное право странно извращало человѣческія понятія и забивало порой людей и какъ-то обезличивало.

Мардарій Аполлонычь, одинъ изъ героевъ очерка „Два помѣщика", съ „добрѣйшей улыбкой" слушаетъ, какъ наказываетъ, по его приказанію, человѣка, и только приговариваетъ: „чюки-чюкъ! чюки-чюкъ! чюки-чюкъ!" „Самое лютое негодованіе (говоритъ авторъ) не устояло бы противъ яснаго и кроткаго взора Мардарія Аполлоныча".

Сами крѣпостные (впрочемъ, это относится собственно къ дворовымъ, какъ скорѣе протившимся нравственно) смотрѣли порой на побои, какъ на что́-то должное и непріятное только самому барину, утруждающее его: „Баринъ былъ, какъ слѣдуетъ баринъ (говоритъ про своего покойнаго помѣщика старикъ камердинеръ Туманъ въ Малиновой водѣ")... и душа была тоже добрая. Побьетъ, бывало, тебя; смотришь, ужь и позабылъ".

Есть у Тургенева и забитые люди въ „Запискахъ охотника". Таковъ, напр., смиренный и молчаливый Сучокъ (въ разсказѣ „Льговъ"). Онъ не былъ никогда женатъ, потому что помѣщица, сама нч замужняя, и дворнѣ своей жениться не позволяла; а должности исполнять ему приходилось самыя разнообразныя, по прихоти различныхъ владѣльцевъ, которымъ онъ доставался; былъ онъ и поваромъ, и кучеромъ, и буфетчикомъ, и актеромъ, и рыболовомъ. Онъ такъ привыкъ считать себя ничтожествомъ, что когда попалъ съ чужимъ бариномъ-охотникомъ въ прудъ и пробирался потомъ за нимъ по глубокому броду къ берегу, то, захлебываясь, утопая по малости роста, не посмѣлъ, однако, ни разу ухватиться за полу барскаго сюртука, рѣшаясь скорѣе потонуть, чѣмъ совершить подобную дерзость.

Не только „Записками охотника", но еще повѣстями: „Муму" и „Постоялый дворъ" боролся Тургеневъ съ врагомъ своимъ—крѣпостнымъ правомъ. — Прежде, однако, чѣмъ перейти къ этимъ произведеніямъ, надо въ двухъ словахъ подвести итоги сказанному о „Запискахъ охотника".

Мы видѣли, что въ чудныхъ очеркахъ народнаго быта, въ которыхъ онъ поэтически боролся съ крѣпостнымъ

правомъ, Тургеневъ познакомилъ общество съ крестьяниномъ, съ его душою, показалъ намъ высоту духовной жизни крестьянскаго міра; онъ нарисовалъ намъ разнообразнѣйшіе типы: и людей глубокаго религіознаго убѣжденія, и людей ума, скептиковъ въ родѣ Хоря, и романтиковъ, добрыя, нѣжныя натуры, и людей суровыхъ, строгихъ, но великодушныхъ, и т. д.; онъ показалъ намъ возвышенныя и чистыя отношенія народа къ смерти. Передъ нами развернулся цѣлый міръ, великій и новый. Въ его изображеніи Тургеневъ явился намъ народнымъ писателемъ, понимающимъ народную жизнь, смѣющимся народнымъ смѣхомъ, глубоко сочувствующимъ народнымъ идеаламъ. Есть въ этомъ мірѣ и дурные люди, въ родѣ напр. бурмистра, Оболдуя, и т. п.; но они отступаютъ на второй планъ передъ явленіями свѣтлыми, ихъ гораздо меньше... Поэтъ, безпристрастный и объективный, Тургеневъ, изобразилъ и нѣсколько симпатичныхъ образовъ помѣщиковъ, показалъ, что въ ихъ средѣ тоже живы народныя начала; но въ общемъ эта среда у него явилась блѣднѣе крестьянской и уступаетъ послѣдней въ нравственной доблести. Сердце поэта видимо больше лежитъ къ простому народу.

Какъ ни высоко, однако, стоятъ „Записки охотника“ въ художественномъ и нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ, нельзя все-таки признать, что въ нихъ Тургеневъ достигъ полнаго развитія своего генія: онѣ — лишь этюды въ великомъ творчествѣ поэта, и Тургеневъ въ нихъ — еще ученикъ: онъ учится быть народнымъ“.

Онъ даже нѣсколько одностороненъ въ „Запискахъ охотника“. Если про прежнія его созданія можно сказать, что въ нихъ онъ былъ западникомъ, то здѣсь онъ какъ-бы славянофилъ: онъ многосторонне и полно изобразилъ простонародную жизнь; но жизнь русскаго общества, въ которой народныя стихіи слились съ пришедшими къ намъ съ Запада чужими началами, эта жизнь еще непонятна ему въ полномъ своемъ объемѣ, еще недоступна его творчеству.

Повѣсть „Муму“ (написанная въ 1852 году) есть высокое художественное произведеніе, въ которомъ возвышенная мысль о злѣ крѣпостнаго права органически слилась съ поэтическимъ творчествомъ. Герой произведенія, нѣмой

крестьянинъ Герасимъ (очень симпатичная личность, стоящая близко къ природѣ, къ землѣ, которую онъ обрабатываетъ и любитъ), оторванъ по прихоти барыни отъ этой земли, переведенъ въ городъ и сдѣланъ дворникомъ, Свыкшись съ новой участью и примирившись съ судьбою, Герасимъ полюбилъ своимъ простымъ сердцемъ кроткую и безотвѣтную дворовую дѣвушку Татьяну. Но тутъ опять прихоть барыни разрушаетъ его счастье: скучающая помѣщица выдумываетъ женить на Татьянѣ башмачника Капитона для отрезвленія его отъ загуловъ. Герасимъ привязывается послѣ этого къ спасенной имъ собакѣ, которую онъ называетъ Муму; но и тутъ снова, въ третій разъ, самовольная прихоть помѣщицы наноситъ ударъ его любящему сердцу: собака безпокоитъ нервы барыни своимъ невѣжливымъ отношеніемъ къ барской ласкѣ и своимъ лаемъ, и ее велѣно удалить съ двора. Въ отчаяніи — Герасимъ рѣшаетъ самъ утопить свою любимицу. Но когда онъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, сердце его до такой степени переполнилось горемъ, что онъ, смиренный, покорный и безотвѣтный, забываетъ все, забываетъ власть барыни, и идетъ назадъ въ деревню, къ землѣ, къ своей крестьянской работѣ. Силу молчаливаго протеста его противъ суроваго произвола инстинктивно почувствовала сама барыня: она оставила его въ деревнѣ, объявивъ, „что такой неблагодарный человѣкъ ей вовсе не нуженъ“.

Характеры лицъ въ этой повѣсти, — барыни, самого Герасима, дворецкаго Гаврилы, Татьяны и другихъ, — изображены живо и художественно, и съ удивительнымъ юморомъ нарисованъ легкомысленный башмачникъ Капитонъ. Прекрасно изображена и собака нѣмаго [1]).

Въ одинъ годъ съ „Муму“ написана совершенно соотвѣтствующая этому произведенію по духу и содержанію повѣсть „Постоялый дворъ“. — Только здѣсь губитъ людей не капризная прихоть, а самовластное барское корыстолюбіе. — Крестьянинъ Акимъ содержитъ постоялый дворъ на землѣ своей помѣщицы Лизаветы Прохоровны; человѣкъ

---

[1]) Сочувственно-сострадательное отношеніе поэта къ животному побудило, какъ извѣстно, „Общество покровительства животнымъ“ послать свою депутацію на похороны великаго романиста.

дѣльный и хорошій, онъ страдалъ однимъ недостаткомъ— влюбчивостью, и подъ старость женился на молодой дѣвушкѣ, горничной Авдотьѣ. Та было свыклась со своей долей; но подвернулся ловкій красавецъ Наумъ, и она увлеклась, — отдавъ ему сердце свое, она похитила для него и деньги мужа. — На эти деньги Наумъ купилъ у помѣщицы дворъ Акима, успокоивъ сговорчивую совѣсть барыни тѣмъ, что вѣдь Акимъ ея-же крестьянинъ. — Доведенный до отчаянья раззоренiемъ, Акимъ хотѣлъ поджечь свой бывшій домъ; но былъ пойманъ ловкимъ соперникомъ. — И вотъ здѣсь повѣсть прiобрѣтаетъ особое значенiе: поэтъ показываетъ намъ, какъ нравственно-высоко можетъ подниматься душа простаго русскаго человѣка. Акимъ проситъ Наума отпустить его и взамѣнъ предлагаетъ не считать его своимъ должникомъ: „владѣй всѣмъ! я согласенъ и желаю тебѣ всякой удачи". Наумъ отпускаетъ его. И Акимъ перерождается душою; собственно говоря, нравственное возрожденiе его началось раньше, ночью, когда онъ, пойманный, былъ запертъ въ подвалѣ.

„Подъ ударомъ неожиданнаго и незаслуженнаго несчастья, въ чаду отчаянья, рѣшился онъ (разсказываетъ поэтъ) на преступное дѣло; оно потрясло его до основанiя, и не удавшись, оставило въ немъ одну глубокую усталость... Чувствуя свою вину, оторвался онъ сердцемъ отъ всего житейскаго и началъ горько, но усердно молиться. Сперва молился шопотомъ; наконецъ онъ, можетъ быть случайно, громко произнесъ: Господи! — и слезы брызнули изъ его глазъ... Долго плакалъ онъ, и утихъ наконецъ"...

Отпущенный на свободу, онъ все прощаетъ врагу своему, прощаетъ и барынѣ, все забываетъ; онъ идетъ къ женѣ— мирится съ нею, отдаетъ ей остатки своихъ пожитковъ. Онъ вполнѣ христiански смиряется, — и себя самого признаетъ главнымъ виновникомъ своихъ несчастiй:

„Самъ я виноватъ — и наказанъ... Люби кататься — люби и саночки возить. Лѣта мои старыя, пора о душенькѣ своей подумать. Меня самъ Господь вразумилъ. Вишь я, старый дуракъ, съ молодой женой хотѣлъ въ свое удовольствiе пожить... Нѣтъ, братъ-старикъ, ты сперва помолись, да лбомъ о-земь постучи, да потерпи, да попостись..."

Несчастiе свое онъ признаетъ посѣщенiемъ Божiимъ, предостереженiемъ ему и вразумленiемъ, — и онъ посвящаетъ себя Богу, становится странникомъ по святымъ мѣстамъ:

„вездѣ, куда только стекаются богомольные русскіе люди, можно было увидѣть его исхудавшее и постарѣвшее, но все еще благообразное и стройное лице: и у раки св. Сергія, и у Бѣлыхъ береговъ, и въ Оптиной пустыни, и въ отдаленномъ Валаамѣ; вездѣ бывалъ онъ... Изъ края въ край скитался онъ своимъ тихимъ, неторопливымъ, но безостановочнымъ шагомъ, — говорятъ, онъ побывалъ въ самомъ Іерусалимѣ... Онъ казался совершенно спокойнымъ и счастливымъ, и много говорили о его набожности и смиренномудріи тѣ люди, которымъ удавалось съ нимъ бесѣдовать“.

Очевидно, что религіозно-нравственному возрожденію Акима, религіозному идеалу русскаго народа вполнѣ сочувствуетъ въ повѣсти самъ поэтъ, какъ вполнѣ сочувствуетъ онъ Лукерьѣ въ очеркѣ „Живыя мощи“. — Въ духѣ этихъ воззрѣній, въ духѣ этого идеала онъ говоритъ и про Наума, который, продавши выгодно свой дворъ, занялся (по слухамъ) хлѣбной торговлей и разбогатѣлъ:

„на долго-ли? Не такіе столбы валились, а злому дѣлу рано или поздно приходитъ злой конецъ“.

Повѣсти „Муму“ и „Постоялый дворъ“ были сочувственно приняты славянофилами, какъ произведенія совершенно въ народномъ духѣ и вполнѣ сочувственно изображающія народную жизнь. И Тургеневъ зналъ, что они должны быть такъ приняты: онъ прислалъ рукописи обоихъ произведеній семейству Аксаковыхъ, съ которыми, т. е. съ Сергѣемъ Тимофѣичемъ и съ сыновьями его Константиномъ и Иваномъ Сергѣевичами, онъ былъ одно время близокъ; онъ прислалъ имъ эти повѣсти какъ вещи, которыя могли имъ „особенно понравиться“.

Разсмотрѣнныя въ настоящей главѣ произведенія великаго поэта показываютъ намъ, какъ глубоко проникъ онъ въ народную жизнь и душу и какъ искренно сочувствовалъ онъ русскимъ народнымъ началамъ. Онъ подготовился этимъ къ своимъ будущимъ, вполнѣ зрѣлымъ созданіямъ, ко второму, главному періоду своей дѣятельности.

ГЛАВА III.

Второй періодъ дѣятельности Тургенева.

1.

«Гамлетъ и Донъ-Кихотъ». — Повѣсти: «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда». «Дневникъ лишняго человѣка». «Затишье». «Яковъ Пасынковъ». — «Фаустъ». «Переписка». «Первая любовь».

Обширнымъ рядомъ произведеній въ духѣ байронизма и лермонтовской поэзіи, а также „сантиментальнаго натурализма“ — съ одной стороны, и такимъ же рядомъ сочиненій въ народномъ духѣ — съ другой стороны — Тургеневъ выработалъ въ себѣ необъятную широту міросозерцанія, глубину взгляда на жизнь и подготовилъ себя къ изображенію русскаго общества, того общества, которое создано реформою Петра Великаго, въ которомъ такъ много злаго, пустаго и ложнаго и въ которомъ таятся сѣмена великаго будущаго. Русское общество наслѣдовало образованность своихъ предковъ до-петровской Руси, наслѣдовало и цивилизацію западной Европы, и въ немъ совершается великій и безпримѣрный въ исторіи процессъ сліянія противоположныхъ міровоззрѣній, вырабатывается всемірный идеалъ.

Вслѣдъ за своими великими предшественниками Тургеневъ является намъ во второмъ, въ главномъ періодѣ своей поэзіи — изобразителемъ этого процесса, этой глубокой внутренней жизни. — Обратимся ко второй эпохѣ его творчества.

Тургеневъ принадлежитъ къ числу поэтовъ, ясно сознающихъ смыслъ своей дѣятельности. Между его критическими статьями есть одна, въ которой это сказывается съ особенною опредѣленностью, это „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“,

едва-ли не лучшее критическое сочиненіе во всей русской литературѣ. Анализируя здѣсь два типа двухъ великихъ міровыхъ геніевъ, Тургеневъ этимъ самымъ разъясняетъ въ то-же время и цѣлый рядъ своихъ собственныхъ произведеній, рядъ повѣстей, которыя служили подготовкою къ его великимъ романамъ, повѣстей, въ которыхъ онъ изобразилъ стихіи жизни русскаго общества, тѣ стихіи, стремленіе которыхъ къ органическому и живому сліянію мы увидимъ въ романахъ „Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Наканунѣ" и „Отцы и дѣти", составляющихъ вѣнецъ творчества великаго поэта.

Остановился на статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ" (1859 г.).

Одновременное появленіе въ свѣтъ (въ одинъ и тотъ же годъ) Гамлета Шекспира и Донъ-Кихота Сервантеса Тургеневъ считаетъ „знаменательнымъ".

„Въ этихъ двухъ типахъ (говоритъ онъ) воплощены двѣ коренныя, противоположныя особенности человѣческой природы—оба конца той оси, на которой она вертится... всѣ люди принадлежатъ болѣе или менѣе къ одному изъ этихъ двухъ типовъ... почти каждый изъ насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета".

„Гамлеты (прибавляетъ поэтъ въ другомъ мѣстѣ) суть выраженіе коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считаетъ себя центромъ творенія и на все остальное взираетъ, какъ на существующее только для него".

Эта сила—„эгоизмъ". Донъ-Кихоты выражаютъ собою противоположное, принципъ „преданности и жертвы", силу „центробѣжную", „по закону которой все существуещее существуетъ только для другаго".

Эти двѣ силы, косности и движенія, консерватизма и прогресса, суть основныя силы всего существующаго. Онѣ объясняютъ намъ растеніе цвѣтка и онѣ же даютъ намъ ключъ къ уразумѣнію развитія могущественнѣйшихъ народовъ".

Тургеневъ превосходно объясняетъ характеры Гамлета и Донъ-Кихота, исходя изъ того общаго положенія, что для всякаго человѣка—„либо собственное *я* становится на первомъ мѣстѣ, либо нѣчто другое, признанное имъ за высшее".—„Не будемъ видѣть въ Донъ-Кихотѣ (говоритъ онъ) одного лишь рыцаря печальнаго образа", страннаго и смѣшнаго чудака,—Донъ-Кихотъ выражаетъ собою

„вѣру прежде всего, вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся внѣ отдѣльнаго человѣка". Онъ „проникнутъ весь преданностью къ идеалу, для котораго онъ готовъ подвергаться всевозможнымъ лишеніямъ, жертвовать жизнью". „Жить для себя, заботиться о себѣ—Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ (если можно такъ выразиться) внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла". „Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе—оцѣните это слово!—онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки. Оттого онъ безстрашенъ, терпѣливъ... Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ". Притомъ онъ—„самое нравственное существо въ мірѣ" и „крѣпость его нравственнаго состава придаетъ особенную силу и величавость всѣмъ его сужденіямъ и рѣчамъ, всей его фигурѣ, не смотря на комическія и унизительныя положенія, въ которыя онъ безпрестанно впадаетъ... Донъ-Кихотъ энтузіастъ, служитель идеи, и потому обвѣянъ ея сіяньемъ".

Въ противоположность Донъ-Кихоту, Гамлетъ представляетъ собою—

„анализъ прежде всего и эгоизмъ, а потому безвѣрье. Онъ весь живетъ для самого себя, онъ эгоистъ, но вѣрить въ себя даже эгоистъ не можетъ; вѣрить можно только въ то, что внѣ насъ и надъ нами. Но это *я*, въ которое онъ не вѣритъ, дорого Гамлету. Это исходная точка, къ которой онъ возвращается безпрестанно, потому что не находитъ ничего въ цѣломъ мірѣ, къ чему-бы могъ прилѣпиться душою; онъ скептикъ—и вѣчно возится и носится съ самимъ собою... Сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ, разумѣется, не щадитъ и самого себя... вѣчно глядя внутрь себя, онъ знаетъ до тонкости всѣ свои недостатки, презираетъ ихъ, презираетъ самого себя—и въ то-же время, можно сказать, живетъ, питается этимъ презрѣніемъ. Онъ не вѣритъ въ себя—и тщеславенъ; онъ не знаетъ, чего хочетъ и зачѣмъ живетъ—и привязанъ къ жизни..."

„Донъ-Кихотъ... положительно смѣшонъ" (говоритъ Тургеневъ), но его всякій „полюбить готовъ".—„Напротивъ, наружность Гамлета привлекательна"; „всякому лестно прослыть Гамлетомъ"; „сочувствуетъ ему всякій, и оно понятно: почти каждый находитъ въ немъ собственныя черты; но любить его... нельзя, потому что онъ никого самъ не любитъ".

Онъ не любитъ и Офелію; онъ „человѣкъ чувственный и даже втайнѣ сластолюбивый".

„Чувства его къ Офеліи, существу невинному и ясному, до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двусмысленные намеки... въ сценѣ представленія на театрѣ...), либо фразисты (обратите ваше вниманіе на сцену между нимъ и Лаертомъ на кладбищѣ"). „Всѣ его

отношенія къ Офеліи опять-таки для него ничто иное, какъ занятіе самимъ собою, и въ восклицаніи его: „о нимфа! помяни меня въ своихъ святыхъ молитвахъ“ мы видимъ одно лишь глубокое сознаніе собственнаго болѣзненнаго безсилія—безсилія полюбить,—почти суевѣрно преклоняющагося передъ „святыней чистоты“.

Въ противоположность Гамлету, Донъ-Кихотъ искренно и чисто любитъ Дульцинею, хотя она—лишь мечта, созданная его воображеніемъ.

Гамлетъ слабъ волею, не способенъ на дѣло, и скептицизмъ его доходитъ до отрицанія и самой истины. Онъ не въ-силахъ исполнить свой нравственный долгъ, завѣщанный ему отцомъ: „онъ колеблется, хитритъ съ самимъ собою, тѣшится тѣмъ, что ругаетъ себя, и наконецъ убиваетъ своего вотчима случайно“.—„А Донъ-Кихотъ, бѣдный, почти нищій человѣкъ, безъ всякихъ средствъ и связей, старый, одинокій, беретъ на себя исправлять зло и защищать притѣсненныхъ (совершенно ему чуждыхъ) на всемъ земномъ шарѣ“.

Донъ-Кихотъ впадаетъ въ комическія ошибки; съ Гамлетомъ, при его тонкомъ, скептическомъ умѣ, ничего подобнаго случиться не можетъ: „онъ не будетъ сражаться съ вѣтряными мельницами, онъ не вѣритъ въ великановъ... но онъ-бы и не напалъ на нихъ, если бы они точно существовали“. Гамлетъ не принялъ бы цирульничій тазъ за волшебный шлемъ Мамбрина, но „если-бы сама истина предстала воплощенною передъ его глазами“, онъ „не рѣшился-бы поручиться, что это точно она, истина... Вѣдь, кто знаетъ. можетъ быть и истины тоже нѣтъ, также какъ великановъ?“

Отсюда, изъ этой параллели Тургеневъ дѣлаетъ такой выводъ о жизни и человѣческой дѣятельности вообще:

„намъ кажется, что главное дѣло въ искренности и силѣ самаго убѣжденія... а результатъ—въ рукѣ судебъ. Онѣ однѣ могутъ показать намъ, съ призраками ли мы боролись, съ дѣйствительными-ли врагами, и какимъ оружіемъ покрыли мы наши головы... Наше дѣло вооружиться и бороться“.

Продолжая сравненіе двухъ типовъ, поэтъ говоритъ, что Гамлетъ не только уменъ, но и очень образованъ, обладаетъ большими свѣдѣніями. У Донъ-Кихота мысли однообразны, умъ одностороненъ; онъ „знаетъ мало“. Но

ему „и не нужно много знать: онъ знаетъ—въ чемъ его дѣло, зачѣмъ онъ живетъ на землѣ, а это — главное знаніе“.

„Донъ-Кихотъ глубоко уважаетъ всѣ существующія установленія, религію, монарховъ и герцоговъ, и въ то-же время свободенъ и признаетъ свободу другихъ. Гамлетъ бранитъ королей, придворныхъ, и въ сущности притѣснителенъ и нетерпимъ“.

Совершенно различны и отношенія ихъ къ людямъ вообще, къ толпѣ, и толпы къ нимъ.

„Гамлеты... безполезны массѣ; они ей ничего не даютъ, они ее никуда вести не могутъ, потому что сами никуда не идутъ. Да и какъ вести, когда не знаешь, есть ли земля подъ ногами? Притомъ-же Гамлеты презираютъ толпу. Кто самого себя не уважаетъ,—кого, что можетъ тотъ уважать? Да и стоитъ-ли заниматься массой? Она такъ груба и грязна! а Гамлетъ—аристократъ не по одному рожденію“.

Другое дѣло Донъ-Кихоты: они ведутъ людей за собою. Санчо-Панса смѣется надъ своимъ господиномъ,—„но три раза покидаетъ свою родину, домъ, жену, дочь, чтобы идти за этимъ сумашедшимъ человѣкомъ... вѣритъ ему, гордится имъ“. Въ этомъ сказалось лучшее свойство массы—„способность безкорыстнаго энтузіазма“.

Масса людей всегда кончаетъ тѣмъ, что идетъ, беззавѣтно вѣруя, за тѣми личностями, надъ которыми она сама глумилась, которыхъ даже проклинала и преслѣдовала, но которыя, не боясь ни ея преслѣдованій, ни проклятій, не боясь даже ея смѣха, идутъ неуклонно впередъ, вперивъ духовный взоръ въ ими только видимую цѣль, ищутъ, падаютъ, поднимаются, и наконецъ находятъ... и по праву; только тотъ и находитъ, кого ведетъ сердце“.

Донъ-Кихоты—люди жизни, дѣятельности; Гамлеты—отвлеченные мыслители. Безъ первыхъ—„не подвигалось бы впередъ человѣчество—и не надъ чѣмъ было-бы размышлять Гамлетамъ“.

Такъ сравниваетъ Тургеневъ два міровыхъ типа поэзіи и жизни,—и не трудно замѣтить, что онъ явно отдаетъ предпочтеніе энтузіасту Донъ-Кихоту передъ скептикомъ Гамлетомъ. Особенно сказывается это предпочтеніе въ его словахъ о смерти того и другаго. „И Гамлетъ, и Донъ-Кихотъ умираютъ трогательно; но какъ различна кончина обоихъ:“ (говоритъ онъ). Гамлетъ

„смиряется, утихаетъ, приказываетъ Горацію жить... но взоръ Гамлета не обращается впередъ. „Остальное... молчаніе“, говоритъ умира-

ющій скептикъ—и дѣйствительно умолкаетъ на-вѣки.—Смерть Донъ-Кихота навѣваетъ на душу несказанное умиленіе. Въ это мгновеніе все великое значеніе этого лица становится доступнымъ каждому. Когда бывшій его оруженосецъ, желая его утѣшить, говоритъ ему, что они скоро снова отправятся на рыцарскія похожденія: „Нѣтъ, отвѣчаетъ умирающій,—все это навсегда прошло, и я прошу у всѣхъ прощенія; я уже не Донъ-Кихотъ, я снова Алонзо добрый, какъ меня нѣкогда называли—Alonso el Buono".

Это слово удивительно; упоминовеніе этого прозвища, въ первый и послѣдній разъ,—потрясаетъ читателя. Да, одно это слово имѣетъ еще значеніе передъ лицемъ смерти".

Сервантесу угодно было, чтобы Донъ-Кихота, незадолго до его кончины, стадо свиней топтало ногами. За это упрекали Сервантеса (говоритъ Тургеневъ),—но поэтомъ руководилъ здѣсь инстинктъ генія:

„Попираніе свиными ногами встрѣчается всегда въ жизни Донъ-Кихотовъ, именно передъ ея концомъ; это послѣдняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманію... Это пощечина фарисея... Потомъ они могутъ умереть. Они прошли черезъ весь огонь горнила,—завоевали себѣ безсмертіе—и оно открывается передъ ними".

Но предпочтеніе, отдаваемое сервантесовскому герою, отнюдь не свидѣтельствуетъ о томъ, чтобы нашъ поэтъ душою своей стоялъ ближе къ Донъ-Кихоту, чѣмъ къ Гамлету. Напротивъ, общій смыслъ, общій тонъ статьи говорятъ намъ о другомъ: Тургеневъ больше сочувствуетъ Донъ-Кихоту, но самъ онъ больше Гамлетъ. Есть мѣста въ статьѣ, гдѣ это высказывается довольно ясно, гдѣ Гамлетъ даже поставленъ выше Донъ-Кихота духомъ и мыслью, выше—какъ человѣкъ сознанія, какъ умъ овладѣвшій собою. Страданія Гамлета, говоритъ поэтъ,

„больнѣе и язвительнѣй страданій Донъ-Кихота: того бьютъ грубые пастухи, освобожденные имъ преступники; Гамлетъ самъ наноситъ себѣ раны, самъ себя терзаетъ; въ его рукахъ тоже мечъ—обоюдоострый мечъ анализа".

Въ Гамлетѣ „воплощено начало отрицанія"; но „его отрицаніе не есть зло — оно само направлено противу зла. Отрицаніе Гамлета сомнѣвается въ добрѣ, но во злѣ оно не сомнѣвается и вступаетъ съ нимъ въ ожесточенный бой".

„Скептицизмъ Гамлета не есть также индифферентизмъ, и въ этомъ состоитъ его значеніе и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразіе не сливаются передъ нимъ въ одно случайное, нѣмое,

тупое нѣчто. Скептицизмъ Гамлета... непримиримо враждуетъ съ ложью и тѣмъ самымъ становится однимъ изъ главныхъ поборниковъ истины".

Если же Гамлетъ не можетъ найти эту истину, не можетъ опредѣлить границы, отдѣляющей добро отъ зла, если онъ не въ-силахъ дѣйствовать, — то въ этомъ не его вина: здѣсь (по мнѣнію Тургенева) — судьба человѣчества, „трагическая сторона человѣческой жизни", независящее отъ насъ — міровое раздвоеніе воли и мысли. И вотъ почему въ человѣческой жизни —

„съ одной стороны стоятъ Гамлеты, мыслящіе, сознательные, часто всеобъемлющіе, но такъ же часто безполезные и осужденные на неподвижность; а съ другой полу-безумные Донъ-Кихоты, которые потому только и приносятъ пользу и подвигаютъ людей, что видятъ и знаютъ одну лишь точку, часто даже не существующую въ томъ образѣ, какою они ее видятъ. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшимъ, чтобы вѣрить въ истину? и неужели-же умъ, овладѣвшій собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело насъ даже поверхностное обсужденіе этихъ вопросовъ", —

загадочно заключаетъ поэтъ свою скорбную рѣчь, — и намъ становится ясно, что онъ здѣсь, въ сейчасъ приведенныхъ словахъ, на сторонѣ Гамлета, что онъ самъ Гамлетъ.

Но тутъ опять надо сдѣлать оговорку: никакъ нельзя думать, что въ немъ, въ этомъ Гамлетѣ, въ его душѣ не сидитъ въ то-же время и Донъ-Кихотъ. — Разбираемая критическая статья великаго поэта есть, собственно говоря, его исповѣдь, — она свидѣтельствуетъ намъ о душевномъ раздвоеніи самого Тургенева: своимъ умомъ, мыслью (а мысль для него всего выше, — не даромъ его творчество такъ сознательно) — онъ Гамлетъ; но сердцемъ своимъ (а сердце у него великое: не даромъ всѣ его созданія насквозь проникнуты чувствомъ), сердцемъ — онъ Донъ-Кихотъ.

Тургеневское раздвоеніе... Мы привыкли выражаться отвлеченно; но въ дѣйствительной жизни нѣтъ отвлеченій, и, на самомъ дѣлѣ, не существуетъ полнаго раздвоенія души, его нѣтъ ни въ комъ, а тѣмъ болѣе нѣтъ въ Тургеневѣ, въ настоящемъ и великомъ поэтѣ, — иначе онъ не могъ бы быть поэтомъ. Тѣнь раздвоенія, дѣйствительно, замѣтна въ его творчествѣ; но истинный, полный поэтъ

Тургеневъ, какимъ онъ былъ въ высшіе моменты своего творчества, быть можетъ лучше всего сказывается въ заключительныхъ религіозныхъ словахъ статьи „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ", словахъ, въ которыхъ слышна душевная гармонія:

„Все пройдетъ, все исчезнетъ, высочайшій санъ, власть, всеобъемлющій геній, все разсыплется прахомъ...

Все великое земное
Разлетается какъ дымъ...

Но добрыя дѣла не разлетятся дымомъ; онѣ долговѣчнѣе самой сіяющей красоты; „все минется, сказалъ Апостолъ, одна любовь останется". — Намъ нечего прибавлять послѣ этихъ словъ".

Душевная гармонія Тургенева-поэта выразилась въ его большихъ романахъ, хотя и въ нихъ, какъ увидимъ, она не одолѣла вполнѣ раздвоенія.

Раздвоеніе же сказалось въ его небольшихъ повѣстяхъ, въ которыхъ онъ изображаетъ и анализируетъ передъ нами типы русскихъ Гамлетовъ и Донъ-Кихотовъ, скептиковъ и романтиковъ нашего общества. Эти повѣсти говорятъ намъ и о непримиренномъ еще раздвоеніи нашей русской жизни, которой полнымъ и живымъ отраженіемъ, полнымъ представителемъ былъ Тургеневъ.

Типъ Гамлета, скептика, человѣка отвлеченнаго ума мы встрѣчаемъ въ повѣстяхъ „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда", „Дневникъ лишняго человѣка"; типъ романтика, живущаго сердцемъ — въ „Затишьѣ", въ „Яковѣ Пасынковѣ". — Остановимся на этихъ чудно-художественныхъ созданіяхъ.

Въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда" (1849 г.) типъ скептика представленъ преимущественно съ свѣтлой стороны, — герой разсказа, Василій Васильевичь, привлекаетъ нашу симпатію силой своего ума, своего анализа, своимъ пониманіемъ себя и искренностью самообличенія.

Онъ человѣкъ рефлексіи, отвлеченной мысли, далекій отъ дѣйствительной, реальной жизни, которой чуждается, которую съ трудомъ понимаетъ, что̀, однако-же самъ и сознаетъ.

Случайно встрѣтясь съ поэтомъ, онъ, самъ не зная

почему, должно быть вслѣдствіе потребности излить сердечное горе, открываетъ ему свою душу. — Онъ заявляетъ про себя, что онъ отвлеченный человѣкъ, въ которомъ потому самому нѣтъ ничего самобытнаго:

„я именно и гибну оттого, что во мнѣ рѣшительно нѣтъ ничего оригинальнаго". „Что̀ мнѣ въ томъ (продолжаетъ онъ, выражаясь про себя во второмъ лицѣ), что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна, и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь, — да своего-то, особеннаго, собственнаго у тебя ничего нѣту! Однимъ складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ на свѣтѣ больше, — да какое кому отъ этого удовольствіе? Нѣтъ, ты будь хоть глупъ, да посвоему! Запахъ свой имѣй, свой собственный запахъ, вотъ что! — И не думайте (обращается онъ къ собесѣднику), чтобы требованія мои насчетъ этого запаха были велики... Сохрани Богъ! Такихъ оригиналовъ пропасть: куда ни погляди — оригиналъ; всякій живой человѣкъ — оригиналъ; да я-то въ ихъ число не попалъ!"

Во всей своей жизни, во всѣхъ ея важнѣйшихъ событіяхъ онъ видитъ это отсутствіе оригинальности, эту отвлеченность, причемъ, конечно, какъ и слѣдуетъ отвлеченному человѣку, изъ логической послѣдовательности преувеличиваетъ дѣло.

„Я, должно быть, и родился-то въ подражаніе другому... ей Богу! (говоритъ онъ). Живу я тоже словно въ подражаніе разнымъ мною изученнымъ сочинителямъ, въ потѣ лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по собственной охотѣ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ, — кто его разберетъ!"

Замѣчательно, что, обвиняя себя за отчужденность отъ жизни, онъ, однако, въ то же время отрицательно и высокомѣрно относится къ этой жизни, самъ того не замѣчая. Онъ выросъ въ деревнѣ, подъ руководствомъ матери, — и вотъ что только находитъ онъ возможнымъ сказать объ этомъ времени своего существованія:

„Дѣтство мое нисколько не отличалось отъ дѣтства другихъ юношей: я такъ-же глупо и вяло росъ, словно подъ периной, такъ-же рано началъ твердить стихи наизусть и киснуть, подъ предлогомъ мечтательной наклонности... къ чему бишь? — да, къ прекрасному... и прочая"...

Неужели кромѣ насмѣшки онъ не могъ ничѣмъ инымъ помянуть родную деревню? Слишкомъ сомнительно, чтобы въ дѣтствѣ его не было ничего живаго и отраднаго. — Въ зрѣлые годы ему пришлось опять пожить въ своей деревнѣ и онъ говоритъ: я тамъ „скучалъ, какъ щенокъ взаперти",

„хотя, признаюсь (невольно вспоминаетъ онъ, вопреки своему отрицанію), проѣзжая на возвратномъ пути въ первый разъ весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце отъ смутнаго сладкаго ожиданія. Но (слышимъ мы опять его прежній насмѣшливый тонъ) эти смутныя ожиданія, вы сами знаете, никогда не сбываются“... и т. д.

За незнаніе дѣйствительности онъ обвиняетъ не то себя, не то самую дѣйствительность; онъ говоритъ:

„Зачѣмъ не сидѣлъ дома, да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ? Ты бы и потребности ея узналъ и будущность, и на-счетъ твоего, такъ сказать, призванія тоже въ ясность бы пришелъ“...

Но тутъ-же онъ прибавляетъ и оправданія:

„Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то, да молчитъ она, моя голубушка... Вотъ я подумалъ, подумалъ — вѣдь наука-то, кажись, вездѣ одна, и истина одна, — взялъ да и пустился съ Богомъ въ чужую сторону, къ нехристямъ... Что прикажете!—молодость, гордость обуяла. Не хотѣлось, знаете, до времени заплыть жиромъ, хоть оно, говорятъ, и здорово“.

И такъ, русская жизнь можетъ лишь способствовать заплытію людей жиромъ, — такой аттестатъ выдаетъ ей Гамлетъ Щигровскаго узда; по его мнѣнію — кто этого не хочетъ, тотъ неизбѣжно, въ-силу какой-то судьбы, долженъ сдѣлаться отвлеченнымъ человѣкомъ. Впрочемъ, такъ положительно онъ подобной мысли не высказываетъ, ибо вообще не высказываетъ ничего положительнаго, — онъ весь олицетворенное сомнѣніе: когда собесѣдникъ однажды замѣтилъ ему, что онъ преувеличиваетъ, онъ тотчасъ же отвѣтилъ: „можетъ быть, Господь меня знаетъ, можетъ быть“, — у него нѣтъ вѣры и въ собственную мысль, и въ собственное слово.

Гамлетъ Щигровскаго уѣзда самъ прекрасно объясняетъ происхожденіе своей рефлексіи, которою онъ „заѣденъ“, по его выраженію, и причины того, что въ немъ нѣтъ ничего „непосредственнаго“. Въ этомъ виноваты, по его словамъ, московскій товарищескій „кружокъ“, въ который онъ попалъ, вступивши въ университетъ, и затѣмъ отвлеченное, книжное только изученіе нѣмецкой науки.

Онъ иронически - остроумно говоритъ, что Шиллеръ ошибся, сказавши въ „Колоколѣ“, будто страшнѣйшій изъ ужасовъ есть человѣкъ въ своемъ неистовствѣ.

„Онъ, увѣряю васъ, онъ не то хотѣлъ сказать; онъ хотѣлъ сказать: Das ist ein „кружокъ“... in der Stadt Moskau“. — „Кружокъ, (продолжаетъ Василій Васильевичъ) — да это гибель всякаго самобытнаго развитія; кружокъ — это безобразная замѣна общества, женщины, жизни; кружокъ... о, да постойте, я вамъ скажу, что такое кружокъ... кружокъ замѣняетъ разговоръ разсужденіями, пріучаетъ къ безплодной болтовнѣ, отвлекаетъ васъ отъ уединенной, благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души. Кружокъ — да это пошлость и скука подъ именемъ братства и дружбы, сцѣпленіе недоразумѣній и притязаній подъ предлогомъ откровенности и участія; въ кружкѣ, благодаря праву каждаго пріятеля, во всякое время и во всякій часъ, запускать свои неумытые пальцы во внутренность товарища, ни у кого нѣтъ чистаго, нетронутаго мѣста на душѣ; въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носятъ на рукахъ стихотворца бездарнаго, но съ „затаенными мыслями“... въ кружкѣ наблюдаютъ другъ за другомъ нехуже полицейскихъ чиновниковъ... О, кружокъ! ты не кружокъ: ты заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ“.

Въ этой блестящей, остроумной обвинительной рѣчи Гамлетъ Щигровскаго уѣзда исчерпалъ до конца, до глубины отрицательную сторону кружковой жизни, сказалъ все, что можно сказать противъ нея. Но, по своему обыкновенію, онъ поступилъ отвлеченно: онъ проглядѣлъ свѣтлую сторону университетскихъ кружковъ; мы увидимъ ее въ романѣ „Рудинъ“, — ее покажетъ намъ самъ поэтъ (свидѣтельство, что Тургеневъ вовсе не тождественъ съ своимъ Гамлетомъ).

Прекрасно говоритъ Василій Васильевичъ о своемъ ученьи заграницей: онъ и тамъ остался, по словамъ его, неоригинальнымъ человѣкомъ. Собственно жизни, европейскаго быта, онъ вовсе не узналъ: онъ „слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница“. Онъ „съ туземцами знался мало, разговаривалъ съ ними какъ-то напряженно и никого изъ нихъ у себя не видалъ“. Познакомился онъ только случайно съ семействомъ одного профессора, и тутъ вообразилъ, что влюбился въ одну изъ его дочерей. Спасшись какъ-то на этотъ разъ отъ отвлеченнаго, искусственнаго, такъ сказать, брака, онъ не ушелъ отъ него, однако-же, на родинѣ, гдѣ, во второй разъ вообразивъ себя влюбленнымъ, женился по отвлеченному соображенію—и сталъ потомъ заглядываться на балку въ

сараѣ да подумывать о самоубійствѣ, и безъ умысла, конечно, однако заѣлъ, должно быть, вѣкъ своей жены.

Сила логики, безпощадный анализъ собственныхъ недостатковъ подкупаютъ насъ въ пользу Гамлета Щигровскаго уѣзда (особенно если сравнимъ его съ пошлыми людьми, въ среду которыхъ, какъ въ рамку, поставилъ его авторъ); къ этому присоединяется еще его мѣткое остроуміе, замѣчательное умѣнье подмѣтить смѣшное,—русская черта въ его образѣ.—Но поэтъ не скрылъ отъ насъ и другую сторону своего героя, и развѣнчалъ его передъ нами. Василій Васильевичъ самъ говоритъ, что у него большое самолюбіе, что въ немъ силенъ эгоизмъ. Пока онъ еще вѣрилъ въ себя, и соловьемъ пѣлъ (по его выраженію) въ московскихъ гостиныхъ, возбуждая удивленіе слушателей,—это самолюбіе проявлялось въ благородныхъ формахъ. Но вотъ въ немъ стали разочаровываться, онъ самъ сталъ сомнѣваться въ себѣ, въ своихъ разсужденіяхъ, въ значеніи своей „болтовни", какъ онъ выразился,—и себялюбіе, этотъ неизбѣжный спутникъ душевной раздвоенности, рефлексіи, стало выдвигаться на первый планъ, стало проявляться въ отталкивающей и унизительной формѣ самоуниженія,—у Василія Васильевича обозначился недостатокъ чувства собственнаго достоинства.

„Я узналъ (говоритъ онъ) ядовитые восторги холоднаго отчаянія; я испыталъ, какъ сладко, втеченіе цѣлаго утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и часъ своего рожденія... Я сталъ, что вы думаете? я сталъ таскаться по сосѣдямъ. Словно опьяненный презрѣньемъ къ самому себѣ, я нарочно подвергался всякимъ мелочнымъ униженіямъ. Меня обносили за столомъ, холодно и надменно встрѣчали, наконецъ не замѣчали вовсе; мнѣ не давали даже вмѣшиваться въ общій разговоръ, и я самъ, бывало, нарочно поддакивалъ изъ-за угла какому-нибудь глупѣйшему говоруну, который, во время оно, въ Москвѣ, съ восхищеніемъ облобызалъ бы прахъ ногъ моихъ, край моей шинели... Я даже не позволялъ самому себѣ думать, что я предаюсь горькому удовольствію ироніи... Помилуйте, что за иронія въ одиночку! Вотъ-съ какъ я поступалъ нѣсколько лѣтъ сряду и какъ поступаю еще до сихъ поръ".

Себялюбіе скептика, которое въ Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда стоитъ какъ-то на второмъ планѣ, уступая первое мѣсто обаятельной силѣ анализа, играетъ, напротивъ, главную роль въ жизни и личности Чулкатурина, героя „Дневника лишняго человѣка" (1850 г.). Только передъ смертью

Чулкатуринъ утихаетъ и смиряется—и проявляетъ передъ нами блестящую силу своего тонко развитаго ума, силу, которая при жизни скрывалась за его мелочными чувствами и поступками, такъ отталкивающими насъ отъ его личности. Передъ смертью онъ самъ казнитъ себя за нихъ безпощаднымъ анализомъ своихъ воспоминаній.

Подобно собрату своему Гамлету, Чулкатуринъ отлично себя опредѣляетъ. Широта пониманія въ соединеніи съ безпредѣльнымъ сомнѣніемъ, сомнѣніемъ во всемъ, и такимъ же безпредѣльнымъ себялюбіемъ, сдѣлали его мнительнымъ, подрѣзали крылья его волѣ, лишили его оригинальности и жизненности,—и онъ сталъ отвлеченнымъ человѣкомъ, или какъ онъ самъ прекрасно выразился—„лишнимъ".

„Къ другимъ людямъ это слово не примѣняется (пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ)... Люди бываютъ злые, добрые, умные, глупые, пріятные и непріятные; но лишніе... нѣтъ... А я... Про меня ничего другаго и сказать нельзя: лишній—да и только. Сверхштатный человѣкъ—вотъ и все... Во все продолженіе жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ быть оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Я былъ мнителенъ, застѣнчивъ, раздражителенъ, какъ всѣ больные; притомъ, вѣроятно по причинѣ излишняго самолюбія или вообще вслѣдствіе неудачнаго устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями—и выраженіемъ этихъ чувствъ и мыслей—находилось какое-то безсмысленное, непонятное и непреоборимое препятствіе; и когда я рѣшался насильно побѣдить это препятствіе, сломить эту преграду—мои движенія, выраженіе моего лица, все мое существо принимало видъ мучительнаго напряженія; я не только казался—я дѣйствительно становился неестественнымъ и натянутымъ. Я самъ это чувствовалъ, и спѣшилъ опять уйти въ себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбиралъ самого себя до послѣдней ниточки, сравнивалъ себя съ другими, припоминалъ малѣйшіе взгляды, улыбки... Цѣлые дни проходили въ этой мучительной, безплодной работѣ. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человѣкъ нуженъ?"

Чулкатурину пришлось близко познакомиться съ гостепріимнымъ семействомъ Ожогиныхъ; здѣсь влюбился онъ въ молодую дѣвушку Лизу. Онъ подмѣтилъ разцвѣтъ ея души, первые порывы и стремленія молодаго дѣвическаго сердца къ любви и счастью; онъ можетъ быть самъ своими разговорами, своими чтеніями (онъ читалъ ей поэтовъ) способствовалъ ея развитію. Онъ было началъ оживать душою, становиться болѣе простымъ и жизненнымъ. Но

должно быть вѣчный анализъ, безпредѣльный мучительный скептицизмъ подорвали въ немъ возможность отдаться чувству, лишили его чувство свѣжести и силы,—и Лиза, сначала какъ-будто симпатизировавшая ему, отвернулась отъ него. Она полюбила петербургскаго блестящаго офицера князя Н*, случайно пріѣхавшаго въ ихъ городъ, пустаго фата и эгоиста.—И для Чулкатурина начались опять мученія безконечныхъ сомнѣній, осложнившіяся теперь ревностью. Въ повѣсти превосходно анализировано его душевное состояніе въ эту тяжелую для него пору. Онъ самъ сравниваетъ себя съ тѣмъ молодымъ лакедемонцемъ,

„который, укравъ лисицу и спрятавъ ее подъ свою хламиду, ни разу не пикнувъ, позволилъ ей съѣсть всѣ свои потроха и такимъ образомъ предпочелъ самую смерть позору... Я не могу найти (продолжаетъ онъ) лучшаго сравненія для выраженія моихъ несказанныхъ страданій втеченіе того вечера, когда я въ первый разъ увидѣлъ князя подлѣ Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчаніе, тоскливое и напрасное желаніе уйти, все это, вѣроятно, было весьма замѣчательно въ своемъ родѣ. Не одна лисица рылась въ моихъ внутренностяхъ: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, безсильная злость меня терзали“.

Чулкатуринъ повелъ себя съ этихъ поръ глупо, унизительно, онъ какъ-бы потерялъ чувство собственнаго достоинства. Состраданіе, которое мы питаемъ къ нему по человѣчеству, какъ-то невольно смѣшивается у насъ съ отвращеніемъ, чуть не съ презрѣніемъ. Онъ навязался на дуэль съ княземъ, слегка ранилъ его; а тотъ, выстрѣливъ на воздухъ, раздавилъ его своимъ великодушіемъ. При всей тонкости своего ума, Чулкатуринъ не догадался, что онъ достигъ этой дуэлью (затѣвать которую не имѣлъ и нравственнаго права) только ненависти Лизы къ себѣ, да возвеличилъ князя Н* въ ея глазахъ.—Чулкатуринъ дошелъ даже до того, что ему стала казаться привлекательною мечта, какъ князь броситъ свою жертву—Лизу; онъ думалъ, что тогда ему представится случай выказать передъ Лизой великодушіе, и она будетъ побѣждена этимъ и полюбитъ его и отдастъ ему свою руку. Когда мечта его сбылась, онъ такъ и поступилъ, сталъ ухаживать за Лизой, не сообразивъ (потому что его-же собственныя мысли и наблюденія мѣшали ему понимать дѣло), не сообразивъ, что она его ненавидитъ. Онъ и тутъ оказался лишнимъ, и долженъ

былъ уступить мѣсто ничтожному Бизьмёнкову. А между тѣмъ онъ, безъ всякаго сомнѣнія, и въ умственномъ, и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ стоитъ безконечно выше и бездушно-холоднаго фата князя Н*, и мелкаго духомъ, приниженнаго Бизьмёнкова. И онъ хотѣлъ быть дѣйствительно великодушнымъ, „жаждалъ счастія" протянуть Лизѣ руку, жаждалъ счастія—все позабыть, потому что глубоко любилъ, а не потому, чтобы признавалъ себя, какъ Бизьмёнковъ, ничтожествомъ передъ княземъ Н*.

Разбитый духомъ и тѣломъ, Чулкатуринъ умираетъ, и близость смерти подымаетъ его нравственно: онъ сознаетъ свои заблужденія, къ нему возвращаются блескъ и сила его ума, онъ становится естественнѣй и проще, и теплое чувство, уже не подавляемое рефлексіей, свободно проникаетъ первыя и послѣднія страницы его дневника. Онъ даже съ смертью примиряется, потому что она избавитъ его отъ глупыхъ и ложныхъ внутреннихъ терзаній:

„Да, хорошо (говоритъ онъ), хорошо отдѣлаться наконецъ отъ томящаго сознанія жизни, отъ неотвязнаго и безпокойнаго чувства существованія!"

„Онъ съ любовью вспоминаетъ свою прошлую жизнь въ родной деревнѣ (здѣсь онъ поднимается выше Гамлета Щигровскаго уѣзда; впрочемъ, можетъ быть и тотъ просвѣтлѣетъ передъ кончиной):

„Я бы хотѣлъ (пишетъ Чулкатуринъ) еще разъ надышаться горькой свѣжестью полыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тяканье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви, еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага".

Въ послѣдній день передъ своей смертью онъ записалъ:

„Въ виду смерти исчезаютъ послѣднія земныя суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснѣе. Поздно я хватился за умъ!.. Странное дѣло! я утихаю—точно и вмѣстѣ съ тѣмъ... жутко мнѣ. Да, мнѣ жутко. До половины наклоненный надъ безмолвной, зіяющей бездной, я содрогаюсь, съ жаднымъ вниманіемъ осматриваю все кругомъ. Всякій предметъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ... О, Боже мой, Боже мой! Я вотъ умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанетъ биться... И неужели же оно затихнетъ навсегда, не извѣдавъ ни разу счастія, не расширясь ни разу подъ сладостнымъ бременемъ радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю!... Если-бъ

по крайней мѣрѣ, теперь, передъ смертью—вѣдь смерть все-таки святое дѣло, вѣдь она возвышаетъ всякое существо—если-бъ какой-нибудь милый, грустный, дружескій голосъ пропѣлъ надо мною прощальную пѣснь о собственномъ моемъ горѣ, я бы, можетъ быть, помирился съ нимъ. Но умереть глухо, глупо...“

Оканчивается дневникъ лишняго человѣка выраженіемъ чувства любви его къ людямъ:

Живите, живые!
И пусть у гробоваго входа
Младая будетъ жизнь играть.

Тургеневъ безпощадно развѣнчалъ Чулкатурина въ разсказѣ его жизни, но въ сейчасъ приведенныхъ словахъ слышится его несомнѣнное и правдивое сочувствіе къ своему герою, къ этому „лишнему человѣку“, къ его неумершей душѣ. Этого сочувствія не заглушаетъ даже то обстоятельство, что поэтъ заставилъ его умереть—хоть и не 1-го апрѣля, какъ тотъ боялся, а все-таки въ ночь съ 1-го на 2-е; не заглушаетъ и оканчивающее повѣсть „Примѣчаніе издателя:

„Подъ этой послѣдней строкой находится профиль головы съ большимъ хохломъ и усами, съ глазомъ en face и лучеобразными рѣсницами; а подъ головой кто-то написалъ слѣдующія слова:

„Сѣю рукопись. Читалъ
И Содержаніе Онной нѣ Одобрилъ
Пѣтръ Зудотѣшинъ
ММММ
Милостивый Государь
Пѣтръ Зудотѣшинъ
Милостивый Государь мой“.

Замѣчу въ-заключеніе, что въ повѣсти Тургеневъ съумѣлъ съ неподражаемымъ искусствомъ сблизить смерть человѣка съ весенними днями, когда

„все таетъ, валится, течетъ. Въ воздухѣ пахнетъ разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запахъ. Паръ подымается отовсюду. Солнце такъ и бьетъ, такъ и разитъ. Плохо мнѣ (пишетъ Чулкатуринъ). Я чувствую, что разлагаюсь.

Я хотѣлъ написать свой дневникъ... а теперь вотъ и некогда продолжать. Смерть, смерть идетъ. Мнѣ уже слышится ея грозное crescendo“...

Перейдемъ къ повѣстямъ, изображающимъ романтиковъ, людей живущихъ чувствомъ по-преимуществу. Передъ нами прежде всего произведеніе 1854 года—„Затишье“.

Нарисованному здѣсь романтику — Веретьеву, герою повѣсти, Тургеневъ видимо не сочувствуетъ, онъ его явно развѣнчиваетъ. Романтизмъ взятъ здѣсь съ его слабыхъ сторонъ. Но, поэтъ истинный и правдивый, Тургеневъ не могъ быть несправедливымъ, и онъ изображаетъ намъ и свѣтлыя черты Веретьева.

Фигура героя повѣсти ярко рисуется, оттѣненная съ одной стороны благороднымъ характеромъ Марьи Павловны, съ другой—цѣлымъ рядомъ людей сомнительныхъ качествъ, каковы: бойкая, умная, живая, но очень легкомысленная сестра Веретьева—Надежда Алексѣевна; задорный и пустой полякъ Стельчинскій; практическій человѣкъ, холодный, умѣренный и аккуратный Астаховъ, и др.

Марья Павловна—правдивая, искренняя, очень близкая къ природѣ и непосредственности, вполнѣ цѣльная натура, не умѣющая чувствовать слегка и серьезно относящаяся къ жизни. Она—„дѣвушка лѣтъ двадцати, высокаго роста, полная и стройная“, отличающаяся прямо „русской, степной красотой“.

Черты ея лица (говоритъ поэтъ) выражали не то, чтобы гордость а суровость, почти грубость; лобъ ея былъ широкъ и низокъ, носъ коротокъ и прямъ; лѣнивая и медленная усмѣшка изрѣдка кривила ея губы; презрительно хмурились ея прямыя брови... Когда же она поднимала свои глаза, въ нихъ было что-то дикое, красивое и тупое, напоминающее взоръ лани“.

Веретьевъ такъ опредѣляетъ самой Марьѣ Павловнѣ ея личность:

„Вы не кокетка... за то я и люблю васъ, Маша, что вы не свѣтская барышня, не смѣетесь безъ нужды, не носите перчатокъ на вашихъ рукахъ, которыя и цѣловать оттого такъ весело, что онѣ загорѣли и силу въ нихъ чувствуешь... Я люблю васъ за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы“...

Правдивость и непосредственность Марьи Павловны такъ велики, что она, напр., не любитъ стиховъ и не хочетъ даже знакомиться съ ними, потому что, по ея мнѣнію, „все это сочинено, все неправда“. Тѣмъ не менѣе у нея есть живое чувство красоты,—не даромъ она и любитъ и умѣетъ пѣть, и пѣніе ея просто,но проникнуто горячимъ чувствомъ. Поэзія можетъ сильно дѣйствовать на нее. Она была поражена, серьезно и искренно, пушкинскимъ „Анчаромъ“, когда

Астаховъ прочелъ ей это стихотвореніе; Астаховъ былъ свидѣтелемъ, какъ она потомъ ночью, одна въ саду, въ лунномъ свѣтѣ, декламировала:

Но человѣка человѣкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ...

И вотъ эта-то дѣвушка, правдивая, строгая и серьезная, любитъ Веретьева.

Первая встрѣча наша въ повѣсти съ Веретьевымъ благопріятна для него. Астаховъ пріѣзжаетъ къ Ипатову и застаетъ у него цѣлое общество, хоромъ поющее русскія пѣсни. Веретьевъ—запѣвало. Авторъ говоритъ про него:

„Онъ пѣлъ славно, бойко и весело. Его мужественное лицо и безъ того выразительное, еще болѣе оживлялось, когда онъ пѣлъ; изрѣдка подергивалъ онъ плечами, внезапно прижималъ струны (гитары) ладонью, поднималъ руку, встряхивалъ кудрями и соколомъ взглядывалъ кругомъ“.

Веретьевъ—артистъ и человѣкъ съ сердцемъ, увлекающійся искренно и горячо. Онъ и уменъ и правдивъ: онъ напр. быстро понялъ Астахова и съумѣлъ остроумно опредѣлить его прозвищемъ „кисляй“; живое эстетическое чувство и пылкая подвижность натуры заставили его искренно сказать Астахову, что тотъ читаетъ стихи „напыщенно“, не довольно просто,—потомъ ему пришлось извиняться за такую откровенность. Онъ великодушенъ,—великодушіе побудило его уладить глупое дѣло съ дуэлью, на которую Стельчинскій вызвалъ Астахова (впрочемъ, здѣсь Веретьевъ дѣйствовалъ и для охраны отъ сплетенъ имени сестры, которую горячо любитъ). Онъ способенъ и смиренно признать свои недостатки: онъ говоритъ Марьѣ Павловнѣ, что рѣшительно не стоитъ ея привязанности; онъ говоритъ даже не возбуждающему въ немъ особой симпатіи Астахову про себя, что „гроша мѣднаго не стоитъ“.

Главная черта Веретьева—та, что онъ человѣкъ сердечнаго увлеченія. Но онъ слишкомъ неразборчивъ въ предметахъ своихъ увлеченій. Истинный артистъ, онъ готовъ, однако, обращать свою артистическую способность въ шутовство, передразнивая пьянаго, представляя жужжащую подъ пальцами муху и т. д., чѣмъ возбуждаетъ негодованіе Марьи Павловны. Пѣсня, любовь, вино, природа—для

него все это стоитъ на одной ступени и одинаково его увлекаетъ. Онъ пристрастенъ къ вину, и свое пристрастіе вполнѣ оправдываетъ, возводитъ даже въ теорію.

„Эхъ, Маша, Маша! (говоритъ онъ Марьѣ Павловнѣ, упрекающей его за это). И вы туда-же! Сестра моя тоже объ этомъ убивается. Да, во-первыхъ, я вовсе не пьяница; а во-вторыхъ знаете-ли вы для чего я пью? Посмотрите-ка вонъ на эту ласточку... Видите, какъ она смѣло распоряжается своимъ маленькимъ тѣломъ,—куда хочетъ, туда его и броситъ! Вонъ взвилась, вонъ ударилась книзу, даже взвизгнула отъ радости, слышите? Такъ вотъ я для чего пью, Маша, чтобы испытать тѣ самыя ощущенія, которыя испытываетъ эта ласточка... Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается.

— Да къ чему-же это? перебила Маша.

Какъ къ чему? изъ чего же тогда жить?

— А развѣ безъ вина этого нельзя?

Нельзя,—всѣ мы попорчены, измяты. Вотъ страсть... та такое-же производитъ дѣйствіе. Оттого-то я васъ люблю.

— Какъ вино... покорно благодарю“.

Веретьевъ не владѣетъ собою, въ полнѣ отдается впечатлѣніямъ и ощущеніямъ, не думаетъ о своемъ будущемъ, не заботится о томъ, что изъ него выйдетъ, живетъ для минуты. живетъ лишь настоящимъ. И все это онъ возводитъ тоже въ принципъ, въ правило, въ теорію. „Что загадывать о будущемъ? (отвѣчаетъ онъ Марьѣ Павловнѣ на ея упреки и сѣтованія). Оглянитесь, Маша, развѣ и здѣсь не прекрасно? Посмотрите, какъ все радуется жизни, какъ все молодо. И мы сами развѣ не молоды?“

Чувство долга, нравственной обязанности не существуетъ для этого человѣка впечатлѣній и сердечныхъ безотчетныхъ порывовъ, которые зачастую переходятъ у него въ чисто-матерьяльныя увлеченія. Онъ любитъ Машу; но это не помѣшало ему влюбиться въ цыганку и уѣхать за нею, скрыться отъ преданной ему дѣвушки. Такой поступокъ разбилъ не только сердце Маши (давно уже тяжело болѣвшее), онъ разбилъ и ея жизнь. Она не могла и не умѣла любить вполовину, и примириться съ пошлостью тоже не могла.

Поэтъ вполнѣ развѣнчиваетъ Веретьева въ заключительномъ эпизодѣ повѣсти. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ своей встрѣчи въ деревнѣ, встрѣтились опять въ Петербургѣ на Невскомъ—окончательно сдѣлавшійся практическимъ человѣкомъ и окончательно опошлившійся Астаховъ и Веретьевъ. Веретьевъ былъ

„въ испанскомъ плащѣ и фуражкѣ, съ лицомъ уже порядкомъ изношеннымъ,„кращеными усами и большими, слегка заплывшими глазами“. „Мелкія тонкія морщины покрыли его лице, и когда онъ говорилъ, его губы и щеки слегка подергивало. По всему замѣтно было, что сильно пожилъ человѣкъ“.

Встрѣтились старые знакомцы очень холодно, вспомнили трагическую кончину Маши, и разошлись почти враждебно. Веретьевъ отправился послѣ этого въ кондитерскую, гдѣ его обыкновенно ожидали пріятели, до сихъ поръ восторгавшіеся его талантами; „онъ сначала озадачилъ ихъ своимъ мрачнымъ видомъ и желчными рѣчами,—но вскорѣ успокоился, развеселился и дѣло пошло своимъ обычнымъ порядкомъ“. Веретьевъ, какъ видимъ, тоже вполнѣ опошлился: „изъ Веретьевыхъ никогда ночего не выходитъ“, прибавляетъ поэтъ свое замѣчаніе.

Одно только въ заключеніи повѣсти нѣсколько смягчаетъ тяжелое впечатлѣніе, производимое личностью героя, одно только нѣсколько примиряетъ даже насъ съ Веретьевымъ, это то обстоятельство, что поэтъ привелъ его, какъ привелъ и своего „лишняго человѣка“ подъ конецъ жизни, къ самосознанію, къ самоосужденію. Впрочемъ душевнаго просвѣтлѣнія, какъ въ „лишнемъ человѣкѣ“, мы въ Веретьевѣ не видимъ (правда, онъ не умираетъ еще).—Астаховъ замѣтилъ въ равговорѣ, что общія ихъ деревенскія воспоминанія представляются ему смутно, какъ сонъ.

„Какъ сонъ, повторилъ Веретьевъ, и его блѣдныя щеки покраснѣли;—какъ сонъ... нѣтъ, это не былъ сонъ, по крайней мѣрѣ для меня. Это было время молодости, веселости и счастья, время безпечныхъ надеждъ и силъ неодолимыхъ, и если это былъ сонъ—такъ сонъ прекрасный. А вотъ что мы теперь съ вами постарѣли, поглупѣли, да усы красимъ, да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, какъ разбитыя клячи, повыдохлись, повытерлись, не то важничаемъ и ломаемся, не то бьемъ баклуши, да, чего добраго, горе виномъ заливаемъ, вотъ это скорѣе сонъ и сонъ самый безобразный. Жизнь прожита, и даромъ, нелѣпо, пошло прожита—вотъ что горько! Вотъ это-бы стряхнуть какъ сонъ, вотъ отъ этого-бы очнуться... И потомъ вездѣ, всюду одно ужасное воспоминаніе, одинъ призракъ“...

Въ Веретьевѣ проснулись угрызенія совѣсти, его тревожатъ ея упреки... Впрочемъ упреки эти—поздніе, да и Веретьевъ умѣетъ заглушать ихъ виномъ.

Въ повѣсти „Затишье“ поэтъ показываетъ; намъ такимъ

образомъ, полную несостоятельность человѣка, живущаго одними порывами чувства, точно такъ, какъ въ „Дневникѣ лишняго человѣка“ онъ показалъ намъ полную несостоятельность отвлечено-умственной, исключительно головной жизни. Только Чулкатурина, какъ скептика, губитъ, кромѣ его отвлеченности и мнительности, себялюбіе, эгоизмъ; Веретьева, какъ романтика, довольно далеко отъ эгоизма, губитъ другое: безпорядочность, безсмысліе увлеченій, не освѣщаемая нравственнымъ долгомъ податливость на всякія впечатлѣнія, нравственная неразборчивость въ этихъ впечатлѣніяхъ.

Романтическое начало съ его положительной стороны является намъ у Тургенева въ тепло написанной, высокопоэтическво повѣсти „Яковъ Пасынковъ“ (1855 г.).—Въ противоположность Веретьеву, Пасынковъ вызываетъ въ нашей душѣ полное сочувствіе къ себѣ; такое сочувствіе къ его глубокому и нѣжному чувству, къ его кротости и незлобію, высказываетъ и авторъ. Пасынковъ совсѣмъ не знаетъ себялюбія, онъ легко можетъ пожертвовать собою для другихъ, и въ то-же время въ немъ нѣтъ и тѣни самоуниженія. Онъ не знаетъ и лжи, и правда для него всего дороже.

Авторъ знакомитъ насъ съ дѣтствомъ своего героя, когда онъ, покинутый полусумашедшимъ отцомъ, воспитывался въ пансіонѣ Винтеркеллера, призрѣнный добрымъ, хоть и разсчетливымъ нѣмцемъ. Онъ былъ всегда хуже всѣхъ одѣтъ; товарищи смѣялись надъ нимъ, по дурному школьному обычаю, называли его „бабьимъ капотомъ,“ „племянникомъ чепца“.

„Но не смотря на эти прозвища, не смотря на смѣшныя его платья, на его крайнюю бѣдность, всѣ его очень любили; да и не возможно было его не любить: болѣе доброй, благородной, души... и на свѣтѣ не было. Учился онъ также очень хорошо“.

Чистое и нѣжное сердце Пасынкова было открыто всѣмъ впѣчатлѣніямъ добраго и прекраснаго, потому что само было прекрасно:

„когда онъ улыбался (говоритъ поэтъ), его маленькіе сѣрые глазки свѣтились такимъ кроткимъ и ласковымъ добродушіемъ, что, при взглядѣ на него, у всякаго становилось тепло и весело на сердцѣ. Помню я также его голосъ, тихій, и ровный, съ какою-то особенно пріятной сипотой. Онъ говорилъ вообще мало и съ замѣтнымъ затрудненіемъ; но

когда одушевлялся, рѣчь его лилась свободно и—странное дѣло!—голосъ его становился еще тише, взоръ его какъ-будто уходилъ внутрь и погасалъ, а все лицо слабо разгоралось. Въ устахъ еге слова: „добро“, „истина“, „жизнь,“ „наука,“ любовь,“ какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложнымъ звукомъ. Безъ напряженія, безъ усилія вступалъ онъ въ область идеала; его цѣломудренная душа во всякое время была готова предстать передъ „святынею красоты“, она ждала только привѣта, прикосновенія другой души... Пасынковъ былъ романтикъ, одинъ изъ послѣднихъ романтиковъ“...

Пасынковъ чутко понималъ и любилъ поэзію.

„Особенно отрадно было мнѣ (говоритъ разсказчикъ повѣсти) гулять съ нимъ вдвоемъ, или ходить возлѣ него взадъ и впередъ по комнатѣ и слушать, какъ онъ, не глядя на меня, читалъ стихи своимъ тихимъ и сосредоточеннымъ голосомъ. Право мнѣ тогда казалось, что мы съ нимъ медленно, понемногу, отдѣлялись отъ земли и неслись куда-то, въ какой-то лучезарный, таинственно-прекрасный край“...

Разсказчикъ вспоминаетъ особенно одну ночь, когда они сидѣли вдвоемъ въ саду, подъ сиренью и говорили, говорили „много и съ жаромъ“.

„На небѣ сіяли безчисленныя звѣзды. Яковъ поднялъ глаза и, стиснувъ мнѣ руку, тихо воскликнулъ:

„Надъ нами
Небо съ вѣчными звѣздами...
А надъ звѣздами ихъ Творецъ...

Благоговѣйный трепетъ пробѣжалъ по мнѣ; я весь похолодѣлъ и припалъ къ его плечу... Сердце переполнилось...

Гдѣ тѣ восторги? Увы! тамъ же, гдѣ и молодость.

Какимъ былъ Пасынковъ въ дѣтствѣ, такимъ и остался онъ навсегда. Разсказчикъ повѣсти встрѣтился съ нимъ послѣ восьмилѣтней разлуки и увидѣлъ, что онъ нисколько не измѣнился душою:

„Какъ ни охватывалъ его жизненный холодъ, горькій холодъ опыта (говоритъ онъ), нѣжный цвѣтокъ, рано разцвѣтшій въ сердцѣ моего друга, уцѣлѣлъ во всей своей нетронутой красѣ. Даже грусти, даже задумчивости не проявлялось въ немъ: онъ по-прежнему былъ тихъ, но вѣчно веселъ душою“.

Разсказчикъ ввелъ Пасынкова, жившаго очень уединенно и мало съ кѣмъ знавшагося, въ знакомое семейство, въ домъ Злотницкихъ. Здѣсь имъ приходилось встрѣчаться между прочимъ съ нѣкіимъ Асановымъ, человѣкомъ пустымъ и нахальнымъ. И вотъ случилось, что всѣ они трое полюбили одну изъ дѣвицъ Злотницкихъ, младшую, Софью. —

Какимъ высокимъ и чистымъ въ своей любви и въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ представляется намъ Пасынковъ сравнительно съ его сотоварищами по чувству этой привязанности! Софья полюбила самаго недостойнаго изъ нихъ— Асанова. Этотъ господинъ однажды на пріятельской пирушкѣ, сильно выпивши, сталъ хвастаться письмами Софьи и даже показывать ихъ. Участникъ пирушки, разсказчикъ повѣсти счелъ себя вправѣ прочесть тайкомъ небрежно оставленное письмо и потомъ, изъ самолюбія и ревности, позволилъ себѣ дѣлать намеки Софьѣ и даже упрекать ее. Дѣло готово было разыграться дуэлью. Но все уладилъ правдивый и кроткій Пасынковъ. Пасынковъ любилъ Софью сильнѣе всѣхъ, чище и святѣе, и очень ему было тяжело узнать истину объ ея сердцѣ,—онъ понималъ, что Асановъ человѣкъ пошлый и недостойный. Но онъ, всегда чуждый даже тѣни эгоизма, забылъ и теперь себя, затаилъ въ душѣ и свое горе, и несбывшіяся надежды (если онъ, смиренный; имѣлъ какія-нибудь надежды), и поѣхалъ къ Асанову мирить враговъ. Свою любовь Пасынковъ скрывалъ отъ всѣхъ и когда сердце его разрывалось отъ муки, онъ выслушивалъ признаніе пріятеля и утѣшалъ его и сострадалъ его неглубокому, его мимолетному чувству.

О чувствѣ Пасынкова разсказчикъ повѣсти узналъ только долгое время спустя, при третьей встрѣчѣ съ нимъ, когда засталъ его умирающимъ въ гостинницѣ маленькаго городка, умирающимъ отъ раны стрѣлою, полученною въ Сибири. (Какъ съ истиннымъ романтикомъ, съ Пасынковымъ всегда случались необыкновенныя событія). — Пасынковъ спросилъ товарища, скоро-ли тотъ разлюбилъ Софью, и на его благоразумный отвѣтъ: „не скоро, но разлюбилъ; что пользы вздыхать понапрасну“, — замѣтилъ съ внутренней дрожью въ голосѣ:

„А я, братъ... не тебѣ чета: я до сихъ поръ не разлюбилъ ее...

Какъ я ее любилъ, это извѣстно одному Богу. Никому я не говорилъ объ этомъ, никому въ мірѣ, и не хотѣлъ никому говоритъ... да ужъ такъ! „На свѣтѣ мало, говорятъ, мнѣ остается жить“. Куда ни шло!...

Я глядѣлъ на Пасынкова (повѣствуетъ разсказчикъ): глаза его, словно устремленные въ даль, блестѣли лихорадочнымъ блескомъ.

Я любилъ ее, продолжалъ онъ:—я любилъ ее, ее спокойную, чест-

ную, недоступную, неподкупную; когда она уѣхала, я чуть не помѣшался съ горя... Съ тѣхъ поръ я ужь никого не любилъ:..

И вдругъ, отвернувшись, онъ прижалъ лицо къ подушкѣ и тихо заплакалъ".

Тѣмъ же любящимъ, добрымъ, кроткимъ, какимъ былъ всегда, предсталъ Пасынковъ и теперь передъ своимъ другомъ. Онъ любовно и довѣрчиво относится къ лечащему его заплывшему жиромъ и погруженному въ равнодушіе доктору-аллопату, предлагающему лечить его гомеопатіей. Онъ проситъ стараго друга почитать ему поэтовъ, и съ восторгомъ слушаетъ стихотворенія Пушкина, Лермонтова.— Замѣчательно, что въ уста Пасынкова, тонко чувствующаго поэзію, Тургеневъ вложилъ замѣчаніе, что въ стихахъ Лермонтова среди вдохновеній есть и риторическая трескотня (какъ напр. въ „Дарахъ Терека").

Пасынковъ умеръ въ присутствіи своего друга, умеръ романтикомъ и мечтателемъ, какимъ былъ всегда.

„А что, братъ, ты сдѣлался практическимъ человѣкомъ? (говорилъ онъ въ предсмертномъ бреду)... А я, братъ, не сдѣлался практическимъ человѣкомъ, не сдѣлался, что ты будешь дѣлать? Мечтателемъ родился, мечтателемъ! Мечта, мечта..."

Изъ всего хода разсказа, изъ общаго тона повѣсти совершенно ясно, что Тургеневъ вполнѣ сочувствуетъ своему Якову Пасынкову. А по нѣкоторымъ лирическимъ отступленіямъ произведенія можно заключить, что онъ сочувствуетъ ему именно какъ романтику, симпатизируетъ романтизму вообще.

„Романтики, теперь, какъ уже извѣстно, почти вывелись (говоритъ поэтъ въ одномъ мѣстѣ); по крайней мѣрѣ между нынѣшними молодыми людьми ихъ нѣтъ. Тѣмъ хуже для нынѣшнихъ молодыхъ людей!"

А оканчивается повѣсть такими горячими словами:

„я думалъ; все думалъ о моемъ миломъ незабвенномъ Пасынковѣ—объ этомъ послѣднемъ изъ романтиковъ, и чувства, то грустныя, то нѣжныя, проникали съ сладостной болью въ грудь мою, звучали въ струнахъ еще не совсѣмъ устарѣвшаго сердца... Миръ праху твоему, непрактическій человѣкъ, добродушный идеалистъ! и дай Богъ всѣмъ практическимъ господамъ, которымъ ты всегда былъ чуждъ и которые, можетъ быть, даже посмѣются теперь надъ твоею тѣнью, дай имъ Богъ извѣдать хотя сотую долю тѣхъ чистыхъ наслажденій, которыми, наперекоръ судьбѣ и людямъ, украсилась твоя бѣдная и смиренная жизнь!"

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что поэтъ правъ въ своемъ возвышеніи Пасынкова надъ такъ называемыми „практическими“ людьми. Но правъ-ли онъ, возводя своего романтика въ идеалъ вообще, не указывая въ немъ ничего ложнаго?... И не удивительно-ли, что это дѣлаетъ тотъ самый писатель, который въ другихъ произведеніяхъ выражалъ и другія сочувствія, который показалъ намъ привлекательную красоту и силу остраго и скептическаго ума въ личности своего, прямо противоположнаго Пасынкову, Гамлета Щигровскаго уѣзда? Тутъ кроется какое-то недоразумѣніе. Не есть-ли безусловное сочувствіе Тургенева романтику Пасынкову—то же самое, что и его сочувствіе романтику Донъ-Кихоту (въ критической статьѣ о немъ и Гамлетѣ)? Не кроется-ли и въ повѣсти о Пасынковѣ затаенное указаніе поэта, что передъ нами опять-таки не идеалъ, а одностроеннее, хоть и глубоко-симпатичное, явленіе человѣческой жизни?

— Внимательное разсмотрѣніе повѣсти можетъ дать положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Правдивы художникъ, Тургеневъ въ-сущности развѣнчиваетъ и своего Пасынкова, какъ развѣнчивалъ романтика Веретьева и своихъ Гамлетовъ; только здѣсь порывъ сердечной любви заставилъ его какъ-то въ тѣни оставить развѣнчаніе.

Есть въ повѣсти одно очень замѣчательное мѣсто. Разсказчикъ послѣ смерти Пасынкова встрѣчается съ Софьей (уже давно вышедшей замужъ за Асанова), говоритъ съ ней о своемъ умершемъ другѣ, и заканчиваетъ восторженными словами:

„вотъ какой человѣкъ... отошелъ отъ насъ, незамѣченный, почти неоцѣненный! И это-бы еще не бѣда. Что значитъ людская оцѣнка? Но мнѣ больно, мнѣ обидно то, что такой человѣкъ, съ такимъ любящимъ и преданнымъ сердцемъ, умеръ, не испытавъ ни разу блаженства взаимной любви, не возбудивъ участія ни въ одномъ женскомъ сердцѣ, его достойномъ! Пускай нашъ братъ не извѣдаетъ этого блаженства: онъ его и не стоитъ; но Пасынковъ!.. И притомъ развѣ не встрѣчалъ я на своемъ вѣку тысячу людей, которые ни въ какомъ отношеніи не могли съ нимъ сравнится и которыхъ любили? Неужели же должно думать, что нѣкоторые недостатки въ человѣкѣ—самоувѣренность, напр., или легкомысліе—необходимы для того, чтобъ женщина къ нему привязалась? Или любовь боится совершенства. возможнаго на землѣ совершенства какъ чего-то чуждаго а страшнаго для нея?“

„Вы ошибаетесь“, отвѣтила на эти слова Софья, слушавшаяся ихъ изрѣдка морща брови:

„я знаю женщину, которая горячо полюбила вашего покойнаго друга; она любитъ и помнитъ его до сихъ поръ... и вѣсть о его кончинѣ поразитъ его глубоко.

Кто эта женщина? позвольте узнать.

Моя сестра, Варя“.

Отвѣтъ Софьи какъ холодной водой обдалъ разсказчика: онъ этого не ожидалъ. Нежданное открытіе дѣйствуетъ сильно и на читателя, и заставляетъ задуматься. Отказывается, значитъ, что Пасынковъ не понялъ Варвары, це обратилъ на нее вниманія, не оцѣнилъ ея чувства, ея преданности безпредѣльной: ему, мечтателю, носившемуся въ облакахъ, не хватило Гамлетовской проницательности.

Можно пойти въ этомъ дѣлѣ и дальше: Пасынковъ не оцѣнилъ какъ должно и другой души, такъ-же ему преданной, души искренней и прекрасной. Въ Новгородѣ, гдѣ онъ служилъ послѣ замужества Софьи, онъ сблизился съ мѣщанской дѣвушкой Машей. Эта Маша является передъ нами въ концѣ повѣсти и производитъ самое пріятное впечатлѣніе.— Для насъ остаются непонятными отношенія Пасынкова въ Машѣ: любилъ онъ ее, или нѣтъ? Если нѣтъ, то это кидаетъ темную тѣнь на его личность; если да, если любилъ (что вѣрнѣе),—то зачѣмъ онъ ее покинулъ, зачѣмъ не взялъ въ Сибирь, куда она охотно бы за нимъ поѣхала, зачѣмъ пересталъ даже писать ей изъ Сибири?— Онъ разбилъ ея простое, но искренно любившее сердце. А между тѣмъ съ нею онъ, можетъ быть, былъ бы счастливъ.—Какъ понять всѣ эти противорѣчія? какъ объяснить ихъ?—Они объясняются романтизмомъ Пасынкова, его мечтательностью: любя простымъ, жизненнымъ чувствомъ другую, онъ, истинный Донъ-Кихотъ, предпочелъ, однако, остаться мечтательно вѣрнымъ мечтательному чувству своему къ Софьѣ,—мечтательному, ибо оно, при всей его теплотѣ и искренности, есть такое-же созданіе фантазіи, какъ и безпредѣльная и тоже теплая и искренняя любовь Донъ-Кихота къ Дульцинеѣ Тобозской.

И въ такомъ случаѣ (можемъ мы прибавить) отчегожъ бы ему не остаться вѣрнымъ на всю жизнь своей первой, дѣтской любви къ фрейлейнъ Фредерике, племянницѣ

г. Винтеркеллера, вышедшей замужъ по любви за владѣльца мясной лавкл Книтфуса?

Романтикъ Пасынковъ оказывается такимъ же отвлеченнымъ, далекимъ отъ жизни, проглядѣвшимъ жизнь, человѣкомъ, какъ и скептикъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. И существованіе его такое-же безплодное существованіе.— И тотъ и другой могутъ повліять благотворно на встрѣтившуюся съ ними душу: одинъ силой своей мысли, другой— теплотою и нѣжностью сердца. Но плохо придется той, кто вздумаетъ предаться имъ всецѣло, кто захочетъ связать свою жизнь съ ихъ жизнью. Они и себѣ не найдутъ въ дѣйствительности ни дѣла, ни счастья, ни покоя; да разобьютъ (сами того, конечно, не желая) и чужое довѣрившееся имъ сердце.

Въ разсмотрѣнныхъ повѣстяхъ Тургеневъ нарисовалъ намъ раздвоеніе человѣческой души. Это раздвоеніе было въ немъ самомъ; оттого оно такъ и волновало его, такъ и мучило, и пугало. Мы видѣли, что въ критической статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“ поэтъ призналъ это раздвоеніе не созданіемъ человѣка, а міровымъ закономъ, закономъ горестнымъ для человѣка; онъ упомянулъ о независящей отъ насъ „трагической сторонѣ человѣческой жизни“.—О томъ-же говоритъ онъ и въ повѣсти „Фаустъ“, о „тѣхъ тайныхъ силахъ, на которыхъ построена жизнь, и которыя изрѣдка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, надъ кѣмъ они разыграются!“ Эти тайныя силы и создали раздвоеніе жизни. Къ числу ихъ, такихъ враждебныхъ человѣку силъ, Тургеневъ отнесъ, какъ это ни представляется страннымъ съ перваго раза, и любовь, по крайней мѣрѣ нѣкоторыя стихіи любви.

Глубочайшій изъ нашихъ лириковъ, Тютчевъ, написалъ однажды:

Любовь, любовь,—гласитъ преданье,—
Союзъ души съ душой родной,
Ихъ съединенье, сочетанье—
И роковое ихъ сліянье,
И поединокъ роковой.

—

И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе
Въ борьбѣ неравной двухъ сердецъ,

Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно млѣя,
Оно изноетъ наконецъ.

Еще гораздо болѣе трагическаго видѣлъ въ любви Тургеневъ:

„Любовь даже вовсе не чувство (написалъ онъ однажды), она болѣзнь, извѣстное состояніе души и тѣла; она не развивается постепенно; въ ней нельзя сомнѣваться, съ ней нельзя хитрить, хотя она проявляется не всегда одинакбво; обыкновенно она овладѣваетъ человѣкомъ безъ спроса, внезапно, противъ его воли—ни лать ни взять холера или лихорадка... Подцѣпитъ его, голубчика, какъ коршунъ цыпленка, и понесетъ его куда угодно, какъ онъ тамъ ни бейся и ни упирайся... Въ любви нѣтъ равенства, нѣтъ такъ называемаго свободнаго соединенія душъ и прочихъ идеальностей... Нѣтъ, въ любви одно лицо—рабъ, а другое—властелинъ, и не даромъ толкуютъ поэты о цѣпяхъ, налагаемыхъ любовью. Да, любовь—цѣпь, и самая тяжелая“.

На это можно возразить, что такъ говоритъ не Тургеневъ, что это мысли и слова героя „Переписки“.—Да, но у Тургенева есть цѣлый рядъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежатъ именно эти мысли. Въ чудесной повѣсти „Фаустъ“ любовь является злымъ началомъ, губящимъ человѣка; она же губитъ людей и въ лирически-вдохновенномъ разсказѣ „Первая любовь“; и еще страшнѣе ея враждебная для насъ сила въ повѣсти „Переписка“. Герой „Переписки“ внезапно влюбляется въ иностранку-танцовщицу, бросаетъ все, родину, дѣвушку, которую готовъ былъ полюбить, и ѣдетъ скитаться за предметомъ своего увлеченія, своей страсти.

„Съ той самой минуты (говоритъ онъ), какъ я увидѣлъ ее въ первый разъ, съ той роковой минуты я принадлежалъ ей весь, вотъ какъ собака принадлежитъ своему хозяину... Говоря правду, она никогда особенно... не заботилась обо мнѣ. Онъ едва замѣчала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами... Но я... я уже не могъ жить нигдѣ, гдѣ она не жила: я оторвался разомъ отъ всего, мнѣ дорогаго, отъ самой родины, и пустился вслѣдъ за этой женщиной... И я никогда не воображалъ ее необыкновенной женщиной. Я вообще ни одного мгновенья не ошибался на ея счетъ; но это ничему не помогало. Чтб-бъ я ни думалъ о ней въ ея отсутствіи,—при ней я ощущалъ одно подобострастное обожаніе... Въ нѣмецкихъ сказкахъ рыцари впадаютъ часто въ подобное оцѣпенѣніе“.

Нѣкоторыя изъ названныхъ сочиненій Тургенева имѣютъ автобіографическое значенье; по крайней мѣрѣ отно-

сительно „Первой любви“ это теперь, по напечатаніи воспоминаній Я. П. Полонскаго [1]) о великомъ поэтѣ, не подлежитъ сомнѣнію.—Да, Тургеневъ, этотъ поэтъ любви, видѣлъ въ любви чувство трагическое и страшное для человѣка. Онъ видѣлъ въ ней зло.

Но мы должны тутъ-же и оговориться: онъ видѣлъ въ ней и добро; не только темнымъ, она являлась у него порою и свѣтлымъ началомъ. Такъ, юношеская любовь героя „Первой любви“ не заключаетъ въ себѣ ничего мрачнаго и вся проникнута добромъ и свѣтомъ. Этотъ человѣкъ, вспоминая подъ-старость о своей полу-дѣтской горячей привязанности, говоритъ тепло и искренно:

„И теперь, когда уже на жизнь мою начинаютъ набѣгать вечернія тѣни, чтó у меня осталось болѣе свѣжаго, болѣе дорогаго, чѣмъ воспоминанія о той быстро пролетѣвшей, утренней, весенней грозѣ?“

Значитъ, есть любовь и любовь: великій поэтъ-аналитикъ подсмотрѣлъ въ этомъ, какъ природа старомъ, но какъ она-же вѣчно-юномъ чувствѣ двѣ враждебныхъ одна другой стихіи: любовь—добро, когда она дѣтски чиста, любовь—зло, когда она—страсть, закруживающая душу. Тургеневъ ябнѣе анализировалъ и ярче изобразилъ эту свою идею—въ позднѣйшихъ созданіяхъ: „Дымъ“ и „Вешнія воды“. Чтò обыкновенно является въ любви въ неразрывномъ соединеніи, то онъ здѣсь разложилъ въ образахъ своихъ героевъ: одна стихія любви, святая и чистая, сказалась въ отношеніяхъ Литвинова къ Танѣ, Санина къ Джеммѣ; другая, мутная, злая и трагическая—въ увеличеніи Литвинова Ириной, Санина Марьей Николаевной.

Въ этомъ раздвоеніи любви отразилось то общее міровое раздвоеніи, то противорѣчіе человѣческаго духа и внѣшней природы, которое великій поэтъ нашъ съ глубокой сердечной болью изображалъ, какъ увидимъ, въ послѣднемъ періодѣ своей творческой дѣятельности.

Въ эпоху, о которой мы теперь ведемъ бесѣду, онъ еще не дошелъ до мысли о враждебности природы человѣку. Міровое раздвоеніе представлялось ему, какъ мы знаемъ, лишь противорѣчіемъ, или разобщеніемъ въ человѣческой жизни началъ: скептическаго—съ одной стороны,

---

[1]) Въ первыхъ №№ „Нивы“ 1884 года.

романтическаго—съ другой. Онъ еще не разлагалъ чувства любви на его чуждые другъ другу, но въ жизни слитые элементы,—онъ только чуялъ своимъ великимъ поэтическимъ инстинктомъ, что есть что-то неладное, что-то трагическое въ любви.

2.

Романъ «Рудинъ».

Въ небольшихъ повѣстяхъ, начавшихъ собою второй періодъ творчества Тургенева, выразилось непримиренное еще раздвоеніе духовной жизни русскаго общества, раздвоеніе, котораго, очевидно, не чуждъ и самъ поэтъ. Но мы видѣли и по этимъ повѣстямъ, по отношеніямъ Тургенева къ героямъ ихъ, къ скептикамъ и къ романтикамъ, и по критической статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ", что въ душѣ поэта была и гармонія, что онъ и Гамлетъ и Донъ-Кихотъ вмѣстѣ: не даромъ окончилъ онъ статью вѣчными словами Апостола о могучемъ и всепримиряющемъ значеніи міровой любви. Вѣра въ идеалъ звучитъ въ этомъ окончаніи, вѣра въ человѣка.

И вотъ эта вѣра и эта душевная гармонія и проникаютъ собою, какъ великимъ внутреннимъ свѣтомъ, высшія созданія Тургенева, четыре его романа: „Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Наканунѣ" и „Отцы и дѣти". Это — алмазы въ лавровомъ вѣнкѣ великаго художника, перлы русской литературы, которые можно поставить на-ряду даже съ „Евгеніемъ Онѣгинымъ" Пушкина и съ „Мертвыми душами" Гоголя, величайшими созданіями искусства, тоже проникнутыми вѣрой и чистымъ стремленіемъ къ идеалу.

Въ своихъ великихъ романахъ Тургеневъ рисуетъ передъ нами такъ-называемыхъ „героевъ времени", представителей русскаго общества, духовныхъ вождей своей эпохи. Всѣ эти лица—не Гамлеты и не Донъ-Кихоты; они—типы высшаго порядка; начало скептическое, или умственное, и начало романтическое, или сердечное, соединяются въ нихъ

болѣе или менѣе гармонически. Правда, полной гармоніи духа поэтъ не нашелъ ни въ одномъ изъ нихъ и не однимъ изъ нихъ не удовлетворился. Правда, онъ кончилъ тѣмъ, что развѣнчалъ всѣхъ, и такимъ образомъ разбилъ свои чаянія и надежды, свои упованія. Но въ окончаніи послѣдняго изъ великихъ романовъ прозвучала передъ нами, какъ заключительный аккордъ великой симфоніи, религіозная нота.

Остановиться на этой нотѣ Тургеневъ, однако, не могъ, потому что и въ немъ, полномъ представителѣ и выразителѣ жизни русскаго общества, еще не было абсолютной гармоніи духа: онъ былъ близокъ къ идеалу и видѣлъ издали его немеркнущій свѣтъ, но не въ-силахъ былъ еще войти въ его область, какъ не вошелъ Моисей въ обѣтованную землю.—И вотъ за эпохой великаго подъема творческихъ силъ, за временемъ надеждъ безпредѣльныхъ и смѣлыхъ, мы видимъ въ его поэзіи періодъ разочарованій, сомнѣній, порой доходящихъ чуть не до отчаянія... Но объ этомъ скорбномъ вечерѣ великаго поэтическаго дня рѣчь впереди. Теперь остановимся на той его порѣ, когда тепло и свѣтло сіяло полуденное солнце, хоть и затмѣваемое порою мрачными тучами.

Въ 1855 году написанъ, а въ началѣ 1856 года напечатанъ романъ „Рудинъ". Здѣсь художническій талантъ Тургенева достигъ полнаго развитія: какъ живые стоятъ передъ нами дѣйствующія лица великаго произведенія. Замѣчательно совпаденіе историческихъ обстоятельствъ: полный разцвѣтъ генія русской литературы, появленіе въ міръ его перваго великаго созданія—совпали съ началомъ новой эпохи нашей общественной жизни, эпохи великихъ надеждъ, вѣры великой и благородныхъ стремленій. Рядъ романовъ Тургенева выходилъ въ свѣтъ параллельно съ рядомъ великихъ преобразованій прошедшаго царствованія.

Герой романа „Рудинъ"—Дмитрій Николаевичъ Рудинъ—является передъ нами человѣкомъ ума по преимуществу, философскаго міросозерцанія; но онъ скептикъ, не Гамлетъ, не „лишній человѣкъ". Тургеневъ оттѣнилъ его образъ фигурою умнаго, остраго, но злобнаго скептика Пигасова, и окружилъ его чистымъ свѣтомъ поэзіи.

Задорный отрицатель, Пигасовъ хотѣлъ сразу огорошить Рудина своимъ отрицаніемъ существованія, и даже

возможности существованія убѣжденій, общихъ законовъ, системъ. Но тотъ сейчасъ же остановилъ и поразилъ его живымъ и остроумнымъ порывомъ мысли.

— „Прекрасно! промолвилъ Рудинъ:—стало быть, по вашему, убѣжденій нѣтъ?

— Нѣтъ,—и не существуетъ.

— Это ваше убѣжденіе?

— Да.

— Какъ же вы говорите, что ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай.

Всѣ въ комнатѣ улыбнулись, и переглянулись (III, 30)

„Стремленіе къ отысканію общихъ началъ въ частныхъ явленіяхъ есть одно изъ коренныхъ свойствъ человѣческаго ума“ (32), говоритъ Рудинъ въ продолжающемся спорѣ, и

„всѣ эти нападенія на системы, на общія разсужденія и т. д. потому особенно огорчительны, что вмѣстѣ съ системами люди отрицаютъ вообще знаніе, науку и вѣру въ нее, стало быть—и вѣру въ самихъ себя, въ свои силы. А людямъ нужна эта вѣра: имъ нельзя жить одними впечатлѣніями, имъ грѣшно бояться мысли и не довѣрять ей. Скептицизмъ всегда отличался безплодностью и безсиліемъ...“ (33).

„Вѣра“, говоритъ Рудинъ,—и въ немъ, въ его увлекательныхъ рѣчахъ мы въ самомъ дѣлѣ видимъ вѣру, вѣру въ мысль и въ силу мысли,—въ характерѣ Рудина живетъ благороднѣйшая черта Донъ-Кихота,—не даромъ поэтъ выражается про своего героя, что онъ „говорилъ умно, горячо, дѣльно“ (34), и не даромъ его рѣчи такъ могущественно дѣйствовали на молодыя сердца. Больше всѣхъ были поражены его словами (по свидѣтельству автора) Басистовъ и Наталья.

„У Басистова чуть дыханье не захватило; онъ сидѣлъ все время съ раскрытымъ ртомъ и выпученными глазами—и слушалъ, слушалъ, какъ отъ-роду не слушалъ никого; а у Натальи лицо покрылось алой краской и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ и заблисталъ“ (35).

„Есть вещи, надъ которыми смѣяться и трунить грѣшно, Африканъ Семенычъ!“ (38)

съ жаромъ сказалъ Басистовъ Пигасову, когда тотъ вздумалъ-было поглумиться надъ краснорѣчіемъ Рудина.

Оба потомъ, и Наталья и Басистовъ, не спали ночь, взволнованные тѣмъ, что́ слышали.

Въ Рудинѣ нѣтъ скептицизма Гамлета Щигровскаго уѣзда; тѣмъ болѣе нѣтъ въ немъ себялюбія, эгоизма „лишняго человѣка". Онъ искренно и отъ сердца говоритъ:

„человѣкъ безъ самолюбія ничтоженъ... самолюбіе—архимедовъ рычагъ, которымъ землю съ мѣста можно сдвинуть, но... въ то же время тотъ только заслуживаетъ названіе человѣка, кто умѣетъ овладѣть своимъ самолюбіемъ, какъ всадникъ конемъ, кто свою личность приноситъ въ жертву общему благу...

„Себялюбіе, такъ заключилъ онъ,—самоубійство. Себялюбивый человѣкъ засыхаетъ словно одинокое, безплодное дерево; но самолюбіе, какъ дѣятельное стремленіе къ совершенству, есть источникъ всего великаго... Да! человѣку надо надломить упорный эгоизмъ своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать".

Рудинъ понимаетъ и любитъ поэзію, музыку, красоту природы. Онъ спросилъ Наталью—любитъ ли она стихи, и прибавилъ:

„Но не въ однихъ стихахъ поэзія: она разлита вездѣ, она вокругъ насъ... Взгляните на эти деревья, на это небо—отовсюду вѣетъ красотою и жизнью, а гдѣ красота и жизнь, тамъ и поэзія" (55).

Когда Пандалевскій заигралъ „Erlkönig" Шуберта, лице Рудина

„съ первымъ звукомъ... приняло прекрасное выраженіе. Его темно-синіе глаза медленно блуждали, изрѣдка останавливаясь на Натальѣ. Пандалевскій кончилъ.

Рудинъ ничего не сказалъ и подошелъ къ раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою надъ садомъ; дремотной свѣжестью дышали близкія деревья. Звѣзды тихо теплились. Лѣтняя ночь и нѣжилась и нѣжила. Рудинъ поглядѣлъ въ темный садъ и обернулся.

— Эта музыка и эта ночь, заговорилъ онъ,—напомнили мнѣ мое студенческое время въ Германіи: наши сходки, наши серенады... (39).

И онъ начинаетъ разсказывать, по просьбѣ Дарьи Михайловны, о Гейдельбергѣ, Берлинѣ. Разсказываетъ онъ „не совсѣмъ удачно". „Въ описаніяхъ его недоставало красокъ (говоритъ поэтъ). Онъ не умѣлъ смѣшить". Это и понятно: умъ его все-таки нѣсколько отвлеченный; онъ—человѣкъ философскаго направленія. Но за то общія разсужденія его—прекрасны. Живое эстетическое чувство, сила увлеченія придаютъ имъ красоту, даютъ побѣдную власть надъ людьми:

Онъ говорилъ мастерски, увлекательно, не совсѣмъ ясно... но самая эта неясность придавала особенную прелесть его рѣчамъ...

Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна—вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди.

„Всѣ мысли Рудина казались обращенными въ будущее; это придавало имъ чтó-то стремительное и молодое... Стоя у окна, не глядя ни на кого въ особенности, онъ говорилъ и, вдохновенный общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ, близостью молодыхъ женщинъ, красотою ночи, увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній, онъ возвысился до краснорѣчія, до поэзіи... Самый звукъ его голоса, сосредоточенный и тихій, увеличивалъ обаяніе; казалось, его устами говорило чтó-то высшее, для него самого неожиданное... Рудинъ говорилъ о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка“ (40—41).

Онъ окончилъ высоко-поэтическимъ сравненіемъ: привелъ скандинавскую легенду о птичкѣ, влетѣвшей въ шатеръ царя изъ темноты и улетѣвшей опять въ темноту.

„Точно такъ наша жизнь быстра и ничтожна (заключилъ онъ); но все великое совершается черезъ людей. Сознаніе быть орудіемъ тѣхъ высшихъ силъ должно замѣнить человѣку всѣ утѣхи радости: въ самой смерти найдетъ онъ свою жизнь, свое гнѣздо“ (41).

Эти вдохновенныя слова какъ будто намекаютъ намъ на увлеченіе Рудина гегелевской философіей. На то же намекаетъ и другое мѣсто романа:

„Я спрашиваю: гдѣ истина? (ораторствуетъ Пигасовъ). Даже философы не знаютъ, что она такое. Кантъ говоритъ: вотъ она, молъ, что; а Гегель: нѣтъ, врешь, она вотъ чтó.

— А вы знаете, чтó говоритъ о ней Гегель? спросилъ, не возвышая голоса, Рудинъ“ (стр. 37).

Во всякомъ случаѣ, Рудинъ воспитался, развился на нѣмецкой философіи, на немѣцкихъ мыслителяхъ: онъ, по выраженію поэта, „былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ“ (65).

А это все напоминаетъ намъ Бѣлинскаго, К. Аксакова и много другихъ извѣстныхъ именъ, напоминаетъ тотъ знаменитый, великую роль сыгравшій въ русской литера-

турѣ, московскій университетскій кружокъ, главою котораго былъ Станкевичъ. Въ этомъ кружкѣ со страстнымъ увлеченіемъ занимались вопросами философіи и искусства, и изъ него вышелъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ дѣятелей нашей науки и литературы.

И вотъ, Тургеневъ и представляетъ намъ своего героя вліятельнымъ членомъ подобнаго университетскаго кружка. Объ этомъ разсказываетъ въ романѣ университетскій товарищъ Рудина, Лежневъ. Лежневъ говоритъ въ минуту предъубѣжденія и даже раздраженія противъ Рудина. Но самый „кружокъ“ свѣтло возникаетъ въ его возпоминаніи, какъ прекрасное, отрадное, высокое явленіе его прошлой, юношеской жизни. „Кружокъ“ представляется здѣсь совсѣмъ не такимъ, какимъ мы видѣли его въ устахъ болѣзненно-раздраженнаго Гамлета Щигровскаго уѣзда, считавшаго его гибелью всякаго самобытнаго живаго развитія. И ужь, конечно, показаніе спокойнаго, владѣющаго собой Лежнева, человѣка здраваго, трезваго ума, для насъ должно имѣть большее значеніе, чѣмъ свидѣтельство „заѣденнаго рефлексіей“ мнительнаго русскаго Гамлета.

„Какъ вспомню я наши сходки (говорилъ Лежневъ Александрѣ Павловнѣ), ну. ей-Богу-же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго. Вы представьте, сошлись человѣкъ пять, шесть мальчиковъ, одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи,—говоримъ мы иногда вздоръ, восхищаемся пустяками; но что за бѣда!.. Покорскій...

(Покорскій—глава „кружка“; про него нѣсколько раньше Лежневъ сказалъ, что онъ былъ человѣкъ „нервическій“ и „нездоровый“, и потому иногда „чувствовалъ себя вялымъ и молчалъ“, но онъ „вдыхалъ“ во всѣхъ »огонь и силу“, и когда „расправлялъ свои крылья—Боже! куда не залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба!“), Покорскій

„сидитъ, поджавъ ноги, подпираетъ блѣдную щеку рукой; а глаза его такъ и свѣтятся. Рудинъ стоитъ посерединѣ комнаты и говоритъ, говоритъ прекрасно, ни дать ни взять молодой Демосѳенъ передъ шумящимъ моремъ; взъерошенный поэтъ Субботинъ издаетъ по временамъ, и какъ бы во снѣ, отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній буршъ, сынъ нѣмецкаго пастора, Шеллеръ, прослывшій между нами за глубочайшаго мыслителя,, по милости своего вѣчнаго ненарушимаго молча-

нія, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; самъ великій Щитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаетъ и только ухмыляется; два-три новичка слушаютъ съ торжественнымъ наслажденіемъ... А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ ужь и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятною усталостью на душѣ... Помнится, идешь по пустымъ улицамъ, весь умиленный, и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали и понятнѣе... Эхъ! славное было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало,—не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стóитъ только произнести при немъ имя Покорскаго—всѣ остатки благородства въ немъ зашевеляться, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую стклянку съ духами...“ (76—77).

Враждебный въ минуту этихъ воспоминаній къ Рудину, Лежневъ не можетъ, однако, не отдать ему справедливости (хоть и ставитъ его гораздо ниже Покорскаго): онъ говоритъ, что кружокъ ихъ состояль въ ту пору изъ мальчиковъ, которые смутно чувствовали заманчивость и красоту словъ: „фидософія“, „искусство“, „наука“, но не сознавали общей связи этихъ понятій,—Рудинъ среди нихъ горячо и дѣятельно проповѣдовалъ,—и вотъ, спущая его,

„намъ впервые показалось (сознается разсказчикъ), что мы, наконецъ, схватили ее, эту общую связь, что поднялась, наконецъ, завѣса! Положимъ, онъ говорилъ не свое—что за дѣло! но стройный порядокъ водворялся во всемъ, чтó мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, выростало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ: во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало знаніе ясное и, въ то-же время, таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали себя какъ-бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому.

Мы съ тѣхъ поръ успѣли поумнѣть... все это намъ теперь можетъ казаться дѣтствомъ... Но, я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многимъ“. (74—75).

Вотъ, значитъ, какимъ человѣкомъ рисуется передъ нами въ романѣ Рудинъ. И ясно, что самъ авторъ сильно сочувствуетъ своему герою; на-сколько это сочувствіе велико, видно, между прочимъ, изъ того, что онъ уступаетъ порой Рудину свои собственныя мысли: Рудинъ пишетъ

сочиненіе „о трагическомъ въ жизни и въ искусствѣ“; бесѣдуя объ этомъ съ Натальей, онъ говоритъ:

„я не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью. Я до сихъ поръ еще не довольно уяснилъ самому себѣ трагическое значеніе любви“ (66—67).

Мы знаемъ уже, изъ повѣстей: „Переписка“, „Фаустъ“, „Первая любовь“, что какъ разъ именно этотъ вопросъ „о трагическомъ значеніи любви“ занималъ Тургенева въ пору написанія романа о Рудинѣ; этотъ вопросъ анализируетъ поэтъ въ названныхъ повѣстяхъ.

Рудинъ видимо близокъ душѣ самого Тургенева. Но сильно ошибется, однако, тотъ, кто вздумалъ-бы отождествлять поэта и его героя. Слишкомъ высокъ былъ идеалъ Тургенева, чтобы удовлетвориться „западникомъ“, Рудинымъ, и признать его несомнѣннымъ вождемъ русской жизни; слишкомъ былъ глубокъ умъ художника и остеръ его поэтическій анализъ, чтобы не подмѣтить слабыхъ и ложныхъ сторонъ и этого типа, съ такой любовью созданнаго его фантазіей.

Высоко поднявъ Рудина въ началѣ романа, Тургеневъ начинаетъ его затѣмъ развѣнчивать, безпощадно разлагая то, что́ представлялось сначала такою цѣльной, такою безупречной красотою. Поэтъ-аналитикъ побѣждаетъ любящаго свое созданіе художника.

Орудіемъ развѣнчанія Тургеневъ избираетъ Лежнева, личность въ высшей степени симпатичную и очень умную.

Лежневъ два раза говоритъ съ Александрой Павловной о Рудинѣ: одинъ разъ разсказываетъ въ общихъ и довольно неопредѣленныхъ чертахъ его жизнь, упоминаетъ о его связяхъ за-границей съ какимъ-то „синимъ чулкомъ“, уже немолодымъ и некрасивымъ, и о томъ, что онъ къ безъ памяти любившей его матери писалъ „чрезвычайно рѣдко и посѣтилъ ее всего одинъ разъ, дней на десять... старушка и скончалась безъ него, на чужихъ рукахъ“. Другой разъ— онъ зло характеризуетъ Рудина, хоть и указывая въ немъ невольно нѣкоторыя свѣтлыя черты (мы видѣли ихъ выше), но обращая преимущественное, почти исключительное вниманіе на ложныя и слабыя его стороны: онъ находитъ что Рудинъ умный, но въ-сущности пустой человѣкъ. „дес-

потъ въ душѣ, лѣнивъ, не очень свѣдущъ", „любитъ пожить на чужой счетъ, разыгрываетъ роль", причемъ „самъ копѣйки, волоска не ставитъ на карту—а другіе ставятъ душу"; онъ „актеръ" и „кокетка", „краснорѣчіе его не русское" и въ немъ слишкомъ много „треску, блеску" и „фразъ" (69—71, 74).—Есть доля правды въ этихъ обвиненіяхъ, есть и сильная доля преувеличенія, потому что Лежневъ раздраженъ противъ Рудина и боится за вліяніе его на Александру Павловну, которую самъ любитъ. Но вотъ еще три обвиненія, которыя болѣе существенны и важны: Рудинъ, во-первыхъ, „холоденъ какъ ледъ, и знаетъ это, и прикидывается пламеннымъ" (69); во-вторыхъ, „слова Рудина такъ и остаются словами и никогда не станутъ поступкомъ" (70), и, наконецъ, въ-третьихъ, онъ себялюбивъ: въ душѣ онъ былъ (говоритъ Лежневъ) „чуть ли не робокъ, пока не задѣвалось его самолюбіе: тутъ онъ на стѣны лѣзъ (74).

Есть преувеличеніе и въ этихъ обвиненіяхъ; но факты подтверждаютъ, что въ основѣ ихъ лежитъ, однако, истина.

Наталья застаетъ Рудина въ минуту унынья; онъ говоритъ ей, что ему „пора отдохнуть", что онъ усталъ, что онъ не можетъ быть полезнымъ, потому что не находитъ „искреннихъ", „сочувствующихъ" ему душъ. Наталья удивлена этимъ; она спрашиваетъ себя: „полно, его-ли восторженныя, дышащія надеждой рѣчи она слышала наканунѣ?" Наталья съ смущеньемъ и робко замѣчаетъ ему: „отдыхать могутъ другіе; а вы... вы должны трудиться"...—И Рудинъ вдругъ какъ-будто преображается.

„Ваше одно слово (говоритъ онъ) напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу... Да, я долженъ дѣйствовать. Я не долженъ скрывать свой талантъ, если онъ у меня есть; я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, безполезную болтовню, на однѣ слова...

„И слова его (иронически замѣчаетъ поэтъ) полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно—о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости сдѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками"... (55—56).

Тургеневъ заставилъ здѣсь самого Рудина сознаться, что слова его такъ и остаются словами. И къ приведенной

восторженной рѣчи его очень подходитъ ядовитое замѣчаніе Пигасова:

„Начнетъ самого себя бранить, съ грязью себя смѣшаетъ—ну, думаешь, теперь на свѣтъ Божій глядѣть не станетъ. Какое! повеселѣетъ даже, словно горькой водкой себя попотчивалъ“ (63).

Есть въ Рудинѣ и себялюбіе: онъ знаетъ, что его рѣчи сильно дѣйствуютъ на молодыхъ людей; но онъ больше любуется своими словами, чѣмъ обращаетъ вниманія на открывающіяся ему и стремящіяся къ нему сердца. Какъ-то разъ онъ провелъ съ Басистовымъ цѣлое утро (разсказываетъ поэтъ),

„толковалъ съ нимъ о самыхъ важныхъ міровыхъ вопросахъ и задачахъ и возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ; но потомъ онъ его бросилъ... Видно, онъ только на словахъ искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ“ (63—64).

Почти такъ было и съ Натальей, хотя на нее онъ обращалъ больше вниманія: „ни съ кѣмъ такъ часто и такъ долго не бесѣдовалъ, какъ съ ней“, давалъ ей книги, „повѣрялъ ей свои планы, читалъ ей первыя страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій“.

„Смыслъ ихъ часто оставался недоступнымъ для Натальи. Впрочемъ (замѣчаетъ Тургеневъ), Рудинъ, казалось, и не заботился о томъ, чтобы она его понимала—лишь бы слушала его“ (64).

Когда Рудинъ уѣзжалъ изъ дома Ласунскихъ, Басистовъ „вызвался проводить его до первой станціи“. Рудинъ на дорогѣ сталъ сравнивать себя съ Донъ-Кихотомъ, приводя слова послѣдняго: „свобода, другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ достояній человѣка“ и т. д.

„Что Донъ-Кихотъ чувствовалъ тогда (говорилъ Рудинъ), я чувствую теперь... Дай Богъ и вамъ, добрый мой Басистовъ, испытать когда-нибудь это чувство“.

Басистовъ былъ растроганъ и сердце сильно забилось въ его груди. А Рудинъ сталъ говорить о достоинствѣ человѣка, о значеніи истинной свободы...

„Когда наступило мгновеніе разлуки, Басистовъ не выдержалъ, бросился ему на шею и зарыдалъ. У самого Рудина полились слезы; но онъ плакалъ не о томъ, что разставался съ Басистовымъ, и слезы его были самолюбивыя слезы“ (122).

Но нигдѣ, ни въ чемъ не оказался Рудинъ такъ несостоятельнымъ, какъ въ исторіи любви его къ Натальѣ. Здѣсь обнаружились и его душевный холодъ, о которомъ говорилъ Лежневъ, и недостатокъ въ немъ характера, воли, его робость, обнаружилось, что въ немъ умъ слишкомъ преобладалъ надъ другими душевными силами. Здѣсь подтвердились на дѣлѣ два злыхъ замѣчанія Пигасова, выразившагося про Рудина, что его „какъ китайскаго болванчика, постоянно перевѣшивала голова" (103) и что онъ „куцъ". Послѣднее замѣчаніе было сдѣлано, когда Рудинъ оробѣлъ передъ Волынцевымъ, сказавшимъ про него громогласно, при всѣхъ, что „нѣтъ хуже деспотизма такъ-называемыхъ умныхъ людей,—чортъ бы ихъ побралъ!" Рудинъ посмотрѣлъ-было на Волынцева,

„но не выдержалъ его взора, отворотился, улыбнулся и рта не разинулъ" (90).

Рудинъ полюбилъ Наталью и намекнулъ ей о своемъ чувствѣ удивительно поэтическимъ сравненіемъ: „Замѣтили-ли вы", сказалъ онъ,

„что на дубѣ—а дубъ крѣпкое дерево—старые листья только тогда отпадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться... Точно то-же случается и съ старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить" (68).

Но вслѣдъ за этимъ полупризнаніемъ Рудинъ сдѣлалъ и признаніе другаго рода:

„любовь—не для меня (сказалъ онъ); я... ея не стою; женщина, которая любитъ, вправѣ требовать всего человѣка, а я ужь весь отдаться не могу" (85).

И онъ былъ очень близокъ къ истинѣ въ этихъ словахъ: онъ забылся потомъ и увлекся („никто такъ легко не увлекается, какъ безстрастные люди" (104), замѣчаетъ поэтъ); но сомнѣнія не покидали его, и, когда дѣло дошло до необходимости рѣшительныхъ дѣйствій, онъ унизительно растерялся. Онъ увѣрялъ и Наталью, и себя, что любитъ и что счастливъ ея отвѣтной любовью; онъ, отвлеченный человѣкъ, нашелъ даже нужнымъ поѣхать къ Волынцеву и объявить ему обо всемъ этомъ, причемъ говорилъ не только отъ своего лица, а также и отъ лица неподозрѣ-

вавшей подобнаго объясненія Натальи, чѣмъ вызвалъ и недоумѣніе, и справедливый гнѣвъ Волынцева; онъ пошелъ на свиданіе съ Натальей;—но червь сомнѣнія все шевелился въ его душѣ—и подтачивалъ и его чувство, и его волю. Когда онъ ожидалъ увлекшуюся имъ дѣвушку на условленномъ мѣстѣ свиданья, онъ „втайне смущался духомъ", потому что

„не въ состояніи былъ сказать навѣрное, любитъ-ли онъ Наталью, страдаетъ-ли онъ, будетъ-ли страдать, разставшись съ нею" (103).

А когда Наталья объявила ему, что Пандалевскій открылъ Дарьѣ Михайловнѣ тайну ихъ любви, что Дарья Михайловна не будетъ согласна на ихъ бракъ,—Рудинъ окончательно смутился. Онъ не видитъ твердой рѣшимости Натальи; онъ задаетъ ей неумѣстный вопросъ,—что она отвѣтила матери? и на ея слова: „что вы теперь намѣрены дѣлать?"—разливается въ пустыхъ и безплодныхъ жалобахъ:

„За что мы такъ несчастны! Гнусный этотъ Пандалевскій!.. У меня голова кругомъ идетъ—я ничего сообразить не могу"...

онъ даже оскорбляетъ Наталью замѣчаніемъ:

„удивляюсь, какъ вы можете сохранять хладнокровіе!".. (105).

Наталья поражена его безволіемъ. А онъ самолюбиво обижается тѣмъ, что Дарья Михайловна убѣждена въ его нежеланіи жениться „стало быть, она считаетъ меня за обманщика! (восклицаетъ онъ). Чѣмъ я заслужилъ это?" (106). Онъ, наконецъ, малодушно совѣтуетъ Натальѣ: „покориться судьбѣ" (107).

Повязка спадаетъ съ глазъ энергической, всею душой полюбившей было дѣвушки: она разомъ разочаровывается въ Рудинѣ, понимаетъ, что для нея не можетъ быть счастья съ нимъ, что онъ ее въ-сущности и не любитъ.

„Я не о томъ плачу, о чемъ вы думаете... (говоритъ она). Мнѣ не то больно: мнѣ больно то, что я въ васъ обманулась... Покориться! Такъ вотъ какъ вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвахъ... Вѣрно отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго дня за обѣдомъ передъ Волынцевымъ" (107—108).

Послѣднія слова оскорбляютъ самолюбіе Рудина: онъ начинаетъ оправдываться, увѣрять Наталью, что любитъ

ее, что именно поэтому не дерзаетъ на рѣшительный шагъ...

Она окончательно убѣждается, что все кончено между ними, и уходитъ съ затаеннымъ отчаяньемъ въ сердцѣ; а онъ кричитъ ей въ-слѣдъ „Вы трусите, а не я!“ Въ этихъ словахъ слышится уже что̀-то безсердечно-холодное и себялюбивое.

По уходѣ Натальи онъ, однако, сейчасъ-же начинаетъ сознавать, что она была права:

„Она права (говоритъ онъ самому себѣ), она стóитъ не такой любви, какую я къ ней чувствовалъ... Чувствовалъ?.. Развѣ я уже больше не чувствую любви? Такъ вотъ какъ это все должно было кончиться! Какъ я былъ жалокъ и ничтоженъ передъ ней!“ (110—111).

Передъ отъѣздомъ онъ пишетъ Натальѣ письмо. Письмо это замѣчательно въ двухъ отношеніяхъ: съ одной стороны оно свидѣтельствуетъ о перевѣсѣ въ Рудинѣ ума надъ сердцемъ, объ его эгоизмѣ, о томъ, что онъ не любитъ Наталью: письмо не вылилось свободно изъ сердца,—Рудинъ холодно обдумывалъ его, перечеркивалъ, слогъ исправлялъ, переписывалъ; онъ даетъ тамъ Натальѣ неумѣстные совѣты; онъ оканчиваетъ самолюбивымъ замѣчаніемъ о себѣ:

„А впрочемъ, все это, можетъ быть, къ лучшему. Изъ этого испытанія я, можетъ быть, выйду чище и сильнѣй“ (125).

Но съ другой стороны, письмо заключаетъ въ себѣ и такого рода мысли: я узналъ, наконецъ, истину (говоритъ Рудинъ), да слишкомъ поздно.

„Наши жизни могли-бы слиться—и не сольются никогда. Какъ доказать вамъ, что я могъ-бы полюбить васъ настоящей любовью—любовью сердца, не воображенія—когда я самъ не знаю, способенъ-ли я на такую любовь... Природа мнѣ много дала; но я умру не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ; я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ. Мнѣ недостаетъ... я самъ не могу сказать, чего именно недостаетъ мнѣ... Мнѣ недостаетъ, вѣроятно, того, безъ чего такъже нельзя двигать сердцами людей, какъ и овладѣть женскимъ сердцемъ; а господство надъ одними умами и непрочно, и безполезно. Странная, почти комическая моя судьба: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ—и не могу отдаться. Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду...“ (123—124).

Эти прекрасныя слова—признаніе Рудинымъ своей несостоятельности. Но они свидѣтельствуютъ намъ въ то-же

время и о великомъ умѣ написавшаго ихъ, и о силѣ его самосознанія, и объ его способности понять свои недостатки и осудить ихъ, осудить по совѣсти, честно, строго и безпощадно. Здѣсь, въ этихъ словахъ, видна и возможность нашего примиренія съ Рудинымъ.

Замѣчательно, что съ этого пункта романа начинается опять перемѣна въ отношеніяхъ поэта къ своему герою. Развѣнчавши его, Тургеневъ начинаетъ вновь поднимать его личность въ глазахъ читателя. И опять орудіемъ такого возвышенія поэтъ избираетъ Лежнева.

Пигасовъ въ гостяхъ у Лежневыхъ осуждаетъ и бранитъ Рудина: онъ, по словамъ стараго скептика и циника, „лизоблюдъ, живущій на чужой счетъ, ловко умѣющій находить людей, которые даютъ ему деньги взаймы“;

„онъ кончитъ тѣмъ, что умретъ гдѣ-нибудь въ Царевококшайскѣ или Чухломѣ—на рукахъ престарѣлой дѣвы въ парикѣ, которая будетъ думать о немъ, какъ о геніальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ“ (стр. 135).

Пигасовъ разсказываетъ комическій анекдотъ о любви Рудина къ француженкѣ-модисткѣ, считавшей его за „астронома“, любви, до необходимости которой онъ, „постоянно развиваясь“, дошелъ путемъ философскихъ умозаключеній, и т. д.

Басистовъ съ негодованіемъ слушаетъ эти рѣчи; а Лежневъ начинаетъ горячо заступаться за своего былаго товарища. „Недостатки его мнѣ хорошо извѣстны“ (говоритъ онъ), и „они тѣмъ болѣе выступаютъ наружу, что самъ онъ не мелкій человѣкъ“; но не въ этомъ дѣло.

„Я хочу говорить (продолжаетъ Михайло Михайловичъ) о томъ, что въ немъ есть хорошаго, рѣдкаго. Въ немъ есть энтузіазмъ; а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы, мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ! Пора!.. ...Холодность у него въ крови—это ни его вина—а не въ головѣ. Онъ не актеръ, и не надувало... онъ живетъ на чужой счетъ не какъ проныра, а какъ ребенокъ... Да, онъ, дѣйствительно, умретъ гдѣ-нибудь въ нищетѣ и бѣдности; но неужели-жь и за это пускать въ него камнемъ?“ И „кто въ-правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы? что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣніи исполнять собственные замыслы? Да я самъ, я первый все это испыталъ на себѣ... Несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точ-

но большое несчастіе... Но опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то ужь винить его не станемъ. Насъ бы очень далеко завело, если-бы мы хотѣли разобрать, отчего у насъ являются Рудины. А за то, что въ немъ есть хорошаго, будемъ же ему благодарны... Наказывать его не наше дѣло, да и не нужно: онъ самъ себя наказалъ гораздо жесточе, чѣмъ заслуживалъ... И дай Богъ, чтобы несчастье вытравило изъ него все дурное и оставило въ немъ одно прекрасное!" (139—139).

Басистовъ въ восторгѣ отъ словъ Лежнева:

„клянусь вамъ (говоритъ онъ), этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!" (139).

Горячій откликъ Басистова на слова Лежнева — лучшее доказательство справедливости этихъ словъ. Въ одномъ только можно не согласиться съ Михайло Михайлычемъ: будто холодность Рудина—„у него въ крови", въ природѣ, а не произошла отъ перевѣса ума надъ другими душевными силами: здѣсь Лежневъ впадаетъ самъ въ преувеличеніе, нѣсколько идеализируетъ Рудина.

Вслѣдъ за этою сценою, какъ дополненіе ея, поэтъ изображаетъ и намъ самого Рудина, ѣдущаго въ одной изъ отдаленныхъ губерній Россіи въ „плохенькой рогожной кибиткѣ", съ „тощимъ" чемоданомъ, въ „старомъ" плащѣ; и „платье на немъ было изношенное и старое". Въ волосахъ его кое-гдѣ блистали „серебряныя нити",

„и глаза, все еще прекрасные, какъ-будто потускнѣли; мелкія морщины, слѣды горькихъ и тревожныхъ чувствъ, легли около губъ, на щекахъ, на вискахъ" (143).

„Было что-то безпомощное и грустно-покорное въ его нагнутой фигурѣ".

Мы видимъ, такимъ образомъ, что Рудинъ смирился, что онъ усталъ, что онъ разбитъ жизнью. И эта бѣдность его, и это смиреніе вызываютъ невольно нашу симпатію къ былому борцу.

Смиреннымъ и кроткимъ является Рудинъ и въ великолѣпномъ „эпилогѣ" романа, гдѣ поэтъ сводитъ его съ Лежневымъ, и гдѣ прежніе друзья, а потомъ враги, не только мирятся, но опять становятся друзьями...

Они встрѣтились въ гостинницѣ, и Лежневъ предлагаетъ Рудину пообѣдать съ нимъ „по-старинному, по-товарищески" (146), предлагаетъ вновь сойтись на „ты". Растроганный Ру-

динъ разсказываетъ ему послѣдніе годы своей жизни, рядъ своихъ увлеченій и неудачъ. Все это тоже располагаетъ насъ въ пользу Рудина: показываетъ намъ въ немъ благороднаго энтузіаста и идеалиста.

Мы видѣли уже изъ письма Рудина къ Натальѣ, что онъ усомнился въ себѣ,—и съ этихъ поръ онъ сталъ смиряться. Онъ сталъ часто ставить себѣ вопросъ: неужели я ни на что́ не былъ годенъ неужели, для меня такъ-таки нѣтъ дѣла на землѣ?" (157). И вотъ онъ задумалъ „примѣняться къ обстоятельствамъ", довольствоваться „малымъ", стремиться хоть къ „близкой цѣли", принести „хоть ничтожную пользу".—Онъ разсказываетъ три случая, три своихъ попытки дѣло дѣлать: одинъ разъ онъ пристроился къ богатому и глупому, ухаживавшему, за наукой, помѣщику, надѣясь черезъ него много совершить добра, принести „пользы существенной"; но ограниченный баринъ возревновалъ, сталъ отмѣнять или искажать его распоряженія и нововведенія,—и они разстались:—другой разъ онъ сошелся съ такимъ-же бѣднякомъ и мечтателемъ, какъ самъ, и они задумали „одну рѣку въ К—ой губерніи превратить въ судоходную"; шесть мѣсяцевъ прожили они въ землянкахъ, питаясь однимъ хлѣбомъ, Рудинъ „послѣдній грошъ свой добилъ на этомъ проектѣ",—и дѣло затѣмъ лопнуло;—третій замыселъ былъ повидимому болѣе осуществимъ: Рудинъ взялъ мѣсто учителя словесности въ гимназіи; онъ увлекъ мальчиковъ своимъ краснорѣчіемъ, его полюбили, хотя понимали его лишь очень немногіе; онъ задумалъ въ гимназіи рядъ „коренныхъ преобрзаованій"; но нашлись враги его замысловъ, сбили его, воспользовавшись его нетвердымъ знаніемъ фактовъ, повели интригу; онъ погорячился,—и результатомъ была высылка на жительство въ деревню.—Это, повидимому, совсѣмъ добило Рудина, и вотъ при встрѣчѣ съ нимъ Лежневъ замѣчаетъ, что

„во всемъ существѣ его, въ движеніяхъ, то замедленныхъ, то безсвязно порывистыхъ, въ похолодѣвшей, какъ-бы разбитой рѣчи высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь" (стр. 147).

Рудинъ въ себя пересталъ вѣрить.

„Строить я никогда ничего не умѣлъ (говоритъ онъ); да и мудрено, братъ, строить, когда и почвы-то подъ ногами нѣту" (148).

Что мѣшаетъ мнѣ жить и дѣйствовать какъ другіе? (спрашиваетъ

онъ далѣе)... Я только объ этомъ теперь и мечтаю. Но едва успѣю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и сопретъ меня съ нея долой... Я сталъ бояться ея—моей судьбы...“ (157).

„Фраза, точно, меня сгубила (заключаетъ онъ), она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться“ (158).

Но, разочаровавшись въ себѣ, Рудинъ не потерялъ чувства своего достоинства, не дошелъ до самоуничиженія Гамлета Щигровскаго уѣзда.

„Какъ я ни старался себя унизить въ собственныхъ глазахъ (замѣчаетъ онъ), не могъ же я не чувствовать въ себѣ присутствія силъ, не всѣмъ людямъ данныхъ! Отчего-же эти силы остаются безплодными?“ (157).

Не „фраза“ то, что я сказалъ тебѣ, говоритъ онъ Лежневу:

„Не фраза, братъ эти бѣлые волосы, эти морщины, эти прорванные локти,— не фраза. Ты всегда былъ строгъ ко мнѣ, и ты былъ справедливъ; но не до строгости теперь, когда уже все конечно, и масла въ лампадѣ нѣтъ, и сама лампада разбита, и вотъ, вотъ сейчасъ докурится фитиль... Смерть, братъ, должна примирить наконецъ...“ (158).

Рудинъ смирился—и смиреніемъ очистился отъ того зла, что̀ было въ немъ, отъ себялюбія, отъ фразерства. Въ отвѣтъ на него самообвиненія Лежневъ начинаетъ горячо защищать его отъ него самаго, и высоко поднимаетъ его передъ нами, возстановляетъ его нравственную доблесть.

Ты хочешь знать, что я думаю о тебѣ? (говоритъ онъ Рудину). Изволь! я думаю: вотъ человѣкъ... съ его способностями, чего бы не могъ онъ достигнуть, какими земными выгодами не обладалъ бы теперь, если-бъ захотѣлъ!.. а я его встрѣчаю голоднымъ, безъ пристанища... ...Съ какими-бы помыслами (ты) ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ недобрую почву, какъ она жирна ни была...

...ты не можешь остановиться не оттого, что въ тебѣ червь живетъ какъ ты мнѣ сказалъ сначала... Не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства.—огонь любви къ истинѣ въ тебѣ говоритъ, и, видно, не смотря на всѣ твои дрязги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ. Да я первый на твоемъ мѣстѣ давно. бы заставилъ замолчать въ себѣ этого червя и примирился бы со всѣмъ, а въ тебѣ даже желчи не прибавилось, и ты, я увѣренъ, сегодня же, сейчасъ, готовъ опять приняться за новую работу, какъ юноша“ (159).

Лежневъ предлагаетъ Рудину пріютъ у себя, гнѣздо,

гдѣ онъ можетъ укрыться. „Пріюта я не стою (возражаетъ Рудинъ). Испортилъ я свою жизнь и не служилъ мысли, какъ слѣдуетъ“.—„Ты назвалъ себя Вѣчнымъ Жидомъ... А почему ты знаешь“ (замѣчаетъ ему на это возраженіе Лежневъ),—

„почему ты знаешь, можетъ быть, ты исполняешь этимъ высшее для тебя самого неизвѣстное назначеніе: народная мудрость гласитъ не даромъ, что всѣ мы подъ Богомъ ходимъ“ (161).

Вполнѣ сочувственную характеристику Рудина, сдѣланную Лежневымъ, поэтъ заканчиваетъ выраженіемъ и своего сочувствія: Рудинъ прощается съ Лежневымъ и уѣзжаетъ въ долгую, ненастную, осеннюю ночь,—

„хорошо тому (говоритъ Тургеневъ), кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ... И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!“ (161).

Мы прослѣдили процессъ великаго анализа, которому подвергъ Тургеневъ созданный его фантазіей образъ „героя времени“. Къ какому же результату привелъ этотъ анализъ? какое заключеніе мы можемъ сдѣлать теперь о Рудинѣ?

Рудинъ человѣкъ ума по—преимуществу, философской мысли,—и потому Гамлетъ. Но онъ въ то-же время и Донъ-Кихотъ, ибо онъ благородный мечтатель, энтузіастъ и идеалистъ. А звеномъ, связующимъ въ его личности два противоположныхъ начала человѣческой жизни, служитъ его сердце: умъ его не холодный умъ,—„огонь любви къ истинѣ“ горитъ въ его душѣ.

Этого мало: мы видимъ и присутствіе въ немъ народнаго начала; не даромъ поэтъ сблизилъ его дружески съ человѣкомъ почвы—Лежневымъ и выразился. что когда они чокнулись въ знакъ сближенія и рѣшили спѣть по-старинному студенческую пѣсню, они пропѣли ее „прямо русскими голосами“. (160). Рудинъ—русскій въ душѣ, несомнѣнный и истинный русскій; объ этомъ свидѣтельствуетъ—и безпощадная послѣдовательность его увлеченія философскимъ началомъ, началомъ обобщенія, послѣдовательность доходящая до крайнихъ граней,—и смиреніе, къ которому пришелъ онъ отъ своихъ гордыхъ надеждъ и мечтаній,

смиреніе, и самообвиненіе—и признаніе своей несостоятельности: такъ доходить до конца и такъ себя казнить и судить, безпощадно и въ то же время искренно, безъ всякой рисовки, можетъ только широкая русская душа.

Остается еще одинъ вопросъ: что-же послѣ всего этого Рудинъ? призналъ его поэтъ истиннымъ героемъ? удовлетворился имъ? сказалъ своимъ романомъ и его эпилогомъ, что таковы и должны быть русскіе люди, наши общественные дѣятели?—Нѣтъ, и конечно нѣтъ. Эпилогъ романа возстановилъ Рудина нравственно (да и то благодаря, главнымъ образомъ, пробужденію въ немъ самосознанія и смиренія), примирилъ насъ съ нимъ какъ съ человѣкомъ, заставилъ даже полюбить его;—но сдѣлать невозможное было нельзя: нельзя было возстановить то, чего не существуетъ въ дѣйствительности. Въ Рудинѣ обнаруженъ былъ недостатокъ воли (обусловленный перевѣсомъ въ немъ головы надъ сердцемъ), обнаружена неспособность быть дѣятелемъ. И поэтъ не призналъ его вождемъ русской жизни. Рудинъ можетъ благотворно вліять на молодыхъ людей своимъ вдохновеннымъ словомъ, изъ его школы могутъ выйдти будущіе дѣятели; но самъ онъ никого и никуда вести не можетъ: онъ не дѣятель, не вождь.

И это какъ нельзя лучше обнаружилось въ его смерти, оканчивающей романъ, смерти, свидѣтельствующей о его несостоятельности, подтверждающей и слова Лежнева о немъ, что онъ Россіи не знаетъ, и его собственный приговоръ надъ собою: „Я кончу тѣмъ, писалъ Рудинъ Натальѣ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду“ (124). Такъ и случилось: Рудинъ убитъ 26 іюня 1848 г. въ Парижѣ на баррикадѣ, съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ, чуждый тѣмъ, кого онъ сзывалъ этимъ знаменемъ. Убѣгавшіе инсургенты сочли его за „поляка“, искателя приключеній.

Остановимся нѣсколько на лицахъ, окружающихъ Рудина.

Мы видѣли уже скептицизмъ, злое остроуміе и безсердечность въ отношеніяхъ къ Рудину Пигасова, личности, имѣющей въ романѣ назначеніе оттѣнить собою благородный характеръ героя. Пигасовъ очерченъ превосходно, и, какъ художникъ; Тургеневъ справедливъ въ отношеніяхъ

своихъ къ нему. Пигасовъ не обладаетъ большимъ умомъ, не отличается способностями; но онъ учился, онъ думалъ,— и нѣкоторый блескъ его ума невольно вызываетъ нашу симпатію. Женщины излюбленный предметъ его нападеній и насмѣшекъ; само собою разумѣется, что здѣсь нельзя съ нимъ соглашаться, но нельзя отвергать, что есть остроуміе въ его выходкахъ о нихъ.

Пигасовъ озлобленъ на всѣхъ и все, отчасти потому, что ему пришлось потерпѣть много неудачъ въ жизни, отчасти изъ самолюбія, эгоизма. Скептикъ умомъ, онъ сухъ и холоденъ сердцемъ.

Тургеневъ безпощаденъ въ развѣнчиваніи Пигасова: когда послѣдній дерзко назвалъ Рудина „лизоблюдомъ", негодующій Лежневъ сказалъ про него самого, что онъ „льнетъ къ знатнымъ и богатымъ", а когда служилъ, такъ бралъ взятки.—Ненавистникъ и преслѣдователь женщинъ, Пигасовъ кончаетъ тѣмъ, что женится „на мѣщанкѣ, которая, говорятъ, его бьетъ" (стр. 156).

Лежневъ въ романѣ—тоже противоположность Рудину; но противоположность другаго рода. Рудинъ—западникъ, отвлеченный мыслитель и идеалистъ-романтикъ. Лежневъ—человѣкъ почвы, человѣкъ народа, практическій дѣятель.— Онъ нѣсколько флегматиченъ и вялъ, нѣсколько неподвиженъ и лѣнивъ.

„Вамъ все огня нужно; а огонь никуда не годится (говоритъ онъ Александрѣ Павловнѣ). Вспыхнетъ, надымитъ и погаснетъ" (5).

Но мы видѣли его здравый, свѣтлый умъ, его добродушіе въ отношеніяхъ къ Рудину, его смиренную готовность поставить себя ниже своего былаго друга, потомъ врага, и, наконецъ, опять друга. Онъ спокоенъ, и простъ, и совершенно чуждъ „фразы"; онъ чутокъ на правду и искренность, знаетъ людей, онъ, напримѣръ, нисколько не ошибается насчетъ Дарьи Михайловны, которую вполнѣ понимаетъ, считая пустой и себялюбивой, между тѣмъ какъ Рудинъ готовъ признать ее необыкновенной и замѣчательной женщиной, отнюдь не догадываясь, что ея мелочныя претензіи совершенно не оправдываются на дѣлѣ.

Лежневъ любитъ родину и сознательно понимаетъ значеніе для человѣка родной его земли.

„Россія (говоритъ онъ) безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитизмъ—нуль, хуже нуля; внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лице возможно безъ физіономіи“ (стр. 138).

Въ этихъ словахъ слышатся славянофильскія воззрѣнія. Порой Лежневъ высказываетъ и такого рода мысли, что, пожалуй, можно принять его за человѣка наивно-непосредственнаго, за представителя въ романѣ начала исключительнаго націонализма, чуждающагося всего иноземнаго. Такъ, онъ говоритъ про философію, что не больно ее жалуетъ и плохо понимаетъ:

„Философскія хитросплетенія и бредни (выражается онъ) никогда не привьются къ русскому: на это у него слишкомъ много здраваго смысла“ (138).

Но Лежневъ не даромъ учился въ университетѣ,—и онъ оказывается затронутымъ рефлексіей. Онъ увлекался нѣкогда Рудинымъ и его философскимъ краснорѣчіемъ; онъ говоритъ про Рудина, что тотъ сильно вліялъ на него, и даже возбудилъ въ немъ, и только въ немъ одномъ, любовь къ себѣ. Лежневъ увлекался жизнью университетскаго кружка. Мы видимъ въ немъ даже романтизмъ, и притомъ въ довольно яркихъ формахъ. Когда онъ сказалъ Александрѣ Павловнѣ, что въ юности однажды влюбился, а та поглядѣла на него съ нѣкоторымъ изумленіемъ, онъ прибавилъ:

„Я бы могъ сказать вамъ о себѣ вещь гораздо болѣе удивительную.

— Какую это вещь? позвольте узнать.

А хоть-бы вотъ какую вещь. Я въ то, московское-то время, хаживалъ по ночамъ на свиданіе... съ кѣмъ-бы вы думали? съ молодой липой на концѣ моего сада. Обниму ея тонкій и стройный стволъ, и мнѣ кажется, что я обнимаю всю природу, а сердце расширяется и млѣетъ такъ, какъ будто, дѣйствительно, вся природа въ него вливается... Вотъ-съ я былъ какой!.. Да что? Вы, можетъ, думаете, я стиховъ не писалъ? Писалъ-съ, и даже цѣлую драму сочинилъ въ подражаніе Манфреду. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ былъ призракъ съ кровью на груди, и не своей кровью, замѣтьте, а съ кровью человѣчества вообще... Да-съ, да-съ, не извольте удивляться“... (78).

Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ человѣкѣ народа,

Лежневѣ, живутъ и западно-европейскія начала. Оттого онъ и могъ въ романѣ понять и оцѣнить по-достоинству Рудина, могъ предложить ему и дружбу свою, и пріютъ у себя; могъ признать Рудина, непрактическаго, отвлеченнаго Рудина, полезнымъ человѣкомъ. Лежневъ, какъ и герой романа, есть правдивое отраженіе многосторонней и сложной жизни русскаго общества.

Тургеневъ видимо сочувствуетъ Лежневу,—не даромъ придаетъ онъ ему значеніе хора въ произведеніи, и его устами и осуждаетъ, и оправдываетъ главнаго героя.— Можно даже догадаться, что послѣ развѣнчанія Рудина и признанія его несостоятельности, вниманіе художнической фантазіи Тургенева остановится въ будущемъ именно на типѣ, представителемъ котораго служитъ Лежневъ, на типѣ человѣка народа, почвы, но который искусился, однако, въ мудрости западно-европейской культуры съ ея развитіемъ личнаго начала.

Важное значеніе имѣетъ и въ романѣ, и въ жизни Рудина молодая дѣвушка—Наталья Ласунская. Какъ многія женщины у Тургенева, въ противоположность мужчинамъ, она—душа цѣльная, нераздвоенная, и потому сильная; она не знаетъ шатости и колебаній, и чувство ея готово быть согласнымъ съ дѣломъ. Индивидуальныя черты Натальи— энергія характера и рѣшительность, замкнутость, и сила чувства.

„Она говорила мало, слушала и глядѣла внимательно, почти пристально (характеризуетъ ее авторъ),—точно она себѣ во всемъ хотѣла дать отчетъ. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумивалась; на лицѣ ея выражалась тогда внутренняя работа мыслей... Едва замѣтная улыбка появится вдругъ на губахъ и скроется; большіе темные глаза тихо подымутся... Qu'avez vous? спроситъ ее m-lle Boncourt и начнетъ бранить ее, говоря, что молодой дѣвицѣ неприлично задумываться и принимать разсѣянный видъ. Но Наталья не была разсѣянна: напротивъ, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно; она и въ дѣтствѣ рѣдко плакала, а теперь даже вздыхала рѣдко и только блѣднѣла слегка, когда чтó-нибудь ее огорчало“ (52—53).

Душа впечатлительная и живая, Наталья увлекалась словами Рудина. Не какъ дѣвочка болтала она съ нимъ (чѣмъ успокоивала себя Дарья Михайловна), нѣтъ:

„она жадно внимала его рѣчамъ, она старалась вникнуть въ ихъ значеніе, она повергала на судъ его свои мысли, свои сомнѣнія: онъ былъ ея наставникомъ, ея вождемъ“.

Изъ его устъ, со страницъ читанныхъ имъ книгъ—

„свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо всплывала и разгоралась святая искра восторга... (65).

Пока одна голова у ней кипѣла (говоритъ поэтъ)... но молодая голова недолго кипитъ одна“,—

Наталья полюбила Рудина. Полюбила она искренно, серьезно, твердо; она, вѣря въ него, всю душу хотѣла отдать ему. И велико и больно было ея разочарованіе, когда она поняла малодушіе Рудина, шаткость и раздвоенность его души и его сердца. „Знаете ли (сказала она ему, когда услышала его совѣтъ—„покориться“),

„знаете-ли, если-бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: „ я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“,—знаете-ли, что я бы пошла за вами, знаете-ли, что я на все рѣшилась? Но вѣрно отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили“... (108).

...я до сихъ поръ вамъ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила Впередъ, пожалуйста, взвѣшивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ. Когда я вамъ сказала, что я люблю васъ, я знала, что значитъ это слово: я на все была готова... Теперь мнѣ остается благодарить васъ за урокъ и проститься“ (109).

Удивительно поэтическими чертами изображаетъ Тургеневъ горе Натальи, когда она получила и прочла письмо Рудина, письмо, которое вполнѣ убѣдило ее, что Рудинъ ее не любитъ:

„Она сидѣла не шевелясь; ей казалось, что какія-то темныя волны безъ плеска сомкнулись надъ ея головой, и она шла ко дну, застывая и нѣмѣя. Всякому тяжело первое разочарованіе; но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслія и преувеличенія, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое дѣтство, когда, бывало, гуляя вечеромъ, она всегда старалась идти по направленію къ свѣтлому краю неба, тамъ, гдѣ заря горѣла, а не къ темному. Темна стояла теперь жизнь передъ нею, и спиной она обратилась къ свѣту“ (126).

На этомъ Тургеневъ и покидаетъ Наталью. Мы узнаемъ лишь потомъ отъ Басистова, что она выходитъ замужъ за Волынцева, что она спокойна, какъ всегда, и, кажется, до-

вольна своимъ бракомъ. Можно пожалѣть, что поэтъ оставилъ это дѣло неразъясненнымъ: что̀ было въ сердцѣ Натальи, когда она отдавала свою руку Волынцеву,—отчаянье, или равнодушіе, или надежды на счастье,—осталось тайной.— Но трудно сочувствовать этому браку: Волынцевъ не только слабѣе Натальи и умомъ, и волею; онъ не только „скорбенъ главою", по опредѣленію Апол. Григорьева, но онъ и какъ-то суровъ и жестокъ сердцемъ, какъ и прилично ограниченному и практическому человѣку. Даже въ сценѣ объясненія съ Рудинымъ, когда онъ явно правъ, а Рудинъ, пріѣхавшій сообщать ему о своей счастливой любви, смѣшонъ и жалокъ, даже въ этой сценѣ онъ не симпатію къ себѣ возбуждаетъ въ насъ, а невольно насъ отталкиваетъ, когда сердится на Рудина, и негодуетъ, и руки ему не хочетъ подать.

Душа чистая, строгая, и сильная своей цѣльностью и нераздвоенностью, Наталья оказала огромное вліяніе на Рудина, вліяніе, о которомъ она сама не подозрѣвала и не думала. Не сознавалъ этого вліянія, кажется, и Рудинъ. А между тѣмъ оно несомнѣнно.

Съ минуты встрѣчи своей съ Натальей Рудинъ, потрясенный безсознательнымъ, истинктивнымъ сравненіемъ ея энергіи и вѣры съ своимъ малодушіемъ и сомнѣніемъ, сталъ задумываться надъ своими вдохновенными рѣчами, сталъ сомнѣваться въ своей состоятельности. Первые проблески такого сомнѣнія мы видѣли въ его письмѣ къ Натальѣ. Потомъ, мы знаемъ, дѣло дошло до самоосужденія, до смиренія. Рудинъ нравственно возвысился и очистился этимъ покаяннымъ смиреніемъ: Натальѣ обязанъ онъ своимъ нравственнымъ возрожденьемъ.

Здѣсь открывается передъ нами нравственная высота русской женщины.

Мы увидимъ то же самое, но въ гораздо бо̀льшихъ размѣрахъ, въ величайшемъ созданіи Тургенева—въ романѣ „Дворянское гнѣздо".

3.

„Дворянское гнѣздо“.

Намъ предстоитъ теперь обратиться къ прекраснѣйшему изъ произведеній Тургенева, написанному въ 1858 году роману, „Дворянское гнѣздо“.

„Дворянское гнѣздо“ имѣло самый большой успѣхъ, который когда-либо выпалъ мнѣ на долю“,

говоритъ поэтъ въ предисловіи къ изданію своихъ сочиненій: собственное свидѣтельство Тургенева, что въ моментъ наибольшаго развитія его творческихъ силъ русское общество съумѣло понять своего великаго изобразителя.

Ни одно изъ созданій Тургенева не проникнуто такою смѣлою, такою горячею вѣрой, ни одно не можетъ быть названо такимъ задушевнымъ созданіемъ, какъ „Дворянское гнѣздо“. Здѣсь нарисованъ чистѣйшій во всей русской литературѣ (послѣ пушкинской Татьяны) женскій образъ, образъ Лизы; здѣсь передъ нами и тотъ изъ героевъ Тургенева, въ котораго онъ наиболѣе вѣрилъ, на котораго онъ возлагалъ наибольшія надежды,—Лаврецкій; рисуя его, поэтъ изобразилъ въ чудесной исторической и бытовой картинѣ и всѣ тѣ элементы, изъ которыхъ слагалась и слагается жизнь русскаго общества, какъ бы желая показать намъ, что этотъ герой его есть достигнутый результатъ великаго историческаго процесса.

„Весенній, свѣтлый день клонился къ вечеру; небольшія розовыя тучки стояли высоко въ ясномъ небѣ и, казалось, не плыли мимо, а уходили въ самую глубь лазури“ (163).

Такими словами начинается романъ, и свѣтлый тонъ, звучащій въ нихъ, проникаетъ все произведеніе, съ начала и до конца, до тѣхъ словъ, которыми отживающій Лаврецкій привѣтствуетъ весеннюю жизнь молодаго человѣческаго поколѣнія:

„Играйте, веселитесь, растите, молодыя, силы... вамъ надобно дѣло дѣлать, работать,—и благословеніе нашего брата старика будетъ съ вами“ (365—366) *).

---

*) Эти прекрасныя слова, по выбору поэта новаго поколѣнія русской литературы, были написаны на лентахъ лавроваго вѣнка, несеннаго передъ гробомъ великаго писателя юношествомъ того университета, въ которомъ онъ самъ получилъ воспитаніе.

„Дворянское гнѣздо“—романъ въ самомъ широкомъ и полномъ смыслѣ этого слова: русская жизнь отразилась въ немъ всѣми своими сторонами: здѣсь и западничество, и славянофильство, и петербургское чиновничество съ его отвлеченнымъ высокомѣріемъ, и бытъ деревни и города, и всѣ тѣ элементы, въ настоящемъ и въ историческомъ прошломъ русской жизни, изъ которыхъ слагается нашъ бытъ; съ одинаковымъ художественнымъ совершенствомъ нарисовалъ поэтъ и благородную фигуру нѣмца Лемма, и строгій образъ воспитательницы Лизы, Агафьи, и другихъ простыхъ русскихъ людей. И надо всѣмъ этимъ царитъ въ произведеніи, все освѣщая и осмысливая свѣтомъ своего религіознаго идеала, кроткій образъ цѣломудренной дѣвушки въ своей чистой и безупречной красотѣ.

Лучшая въ русской литературѣ критическая статья о „Дворянскомъ гнѣздѣ“ принадлежитъ Аполлону Григорьеву. Статья эта объясняетъ и всѣ предшествовавшія великому роману произведенія поэта. Анализируя „Дворянское гнѣздо“, критикъ находитъ, что романъ этотъ есть „огромный холстъ, натянутый для огромной исторической картины“, на которомъ „отдѣланъ только одинъ уголокъ, или пожалуй центръ“, а затѣмъ—„по мѣстамъ мелькаютъ... то обрисовки и очерки, то малеванье обстановки; въ самомъ уголкѣ или, пожалуй, центрѣ иное живетъ полною жизнію, другое является этюдомъ, пробой... это драма, въ которой одно только отношеніе разработано; живое органическое цѣлое, вырванное почти безжалостно изъ обстановки, съ которой оно связано всѣми своими нервами“ (Соч. I. 367),—Прощая (если только умѣстно это слово и выражаемое имъ чувство), прощая критику несправедливость такого отношенія къ постройкѣ романа за превосходный анализъ его характеровъ и тургеневскихъ типовъ вообще, мы останавливаемся, однако, на вопросѣ, почему показалась неудачной постройка романа лучшему изъ истолкователей поэта?... Должно быть потому, что героемъ произведенія взять (какъ онъ признаетъ) человѣкъ односторонняго направленія—„славянофилъ“ Лаврецкій, хотя этотъ славянофилъ и далекъ отъ исключительности и отличается широтой сочувствій и пониманія.

Уже въ романѣ „Рудинъ“ мы видѣли, что поэтъ, раз-

вѣнчивая своего героя- „западника“, съ особенной любовью останавливался на второстепенномъ лицѣ произведенія—Лежневѣ; можно было догадываться, что типъ, представителемъ котораго былъ Лежневъ, явится на первомъ планѣ въ новомъ созданіи Тургенева; такъ и случилось.

Герой „Дворянскаго гнѣзда“—Лаврецкій—очень сложный характеръ, сложный и многосторонній; но творецъ его назвалъ его „славянофиломъ“ (I, 109). И въ самомъ дѣлѣ, преобладающія воззрѣнія и симпатіи въ немъ—славянофильскія, и самъ онъ—человѣкъ почвы, человѣкъ народа, съ душой простой, спокойной и уравновѣшенной.

Онъ является передъ нами въ романѣ послѣ сильнаго нравственнаго потрясенія, послѣ разрыва съ женою. Этотъ разрывъ былъ тяжелъ для него, и Лаврецкій страдалъ глубоко и искренно; но онъ

„не походилъ на жертву рока (говоритъ поэтъ). Отъ его краснощекаго, чисто-русскаго лица, съ большимъ бѣлымъ лбомъ, немного толстымъ носомъ и широкими правильными губами, такъ и вѣяло степнымъ здоровьемъ, крѣпкой долговѣчной силой. Сложенъ онъ былъ на славу,—и бѣлокурые волосы вились на его головѣ, какъ у юноши. Въ однихъ только его глазахъ, голубыхъ, навыкатѣ и нѣсколько неподвижныхъ, замѣчалась—не то задумчивость, не то усталость, и голосъ его звучалъ какъ-то слишкомъ ровно“ (стр. 187—188).

Но онъ вовсе не походилъ на разочарованнаго:

„Развѣ разочарованные такіе бываютъ? (возражалъ онъ самъ Михалевичу въ спорѣ съ нимъ). Тѣ всѣ бываютъ блѣдные и больные,—а, хочешь, я тебя одной рукой подниму?“ (255).

Искусственно отторгнутый отъ родины, скитаясь съ женой за-границей, онъ инстинктивно стремился домой, на родную почву. Въ Парижѣ, занимаясь переводомъ ученаго сочиненія объ ирригаціяхъ и посѣщая лекціи въ Sorbonne и Collége de France, онъ все думалъ:

„Я не теряю времени... все это полезно; но къ будущей зимѣ надобно непремѣнно вернуться въ Россію и приняться за дѣло“ (222).

По нѣкоторой косности и лѣни своей славянской натуры, Богъ знаетъ когда привелъ-бы онъ въ исполненіе свое желанье вернуться, если-бы не подтолкнули его на это обстоятельства. Душевно измученный и разбитый, бѣжалъ онъ домой,—и родная глушь, спокойное теченіе жизни родной деревни оказались цѣлительными для его больнаго

сердца.—„Вотъ когда я на днѣ рѣки“ (думалъ Лаврецкій, сидя подъ окномъ въ маленькомъ домикѣ своего Васильевскаго):

„И всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь... кто входитъ въ ея кругъ—покоряйся: здѣсь незачѣмъ волноваться, нечего мутить; сдѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши!..

„На женскую любовь ушли мои лучшіе годы (продолжаетъ думать Лаврецкій): пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло. Тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по немъ; кажется, онѣ знаютъ, куда и зачѣмъ онѣ плывутъ. Въ то самое время, въ другихъ мѣстахъ на землѣ кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ, и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ какъ весенній снѣгъ,—и странное дѣло! никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“ (240—241).

Живя долго передъ тѣмъ вулканической и нравственно-мутной, увлекавшей его чуждой жизнью, Лаврецкій отрезвѣлъ духомъ въ родной деревнѣ, очнулся и пришелъ къ самосознанію, къ пониманію окружающаго, къ пониманію родины (всегда, конечно, таившемуся, хотя безсознательно, въ его душѣ).

Такимъ и является онъ передъ нами въ блестящемъ спорѣ своемъ съ Паншинымъ. Разочарованный, послѣ „Рудина“, въ западникахъ, Тургеневъ въ лицѣ Паншина, по его собственному позднѣйшему показанію, изобразилъ ложныя стороны западничества, и изобразилъ превосходно.

Паншинъ—молодой петербургскій чиновникъ, которому предстоитъ блестящая карьера. Онъ—свѣтскій человѣкъ, артистъ, но прежде всего и больше всего—бюрократъ. Умѣло и ловко воспитанный отцемъ, онъ пущенъ имъ въ свѣтъ, и прекрасно самъ пробиваетъ себѣ дорогу. Онъ разносторонне талантливъ: не дурно поетъ, сочиняетъ романсы; но Леммъ справедливо говоритъ про него Лизѣ:

„Онъ не можетъ ничего понимать; какъ вы этого не видите? Онъ дилеттантъ—и все тутъ!

Вы къ нему несправедливы (пробуетъ-было возразить Лиза): онъ все понимаетъ и самъ почти все можетъ сдѣлать.

Да (отвѣчаетъ Леммъ), все второй нумеръ, легкій товаръ, спѣшная

работа. Это нравится, и онъ нравится, и самъ онъ этимъ доволенъ—ну и браво" (184—185).

Какъ артистъ, Паншинъ позволяетъ себѣ иногда увлеченія, но и среди нихъ онъ вполнѣ владѣетъ собою, потому что въ душѣ холоденъ какъ ледъ и хитеръ. Какъ считающій себя человѣкомъ необыденнымъ и непошлымъ, онъ увѣренъ, что полюбилъ Лизу, и говоритъ въ отвѣтъ на отказъ ея:

„Я не хотѣлъ пойти по избитой дорогѣ... я хотѣлъ найти себѣ подругу по влеченію сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай мечта".

Онъ напускаетъ на себя затѣмъ грустный и меланхолическій видъ. Но встрѣча съ Варварой Павловной сейчасъ же его утѣшаетъ: онъ забываетъ хмурить брови и отрывисто вздыхать (по адрессу Марьи Дмитревны, чтобы дать ей почувствовать, какъ онъ огорченъ отказомъ Лизы), и весь отдается „наслажденію полу-свѣтской, полу-художественной болтовни", старается понять тайный смыслъ „не строгихъ, не ясныхъ и сладкихъ рѣчей", которыя говорятъ ему „прелестные глаза" Варвары Павловны, старается самъ говорить глазами, и смущается только тѣмъ, что „Варвара Павловна въ качествѣ настоящей заграничной львицы", стоитъ выше его (330—331). Онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается въ „неограниченную, безвозвратную, безотвѣтную власть" Варварѣ Павловнѣ, что, однако, не мѣшаетъ ему сильно подвигаться въ чинахъ и мѣтить въ директоры департамента.

Но во всемъ блескѣ своихъ достоинствъ является Паншинъ тогда, когда разсуждаетъ о государственныхъ и административныхъ вопросахъ. Особенно замѣчательны приэтомъ его самоувѣренность и его ловкое умѣнье, о чемъ бы ни заговорилъ, свести рѣчь на самого себя. Однажды они съ Лаврецкимъ горячо поспорили, встрѣтившись въ домѣ Калитиныхъ вечеромъ, когда въ большомъ кусту сирени раздавались первые вечерніе звуки соловья и „первыя звѣзды зажигались на розовомъ небѣ надъ неподвижными верхушками липъ".—Паншинъ, прочитавши лермонтовскую „Думу", сталъ, по поводу ея,

„укорять и упрекать новѣйшее поколѣніе, при чемъ не упустилъ случая изложить, какъ бы онъ все повернулъ по-своему, если-бы власть

у него была въ рукахъ. „Россія—говорилъ онъ—отстала отъ Европы; нужно подогнать ее. Увѣряютъ, что мы молоды—это вздоръ; да и притомъ у насъ изобрѣтательности нѣтъ: самъ X—въ признается въ томъ, что мы даже мышеловки не выдумали. Слѣдовательно, мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ. Мы больны, говоритъ Лермонтовъ,—я согласенъ съ нимъ; но мы больны оттого, что только наполовину сдѣлались европейцами; тѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лечиться должны. У насъ—лучшія головы—les meilleures têtes—давно въ этомъ убѣдились; всѣ народы въ-сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія—и дѣло съ концомъ. Пожалуй, можно приноравливаться къ существующему народному быту; это наше дѣло, дѣло людей... (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) служащихъ; но въ случаѣ нужды, не безпокойтесь: учрежденія передѣлаютъ самый этотъ бытъ“ (291).

Паншинъ высказалъ это западническое, и вмѣстѣ либерально-чиновническое воззрѣніе на жизнь самонадѣянно и въ то же время „съ тайнымъ озлобленьемъ“.—Лаврецкій не сталъ сдерживаться, и завязался споръ.

„Лаврецкій отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи.. Паншинъ возражалъ раздражительно и рѣзко, объявилъ, что умные люди должны все передѣлать, и занесся наконецъ до того, что, забывъ свое каммеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецкаго отсталымъ консерваторомъ... Лаврецкій не разсердился, не возвысилъ голоса... и спокойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, неоправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе; требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ.

Все это прекрасно! воскликнулъ, наконецъ, раздосадованный Паншинъ: вотъ вы вернулись въ Россію,—что-же вы намѣрены дѣлать?

Пахать землю, отвѣчалъ Лаврецкій,—и стараться какъ можно лучше ее пахать“ (292).

Такъ „западникъ“ Паншинъ оказался несостоятельнымъ передъ Лаврецкимъ. Но Тургеневъ не настолько одностороненъ, чтобы выдать западничество головою. Онъ сводитъ Лаврецкаго въ романѣ съ другимъ западникомъ—Михалевичемъ, личностью въ высшей степени симпатичною—и дѣло выходитъ иначе.

Эпизодъ пріѣзда Михалевича къ Лаврецкому—одно изъ лучшихъ мѣстъ романа, если только въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ есть лучшія мѣста, а не все одинаково прекрасно.

Михалевичъ напоминаетъ собою Донъ-Кихота. Романтикъ, идеалистъ и поэтъ въ душѣ, онъ чуждъ всякихъ эгоистическихъ и своекорыстныхъ разсчетовъ. Неизмѣнный мечтатель, онъ никогда не былъ и не можетъ быть практическимъ человѣкомъ; но онъ вѣчно стремится къ дѣятельности, дѣятельности возвышенной и благородной. Подобные ему люди сами никакого дѣла не сдѣлаютъ; но они будятъ жизнь, не даютъ ей покрыться плѣсенью и толкаютъ на дѣло тѣхъ, кто способенъ къ нему, кто можетъ работать. Михалевичи постоянно увлекаются, разочаровываются, и сейчасъ же увлекаются снова; но въ нихъ жизнь никогда не останавливается, вѣчно кипитъ горячимъ ключемъ.

Новымъ чувствамъ всѣмъ сердцемъ отдался,
Какъ ребенокъ душою я сталъ:
И я сжегъ все, чему покланялся,
Поклонился всему, что сжигалъ,—

такими стихами опредѣляетъ Михалевичъ свою жизнь и свои увлеченія; и это опредѣленіе прекрасно, и эти стихи обратились въ пословицу. —Что особенно трогательно въ Михалевичѣ — это отсутствіе всякой заботы о себѣ, — онъ стоически и вполнѣ добродушно, даже самъ того не замѣчая, переноситъ и бѣдность, и всякую невзгоду, и всякіе удары судьбы. —Онъ явился къ Лаврецкому проѣздомъ, на нѣсколько часовъ, —и между пріятелями сейчасъ-же завязался споръ. Но споръ этотъ не то, что споръ съ Паншинымъ,—онъ горячій и задушевный съ обѣихъ сторонъ. — Отвлеченный человѣкъ, Михалевичъ лишь мимоходомъ, въ двухъ словахъ, переговорилъ съ другомъ о житейскихъ обстоятельствахъ его и своихъ, и сейчасъ же ударился въ область общихъ идей. О себѣ онъ заявилъ, что онъ теперь человѣкъ „вѣрующій“:

„я по-прежнему (сказалъ онъ) вѣрю въ добро, въ истину; но я не только вѣрю,—я вѣрую теперь; да, —я вѣрую, вѣрую“ (254).

И эта „вѣра“ его такъ искренна и сильна, и въ то же время такъ дѣтски наивна, увлеченія его такъ пламенны и крайни, что онъ мечтаетъ, какъ о великомъ счастьѣ, о томъ, чтобы дойти до фанатизма. Когда онъ упрекнулъ Лаврецкаго въ „вольтерьянствѣ“, тотъ отразилъ упрекъ восклицаніемъ:

„Послѣ этого... я въ-правѣ сказать, что ты фанатикъ!

Увы! возразилъ съ сокрушеньемъ Михалевичъ,—я, къ несчастью, ничѣмъ не заслужилъ еще такого высокаго наименованія“ (258).

Споръ Лаврецкаго и Михалевича замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Во 1-хъ, здѣсь обнаруживается слабая сторона Лаврецкаго. Конечно, ошибочны частныя обвиненія, которыя Михалевичъ щедрою рукою сыплетъ на своего друга, называя его и „разочарованнымъ“, и „эгоистомъ“, и „вольтерьянцемъ“, и „байбакомъ“, и „циникомъ“, и человѣкомъ, стремящимся къ какому-то „самонаслажденью“; но въ общемъ смыслѣ обвиненій и обличеній его есть правда, есть правда въ его призывахъ Лаврецкаго на дѣло: герой романа, при всемъ своемъ умѣ, при всемъ образованіи, при всемъ знаніи „на какую ножку (по выраженію Михалевича) нѣмецъ хромаетъ“, что̀ плохо у англичанъ и у французовъ“, —страдаетъ, однако, нѣкоторой, наклонностью къ апатіи, къ бездѣйствію и лѣни. Онъ самъ призналъ правду подобныхъ изобличеній. Проводивъ уѣхавшаго пріятеля и возвращаясь въ домъ съ крыльца, на которомъ долго стоялъ, смотря на дорогу, Лаврецкій подумалъ:

„А вѣдь онъ, пожалуй, правъ; пожалуй, что я байбакъ“.

И поэтъ отъ себя прибавляетъ про своего героя:

„Многія изъ словъ Михалевича неотразимо вошли въ его душу, хоть онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ“ (260).

Затѣмъ, во 2-хъ, споръ старыхъ друзей свидѣтельствуетъ, что какъ ни расходятся они, повидимому, во взглядахъ, въ строѣ своихъ мыслей, въ характерахъ и т. д., есть тѣмъ не менѣе между ними много и очень много общаго: романтикъ и мечтатель Донъ-Кихотъ Михалевичъ оказывается совершенно русскимъ человѣкомъ; а Лаврецкій—очень и очень причастнымъ тѣмъ западно-европейскимъ началамъ и вліяніямъ, которыми живетъ, весь ими охваченный, Михалевичъ: не даромъ они близки между собою и съ полуслова, съ полунамека понимаютъ другъ друга.

Поэтъ говоритъ про ихъ споръ, что это былъ

„одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди. Съ оника, послѣ многолѣтней разлуки, проведенной въ двухъ различныхъ мірахъ... заспорили они о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ,—и спорили такъ, какъ будто дѣло шло о жизни и смерти обоихъ“ (255).

А когда накричались они до-сыта и утомились, когда перестали состязаться, они

„еще болѣе часа бесѣдовали“ и „голоса ихъ не возвышались болѣе, и рѣчи ихъ были тихія, грустныя, добрыя рѣчи“ (258).

Михалевичъ—такой-же простой и добрый русскій человѣкъ, какъ и Лаврецкій, хотя, въ качествѣ романтика, и не отличается мѣткимъ юморомъ своего друга.

Съ другой стороны—Лаврецкій несомнѣнно понялъ, и сердцемъ и умомъ понялъ, все, что говорилъ ему Михалевичъ,—и кто знаетъ, можетъ быть то дѣло, которое онъ сталъ дѣлать въ деревнѣ,—на это дѣло подвигъ и воодушевилъ его пламенный энтузіазмъ, горячій призывъ Михалевича.

Что-же касается романтическихъ струнъ, такъ сильно звучащихъ въ душѣ послѣдняго, они есть и въ душѣ Ларецкаго. Что такое, какъ не романтизмъ вся любовь его къ Варварѣ Павловнѣ, любовь такая пламенная, хоть, можетъ быть, и далеко не совсѣмъ чистая, такая искренняя и сильная, любовь, отъ которой онъ долго потомъ не могъ отдѣлаться и которая заставила его глубоко страдать, когда разбилась его мечта? (мечта, ибо не самое Варвару Павловну, которую не понималъ, а мечту свою любилъ Лаврецкій въ ней, въ своей женѣ).

Да и позднѣйшее чувство Лаврецкаго къ Лизѣ, при всемъ возвышенномъ отличіи своемъ отъ чувства къ Варварѣ Павловнѣ, тоже отзывается романтизмомъ. Конечно, Лаврецкій во многомъ понимаетъ Лизу, и потому и любитъ ее, что понимаетъ; но есть въ его чувствѣ нѣчто тревожное, страстное, неспокойное; онъ и привѣтствуетъ свою любовь, когда впервые начинаетъ сознавать ее въ сердцѣ, романтическими стихами Михалевича:

И я сжегъ все, чему покланялся,
Поклонился всему, что сжигалъ.

Онъ медленно произнесъ эти два стиха, когда, проводивши до полдороги бывшихъ у него въ гостяхъ Калитиныхъ, возвращался одинъ домой, а

„ночь, безмолвная, ласковая ночь лежала на холмахъ и на долинахъ„ и „издали, изъ ея благовонной глубины, Богъ знаетъ откуда—съ небали, съ земли-ли,—тянуло тихимъ и мягкимъ тепломъ“ (269).

Замѣчательно, что для выясненія читателю любви Лаврецкаго поэтъ избралъ именно Лемма, благороднаго представителя западно-европейской духовной жизни, — онъ заставилъ Лемма подмѣтить чувство Лаврецкаго и выразить въ чудесной вдохновенной симфоніи ту внутреннюю музыку счастья, которая звучала въ душѣ Лаврецкаго послѣ объясненія съ Лизой въ саду, послѣ перваго и послѣдняго поцѣлуя. Лаврецкій шелъ по улицамъ города, опьяненный блаженствомъ и думалъ: „Исчезни, прошедшее, темный призракъ... она меня любитъ, она будетъ моя", и

„вдругъ ему почудилось, что въ воздухѣ надъ его головою разлились какіе-то дивные, торжествующіе звуки... и въ нихъ, казалось, говорило и пѣло его счастье" (298).

Звуки неслись изъ квартиры Лемма.

„ДавноЛаврецкій не слыхалъ ничего подобнаго: сладкая, страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце; она вся сіяла, вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на землѣ дорогаго, тайнаго, святаго; она дышала безсмертной грустью и уходила умирать въ небеса. Лаврецкій выпрямился и стоялъ, похолодѣлый и блѣдный отъ восторга. Эти звуки такъ и впивались въ его душу, только что потрясенную счастьемъ любви; они сами пылали любовью".

„Это удивительно", сказалъ Леммъ, „что вы именно теперь пришли; но я знаю, все знаю".

— Вы все знаете? произнесъ съ смущеніемъ Лаврецкій.

— Вы меня слышали, возразилъ Леммъ: развѣ вы не поняли, что я все знаю?

Превосходно въ романѣ изображеніе старика Лемма: это одна изъ самыхъ художественныхъ фигуръ, когда-либо нарисованныхъ Тургеневымъ. Бѣдный, несчастный музикусъ, заброшенный суровой судьбою на чужбину, Леммъ много вытерпѣлъ всякаго рода невзгодъ, и сжался, ушелъ въ себя, сталъ необщительнымъ и суровымъ; но подъ грубой внѣшностью, въ непривлекательной его фигурѣ таится свѣтлый умъ умѣющій понимать людей, таится младенчески-чистая душа, мечтающая о чистыхъ звѣздахъ, о правдѣ, о Богѣ. Романтически, мечтательно-влюбленный въ свою лучшую ученицу, Лизу, онъ ей посвящаетъ свою духовную кантату „Только праведные правы", и чувство Лаврецкаго къ ней вдохновляетъ его на высокое художественное со-

зданіе. Съ изумительнымъ искусствомъ изображаетъ Тургеневъ національныя черты въ его характерѣ: серьезность и ту смѣлость мысли, „которая доступна одному германскому племени“ (179), и странный для русскаго человѣка контрастъ его филистерской жизни, съ ночнымъ колпакомъ, съ декохтомъ, съ кухаркой Катринъ, варящей ему скверный кофе—съ одной стороны, и его вдохновенныхъ творческихъ порывовъ—съ другой стороны, когда его маленькая бѣдная комнатка обращается въ „святилище“ и „высоко и вдохновенно“ поднимается „въ серебристой полутьмѣ голова старика“ (стр. 299). Превосходно также рисуетъ поэтъ тѣ горькія минуты Лемма, когда онъ тщетно пытается создать что-либо поэтическое, высокое,—и потомъ безнадежно поникаетъ своей старческой головою (И какъ часты бываютъ у него такія минуты!).

Замѣчательно, что чудная симфонія Лемма, воспѣвающая счастье Лаврецкаго, осталась неизвѣстною Лизѣ. И это не даромъ: вдохновенная музыка старика не передаетъ того, что происходило въ чистой душѣ глубоко полюбившей дѣвушки.—При всей высотѣ своей, эта музыка всетаки остается романтической,—и отвѣчаетъ романтическимъ струнамъ души Лаврецкаго. И самъ Леммъ, при всей чистотѣ своей души, не можетъ войти въ ту высшую область нравственнаго бытія, въ которой постоянно живетъ Лиза,—его не могутъ занимать тѣ высшіе вопросы, которые ее волнуютъ: онъ и не подозрѣвалъ объ извѣстіи про смерть жены Лаврецкаго, когда передавалъ въ своихъ чудныхъ звукахъ его счастье.

И не только романтизмъ, но и другія стихіи западноевропейской жизни глубоко заложены въ душѣ Лаврецкаго. Михалевичъ назвалъ его между прочимъ въ спорѣ „скептикомъ“. И въ самомъ дѣлѣ въ Лаврецкомъ есть скептицизмъ, и довольно сильный, развившійся подъ вліяніемъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, но, конечно, бывшій въ немъ и раньше. Когда Лаврецкій понялъ Варвару Павловну и разстался съ нею,

„скептицизмъ, подготовленный (говоритъ поэтъ) опытами жизни, воспитаніемъ, окончательно забрался въ его душу“ (226).

И вотъ, онъ на все и на всѣхъ начинаетъ смотрѣть съ сомнѣніемъ. Лиза, послѣ первыхъ же встрѣчъ съ нею, про-

извела на него хорошее впечатлѣніе; онъ было сталъ думать о ней какъ о прекрасномъ существѣ, сталъ думать, что Паншинъ дѣйствительно, какъ говоритъ Марѳа Тимофевна, ея не стоитъ; но тотчасъ-же остановилъ свои размышленія скептическимъ замѣчаніемъ:

„А, впрочемъ, чего я размечтался? Побѣжитъ и она по той-же дорожкѣ, по какой всѣ бѣгаютъ“ (233—234).

Везетъ Лаврецкій Лемма къ себѣ въ деревню гостить. Подъ впечатлѣніями—звѣзднаго неба, „всѣхъ обаяній дороги, весны и ночи“, старикъ размечтался о музыкѣ, о поэтическихъ словахъ для своего будущаго романса. Но Лаврецкій неожиданно охлаждаетъ его скептическимъ вопросомъ:

„Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофоръ Ѳедоровичъ,—промолвилъ онъ громко:—а какъ вы полагаете, этотъ Фридолинъ, послѣ того, какъ графъ привелъ его къ женѣ, вѣдь, онъ тутъ-то и сдѣлался ея любовникомъ,—а?

Леммъ не выдержалъ и разсердился:

— Это вы такъ думаете, возразилъ (онъ) потому что, вѣроятно опытъ...

и старикъ „вдругъ умолкъ и въ смущеніи отвернулся“ (247).

Разсердился на скептицизмъ Лаврецкаго и Михалевичъ:

„Я вижу (говорилъ онъ), тебѣ нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло-бы тебя изъ твоей апатіи.

— Спасибо, братъ, промолвилъ Лаврецкій,—съ меня будетъ этихъ неземныхъ существъ.

— Молчи, циникъ! воскликнулъ Михалевичъ“ (стр. 260).

Уже очарованнаго Лизой и любящаго ее въ глубинѣ сердца, хотя и безсознательно, Лаврецкаго все еще не покидаютъ сомнѣнія. Онъ говоритъ съ Лизой о Паншинѣ. Лиза отзывается о послѣднемъ, какъ о хорошемъ человѣкѣ, котораго не за что̀ не любить,—и Лаврецкій умолкаетъ, а на лицѣ его промелькнуло „полу-печальное, полу-насмѣшливое выраженіе“ (264).

Но съ особенною силою скептицизмъ Лаврецкаго сказался въ его религіозномъ невѣріи (одно время главная точка его разногласія съ Лизой).—Это невѣріе въ человѣкѣ славянофильскихъ воззрѣній, въ человѣкѣ почвы и народныхъ началъ,—есть противорѣчіе, трагическая черта въ

характерѣ Лаврецкаго, свидѣтельствующая о недостаткѣ гармоніи въ его широлой, разнообразной, многосложной душевной жизни[1]).—А начало этого трагизма восходятъ ко временамъ дѣтства, заключается въ воспитаніи Лаврецкаго въ ребяческихъ еще его впечатлѣніяхъ- „Меня съ дѣтства вывихнули", справедливо говоритъ онъ (255).—И этотъ „вывихъ" привелъ его къ увлеченію Варварой Павловной, къ главному ложному шагу его жизни. Отъ „вывиха" этого не могъ онъ оправиться даже подъ могучимъ вліяніемъ чистой души Лизы, хотя, благодаря ей, и былъ близокъ уже къ нравственному возрожденію.

Мы видѣли, что въ Лаврецкомъ сильны народныя начала; мы видѣли также, что живутъ въ его душѣ, и даже крѣпки въ ней, и стихіи западно-европейской жизни.

Рисуя своего излюбленнаго героя, поэтъ показываетъ намъ, какъ все это запало въ его душу, какъ оно въ ней развилось и утвердилось; онъ изображаетъ не только воспитаніе Лаврецкаго, обстановку его дѣтской жизни, но развертываетъ передъ глазами читателя цѣлую великолѣпную историческую картину: говоритъ о предкахъ своего героя, показываетъ намъ ихъ характеры, ихъ бытъ, нравы, тѣ жизненныя и книжныя вліянія, подъ которыми слагались эти нравы. Великій жизненный фактъ, крупный типъ русской общественной жизни объясненъ въ его происхожденіи.

Передъ нами прадѣдъ, дѣдъ, отецъ и мать Лаврецкаго, тетка. Все это коренные русскіе люди,—даже Иванъ Петровичъ, отецъ Ѳедора Ивановича. (Этотъ вольтерьянецъ, когда понадобилось, „бѣднячкомъ-русачкомъ", по словамъ поэта, поклонился въ ноги своему родственнику Пестову, и всплакнулъ, прося его за жену). Изъ такой семьи Ѳедоръ Лаврецкій долженъ былъ выйти русскимъ человѣкомъ. Особенно важное значеніе для него имѣла въ этомъ смыслѣ

---

[1]) Есть мнѣніе, что славянофильство безъ вѣры немыслимо. Но едва-ли справедливо отнимать такія-же права на вѣру и у западничества. Вѣра выше обоихъ этихъ направленій. Лаврецкій же—славянофилъ, потому что общее ставитъ выше личнаго, потому что не вѣритъ въ могущество и правду личныхъ самонадѣянныхъ передѣлокъ жизни, потому что смиряется передъ народною правдой и стремится къ родной почвѣ. Для него оказалась возможной и смиренная вѣра, когда Лиза повела его къ этому.

мать—Маланья Сергѣвна, крестьянка по происхожденію, существо доброе и кроткое, поэтически изображенное въ романѣ. Отецъ Лаврецкаго женился на ней вопреки волѣ своего отца.

„Она съ перваго разу приглянулась Ивану Петровичу (разсказываетъ поэтъ), и онъ полюбилъ ее: онъ полюбилъ ея робкую походку, стыдливые отвѣты, тихій голосокъ, тихую улыбку; съ каждымъ днемъ она ему казалась милѣй. И она привязалась къ Ивану Петровичу всей силой души, какъ только русскія дѣвушки умѣютъ привязаться“ (195).

Старикъ Петръ Андреичъ хотѣлъ-было проклясть сына за женитьбу на крѣпостной, и долгое время не желалъ ни видѣть невѣстку, ни слышать о ней; но жена его Анна Павловна, простая и добрая русская женщина (уже и раньше помогавшая Маланьѣ Сергѣвнѣ) на смертномъ одрѣ просила его все простить и примириться,—и онъ, самъ человѣкъ простой и добрый (не смотря на свое самовластіе и дворянскую гордость), принялъ невѣстку въ домъ. Старика перевернуло, когда внукъ его, сынъ Маланьи Сергѣвны, улыбнулся ему „и протянулъ къ нему свои блѣдныя рученки“.

Охъ, промолвилъ онъ, сиротливый! Умолилъ ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчикъ“ (200).

И онъ сдержалъ свое слово. И къ невѣсткѣ онъ привыкъ, и даже полюбилъ ее.—Но не красна была жизнь Маланьи Сергѣвны въ домѣ свекра, не красна изъ-за золовки Глафиры; завистливая и злая, надменная, Глафира не только укоряла ее ея прежнимъ положеніемъ (съ этимъ бѣдная женщина свыклась и примирилась), она сына у нея отняла, подъ предлогомъ, что та не въ состояніи заниматься его воспитаніемъ. Надежды обиженной матери на мужа, на Ивана Петровича, что онъ возвратитъ ей Ѳедю, не оправдались; не сбылись и ея ожиданія, что мужъ, вернувшійся-было въ Россію по случаю отечественной войны, останется теперь дома совсѣмъ, и она упала духомъ — и „безропотно, въ нѣсколько дней угасла“.

„Втеченіи всей своей жизни она не умѣла ничему сопротивляться, и съ недугомъ она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильныя тѣни ложились на ея лицо, но черты ея по-прежнему выражали терпѣливое недоумѣніе и постоянную кротость смиренія; съ тойже нѣмой покорностью глядѣла она на Глафиру, и, какъ Анна Пав-

ловна на смертномъ одрѣ поцѣловала руку Петра Андреича, такъ и она приложилась къ Глафириной рукѣ, поручая ей, Глафирѣ, своего единственнаго сына. Такъ кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, Богъ знаетъ зачѣмъ выхваченное изъ родной почвы и тотчасъ-же брошенное, какъ вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало безъ слѣда, это существо, и никто не горевалъ о немъ. Пожалѣли о Маланьѣ Сергѣвнѣ ея горничныя, да еще Петръ Андреичъ. Старику недоставало ея молчаливаго присутствія. „Прости, прощай, моя безотвѣтная!“ прошепталъ онъ, кланяясь ей въ послѣдній разъ, въ церкви. Онъ плакалъ, бросая горсть земли въ ея могилу“ (203).

„Оно пропало безъ слѣда, это существо,“ говоритъ поэтъ въ приведенномъ, трогательномъ изображеніи кончины Маланьи Сергѣвны. Но это не совсѣмъ такъ: сынъ былъ отторгнутъ отъ нея, какъ мы знаемъ, и „видѣлъ ее не каждый день“; „ему не было восьми лѣтъ“, когда она скончалась;—но, тѣмъ не менѣе, онъ любилъ „ее страстно“, и ея нравственный образъ произвелъ на него сильное, неизглядимое впечатлѣніе: дѣтскій возрастъ чутокъ и отзывчивъ; поэтъ говоритъ:

„Память о ней, объ ея тихомъ и блѣдномъ лицѣ, объ ея унылыхъ взглядахъ и робкихъ ласкахъ на-вѣки запечатлѣлась въ его сердцѣ“ (205).

Къ этому надо прибавить, что быть можетъ, тогда же зародилось въ его душѣ и упорство, и нѣкоторое озлобленіе: онъ смутно понималъ положеніе матери въ домѣ;

„онъ чувствовалъ, что между нимъ и нею существовала преграда, которую она не смѣла и не могла разрушить“ (стр. 205).

Тѣ-же чувства упорства и озлобленія развивались, должно быть, въ его душѣ и подъ дѣйствіемъ воспитанія тетки, Глафиры, которой онъ боялся, при которой не смѣлъ пикнуть, и которая заставляла его цѣлые дни просиживать, не шевелясь на стулѣ и только по воскресеньямъ позволяла ему играть, т. е. давала разсматривать толстую книгу Максимовича-Амбодика, подъ заглавіемъ „Символы и Эмблемы“.

Совсѣмъ другаго рода вліяніе, чѣмъ мать, оказалъ на Лаврецкаго его отецъ.—Это превосходно очерченная въ романѣ фигура. Воспитанный въ Москвѣ, въ домѣ родственницы княжны Кубенской, эмигрантомъ, вкрадчивымъ и ловкимъ Куртеномъ, ученикомъ Жанъ-Жака-Руссо, Иванъ Петровичъ Лаврецкій сдѣлался вольтерьянцемъ.

„И Дидеротъ, и Вольтеръ... и Руссо, и Рейналь, и Гельвецій, и много другихъ, подобныхъ имъ, сочинителей сидѣли въ его головѣ, — но въ одной только головѣ (говоритъ Тургеневъ). Бывшій наставникъ Ивана Петровича, отставной аббатъ и энциклопедистъ, удовольствовался тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю премудрость XVIII вѣка, и онъ такъ и ходилъ наполненный ею; она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказавшись крѣпкимъ убѣжденьемъ“ (194).

Очень художественными и комическими чертами изображаетъ Тургеневъ русскаго вольтерьянца (Какая разница съ изображеніемъ вольтерьянца, Лучинова, въ повѣсти „Три портрета“ и съ тогдашними отношеніями автора къ этому типу!). Бросивъ жену и ребенка, Иванъ Петровичъ Лаврецкій живетъ для своего удовольствія за-границей, наслаждается, слѣдуя наставленіямъ своихъ знаменитыхъ учителей, благами скоропреходящей жизни и не думаетъ ни о будущемъ, ни о чемъ вообще.—Потомъ онъ превращается въ англомана и ѣдетъ, наконецъ, въ Россію, скучающій, недовольный. Ему не нравится все родное, онъ пренебрежительно относится къ своимъ крестьянамъ. Задумалъ-было онъ рядъ какихъ-то преобразованій, хотѣлъ ввести въ хозяйствѣ какую-то систему; но, однако, все осталось по-прежнему, и онъ жилъ своей эгоистической жизнью, свободнымъ отрицателемъ и либераломъ. 25-й годъ все измѣнилъ. Отрицатель и либералъ струсилъ, и жалкимъ, малодушнымъ, дряннымъ представляется онъ намъ въ концѣ своей жизни, особенно когда ослѣпъ и окончательно упалъ духомъ, когда отъ легкомысленнаго скептицизма сталъ переходить къ ханжеству, отъ отрицанія къ заискиванію въ сильныхъ людяхъ, и т. д.

Двухъ родовъ вліяніе оказалъ онъ на сына: во-первыхъ, своими идеями; во-вторыхъ, воспитаніемъ, которому онъ подвергъ, какъ муштровкѣ, бѣднаго ребенка.

Тургеневъ говоритъ, что европейская премудрость XVIII вѣка не проникла вовсе въ душу Ивана Петровича; но это не совсѣмъ такъ. По крайней мѣрѣ женитьба его на крестьянкѣ свидѣтельствуетъ, что не совсѣмъ даромъ прошли для него идеи освободительной философіи, что онъ съумѣлъ (правда, порывомъ и лишь на мигъ) показать себя свободнымъ отъ предразсудковъ.

„Изувѣръ Дидеротъ опять на сценѣ,—подумалъ онъ (когда отецъ сталъ бранить его за связь съ Маланьей),—такъ пущу же я его въ дѣло, постойте; я васъ всѣхъ удивлю". И тутъ же спокойнымъ, ровнымъ голосомъ, хотя съ внутренней дрожью во всѣхъ членахъ, Иванъ Петровичъ объявилъ отцу, что онъ напрасно укоряетъ его въ безнравственности; что хотя онъ не намѣренъ оправдывать свою вину, но готовъ ее исправить, и тѣмъ охотнѣе, что чувствуетъ себя выше всякихъ предразсудковъ, а именно, готовъ жениться на Маланьѣ. Произнеся эти слова, Иванъ Петровичъ, безспорно, достигъ своей цѣли: онъ до того изумилъ Петра Андреича, что тотъ глаза вытаращилъ и онѣмѣлъ на мгновенье" (195—196).

И эта выходка Ивана Петровича вовсе не фарсъ, не рисовка. Онъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе,—и поэтъ самъ сочувствуетъ этому поступку своего вообще несимпатичнаго ему вольтерьянца: послѣ женитьбы.

„Иванъ Петровичъ отправился въ Петербургъ съ легкимъ сердцемъ (говоритъ онъ). Неизвѣстная будущность его ожидала; бѣдность, быть можетъ, грозила ему; но онъ разстался съ ненавистною деревенскою жизнью, а главное—онъ не выдалъ своихъ наставниковъ, дѣйствительно—„пустилъ въ ходъ" и оправдалъ на дѣлѣ Руссо, Дидерота и a Déclaration des droits de l'homme. Чувство совершоннаго долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу" (187—198).

Подобный поступокъ отца, конечно сдѣлавшійся извѣстнымъ Ѳедору Ивановичу еще въ дѣтствѣ, долженъ былъ повліять на ребенка и расположить его душу къ сочувственному воспріятію западно-европейскихъ идей и впечатлѣній. Будучи юношей, Ѳедоръ Ивановичъ замѣтилъ

„разладицу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями и черствымъ, мелкимъ деспотизмомъ" (209).

Но прежде, чѣмъ онъ смогъ это замѣтить, эти либеральныя теоріи должно быть увлекали его, и не поверхностно, какъ было съ отцомъ, а серьезно ложились на его живую, искреннюю душу.

Вотъ, должно быть, гдѣ коренится причина сочувственныхъ отношеній Лаврецкаго, этого совершенно русскаго человѣка, къ началамъ западно-европейской, личной жизни.

Что касается воспитанія Лаврецкаго, то здѣсь отецъ, по справедливому выраженію Тургенева, сыгралъ съ нимъ „недобрую шутку" (211). Онъ воспиталъ сына по придуманной имъ, на основаніи разныхъ сочинителей XVIII вѣка, „системѣ". Онъ, правда, закалилъ его здоровье различ-

ными физическими упражненіями; но „система“ „сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее“ (208). Его учили естественнымъ наукамъ, международному праву, математикѣ, столярному ремеслу и геральдикѣ, „для поддержанія рыцарскихъ чувствъ“, изгнали изъ его воспитанія „музыку, какъ занятіе, недостойное мужчины“; Иванъ Петровичь писалъ сыну наставленія по-французски, говорилъ ему „вы“; „по-русски Ѳедя говорилъ отцу: ты, но въ его присутствіи не смѣлъ садиться“ (208).

„Когда Ѳедѣ минулъ шестнадцатый годъ, Иванъ Петровичь почелъ за долгъ заблаговременно поселить въ немъ презрѣніе къ женскому полу,— и молодой спартанецъ... уже старался казаться равнодушнымъ, холоднымъ и грубымъ“.

На девятнадцатомъ году, когда съ отцомъ случился переворотъ и онъ упалъ духомъ, Ѳедоръ Ивановичь сталъ было „высвобождаться изъ-подъ гнета давившей его руки“, сталъ „размышлять“; но тутъ „наступили горькіе денечки“: Иванъ Петровичь ослѣпъ, окончательно опустился и сталъ мучить всѣхъ „своимъ малодушіемъ и нетерпѣніемъ“. Такъ дожилъ юноша до 23-года, до смерти отца,—и вдругъ оказался совершенно самостоятельнымъ и ни отъ кого независимымъ, не будучи совсѣмъ къ этому подготовленъ.

„Капризное воспитаніе принесло свои плоды (говоритъ поэтъ). Долгіе годы онъ (т. е. молодой Лаврецкій) безотчетно смирялся передъ отцомъ своимъ; когда же, наконецъ онъ разгадалъ его, дѣло уже было сдѣлано, привычки вкоренились. Онъ не умѣлъ сходиться съ людьми: двадцати-трехъ лѣтъ отъ-роду, съ неукротимой жаждой любви въ пристыженномъ сердцѣ, онъ еще ни одной женщинѣ не смѣлъ взглянуть въ глаза. При его умѣ, ясномъ и здравомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанію и лѣни, ему бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искуственномъ уединеніи..· И вотъ заколдованный кругъ расторгся, а онъ продолжалъ стоять на одномъ мѣстѣ, замкнутый и сжатый въ самомъ себѣ“ (211).

Поѣхавши въ Москву и начавши посѣщать университетъ, Ѳедоръ Иванычь ни съ кѣмъ не могъ сойтись и изъ товарищей. Случайно познакомился онъ съ семействомъ Коробьиныхъ, случайно влюбился въ Варвару Павловну („Вы и понять не можете, говорилъ онъ впослѣдствіи Лизѣ, всего того, что́ молодой, неискушенный безобразно воспитанный мальчикъ можетъ принять за любовь“),—и судьба его рѣши-

лась, онъ сдѣлалъ роковой шагъ, котораго не смогъ потомъ поправить.

Въ Лаврецкомъ были многообразные задатки, жили въ душѣ его всевозможныя начала и стремленія и между ними было даже нѣкоторое равновѣсіе. Но онъ не былъ свободенъ духомъ и не могъ, не съумѣлъ управиться съ собою, привести къ гармоничному единству богатое внутреннее содержаніе свое. Впослѣдствіи въ немъ стали брать перевѣсъ стихіи народныя. И вотъ этотъ человѣкъ, съ характеромъ повидимому опредѣлившимся, но въ-сущности исполненнымъ, какъ мы видѣли, затаенныхъ противорѣчій, встрѣтился съ простымъ и цѣльнымъ духовнымъ образомъ Лизы. Великая жизненная драма ихъ встрѣчи и разлуки и составляетъ содержаніе романа „Дворянское гнѣздо".

Чистый и строгій образъ Лизы есть высшій образъ тургеневскаго творчества, внушающій намъ невольное благоговѣйное уваженіе. Какъ Наталья романа „Рудинъ", эта русская дѣвушка поражаетъ насъ своей душевной цѣльностью, нераздвоенностью; но та была еще дитя, только начинающее жить; эта—вполнѣ сложившійся, опредѣлившійся характеръ. Лиза знаетъ какъ ей думать, чувствовать и поступать во всѣхъ обстоятельствахъ жизни; въ ней нѣтъ ни сомнѣній, ни колебаній: ей истина открыта. Простъ, повидимому, и несложенъ ея духовный міръ; но онъ глубокъ и всеобъемлющъ.— Замѣчательны приэтомъ два обстоятельства: Тургеневъ далъ ей только 19 лѣтъ и не надѣлилъ ее дарованіями:

„Особенно блестящими способностями, большимъ умомъ ее Богъ не наградилъ; безъ труда ей ничего не давалось", говоритъ онъ (305).

Инстинктъ генія руководилъ въ этомъ случаѣ поэтомъ: не тотъ человѣкъ Евангельской притчи вошелъ въ „радость Господа своего", кому дано было 12 талантовъ, а тотъ, кто удвоилъ свой одинъ талантъ. Что же касается молодости, то часто правда и истина доступны дѣтямъ, а возростая, человѣкъ иной разъ теряетъ ихъ, раздваиваясь и мельчая духомъ, утрачивая юношескую вѣру, молодой энтузіазмъ. Лиза сохранила ихъ неизмѣнными съ младенческихъ лѣтъ. Живя полною и цѣльною жизнью духа, она не знаетъ не только раздвоенія, но и эгоизма: ей некогда

и не для чего заниматься собою и думать о своемъ личномъ счастьѣ.

Достоевскій въ своей рѣчи о Пушкинѣ сблизилъ Лизу съ Татьяной великаго поэта. Въ самомъ дѣлѣ, между этими лицами много общаго: та же полнота духовной жизни въ обѣихъ, то же отсутствіе односторонности.— Лиза напоминаетъ Татьяну и своимъ дѣтствомъ:

„Она... была серьезный ребенокъ" (говоритъ Тургеневъ); глаза ея „свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой, что рѣдко въ дѣтяхъ. Она въ куклы не любила играть, смѣялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда не даромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кончала тѣмъ, что обращалась къ кому-нибудь старшему съ вопросомъ, показывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣніемъ... Отца она боялась; чувство ея къ матери было неопредѣленно,—она не боялась ея и не ласкалась, къ ней; впрочемъ, она и къ Агафьѣ (ея няня и воспитательница) не ласкалась, хотя только ее одну и любила" (303).

Серьезность и глубина духовной жизни отличаютъ дѣтство обѣихъ—и Татьяны и Лизы. Но Лиза была счастливѣе Татьяны: та возростала подъ вліяніемъ одностороннихъ впечатлѣній,—сначала народнаго сказочнаго міра, потомъ романтической поэзіи Руссо и Байрона, потомъ отвлеченнаго мышленія, съ которымъ знакомилась по книгамъ Онѣгина и его отмѣткамъ на поляхъ этихъ книгъ,— и къ полному разновѣсію, къ гармоническому единству (такъ поражающему насъ въ ея „проповѣди" Онѣгину) ея богатыя душевныя силы пришли слишкомъ поздно, тогда, когда она уже, сама не зная, какъ это случилось, закабалила себя бездушнымъ формамъ свѣтскаго міра.— Лизѣ то же единство, та же гармонія дались проще: съ ранняго дѣтства передъ нею открылась нетлѣнная красота религіознаго идеала. Ея воспитательницей была простая русская женщина—Агафья, много испытавшая въ жизни, можно сказать, извѣдавшая жизнь, и потомъ смирившаяся и отдавшая всю душу свою Богу.—Съ удивительной простотой и художественной силой повѣствуетъ намъ Тургеневъ, какъ возростала Лиза подъ руководствомъ этой Агафьи.

„Бывало, Агафья, вся въ черномъ, съ темнымъ платкомъ на головѣ, съ похудѣвшимъ, какъ воскъ прозрачнымъ, но все еще прекраснымъ и выразительнымъ лицемъ, сидитъ прямо и вяжетъ чулокъ; у ногъ ея, на маленькомъ креслицѣ, сидитъ Лиза и тоже трудится надъ какой-

нибудь работой или, важно поднявши свѣтлые глазки, слушаетъ, что разсказываетъ ей Агафья; а Агафья разсказываетъ ей не сказки: мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ разсказываетъ она житіе Пречистой Дѣвы, житіе отшельниковъ, угодниковъ Божьихъ, святыхъ мученицъ; говоритъ она Лизѣ, какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду,—и царей не боялись, Христа исповѣдовали; какъ имъ птицы небесныя кормъ носили, и звѣри ихъ слушались; какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты выростали. „Желтофіоли?" спросила однажды Лиза, которая очень любила цвѣты... Агафья говорила съ Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такія высокія и святыя слова. Лиза ее слушала— и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ; Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на зарѣ, торопливо ее одѣвала и уводила тайкомъ къ заутренѣ; Лиза шла за ней на цыпочкахъ, едва дыша; холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ, осторожное возвращеніе въ домъ, въ постельку,—вся эта смѣсь запрещеннаго, страннаго, святаго потрясала дѣвочку, проникала въ самую глубь ея существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чѣмъ недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчаніе съ быстрой прозорливостью ребенка" (304—305).

Отдавшись, такимъ образомъ, съ дѣтства всею душою Богу, Лиза не утратила своей самобытности, напротивъ— этимъ именно пріобрѣла ее:

„у ней не было „своихъ словъ" какъ она выразилась однажды, но были свои мысли, и шла она своей дорогой", говоритъ поэтъ (305).

Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ нравственно, чѣмъ онъ чище сердцемъ и прозорливѣе умомъ, чѣмъ глубже его духовная жизнь, — тѣмъ онъ проще, тѣмъ ближе къ людямъ и тѣмъ доступнѣе всѣмъ чистымъ впечатлѣніямъ жизни, тѣмъ меньше представляется онъ необыкновеннымъ существомъ. Это самое мы и видимъ въ Лизѣ:

„Такъ росла она (говоритъ поэтъ) — покойно, неторопливо, такъ достигла двнятнадцати-лѣтняго возраста. Она была очень мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеньи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая грація; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой юности, малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого-бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога, восторженно, робко, нѣжно... Такова была Лиза" (306).

И вотъ эта дѣвушка встрѣтилась съ Лаврецкимъ и полюбила его. Любовь ея, какъ и любовь Натальи къ Рудину, какъ всякая возвышенная любовь, коренится не въ чисто личныхъ ощущеніяхъ, а на почвѣ общей жизни. Лизу и Лаврецкаго сблизили—единство убѣжденій, сходство многихъ чувствъ и мыслей, сходство общаго строя духовной жизни. Особенно ясно открывается это передъ нами въ той сценѣ романа, гдѣ Лаврецкій споритъ съ Паншинымъ; онъ и споритъ главнымъ образомъ, для Лизы, чувствуя внутреннюю потребность открыть ей свою душу, высказаться передъ нею.

„Лиза не вымолвила ни одного слова втеченіи спора между Лаврецкимъ и Паншинымъ (разсказываетъ поэтъ), но внимательно слѣдила за нимъ, и вся была на сторонѣ Лаврецкаго. Политика ее занимала очень мало; но самонадѣянный тонъ свѣтскаго чиновника... ее отталкивалъ; его призрѣніе къ Россіи ее оскорбило. Лизѣ и въ голову не приходило, что она патріотка; но ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала съ старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхожденія. Лаврецкій все это чувствовалъ: онъ бы не сталъ возражать одному Паншину; онъ говорилъ только для Лизы. Другъ другу они ничего не сказали, даже глаза ихъ рѣдко встрѣчались; но оба они поняли, что и любятъ и не любятъ одно и то-же“ (293—294).

Въ эту минуту и опредѣлилось окончательно ихъ взаимное чувство, утвердилось въ ихъ сердцахъ:

„у каждаго изъ нихъ сердце росло въ груди (говоритъ поэтъ), и ничего для нихъ не пропало: для нихъ пѣлъ соловей, и звѣзды горѣли, и деревья тихо шептали, убаюканныя и сномъ, и нѣгой лѣта, и тепломъ. Лаврецкій отдавался весь увлекавшей его волнѣ—и радовался; но слово не выразитъ того, что происходило въ чистой душѣ дѣвушки: оно было тайной для нея самой; пусть же оно останется и для всѣхъ тайной“ (294).

Послѣднія слова свидѣтельствуютъ, съ какой глубиной и благоговѣйной любовью, съ какимъ уваженіемъ относится Тургеневъ къ своей Лизѣ (Это напоминаетъ намъ отношенія Пушкина къ Татьянѣ). Ив ездѣ, всюду въ романѣ Тургеневъ сердцемъ своимъ симпатизируетъ Лизѣ болѣе, чѣмъ кому либо. И въ разногласіяхъ Лизы съ Лаврецкимъ онъ на ея сторонѣ (хоть, можетъ быть, и самъ это не вполнѣ и не всегда сознаетъ).

Разногласія съ Лаврецкимъ... Да, при всемъ сходствѣ сочувствій и антипатій, между героемъ романа и Лизой

есть два существенныхъ разногласія: во-первыхъ, въ религіозныхъ убѣжденіяхъ; во-вторыхъ, въ личныхъ отношеніяхъ того и другаго къ чувству любви и, въ связи съ этимъ, къ своему „я". Примириться съ этими разногласіями Лиза, душа прямая, искренняя и сильная, не хочетъ и не можетъ,—не по эгоизму (его нѣтъ въ ней), а по чувству правды; она или обратитъ Лаврецкаго къ Богу и истинѣ, или разорветъ съ нимъ и не колеблясь разобьетъ свое сердце.

Разница религіозныхъ убѣжденій особенно ясно выражается въ сценѣ посѣщенія Калитиными Лаврецкаго въ его Васильевскомъ. Лаврецкій бесѣдуетъ съ Лизой у пруда. „Помолились вы за меня?" спрашиваетъ онъ.

— Да, я за васъ молилась и молюсь каждый день. А вы, пожайлуста, не говорите легко объ этомъ.

Лаврецкій началъ увѣрять Лизу, что ему это и въ голову не приходило, что онъ глубоко уважаетъ всякія убѣжденія; потомъ онъ пустился толковать о религіи, о ея значеніи въ исторіи человѣчества, о значеніи христіанства...

— Христіаниномъ нужно быть, заговорила не безъ усилія Лиза: не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть.

Лаврецкій съ невольнымъ удивленіемъ поднялъ глаза на Лизу и встрѣтилъ ея взглядъ.

— Какое это вы промолвили слово! сказалъ онъ.

— Это слово не мое, отвѣчала она.

— Не ваше... Но почему вы заговорили о смерти?

— Не знаю. Я часто о ней думаю.

— Часто.

— Да.

— Этого не скажешь, глядя на васъ теперь: у васъ такое веселое свѣтлое лицо, вы улыбаетесь...

— Да, мнѣ очень весело теперь, наивно возразила Лиза" (265).

Какими ничтожными кажутся здѣсь высокопарныя разсужденія Лаврецкаго объ историческомъ, объ относительномъ значеніи религіи вообще и христіанства въ частности, безъ вѣры въ божественность ихъ, ничтожными сравнительно съ простой, до обыденности простой мыслью Лизы, что всякому человѣку надо умереть, что земная жизнь наша коротка и временна. Въ самомъ дѣлѣ, одно изъ двухъ: или нѣтъ Бога и жизни вѣчной—и тогда нечего утѣшать себя исторической значительностью идей и вѣрованій человѣческихъ, а надо придти къ отчаянью, либо къ легкомыс-

ленному наслажденію матеріальными благами дѣйствительности, — или есть безсмертіе души и Богъ есть — и тогда вѣра нужна именно потому, что „каждый человѣкъ долженъ умереть“, что онъ лишь гость въ земной жизни. Лиза вѣритъ, и (высшая нравственная доблесть!) не боится смерти. Вѣчная дума о кончинѣ не мѣшаетъ ей радоваться свѣтлымъ впечатлѣніямъ жизни, быть спокойной и веселой.

Лаврецкій быстро уступаетъ Лизѣ въ дѣлѣ вѣры,—она приводитъ его къ Богу. Когда онъ узналъ о смерти жены и сообщилъ это извѣстіе Лизѣ, она потребовала, чтобы онъ пошелъ въ церковь: „мы вмѣстѣ помолимся (сказала она) за упокой ея души.“ И Лаврецкій на другой день отправился къ обѣднѣ. Онъ увидѣлъ въ церкви Лизу,

„онъ почувствовалъ, что она молилась и за него,—и чудное умиленіе наполнило его душу“,—и онъ „всѣмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и приникъ смиренно къ землѣ. Вспомнилось ему, какъ въ дѣтствѣ онъ всякій разъ въ церкви до тѣхъ поръ молился, пока не ощущалъ у себя на лбу какъ-бы чьего-то свѣжаго прикосновенія; это, думалъ онъ тогда, ангелъ-хранитель принимаетъ меня, кладетъ на меня печать избранія. Онъ взглянулъ на Лизу... „Ты меня сюда привела, подумалъ онъ: коснись же меня, коснись моей души“. Она все такъ-же тихо молилась; лицо ея показалось ему радостнымъ, и онъ умилился вновь, онъ попросилъ другой душѣ—покоя,—своей прощенья“ (286).

Надежды Лизы сбылись: Лаврецкій увѣровалъ, Лаврецкій обратился черезъ нее къ Богу. Правда, это было лишь на время, а потомъ онъ опять вернулся къ своему скептицизму. Но, однако, никакъ нельзя сказать, что молитва его была лишь умиленіемъ и непослѣдовательностью влюбленнаго, „богомольнымъ благоговѣньемъ передъ святыней красоты“. Нѣтъ, онъ молился, какъ вѣрующій христіанинъ, когда просилъ у Бога упокоенія душѣ жены, прощенія своей душѣ.

Гораздо труднѣй было другое дѣло: тяжелѣй было сломить его эгоизмъ.

„Счастье на землѣ зависитъ не отъ насъ“,—сказала Лиза. Въ этихъ словахъ, тоже простыхъ, кроется тотъ глубокій смыслъ, что человѣкъ не долженъ думать о личномъ счастьѣ,—оно придетъ само, если нужно, а наша обязанность—думать и заботиться о томъ, что выше нашего эгоизма. Лиза вѣрна этой идеѣ въ своей любви къ Лаврецкому: въ то время, когда онъ наслаждается своимъ блаженствомъ,

слушая романтическую музыку Лемма, она молится.—Лаврецкій тоже, какъ Лиза, возвышенно смотритъ на любовь и бракъ: онъ правдиво и честно мечтаетъ, что, если бы она была его женою, она бы „воодушевила (его) на честный, строгій трудъ, и (они) пошли бы оба впередъ, къ прекрасной цѣли". Но такая возвышенная мечта у Лаврецкаго отвлечена: на самомъ дѣлѣ въ любви къ Лизѣ онъ ищетъ прежде всего личнаго счастья. Не станемъ подбирать доказательствъ, въ пользу этого соображенія, изъ событій романа (ихъ можно было бы найти довольно много); вспомнимъ только слова самого поэта объ этомъ въ эпилогѣ произведенія; Тургеневъ говоритъ про своего героя:

„совершился, наконецъ, (т. е. черезъ 8 лѣтъ послѣ того, какъ все кончено было въ его отношеніяхъ къ Лизѣ) переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца; онъ, дѣйствительно, пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ цѣляхъ" (365).

Ясно изъ этихъ словъ, что и здѣсь, и въ этой мысли Тургеневъ согласенъ съ Лизой.

Но что же дурного въ счастьѣ честно и искренно любящихъ другъ друга людей? Конечно, ничего. И Лиза счастлива любовью къ Лаврецкому. Но дурно то, когда человѣкъ весь сосредоточивается на мечтахъ объ этомъ счастьѣ, забывая общее, забывая свой долгъ: въ немъ развивается тогда эгоизмъ, а эгоизмъ приводитъ злобу.—Мы и видимъ это въ Лаврецкомъ: параллельно съ любовью къ Лизѣ, въ душѣ его живетъ эгоистическая злоба на жену. Это мучитъ Лизу; она борется съ темнымъ началомъ въ его любви, она отчасти одолѣваетъ это начало; но вполнѣ побѣдить не можетъ,—и здѣсь обнаруживается несостоятельность Лаврецкаго, здѣсь развѣнчиваетъ его Тургеневъ.

Сближеніе Лизы съ Лаврецкимъ съ того и началось, что она указала ему неправду его злобы на жену; онъ-было отвѣтилъ рѣзкимъ возраженіемъ, самолюбиво увѣренный въ правотѣ своего чувства; но потомъ созналъ себя неправымъ,—взволнованный, подошелъ онъ къ Лизѣ и „украдкой шепнулъ ей: „спасибо, вы добрая дѣвушка; я виноватъ..." И ея блѣдное лицо заалѣлось веселой и стыдливой улыбкой". (252). Съ этой минуты и въ его сердце, и въ сердце Лизы закрылась искра взаимной любви.

Но злобное чувство не исчезло изъ души Лаврецкаго: справедливымъ упрекомъ встрѣчаетъ Лиза то полу-радостное выраженіе лица, съ которымъ онъ сообщаетъ ей извѣстіе о смерти Варвары Павловны. Она доводитъ его затѣмъ до прощенія умершей, до признанія своей вины передъ покойницей, до искренней молитвы объ упокоеніи ея души. Но ожесточеніе все-таки не исчезаетъ изъ его сердца; Лаврецкій и самъ ловитъ себя порою на злобномъ чувствѣ: послѣ прочтенія фельетона m-r Jule'a, онъ разослалъ всюду письма, чтобы узнать истину о Варварѣ Павловнѣ, — и тогда

„настали трудныя дни для Ѳедора Ивановича (разсказываетъ поэтъ). Онъ находился въ постоянной лихорадкѣ. Каждое утро отправлялся онъ на почту, съ волненіемъ распечатывалъ письма, журналы,—и нигдѣ не находилъ ничего, что-бы могло подтвердить или опровергнулъ роковой слухъ. Иногда онъ самъ себѣ становился гадокъ: „что это я, думалъ онъ,—жду, какъ воронъ крови, вѣрной вѣсти о смерти жены!“ (286—287).

Когда оказалось, что Варвара Павловна жива, когда она сама пріѣхала въ Россію, Лаврецкій опять возвращается къ злобѣ, даже болѣе,—онъ весь предается гнѣву, презрѣнію, ненависти. Онъ не хочетъ объясненій съ женою, не хочетъ ее видѣть, не хочетъ жить тамъ, гдѣ она живетъ. — Лиза, сама глубоко, невыразимо страдающая (всю безмѣрность ея душевной муки Тургеневъ изумительно изобразилъ въ той трогательной сценѣ, гдѣ Марфа Тимофевна стоитъ передъ Лизой на колѣняхъ, плачетъ и цѣлуетъ ея „бѣдныя, блѣдныя, безсильныя руки“), Лиза опять требуетъ примиренія. Въ сценѣ прощальнаго свиданія съ Лаврецкимъ, она говоритъ ему:

— Вы, Ѳедоръ Иванычъ, должны примириться съ вашей женой.

— Лиза!

— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все, что̀ было. Вы подумаете—и не откажете мнѣ.

— Лиза, ради Бога, вы требуете невозможнаго. Я готовъ сдѣлать все, что̀ вы прикажете; но теперь примириться съ нею!.. Я согласенъ на все, я все забылъ; но не могу же я заставить свое сердце... Помилуйте, это жестоко.

— Я и не требую отъ васъ... того, что̀ вы говорите; не живите съ ней, если вы не можете; но примиритесь,—возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. Вспомните вашу дочку; сдѣлайте это для меня.

— Хорошо, проговорилъ сквозь зубы Лаврецкій: это я сдѣлаю“ (340—341).

Лаврецкій, повидимому; согласился исполнить волю и просьбу Лизы. Но это именно только повидимому: онъ примирился съ Варварой Павловной лишь внѣшнимъ образомъ: онъ лично проводилъ жену въ Лаврики, прожилъ тамъ недѣлю, а затѣмъ навсегда уѣхалъ. Лиза хотѣла не того: она говорила о примиреніи внутреннемъ, душевномъ, настоящемъ. Лаврецкій оказался безсильнымъ на такое святое дѣло, оказался несостоятельнымъ человѣкомъ.

Здѣсь можно возразить, что это не такъ,— что Лаврецкій правъ, и Лиза требовала не только невозможнаго, но и ненужнаго; Варвара Павловна сама вовсе не хочетъ никакого примиренія и не нуждается въ немъ.—Это приводитъ насъ къ характеру Варвары Павловны.

Апол. Григорьевъ, признавая то изумительное искусство, то художественное совершенство, съ которымъ Тургеневъ изобразилъ легкомысліе, чувственность, соединенную съ сантиментальностью, пошлость и пронырливую хитрость Варвары Павловны, находитъ, что поэтъ погрѣшилъ противъ истины, придавши этой женщинѣ въ началѣ романа, когда она еще не вышла замужъ, нѣсколько симпатичныхъ чертъ, заставивши ее любить музыку, понимать игру Мочалова: въ Варварѣ Павловнѣ (находитъ критикъ) не могло быть теплаго искренняго чувства, живой души.

Но Богъ знаетъ,—такъ ли это? дѣйствительно-ли ошибся поэтъ? Если такъ, если передъ нами, абсолютно, пошлая личность, то (не говоря уже о странности увлеченія Лаврецкаго подобной личностью) чѣмъ объяснить пріѣздъ Варвары Павловны въ Россію, ея исканія примиренія съ мужемъ? Поэтъ самъ этого не объясняетъ и оставляетъ насъ потому безъ своего руководства въ разрѣшеніи подобнаго вопроса. Но, руководясь свѣтомъ чистой мысли и чистаго чувства Лизы, мы можемъ предположить, и предположить съ полной достовѣрностью, что Варвару Павловну привело къ мужу какое-то смутное, по всей вѣроятности, безсознательное, неясное, но доброе, хорошее чувство; быть можетъ, она инстинктивно искала нравственнаго возрожденія (поведеніе ея въ домѣ Калитиныхъ, отношенія ея къ Паншину еще не опровергаютъ этого,—они свидѣтельствуютъ только о слабости, о нравственной шаткости Варвары Павловны, объ ея глубокой испорченности); быть можетъ, она хо-

тѣла спасти, при помощи Лаврецкаго, дочь отъ того омута, въ которомъ сама погибла. Во всякомъ случаѣ, Лаврецкій могъ бы сдѣлать попытку истиннаго примиренія, могъ бы „вспомнить дочку", позаботиться о ребенкѣ, ни въ чемъ неповинномъ (чей бы въ дѣйствительности онъ ни былъ). Но онъ такъ не поступилъ, онъ не сдѣлалъ того, что̀ Лиза просила его сдѣлать, во имя ея во имя любви къ ней.

Лаврецкій не смогъ побѣдить чувства злобы и эгоизма,— онъ оказался несостоятельнымъ.

Замѣчательно, однако, что самъ поэтъ этого въ романѣ не высказалъ. Напротивъ, онъ какъ будто не хочетъ развѣнчивать своего героя; онъ говоритъ въ эпилогѣ, что, когда Лаврецкій любовался на радостную жизнь молодого поколѣнія,

„грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было о чемъ, стыдиться—нечего".

Мало того, поэтъ находитъ, что Лаврецкій имѣлъ даже право быть довольнымъ собою:

„онъ сдѣлался, дѣйствительно, хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, на сколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ. (365).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что сознаніемъ, мыслью Тургенѣвъ стоитъ на сторонѣ своего героя, признавая его пострадавшимъ, но не павшимъ. Не можетъ быть, однако, никакого сомнѣнія, что общее впечатлѣніе романа этому противорѣчитъ: чувствуется, что Лавревкій несостоятеленъ, что его развѣнчало сердце поэта; чувствуется, что это великое сердце все на сторонѣ Лизы, на сторонѣ ея нравственнаго, религіознаго идеала.—Да и самое дѣло Лаврецкаго, которое онъ дѣлаетъ въдеревнѣ,—оно, конечно, прекрасно; но оно мало, оно узко для его великихъ силъ: несомнѣнно, что эти силы надорваны, несостоятельны, если онѣ ограничились такою тѣсною для нихъ сферою дѣятельности.

Осталось сказать нѣсколько словъ о Лизѣ; о томъ, чѣмъ она кончила свою молодую, прекрасную, страдальческую жизнь. — Лиза пошла въ монастырь. — Сколько упрековъ сыпалось на нее за это и сколько еще будетъ взводиться на нее обвиненій!

Не станемъ разсматриватъ дѣло по существу (это завело

бы насъ слишкомъ далеко), но сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній.

Такая душа, какъ у Лизы, встрѣтивъ родную себѣ душу, любитъ глубоко, безпредѣльно, безъ сомнѣній и колебаній, привязывается „крѣпко, на всю жизнь". Когда оказалось нужнымъ подавить въ себѣ чувство,—Лиза исполнила то, что̀ считала своимъ долгомъ; но бѣдное сердце ея разбилось. Личная жизнь для нея кончилась.

Говорятъ: если кончилась ея личная жизнь,—зачѣмъ не стала она жить жизнью общей, не стала искать себѣ какого-нибудь дѣла, работать?—Говорящіе такъ забываютъ что любовь Лизы къ Лаврецкому не была простымъ личнымъ, субъективнымъ чувствомъ. Любя человѣка, родственнаго ей по духу, Лиза думала (хотя, можетъ быть, и не сознавала этого отвлеченнаго) выдти съ нимъ на дѣло: вся исторія ея отношеній къ Лаврецкому есть рядъ ея попытокъ поднять его до себя, искоренить изъ его души то, что̀ есть въ ней ложнаго, злого, сдѣлать его способнымъ къ дѣятельности, достойной его великихъ силъ. Попытки ея кончились неудачей,—и разбилось не только ея сердце-разбились и ея надежды другаго рода: лучшій человѣкъ даннаго момента жизни русскаго общества оказался несостоятельнымъ.

Скажутъ: зачѣмъ она одна не пошла на трудъ? не искала себѣ дѣла?—Этотъ вопросъ очень серьезный. Надо думать, что онъ представлялся самому Тургеневу. По крайней мѣрѣ, слѣдующій большой романъ великаго поэта можетъ считаться отвѣтомъ или попыткой отвѣта на этотъ вопросъ. Что это за отвѣтъ — выяснится изъ разбора „Наканунѣ".

Наконецъ, что касается монастыря, то говорящіе противъ подобнаго исхода жизни Лизы забываютъ великое историческое значеніе русскихъ монастырей въ нашей древней исторіи, — монастыри были на Руси объединяющими центрами духовной жизни народа. Въ настоящее время жизнь монастырская въ упадкѣ, стоитъ ниже, чѣмъ стояла прежде; но есть еще обители, которыя сохранили свое древнее значеніе; въ нихъ же мы видимъ и трудъ, и помощь бѣднымъ. Не коснемся здѣсь вопроса (и не время и не мѣсто касаться его): нужны ли монастри, или должна быть

вполнѣ предпочтена имъ жизнь и дѣятельность въ мірѣ? Но замѣтимъ, что Лиза и не задавала себѣ подобныхъ вопросовъ; она шла въ монастырь, когда разбилась и личная и общая ея жизнь, какъ въ мѣсто молитвы и упокоенія.

„Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога,—все кончено, кончена моя жизнь съ вами (сказала Лиза Марѳѣ Тимофевнѣ). Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Васъ мнѣ жаль, жаль мамаши, Леночки; но дѣлать нечего; чувствую я, что мнѣ не житье здѣсь; я уже со всѣмъ простилась, всему въ домѣ поклонилась въ послѣдній разъ; отзываетъ меня что-то: тошно мнѣ, хочется мнѣ запереться на вѣкъ“(356).

4.

«Наканунѣ».

Къ нерадостнымъ заключеніямъ привели два большихъ романа Тургенева: „Рудинъ“ и „Дворянское гнѣздо“. Два „героя времени“, изображенные въ нихъ, два лица, на которыхъ послѣдовательно возлагалъ поэтъ великія надежды, оказались несостоятельными.

„Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду“, сказалъ Рудинъ (III, 124). И дѣйствительно, такъ и случилось.

„Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!“ сказалъ Лаврецкій (III, 366). И этими словами самъ призналъ себя „сошедшимъ съ земнаго поприща“ (какъ выразился про него поэтъ), отжившимъ человѣкомъ въ 45 лѣтъ, отжившимъ преждевременно, потому что не смогъ подняться на высоту своего призванія, своихъ силъ, на ту высоту, куда такъ долго, такъ тщетно звала его Лиза.

Тургеневъ развѣнчалъ обоихъ своихъ героевъ. Но въ немъ самомъ еще жива и сильна была вѣра въ человѣка вообще, въ русскую нашу жизнь въ частности. И какъ было не остаться этой вѣрѣ живою, когда не все поддалось разлагающей силѣ его анализа, когда уцѣлѣли передъ могуществомъ этого анализа два женскихъ образа—Натальи и Лизы. Несостоятельнымъ оказался мужчина; выдержала

строгій и безпощадный судъ поэтической правды русская женщина.

И вотъ въ новомъ романѣ поэта—„Наканунѣ“ — мы видимъ опять великія надежды. Но надежды эти возлагаются теперь на женщину, и она является героиней произведенія.—Наталія и Лиза, высокія нравственно, сильно и благотворно вліявшія на Рудина и Лаврецкаго, хотя и не спасшія ихъ, не стояли, однако, въ романахъ на первомъ планѣ, потому что, по волѣ поэта, имъ не дано было иниціативы: Наталья, когда разочаровалась въ Рудинѣ и когда разбились ея высокія мечты о жизни, вышла замужъ за честнаго, но тупоумнаго Волынцева; Лиза — добровольно сошла съ земнаго поприща, удалилась въ монастырь.

Въ новомъ своемъ романѣ Тургеневъ попробовалъ придать характеру женщины иниціативу. Изъ его творческой фантазіи вышелъ образъ самобытно стремящейся на дѣло— Елены.

Елена, какъ извѣстно, уходитъ изъ русской жизни, не удовлетворившись ею и не найдя въ ней дѣятельности для себя. Это обстоятельство, равно какъ и то, что русская жизнь изображена въ „Наканунѣ“ безъ героя, безъ вождя, безъ руководящей силы, повидимому, свидѣтельствуетъ, что поэтъ отрицательно относится къ нашей дѣйствительности, по крайней мѣрѣ, въ ея настоящемъ, что онъ какъ будто отчаялся въ ней. Онъ заставляетъ дѣйствующихъ лицъ романа произносить суровые приговоры надъ русской жизнью и надъ самими собою.

„Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду!“ (IV, 163).

говоритъ Щубинъ. Съ подобными мыслями соглашается какъ-будто самъ поэтъ. Соглашается онъ какъ-будто даже съ желчнымъ заключеніемъ Инсарова, сказавшаго Еленѣ послѣ посѣщенія ихъ, въ Венеціи, Лупояровымъ, пустымъ болтуномъ и самонадѣяннымъ фразеромъ:

„Вотъ... вотъ ваше молодое поколѣніе! Иной важничаетъ и рисуется, а въ душѣ такой же свистунъ, какъ этотъ господинъ“ (184).

Но, не смотря на все это, не отчаяніе слышится въ общемъ тонѣ романа, а надежда. Недаромъ дано произве-

денію названіе „Наканунѣ“, недаромъ предшествовавшій романъ, „Дворянское гнѣздо,“ окончился исполненнымъ вѣры привѣтомъ молодому поколѣнію русскихъ людей:

„Играйте, веселитесь, ростите, молодыя силы! (говоритъ Лаврецкій)... жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!—а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать“ (III, 365).

Это молодое поколѣніе, къ которому съ такимъ привѣтомъ обратился Лаврецкій, и изображено въ „Наканунѣ“. Оно не выдвинуло изъ своей среды героя, оно оказалось несостоятельнымъ. Но оно такъ полно жизни, жизни прекрасной, даровитой, бойкой, умной, честной; его представители въ романѣ такіе симпатичные люди,—что надежды, положенныя поэтомъ въ основу романа, понятны; понятна его вѣра, что мы „наканунѣ“ появленія настоящихъ дѣльныхъ людей, настоящихъ героевъ.

„О, вы, русскіе... золотыя у васъ сердца!“ (IV, 147).

говоритъ Инсаровъ, говоритъ съ удивленіемъ, съ недоумѣніемъ, потому что ему, состоятельному человѣку и герою, недоступна, совершенно непонятна та душевная высота, на которую могутъ подниматься несостоятельные русскіе Берсеневы и Шубины.

Вѣрой въ будущее Россіи проникнутъ авторъ „Наканунѣ“, и романъ этотъ, изобличающій недостатки родной земли, исполненъ горячей любовью къ родинѣ.

Отсюда двойственность, нѣкоторое непримиренное противорѣчіе въ отношеніяхъ Тургенева къ Еленѣ и къ Инсарову: онъ и сочувствуетъ имъ—и не сочувствуетъ, потому что и развѣнчиваетъ русскую жизнь—и вѣритъ въ нее, въ ея великое будущее. Но объ этомъ потомъ.

Инсаровъ, какъ изображенъ онъ въ романѣ, съ перваго разу вызываетъ нашу симпатію: онъ дѣятель, герой, отдавшій себя общему дѣлу — освобожденію родины. Онъ „частное всегда подчиняетъ общему“ (говоритъ про него Добролюбовъ) и эта „любовь къ общему дѣлу“ даетъ ему „силу спокойно выдерживать отдѣльныя обиды“ (Соч. Добролюбова, III, 339, ст. „Когда же придетъ настоящій день?“).

Онъ спокоенъ, онъ владѣетъ собою, потому что знаетъ— куда идетъ. „У него есть дорога, есть цѣль“. пишетъ Елена

въ своемъ дневникѣ (91); у него есть и вѣра въ свое дѣло, какъ справедливо указываетъ она-же въ письмѣ къ нему (122).

Когда онъ говоритъ о своей родинѣ, онъ (по свидѣтельству Елены)

„ростетъ, ростетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ—онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать“ (90).

Инсаровъ живетъ въ Москвѣ, учится, хлопочетъ о сближеніи русскихъ съ болгарами, переводитъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую для русскихъ (57).—Онъ уважаемъ своими соотечественниками въ Москвѣ, и служитъ связующимъ звеномъ между ними, судитъ ихъ въ ихъ распряхъ, отдавая имъ свое время даже для мелочныхъ ихъ нуждъ:

„То не пустяки, Елена Николаевна, говоритъ онъ, когда свои земляки замѣшаны. Тутъ отказаться грѣхъ... Наше время не намъ принадлежитъ... а всѣмъ, кому въ насъ нужда“ (71).

Онъ готовится къ будущей великой дѣятельности на родинѣ, и когда настала минута этой дѣятельности,—„душа его загорѣлась“, говоритъ поэтъ (155).

Онъ „желѣзный человѣкъ“, по опредѣленію Берсенева,

„и въ то же время... въ немъ есть что-то дѣтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и скрытности“.

Онъ „не застѣнчивъ“, потому что не эгоистъ (55). Онъ правдивъ, „на него положиться можно“,—онъ никогда не лжетъ (90), и ему лгать нельзя: ему „надо всегда говорить правду“ (70); это почувствовала Елена при первомъ-же серьезномъ разговорѣ съ нимъ.

Однимъ словомъ, онъ человѣкъ состоятельный, человѣкъ дѣла. Это сказывается даже въ мелочахъ, напр. въ его поступкѣ съ пьянымъ нѣмцемъ, котораго онъ бросилъ въ воду:

„Сушь, сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своею землею связанъ,—не то, что наши пустые сосуды“ (64).

говоритъ про него Шубинъ. Онъ-же выражается, что у Инсарова „настоящій, живой, жизнью данной идеалъ“ (122).

Берсеневъ

„можетъ быть ученѣе его (пишетъ Елена въ дневникѣ), можетъ быть даже умнѣе... Но, я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій“ (90).

И въ самомъ дѣлѣ, „маленькими“, несостоятельными оказываются передъ Инсаровымъ русскіе люди въ романѣ: Берсеневъ, Шубинъ, не говоря уже о Курнатовскомъ.

Этотъ послѣдній тоже не герой слова, а человѣкъ „практическій“; но имъ управляетъ и руководитъ не возвышенная мысль, даже

„не чувство долга, а просто судебная честность и дѣльность безъ содержанія“ (122).

Берсеневъ,—„будущій посредникъ между наукой и россійскою публикой“, „добросовѣстно - умѣренный энтузіастъ“ (какъ опредѣляетъ его Шубинъ),—очень далекъ отъ настоящаго энтузіазма, отъ восторженнаго увлеченія идеей и жизнью. Онъ узокъ и сухъ. Онъ весь отдался наукѣ; но и въ науку не внесетъ увлеченія, не внесетъ страсти, хоть и любитъ ее, хоть и съ сердечнымъ участіемъ (конечно, умѣреннымъ) написалъ, въ концѣ романа, свои трактаты: „О нѣкоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній“ и „О значеніи городскаго начала въ вопросѣ цивилизаціи“ (191—192).

Человѣкъ умный и живой, Берсеневъ чуждъ, однако, всякой иниціативы, вялъ душою. – Благоговѣйно чтя память своего отца, человѣка оригинальнаго, но отвлеченнаго, „иллюмината, шеллингіанца, стараго геттингенскаго студента, автора рукописнаго сочиненія „о преступленіяхъ или прообразованіяхъ духа въ мірѣ“—сочиненія, въ которомъ шеллингіанизмъ, сведенборгіанизмъ и республиканизмъ смѣшались самымъ оригинальнымъ образомъ“,—Берсеневъ не претендуетъ на бо̀льшее, не мечтаетъ ни о чемъ высшемъ, какъ быть продолжителемъ отца въ дѣлѣ любви и стремленія къ знанію, да еще идти по стопамъ своего уважаемаго профессора Тимоѳея Николаевича:

„Помилуйте (говоритъ онъ Еленѣ), пойти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича... Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ, да... смущеніемъ, котораго... которое происходитъ отъ сознанія моихъ малыхъ силъ“ (20).

Берсеневъ чувствуетъ, чувствуетъ искренно и сердечно,

но тоже вяло. Была минута, когда Елена, любимая имъ дѣвушка, готова была полюбить его,—и онъ догадывался объ этомъ и Шубинъ о томъ-же говорилъ ему; когда они ночью шли отъ Стаховыхъ къ домику Берсенева:

„Повѣрь моимъ словамъ (говорилъ Шубинъ),—такой ночи въ твоей жизни но повторится... Пой, если умѣешь; пой еще громче, если не умѣешь; сними шляпу, закинь голову и улыбайся звѣздамъ. Онѣ всѣ на тебя смотрятъ, на одного тебя: звѣзды только и дѣлаютъ, что смотрятъ на влюбленныхъ людей, — оттого онѣ такъ прелестны. Вѣдь ты влюбленъ, Андрей Петровичъ?. Ты не отвѣчаешь мнѣ... Отчего ты не отвѣчаешь?.. О, если ты чувствуешь себя счастливымъ, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусникъ, артистъ, фигляръ; но какіе безмолвные восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами,—еслибъ я зналъ, что меня любятъ! Берсеневъ, ты счастливъ?“ (28).

И Берсеневъ, дѣйствительно, ощущаетъ нѣчто подобное выражаемому Шубинымъ, сладостное волненіе овладѣваетъ его душою. Пришедши домой,

„болѣе часа (разсказываетъ поэтъ) не отходилъ онъ отъ фортепьяно, много разъ повторяя одни и тѣ же аккорды... Сердце въ немъ ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Онъ не стыдился ихъ: онъ проливалъ ихъ въ темнотѣ. „Правъ Павелъ, думалъ онъ, я предчувствую,— этотъ вечеръ не повторится“ (29).

Но, человѣкъ умѣренный, Берсеневъ нашелъ, что достаточно предаваться чувству,—

„онъ всталъ, зажегъ свѣчку, накинулъ халатъ, досталъ съ полки второй томъ Исторіи Гогенштауфеновъ, Раумера—и, вздохнувъ раза два, прилежно занялся чтеніемъ“ (29).

И то-же повторилось съ нимъ еще разъ, но когда не радость, а печаль овладѣла его душой, когда онъ понялъ, что Елена отвернулась отъ него и стала увлекаться Инсаровымъ. Также взволнованный возвратился онъ домой отъ Стаховыхъ,—

„тайное чувство скрыто гнѣздилось въ его сердцѣ; онъ грустилъ нехорошею грустью. Эта грусть не помѣшала ему, однако (замѣчаетъ поэтъ), взяться за исторію Гогенштауфеновъ и начать читать ее съ самой той страницы, на которой онъ остановился наканунѣ“ (56).

Ты теперь подъ вліяніемъ прозы (сказалъ ему однажды Шубинъ). Спи, и да снятся тебѣ математическія фигуры!“ (65).—Эта добродушно-острая и мѣткая выходка даровитаго

артиста прекрасно опредѣлила не только временное, но постоянное настроеніе души Берсенева опредѣлила его характеръ.

Шубинъ (прямая противоположность Берсеневу, артистъ, даровитый художникъ и увлекающійся человѣкъ) грѣшитъ недостатками другаго рода: онъ вѣтренъ, легкомысленъ, неоснователенъ.

„Я люблю говоритъ (записала Елена въ своемъ дневникѣ про Берсенева и Шубина) съ Андреемъ Петровичемъ: никогда ни слова о себѣ, все о чемъ нибудь дѣльномъ, полезномъ. Не то, что Шубинъ. Шубинъ наряденъ, какъ бабочка, да любуется своимъ нарядомъ: этого бабочки не дѣлаютъ (91).

Самолюбивая жажда счастья, въ самомъ дѣлѣ, владѣетъ душой Шубина, при всемъ эго безпредѣльномъ, дѣтскомъ добродушіи.

„И отъ лѣса, и отъ рѣки, и отъ земли, и отъ неба, отъ всякаго облачка, отъ всякой травки я жду (говоритъ онъ Берсеневу), я хочу счастія, я во всемъ чую его приближеніе, слышу его призывъ. „Мой богъ —богъ свѣтлый и веселый!“ Я было такъ началъ одно стихотвореніе... Счастья, счастья! пока жизнь не прошла, пока всѣ наши члены въ нашей власти, пока мы идемъ не подъ-гору, а въ гору!..

Будто нѣтъ ничего выше счастья?.. (возразилъ ему Берсеневъ). И любовь соединяющее слово; но не та любовь; которой ты теперь жаждешь! не любовь—наслажденіе, любовь—жертва.

Шубинъ нахмурился

— Это хорошо для нѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть нумеромъ первымъ“, сказалъ онъ (9—10).

Онъ любитъ Елену, пламенно жаждетъ ея сочувствія; но въ то же время легкомысленно увлекается пустенькой Зоей, надъ которой самъ-же смѣется.

Елена бесѣдуетъ съ Берсеневымъ объ отцѣ послѣдняго, о философіи Шеллинга...

„Что за охота, помилуйте (перебиваетъ ихъ разговоръ Шубинъ), теперь, въ такую погоду, подъ этими деревьями, толковать о философіи? Давайте лучше говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ.

— Да (съ досадой замѣчаетъ ему Елена), и о французскихъ романахъ, о женскихъ тряпкахъ.

— Пожалуй, и о тряпкахъ (возражаетъ Шубинъ), если онѣ красивы.

— ...Позвольте васъ спросить (говоритъ ему на это Елена), при такомъ образѣ мыслей, зачѣмъ вы нападаете на Зою? Съ ней особенно удобно говорить о тряпкахъ и о розахъ“ (21—22).

Шубинъ обижается на слова Елены, на то, что она отсылаетъ его къ Зоѣ. Но въ тотъ-же вечеръ, провожая Берсенева, онъ сознается своему другу (правда, съ искреннимъ огорченіемъ), что потерялъ теперь надежды на взаимность Елены, между прочимъ потому, что она на-дняхъ застала его „цѣлующимъ руки у Зои".

„У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь дѣлать? У нея плечи такъ хороши.

Плечи?

— Ну, да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этихъ свободныхъ занятій послѣ обѣда, а передъ обѣдомъ я въ ея присутствіи бранилъ Зою. Елена, къ сожалѣнію, не понимаетъ всей естественности подобныхъ противорѣчій" (26).

У Шубина есть увлеченія пожалуй и еще пониже: въ тотъ-же самый вечеръ, тотчасъ послѣ слезъ Шубина о безнадежности своей любви, Берсеневъ становится свидѣтелемъ сцены отношеній своего друга къ Аннушкѣ. Они проходили мимо мелочной лавки; дѣвушка, съ виду горничная, стояла тамъ спиной къ порогу и торговалась съ хозяиномъ.

Шубинъ глянулъ во внутренность лавки, остановился и кликнулъ: Аннушка! Дѣвушка живо обернулась. Показалось, миловидное немножко широкое, но свѣжее лицо, съ веселыми карими глазами и черными бровями.—„Аннушка!" повторилъ Шубинъ. Дѣвушка всмотрѣлась въ него, испугалась, застыдилась—и не кончивъ покупки, спустилась съ крылечка проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла черезъ дорогу, налѣво... а Шубинъ обратился къ Берсеневу со словами: „это... это, вотъ видишь... сутъ есть у меня знакомое семейство... такъ это у нихъ... ты не подумай..." и не докончивъ рѣчи (онъ) побѣжалъ за уходившею дѣвушкой.

— Утри, по крайней мѣрѣ, свои слезы, крикнулъ Берсеневъ, и не могъ удержаться отъ смѣха" (28—29).

Елена совершенно справедливо опредѣлила однажды Шубина ему самому.

„Вы... я побожиться готовъ, не вѣрите въ мое раскаяніе (сказалъ онъ).

— Нѣтъ, Павелъ Яковлевичъ, я вѣрю въ ваше раскаяніе и въ ваши слезы я вѣрю (замѣтила она). Но мнѣ кажется самое ваше раскаяніе васъ забавляетъ, да и слезы тоже".

И въ области своего искусства, которое такъ душевно, такъ искренно любитъ, Шубинъ не удерживается отъ легкомысленныхъ постороннихъ увлеченій.

„Когда же, Боже мой, поѣду я въ Италію? когда... (восклицаетъ онъ въ бесѣдѣ съ Берсеневымъ).

— То-есть, ты хочешь сказать—въ Малороссію? (иронически перебиваетъ тотъ).

— Стыдно тебѣ, Андрей Петровичь, упрекать меня въ необдуманной глупости, въ которой я, и безъ того, горько раскаиваюсь. Ну, да, я поступилъ какъ дуракъ: добрѣйшая Анна Васильевна дала мнѣ денегъ на поѣздку въ Италію, а я отправился къ хохламъ ѣсть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста, перебилъ Берсеневъ.

— И, все-таки, я скажу, что эти деньги не были истрачены даромъ. Я увидалъ тамъ такіе типы, особенно женскіе... Конечно, я знаю: внѣ Италіи нѣтъ спасенія!

— Ты поѣдешь въ Италію, проговорилъ Берсеневъ, не оборачиваясь къ нему,—и ничего не сдѣлаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаемъ мы васъ!“ (12).

И Берсеневъ, если не вполнѣ, такъ отчасти правъ въ этомъ строгомъ приговорѣ и предсказаніи. Шубинъ не учился своему искусству какъ слѣдуетъ: не хватало у него терпѣнья и выдержки; поступилъ было онъ въ университетъ, на медицинскій факультетъ, надѣясь познакомиться съ анатоміей,—но и тутъ бросилъ дѣло на полдорогѣ. И онъ не достигъ въ искусствѣ того, чего можно было-бы ожидать отъ его даровитости. Въ концѣ романа мы видимъ его въ Италіи.

„Шубинъ въ Римѣ (разсказываетъ поэтъ); онъ весь предался своему искусству и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и многообѣщающихъ молодыхъ ваятелей. Строгіе пуристы находятъ, что онъ не довольно изучилъ древнихъ, что у него нѣтъ „стиля“, и причисляютъ его къ французской школѣ; отъ англичанъ и американцевъ у него пропасть заказовъ. Въ послѣднее время много шуму надѣлала одна его Вакханка“ (192).

Шубинъ, этотъ русскій человѣкъ, съ его мѣткимъ юморомъ и остроуміемъ, принадлежитъ къ французской школѣ ваятелей и трудится надъ вакханками!.. Уже и раньше можно было подмѣтить нѣкоторое пренебреженіе его къ народному началу.

„Посмотри на рѣку (говоритъ онъ однажды Берсеневу, въ началѣ романа): она словно насъ манитъ. Древніе греки въ ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожіе скиѳы.

— У насъ есть русалки, замѣтилъ Берсеневъ.

— Поди ты съ своими русалками! На что мнѣ, ваятелю, эти исчадія запуганной холодной фантазіи, эти образы, рожденные въ духотѣ избы, во мракѣ зимнихъ ночей? Мнѣ нужно свѣта, простора...“

Пренебреженіе къ родному народному творчеству не прошло Шубину даромъ и подрѣзало крылья его фантазіи.

Такова параллель между Инсаровымъ, человѣкомъ дѣла, съ одной стороны, и Берсеневымъ и Шубинымъ, несостоятельными русскими людьми, съ другой.

Но посмотримъ и на обратную сторону медали. Исчерпывается ли сказаннымъ внутренній смыслъ дѣла? Нѣтъ, и конечно—нѣтъ.

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что несостоятельные Шубинъ и Берсеневъ вызываютъ въ нашей душѣ непреодолимую симпатію къ себѣ,—даже больше: ихъ нельзя не любить.— И точно также несомнѣнно, что есть въ Инсаровѣ что́-то такое, отталкивающее насъ отъ его героической фигуры.

Прежде всего Берсеневъ и Шубинъ умные, серьезно думающіе, многое понимающіе люди, живущіе сознательно. Романъ начинается чудесными страницами, изображающими дѣльную, прекрасную бесѣду двухъ молодыхъ пріятелей въ полѣ на берегу Москвы-рѣки, бесѣду, сразу рисующую передъ нами ихъ характеры. Они наслаждаются „нѣгой и чистотою воздуха“, отдыхомъ, безпритязательнымъ и неторопливымъ обмѣномъ мыслей.—Оба они заняты красотой природы; но каждый по своему. Одного увлекаютъ глубокіе вопросы объ отношеніи природы и человѣка; другой смотритъ на окружающій міръ эстетически, ищетъ жизни и наслажденія жизнью, и съ этой точки зрѣнія оразумливаетъ дѣйствительность.

„Замѣтилъ ли ты (говоритъ Берсеневъ)... какое странное чувство возбуждаетъ въ насъ природа? Все въ ней такъ полно, такъ ясно, я хочу сказать—такъ удовлетворено собою, и мы это понимаемъ и любуемся этимъ, и въ то же время она, по крайней мѣрѣ во мнѣ, всегда возбуждаетъ какое-то безпокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что̀ это значитъ? Сильнѣе ли сознаемъ мы передъ нею, передъ ея лицемъ, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же намъ мало того удовлетворенія, какимъ она довольствуется, а другаго, т. е. я хочу сказать, того, чего намъ нужно, у нея нѣтъ?

— Гмъ, возразилъ Шубинъ,—я тебѣ скажу, Андрей Петровичь, отчего все это происходитъ. Ты описалъ ощущенія одинокаго человѣка, который не живетъ, а только смотритъ, да млѣетъ. Чего смотрѣть? Живи самъ и будешь молодцомъ. Сколько ты ни стучись природѣ въ дверь, не отзовется она понятнымъ словомъ, потому что она нѣмая. Будетъ звучать и ныть, какъ струна, а пѣсни отъ нея не жди. Живая душа—та отзовется, и по-преимуществу женская душа“.

Природа „будитъ въ насъ потребность любви, и не въ силахъ удовлетворить ее. Она насъ тихо гонитъ въ другія, живыя объятія, а мы ея не понимаемъ и чего-то ждемъ отъ нея самой. Ахъ, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все все вокругъ насъ прекрасно, а ты грустишь; но еслибы въ это мгновеніе ты держалъ въ своей рукѣ руку любимой женщины, еслибъ эта рука и вся эта женщина были твои, еслибъ ты даже глядѣлъ ея глазами, чувствовалъ не своимъ одинокимъ, а ея чувствомъ,—не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы въ тебѣ природа, и не сталъ бы ты замѣчать ея красоты; она бы сама радовалась и пѣла, она бы вторила твоему гимну, потому что ты въ нее, въ нѣмую, вложилъ бы тогда языкъ.

— ...Я не совсѣмъ согласенъ съ тобою (началъ Берсеневъ): не всегда природа намекаетъ намъ на... любовь (Онъ несразу произнесъ это слово). Она также грозитъ намъ; она напоминаетъ о страшныхъ... да о недоступныхъ тайнахъ. Не она ли должна поглотить насъ, не безпрестанно ли она поглащаетъ насъ? Въ ней и жизнь, и смерть; и смерть въ ней такъ же громко говоритъ, какъ и жизнь [1]).

— И въ любви жизнь и смерть, перебилъ Шубинъ“ (7—9).

Артистъ, ваятель, Шубинъ обсуждаетъ природу и съ своей спеціальной точки зрѣнія, задумывается и надъ своимъ искусствомъ. Берсеневъ упрекнулъ его, что онъ холоденъ къ красотамъ окружающаго ихъ вида:

„Тебѣ бы еще больше меня слѣдовало восхищаться всѣмъ этимъ. Это по твоей части...

— Нѣтъ-съ; это не по моей части-съ, возразилъ Шубинъ, и надѣлъ шляпу на затылокъ.—Я мясникъ-съ; мое дѣло мясо, мясо лѣпить, плечи, ноги, руки, а тутъ и формы нѣтъ законченности нѣтъ, разъѣхалось во всѣ стороны... Пойди, поймай!

— Да вѣдь и тутъ красота, замѣтилъ Берсеневъ.—Кстати, кончилъ ты свой барельефъ?

— Какой?

— Ребенка съ козломъ?

— Къ чорту, къ чорту, къ чорту! воскликнулъ на-распѣвъ Шубинъ.— Посмотрѣлъ на настоящихъ, на стариковъ, на антики, да и разбилъ свою чепуху. Ты указываешь мнѣ на природу и говоришь: „И тутъ красота“. Конечно, во всемъ красота, даже и въ твоемъ носѣ красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики—тѣ за ней и не гонялись; она сама сходила въ ихъ созданія, откуда—Богъ вѣсть, съ неба, что ли. Имъ весь міръ принадлежалъ; намъ такъ широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываемъ удочку на одной точечкѣ, да и караулимъ. Клюнетъ, браво! а не клюнетъ...

Шубинъ высунулъ языкъ“ (3—4).

---

[1]) „Здѣсь кстати можно замѣтить, какъ рано въ Тургеневѣ зашевелилось чувство, которое подъ старость сдѣлалось въ немъ преобладающимъ. Это чувство—страхъ смерти. (Гр. К.).

Впечатлительный, чуткій, Шубинъ присматривается ко всему окружающему; съ особеннымъ вниманіемъ и волненіемъ, какъ лично заинтересованный, слѣдитъ онъ за Инсаровымъ, и по первому почти впечатлѣнію вѣрно и точно опредѣлилъ его. „Слушай", говорилъ онъ Берсеневу, къ которому пришелъ для этого ночью, „украдкой, какъ Максъ къ Агатѣ" (по его выраженію), говорилъ, опираясь съ улицы на оконницу, ибо „этакъ веселѣе, по его словамъ, болѣе на Испанію похоже".

„слушай: вотъ формулярный списокъ господина Инсарова. Талантовъ никакихъ, поэзіи нема, способностей къ работѣ пропасть, память большая, умъ не разнообразный и не глубокій, но здравый и живой; сушь и сила, и даже даръ слова когда рѣчь идетъ объ его, между нами сказать, скучнѣйшей Болгаріи" (64).

Остроуміе Шубина,—мы видѣли выше его примѣры, ихъ можно было-бы привести еще не мало,—бьетъ ключемъ какъ родникъ живой и неизсякаемый, и невольно покоряетъ, невольно очаровываетъ насъ своимъ неподдѣльнымъ блескомъ, проявляясь на каждомъ шагу: и въ дружескихъ разговорахъ съ Берсеневымъ, и когда онъ дразнитъ своего инаго рода друга—Увара Ивановича, или Стахова, или его Августину Христіановну.

Живой и подвижный, способный сильно чувствовать и даже страдать отъ нераздѣленнаго чувства, Шубинъ, однако, болѣе наклоненъ видѣть свѣтлую и изящную сторону жизни.

„Смѣйся! я пришелъ сюда (говоритъ онъ Берсеневу), потому что я готовъ локти себѣ кусать, потому что отчаяніе меня грызетъ, досада, ревность... Да что толковать! Кончится тѣмъ, что я буду все смѣяться, дурачиться, ломаться, какъ она говоритъ, а тамъ возьму да удавлюсь.

— Ну, удавиться ты не удавишься, замѣтилъ Берсеневъ.

Въ такую ночь, конечно, нѣтъ; но дай только дожить до осени. Въ такую ночь люди умираютъ тоже, только отъ счастья. Ахъ, счастье! Каждая вытянутая черезъ дорогу тѣнь отъ дерева, такъ, кажется, и шепчетъ теперь: „Знаю я, гдѣ счастье... Хочешь скажу?". (65).

„Ты знаешь-ли", говорилъ Шубинъ Берсеневу другой разъ.

„трагически нахмуривъ брови,—что я уже пробовалъ пить?

— Врешь?!

— Пробовалъ, ей-Богу, возразилъ Шубинъ, и вдругъ осклабился и просвѣтлѣлъ,—да невкусно, братъ, въ горло не лѣзетъ, и голова потомъ какъ барабанъ" (113).

Что-то дѣтски чистое и наивное слышится въ этихъ словахъ.

Еще больше, чѣмъ умомъ, возбуждаютъ въ насъ сочувствіе къ себѣ оба друга сердцемъ, возвышенностью, благородствомъ, чистотою своего чувства.

Самъ любя Елену, Берсеневъ, безъ всякаго злаго чувства служитъ посредникомъ между нею и Инсаровымъ, когда это стало необходимо, лишь съ нѣкоторой горечью подсмѣиваясь надъ собою, что ужь такова судьба его быть всегда и вездѣ только „посредникомъ".—Онъ самоотверженно ходитъ за больнымъ Инсаровымъ, можно сказать спасаетъ его отъ смерти.—Елена чувствуетъ всю безмѣрность его великодушія, когда за все, что онъ сдѣлалъ для нея и для любимаго ею человѣка, цалуетъ его руку. А Инсаровъ совсѣмъ пораженъ его образомъ дѣйствій, его забвеніемъ своихъ личныхъ интересовъ. Когда онъ узнаетъ отъ Елены, что Берсеневъ любитъ ее, онъ говоритъ въ недоумѣніи:

„О, вы, русскіе... золотыя у васъ сердца! И онъ, онъ ухаживалъ за мной, онъ не спалъ ночи"... (147).

Таковъ-же и Шубинъ. Болѣе проницательный, какъ талантливый человѣкъ, чѣмъ Берсеневъ, онъ замѣчаетъ въ Инсаровѣ ложныя и комическія черты; но онъ великодушно признаетъ въ своемъ соперникѣ и большія достоинства. Вспомнимъ сдѣланный имъ для Елены бюстъ Инсарова; поэтъ говоритъ про этотъ бюстъ:

„Черты лица были схвачены Шубинымъ вѣрно до малѣйшей подробности, и выраженіе онъ имъ придалъ славное: честное, благородное и смѣлое.

Берсеневъ пришелъ въ восторгъ.

— Да это просто прелесть! воскликнулъ онъ. Поздравляю тебя! Хоть на выставку" (111).

Когда Елена уже повѣнчалась съ Инсаровымъ и ѣдетъ съ нимъ въ Болгарію, Шубинъ ведетъ скорбную бесѣду объ этомъ съ Уваромъ Ивановичемъ. Онъ выражаетъ сожалѣніе о болѣзни Инсарова.

„Я его видѣлъ на-дняхъ (говоритъ онъ). Лицо, хоть сейчасъ лѣпи съ него Брута... Вы знаете—кто былъ Брутъ, Уваръ Ивановичь?

— Что знать? человѣкъ.

— Именно: „человѣкъ онъ былъ“. Да, лицо, чудесное, а нездоровое, очень нездоровое...

... А вѣдь ей съ нимъ пожить захочется.

— Дѣло молодое, отозвался Уваръ Ивановичь.

— Да, молодое, славное, смѣлое дѣло. Смерть, жизнь, борьба, паденіе, торжество, любовь, свобода, родина.... Хорошо, хорошо. Дай Богъ всякому! Это не то, что сидѣть по горло въ болотѣ, да стараться показывать видъ, что тебѣ все равно, когда тебѣ дѣйствительно, въ-сущности, все равно. А тамъ—натянуты струны, звени на весь міръ или порвись!

Шубинъ уронилъ голову на грудь.

— Да, продолжалъ онъ, послѣ долгаго молчанія,—Инсаровъ ея стóитъ“ (161—162).

Здѣсь Шубинъ, отдавая Инсарову должное, впадаетъ даже въ преувеличеніе, въ идеализацію, въ излишекъ самоосужденія (что впрочемъ, тотчасъ-же сознаетъ).

Способность къ самоосужденію, свойственная русскому человѣку, въ немъ очень сильна, при всей его вѣтренности. Въ немъ, въ сущности, такъ-же много смиренія, какъ и въ Берсеневѣ. Лѣпя каррикатуру на Инсарова, онъ вылѣпилъ еще гораздо болѣе злую на себя; онъ изобразилъ себя, въ группѣ съ Аннушкой, «испитымъ исхудалымъ жуиромъ, съ ввалившимися щеками, съ безсильно висящими косицами жидкихъ волосъ, съ безсмысленнымъ выраженіемъ въ погасшихъ глазахъ». «Будущность художника Павла Яковлева Шубина». предложилъ онъ Берсеневу надпись къ этой группѣ.

„Перестань (справедливо возразилъ Берсеневъ). Стоило терять время на такую... Онъ не тотчасъ подобралъ подходящее слово.

— Гадость? хочешь ты сказать. Нѣтъ, братъ, извини, ужь коли чему на выставку идти, такъ этой группѣ.

— Именно гадость, повторилъ Берсеневъ. Да и чтò за вздоръ? Въ тебѣ вовсе нѣтъ тѣхъ залоговъ подобнаго развитія, которыми до сихъ поръ, къ несчастію, такъ обильно одарены наши артисты. Ты, просто, наклеветалъ на себя.

— Ты полагаешь? мрачно проговорилъ Шубинъ“ (112—113).

Таковы два главныхъ русскихъ лица въ романѣ. Одинъ является представителемъ умственной стороны жизни нашего общества, другой выражаетъ собою творческія силы этого общества, его отзывчивость на жизнь и на красоту.—Оба героя, повторяемъ, несостоятельны; но оба они въ высшей степени симпатичны, оба стоятъ высоко въ умственномъ и

нравственномъ отношеніи, и вовсе не вызываютъ мысли о безотрадномъ состояніи русской дѣйствительности; напротивъ, скорѣй возбуждаютъ надежды на будущее.—Имъ совершенно соотвѣтствуютъ и тѣ второстепенныя лица, которыя изображены въ романѣ какъ фонъ картины: Стаховы Уваръ Иванычь. Мать Елены, Анна Васильевна,—„курица", какъ ее добродушно-иронически назвалъ Шубинъ, но добрѣйшее существо, безконечно любящее дочь. Мужъ ея, Стаховъ, очерченъ очень комическими чертами, какъ человѣкъ, дѣйствительно, пустой, нелѣпый и себялюбивый; но, въ концѣ концовъ, и онъ оказывается любящимъ отцомъ и добрымъ человѣкомъ, способнымъ все простить и примириться.—Уваръ Ивановичь... но это лице играетъ въ произведеніи очень важную роль, и о немъ послѣ.

Обратимся теперь къ Инсарову. Сравнимъ его въ умственномъ отношеніи съ Берсеневымъ и Шубинымъ. Уменъ онъ или нѣтъ?

Замѣчательно, что Елена записала про него въ дневникѣ слѣдующее:

„Мнѣ хочется знать, что̀ у него тамъ въ душѣ? Онъ, кажется, такъ открытъ, такъ доступенъ, а мнѣ ничего не видно" (стр. 89).

Что это значитъ? Глубокъ Инсаровъ очень, или скрытенъ по характеру? Нѣтъ, конечно, ни то, ни другое.

Не менѣе замѣчательно, что то-же самое, что Елена, только въ иныхъ, конечно, формахъ, сказалъ про Инсарова критикъ „Наканунѣ" Добролюбовъ:

„Мы изъ повѣсти мало узнаемъ его какъ человѣка; его внутренній міръ недоступенъ намъ; для насъ закрыто, что̀ онъ дѣлаетъ, что̀ думаетъ, чего надѣется, какія испытываетъ перемѣны въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событій, на жизнь, несущуюся передъ его глазами" (Соч. III, 332—333).

Критикъ объясняетъ дѣло—виною Тургенева, блѣдностью сдѣланнаго поэтомъ очерка Инсарова. Но гораздо проще объяснить это обстоятельство инымъ путемъ: если мы мало узнаемъ изъ романа о внутреннемъ мірѣ Инсарова, если мало узналъ объ этомъ, всегда такъ чудесно рисующій внутреннюю жизнь своихъ героевъ, Тургеневъ, — то это потому, что и узнавать было нечего. Инсаровъ, просто, очень ограниченъ, даже тупъ. Никакихъ признаковъ сколь-

ко-нибудь живаго ума мы въ немъ не видимъ, и напротивъ— видимъ признаки инаго рода. У него нѣтъ, напримѣръ, отвлеченныхъ умственныхъ интересовъ: онъ занимается науками, образованіемъ только съ чисто-практическою цѣлью. На другой день послѣ переселенія его въ Кунцово

„Берсеневъ зашелъ къ нему и потолковалъ съ нимъ о Фейербахѣ. Инсаровъ слушалъ его внимательно, возражалъ рѣдко, но дѣльно; изъ возраженій его видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ: нужно ли ему заняться Фейербахомъ, или же можно обойтись безъ него“.

Онъ чрезвычайно упрямъ и прямолинеенъ. Онъ, говоритъ поэтъ,

„никогда не мѣнялъ никакого своего рѣшенія... Берсеневу, какъ коренному русскому человѣку, эта, болѣе чѣмъ нѣмецкая, аккуратность сначала казалась нѣсколько дикою, немножко даже смѣшною“ (57).

Берсеневъ понимаетъ, что Инсарову и предлагать нельзя жить на дачѣ у пріятеля безплатно.—Упрямство выражается и въ мелочахъ. Переѣхавъ къ Берсеневу, онъ, разсказываетъ поэтъ,

„особенно долго возился... съ письменнымъ столомъ, который никакъ не хотѣлъ помѣститься въ назначенный для него простѣнокъ; но Инсаровъ, со свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего“ (56).

Время свое онъ дѣлитъ педантически аккуратно. Шубинъ предложилъ Берсеневу и Инсарову посвятить день прогулкѣ. Они согласились и отправились по берегу Москвы-рѣки.

„Инсаровъ выступалъ не спѣша, глядѣлъ, дышалъ, говорилъ и улыбался спокойно: онъ отдалъ этотъ день удовольствію и наслаждался вполнѣ. „Благоразумные мальчики такъ гуляютъ по воскресеньямъ“, шепнулъ Шубинъ Берсеневу на ухо“ (59—60).

Когда Елена полюбила его, когда это замѣтили давно и Шубинъ, и Берсеневъ, онъ, самъ любившій ее, ни о чемъ не подозрѣваетъ, и не по смиренію (смиренія въ немъ совсѣмъ нѣтъ), а просто по отсутствію всякой проницательности, малѣйшей способности видѣть душу другаго человѣка. Онъ очень удивился, когда Елена открыла ему свое чувство.

Онъ не умѣетъ отличить важнаго отъ мелочнаго: бросаніе нѣмца въ воду въ Царицынѣ представляется ему ка-

кимъ-то подвигомъ,—слишкомъ ужь онъ серьезно отнесся къ этому событію; для него совсѣмъ не существуетъ черты смѣшнаго, въ немъ вовсе нѣтъ юмора. Вотъ почему Шубинъ и смѣется:

„Ну, какъ же не герой: въ воду пьяныхъ нѣмцевъ бросаетъ“ (86).

И замѣчательно, что не одинъ Шубинъ, — надъ этимъ подсмѣялся и Добролюбовъ, критикъ вообще, какъ извѣстно, сочувствующій Инсарову, подсмѣялся въ статьѣ о „Грозѣ“ Островскаго, гдѣ, вопреки своей прежней статьѣ о „Наканунѣ“, развѣнчиваетъ Инсарова.

Ядовито, но правдиво изобразилъ его Шубинъ въ одной своей статуэткѣ:

„Злѣе и остроумнѣе невозможно было ничего придумать (говоритъ Тургеневъ). Молодой болгаръ былъ представленъ бараномъ, поднявшимся на заднія ножки и склоняющимъ рога для удара. Тупая важность, задоръ, упрямство, неловкость, ограниченность—такъ и отпечатались на физіономіи „супруга овецъ тонкорунныхъ“, и между тѣмъ сходство было до того поразительно, несомнѣнно, что Берсеневъ не могъ не расхохотаться“ (111).

Торжество „вѣчнаго, чистаго искусства“ (113), сказалось въ этой статуэткѣ, какъ и въ группѣ, въ которой Шубинъ обличилъ самого себя, торжество надъ глупостью и надъ зломъ.

Еще менѣе симпатиченъ Инсаровъ со стороны нравственной, чѣмъ со стороны умственной.—Злоба есть одинъ изъ самыхъ характерныхъ его признаковъ. Она проявилась, напримѣръ, когда онъ бросилъ пьянаго нѣмца въ воду: „что̀-то недоброе, что-то опасное выступило у него“ тогда „на лицѣ“, говоритъ поэтъ (84).—Это смутило Елену:

„она очень испугалась въ первую минуту; потомъ ее поразило выраженіе его лица; потомъ она все размышляла“ (85).

И вотъ къ какимъ соображеніямъ привели ее эти размышленія; она записала въ дневникѣ:

„Долго не забуду я вчерашней поѣздки. Какія странныя, новыя, страшныя впечатлѣнія! Когда онъ вдругъ взялъ этого великана и швырнулъ его, какъ мячикъ, въ воду, я не испугалась... но онъ меня испугалъ. И потомъ—какое лице зловѣщее, почти жестокое! Какъ онъ сказалъ: выплыветъ! Это меня перевернуло. Стало быть я его не понимала. И потомъ, когда всѣ смѣялись, когда я смѣялась, какъ мнѣ было больно за него!.. Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. Но

къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; онъ не согласился съ Д. Кто изъ нихъ правъ?" (стр. 92).

Злобу вноситъ Инсаровъ и въ чистое дѣло любви къ родинѣ и освобожденія ея, злобу и месть. И личная месть дорога̀ ему; мечту о ней лелѣетъ онъ въ сердцѣ, и только на-время частное его дѣло отступило на задній планъ передъ общимъ.—Елена спрашиваетъ его—встрѣтился ли онъ, когда ѣздилъ на родину, „съ тѣмъ человѣкомъ..." (она намекаетъ на убійцу его отца):

„Елена Николаевна, началъ онъ... и голосъ его былъ тише обыкновеннаго, что̀ почти испугало Елену: я понимаю, о какомъ человѣкѣ вы сейчасъ упомянули. Нѣтъ, я не встрѣтился съ нимъ, и слава Богу. Я не искалъ его. Я не искалъ его не потому, чтобъ я не почиталъ себя въ-правѣ убить его,—я бы очень спокойно убилъ его,—но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ о народномъ, общемъ отмщеніи... или нѣтъ, это слово не годится... когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ... И то не уйдетъ, повторилъ онъ и покачалъ головой" (72).

Въ продолжающемся затѣмъ разговорѣ о Болгаріи, Инсаровъ, обѣщая Еленѣ познакомить ее съ исторіей своего народа, говоритъ:

„Я увѣренъ, вы полюбите насъ: вы всѣхъ притѣсненныхъ любите Если-бы вы знали, какой нашъ край благодатный! А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ, подхватилъ онъ съ невольнымъ движеніемъ руки, и лицо его потемнѣло: — у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ...

— Дмитрій Никанорычь! воскликнула Елена.

Онъ остановился.

Извините меня. Я не могу говорить объ этомъ хладнокровно" (73).

Инсаровъ выразился-бы точнѣе, если-бы сказалъ: не могу говорить безъ злобы и ненависти. Очевидно, что эта ненависть и испугала Елену. И ясно, что Инсарову совсѣмъ непонятна, для него вполнѣ недоступна мысль поэта объ освободителѣ своей родины: „Только чистый можетъ святое дѣло честно совершить" [1]). Чистоты духа въ Инсаровѣ нѣтъ.

---

[1]) „Кузьма Захарьичь Мининъ-Сухорукъ", А. Н. Островскаго.

Здѣсь открывается передъ нами еще одна темная черта его нравственнаго образа: перевѣсъ въ немъ, ощутительный, несомнѣнный перевѣсъ тѣла надъ духомъ. Есть въ немъ что-то грубо животное, чувственное. — Онъ положительно отталкиваетъ насъ отъ себя въ той сценѣ съ Еленой, когда она, любящая его, радостная, счастливая, что онъ выздоравливаетъ, пришла къ нему. Она начала говорить ему о Шубинѣ, о Курнатовскомъ, о томъ, что она дѣлала во время его болѣзни...

„Онъ слушалъ ее (разсказываетъ поэтъ), слушалъ, то блѣднѣя, то краснѣя... онъ нѣсколько разъ хотѣлъ остановить ее, и вдругъ выпрямился.

— Елена, сказалъ онъ ей какимъ-то страннымъ и рѣзкимъ голосомъ,—оставь меня, уйди.

— Какъ? промолвила она съ изумленіемъ. Ты дурно себя чувствуешь? прибавила она съ живостью.

— Нѣтъ... мнѣ хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты дѣлаешь? проговорила она вдругъ: онъ склонился съ дивана почти до полу, и приникъ губами къ ея ногамъ.—Не дѣлай это, Дмитрій... Дмитрій..

Онъ приподнялся.

— Такъ оставь меня! Вотъ видишь ли, Елена, когда я сдѣлался боленъ, я не тотчасъ лишился сознанія; я зналъ, что я на краю гибели; даже въ жару и въ бреду я понималъ, я смутно чувствовалъ, что это смерть ко мнѣ идетъ, я прощался съ жизнью, съ тобой, со всѣмъ, я разставался съ надеждой... И вдругъ это возрожденіе, этотъ свѣтъ послѣ тьмы, ты... ты... возлѣ меня, у меня... твой голосъ, твое дыханіе... Это свыше силъ моихъ! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвѣчаю... Уйди!

...Зачѣмъ ты пришла ко мнѣ теперь, когда я слабъ, когда я не владѣю собою, когда вся кровь моя зажжена... ты моя, говоришь ты... ты меня любишь... (148—149).

Инсаровъ напрасно сваливаетъ съ больной головы на здоровую,—съ себя на болѣзнь, на слабость. То-же самое тупоумно-чувственное начало мы видимъ въ немъ и раньше болѣзни, въ первое посѣщеніе его Еленой. Онъ не ожидалъ того посѣщенія; онъ глядѣлъ на Елену какъ очарованный...

„Сядь же, проговорила она, не поднимая на него глазъ, и указывая ему на мѣсто возлѣ себя.

Инсаровъ сѣлъ, но не на диванъ, а на полъ у ея ногъ.

— На, сними съ меня перчатки, промолвила она неровнымъ голосомъ. Ей становилось страшно.

Онъ принялся сперва растегивать, потомъ стаскивать одну перчатку,

стащилъ ее до половины, и жадно прильнулъ губами къ забѣлѣвшей подъ нею тонкой и нѣжной кисти.

Елена вздрогнула и хотѣла отслонить его другой рукой, онъ началъ цѣловать другую руку. Елена потянула ее къ себѣ, онъ откинулъ голову, она посмотрѣла ему въ лицо, нагнулась—и губы ихъ слились...

Прошло мгновеніе... Она вырвалась, встала, шепнула: „нѣтъ, нѣтъ“ и быстро подошла къ письменному столу.

Вѣдь я здѣсь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны, проговорила она, стараясь казаться безпечной и становясь къ нему спиной. —Сколько бумагъ! Это что̀ за письма?

Инсаровъ наморщилъ брови.—Эти письма? промолвилъ онъ, вставая съ полу.—Ты можешь ихъ прочесть“ (125).

Очевидно, Инсаровъ не понимаетъ чистаго чувства, и Шубинъ вдвойнѣ правъ, изобразивши его въ животномъ образѣ барана.

Таковъ въ „Наканунѣ“ состоятельный человѣкъ и герой, долженствующій посрамить собою, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, недѣятельныхъ и не несостоятельныхъ русскихъ людей.—Отношенія Тургенева къ нему, къ этому герою, къ Инсарову, видимо объективны, безпристрастны. Но несомнѣнно чувствуется въ романѣ, что сердце поэта гораздо больше лежитъ къ Шубину и къ Берсеневу, чѣмъ къ этому человѣку.

Инсарова любитъ Елена. Передъ нимъ она преклоняется, за нимъ идетъ она, покидая и родину и семью.—Что̀-же за человѣкъ Елена?

Она—удивительное, странное явленіе тургеневскаго творчества, съ художественной точки зрѣнія. Это едва-ли не самый блѣдный рисунокъ во всей поэзіи великаго писателя. Вы не представите ее себѣ такъ ясно, какъ, напримѣръ, Лизу „Дворянскаго гнѣзда“, какъ Зою (въ „Наканунѣ“), какъ Рудина, какъ Берсенева, Шубина и другихъ: есть что̀-то не то недовершенное, не то выдуманное, а не созданное въ ея лицѣ. Но все могущество тургеневской поэзіи сказалось, однако, въ очеркѣ Елены: поэтъ придалъ ей живыя, реальныя чувства (вспомнимъ, напримѣръ, удивительно поэтическую сцену ея счастья, истомы счастья послѣ объясненія съ Инсаровымъ въ часовнѣ, и особенно самое это объясненіе; вспомнимъ ея слезы радости и успокоенія послѣ того, какъ Берсеневъ сообщилъ ей, что опасность миновала для Инсарова, и т. д.); поэтъ придалъ ей жизнен-

ныя человѣческія мысли и порывы воли,—и мы вправѣ потому говорить и судить о ней, какъ о живомъ, реальномъ человѣкѣ.

Вотъ главныя черты, которыми Тургеневъ характеризуетъ Елену:

„Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной, въ голосѣ тихомъ и неровномъ, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словомъ — что-то такое, что не могло всѣмъ нравиться, что даже отталкивало иныхъ... Она росла очень странно; сперва обожала отца, потомъ страстно привязалась къ матери, и охладѣла къ обоимъ, особенно къ отцу... Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала „вовѣки-вѣковъ"; требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали, самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человѣку потерять ея уваженіе,—а судъ она произносила скоро, часто слишкомъ скоро, — и ужь онъ переставалъ существовать для нея. Всѣ впечатлѣнія рѣзко ложились въ ея душу; не легко давалась ей жизнь.

Елена охотно, съ раннихъ лѣтъ, читала,

„но чтеніе одно ея не удовлетворяло: она съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра; нищіе, голодные, больные ее занимали тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала объ нихъ своихъ всѣхъ знакомыхъ".

Еще ребенкомъ познакомилась она и даже подружилась сь нищей дѣвочкой Катей; Катя все говорила о томъ, какъ она убѣжитъ „отъ мучавшей" ее тетки, и „какъ будетъ жить на всей Божьей волѣ":

„съ тайнымъ уваженіемъ и страхомъ внимала Елена этимъ невѣдомымъ новымъ словамъ".

Она скрыла отъ родныхъ свое сближеніе съ Катей — и чувствовала, что

„скорѣе позволитъ растерзать себя на части, чѣмъ выдастъ свою тайну".

Родительская власть никогда надъ ней не тяготѣла; а съ 16-ти лѣтняго возраста (въ романѣ ей 20-й годъ), „она стала почти совсѣмъ независима":

„она зажила собственною, своею жизнью, но жизнью одинокою. Ея душа и разгоралась, и погасала одиноко; она билась какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было: никто не стѣснялъ ея, никто ея не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ. „Какъ жить безъ любви? а любить некого!" думала она и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ

этихъ ощущеній... Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи. Потомъ она утихала даже смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ; но внезапно что-то сильное, безъимянное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталыя, не взлетѣвшія крылья; но эти порывы не обходились ей даромъ".

Мы видимъ такимъ образомъ, что главное свойство Елены, главная черта ея характера—стремленіе къ дѣятельности, жажда дѣла. Это начало иниціативы и отличаетъ ее отъ Лизы „Дворянскаго гнѣзда", отличаетъ, какъ кажется выгодно, въ ея пользу.—Лиза стоитъ безусловно высоко, вся преданная религіозному идеалу: она одинаково полно живетъ и мыслью, и сердцемъ, и въ душѣ ея свѣтлая гармонія; но недостатокъ иниціативы могъ сказаться страшно въ ея судьбѣ: не будь Лаврецкаго, и кто знаетъ—можетъ быть она, кротко и терпимо относящаяся къ людямъ, вышла бы за Паншина и сокровища своей душевной чистоты и силы принесла бы въ жертву человѣку безъ сердца и безъ души; можетъ быть, конечно, Паншинъ поддался бы ея свѣтлому вліянію и переродился (что, впрочемъ, очень сомнительно); но даже въ этомъ счастливомъ случаѣ все-таки пришлось-бы пожалѣть о недостойномъ примѣненіи великой нравственной силы. Съ Еленой этого-бы не случилось.

Но есть въ Еленѣ другое, что̀ заставило поэта развѣнчать ее, что̀, какъ ложь, отравило ея жизнь и убило ее, что̀ ставитъ ее безконечно ниже Лизы.

Стремясь къ своему неясному, но заманчивому идеалу, всѣмъ сердцемъ желая дѣятельности, Елена инстинктивно ищетъ человѣка, который бы всей душою былъ преданъ дѣлу, вѣрилъ въ это дѣло и въ себя и энергически шелъ къ цѣли, былъ-бы сильный человѣкъ, герой. Елена подала бы ему свою руку и пошла бы за нимъ.

Одно время мысль и сердце ея остановились на Берсеневѣ и она близка была къ тому, чтобы полюбить его. Шубинъ думаетъ (хотя она сама это отрицаетъ), что была прежде минута, когда и къ нему тяготѣло ея сердце. Но во всякомъ случаѣ она скоро разочаровалась въ обоихъ,—и вниманіе ея остановилось на Инсаровѣ. Онъ, съ его страстной идеей освобожденія родины, занялъ всю ея душу, и она его полюбила; а полюбивши, она рѣшилась твердо и

неизмѣнно пойти за нимъ всюду, на жизнь и смерть. Она преклонилась передъ нимъ, потому что

„онъ лучше меня! (записала она въ дневникѣ) Онъ спокоенъ, а я въ вѣчной тревогѣ; у него есть дорога, есть цѣль,—а я, куда я иду? гдѣ мое гнѣздо?“ (91).

Быстрая и рѣшительная, Елена сама первая открыла свою душу Инсарову, когда тотъ, по крайней простотѣ своего ума, хотѣлъ-было бѣжать отъ овладѣвшаго его сердцемъ чувства.—Я пойду за тобой, говоритъ она Инсарову,

„всюду, на край земли. Гдѣ ты будешь, тамъ я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на нашъ бракъ? (спрашиваетъ онъ).

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?

— Знаю.

— Что я не русскій, что мнѣ не суждено жить въ Россіи, что тебѣ придется разорвать всѣ твои связи съ отечествомъ, съ родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь также, что я посвятилъ себя дѣлу трудному, неблагодарному, что мнѣ... что намъ придется подвергаться не однимъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію быть можетъ?

— Знаю, все знаю... Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ, что тамъ, одна, между чужими, ты, можетъ быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.—Я люблю тебя мой милый“ (105—106).

Вѣрная своимъ словамъ и своему рѣшенію, Елена дѣйствительно идетъ за Инсаровымъ, идетъ съ нимъ „на дѣло“, разрывая со всѣмъ, что̀ ей дорого, всѣмъ жертвуя тому, что̀ считаетъ истиной.

Мы видѣли, какъ Шубинъ высоко ставитъ и ее, и ея поступокъ въ разговорѣ съ Уваромъ Ивановичемъ. Высоту ея энергіи и твердости духа видимо признаетъ и поэтъ, разсказывая въ романѣ ходъ событій: ея замужество, ея отъѣздъ съ Инсаровымъ и жизнь за-границей.

Но замѣчательно, что рядомъ съ этимъ Тургеневъ показываетъ намъ и нѣчто другое. Съ самой той минуты, какъ Елена, объяснившись съ Инсаровымъ, почувствовала себя счастливой, ее начали безпокоить укоры совѣсти. „Что-то кольнуло Елену“, когда она увидѣла мать впервые послѣ рѣшенія покинуть и родину и семью (107). Но на этотъ

разъ счастье вполнѣ одолѣло и внутреняя тревога души не помрачила „стыдливаго торжества“ любящей и любимой дѣвушки, не помѣшала всему окружающему улыбаться ей и радостно ее привѣтствовать.—Черезъ нѣсколько дней совѣсть заговорила громче:

„Ей было тяжело (говоритъ поэтъ про свою героиню). Сидѣть съ матерью, ничего не подозрѣвающей, выслушивать ее, отвѣчать ей, говорить съ ней—казалось Еленѣ чѣмъ-то преступнымъ; она чувствовала въ себѣ присутствіе какой-то фальши; она возмущалась... Уже ни ласковымъ, ни милымъ, ни даже сномъ не казалось ей все окружающее; оно какъ кошмаръ, давило ей грудь неподвижнымъ, мертвеннымъ бременемъ; оно какъ будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотѣло... Ты, молъ, все-таки, наша. Даже ея бѣдные питомцы, угнетенные птицы и звѣри глядѣли на нее,—по крайней мѣрѣ такъ чудилось ей,—недовѣрчиво и враждебно. Ей становилось совѣстно и стыдно своихъ чувствъ. „Вѣдь это все-таки мой домъ“, думала она, „моя семья-моя родина...“ Нѣтъ, это больше не твоя родина, не твоя семья,—твердилъ ей другой голосъ. Страхъ овладѣвалъ ею, и она досадовала на свое малодушіе. Бѣда только начиналась, а ужь она теряла терпѣніе... То ли она обѣщала? (114—115).

Такъ боролась Елена съ своей совѣстью, такъ мучилась она ея упреками, упреками за то, что измѣняетъ родинѣ, покидая ее, измѣняетъ семьѣ, останавливается на не достойномъ человѣкѣ.

Но Елена подавила въ себѣ голосъ внутренней правды.—Подавила она въ себѣ и голосъ разума и добраго чувства, подсказывавшихъ ей сомнѣніе въ нравственной состоятельности Инсарова.—Мы видѣли, какъ еще раньше объясненія съ Инсаровымъ въ любви Елена смущалась присутствіемъ въ душѣ его ненависти и злобы. Но теперь она забыла все это, закрыла глаза на свои сомнѣнія и колебанія,—и вся, всею душой отдалась волнѣ нахлынувшаго чувства, жаждѣ дѣятельности во что́-бы то ни стало, жаждѣ счастья.—Она не остановилась даже тогда, когда во второе посѣщеніе ею Инсарова передъ ней открылась новая для нея темная черта его характера,—преобладаніе въ немъ мутночувственнаго начала. Она упрямо продолжала идти по разъ избранной дорогѣ, пожертвовавъ для этого и родиной, и семьей, и душевной чистотой своей.

Такія жертвы не обходятся даромъ,—и расплата не замедлила. Инсаровъ умираетъ за-границей, въ Венеціи, не успѣвши попасть въ родную землю, не успѣвши привести

въ исполненіе ни малѣйшаго изъ своихъ замысловъ,—и всѣ надежды Елены на дѣятельность разомъ рушатся.

Смерть Инсарова—не случайность, и геній великаго художника сказался въ этой преждевременной, повидимому, кончинѣ героя романа: по даннымъ своего характера Инсаровъ не могъ служить освобожденію своей родины: недостойныя руки недостойны были коснуться великаго дѣла.

Слишкомъ скоро Елена рѣшилась пойти за Инсаровымъ (точно такъ-же, какъ „слишкомъ скоро", по словамъ поэта, произносила она судъ надъ людьми), грубо оборвала она связи съ родиной, слишкомъ быстро покончила съ своими сомнѣніями и колебаніями, съ голосомъ внутренней правды. Она хотѣла дѣятельности во что́-бы то ни стало, не разбирая путей,—а дѣятельность можетъ быть благою и плодотворной только на нравственно-чистой основѣ.—Елена все потеряла,—и она сама почувствовала тогда покаравшую ее руку Божью.

Инсаровъ еще не умеръ; но Елена уже начинаетъ понимать неизбѣжность смерти; и вотъ какія мысли тѣснятся въ ея головѣ:

„Неужели уже довольно? Я была счастлива, не однѣ только минуты, не часы, не цѣлые дни—нѣтъ, цѣлыя недѣли сряду. А съ какого права?" (Ей стало страшно своего счастія).

„Но если это—наказаніе, подумала она опять, если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину?.. О, Боже, неужели мы такъ преступны! Неужели Ты, создавшій эту ночь, это небо, захочешь наказать насъ за то, что мы любили? А если такъ, если онъ виноватъ, если я виновата,—прибавила она съ невольнымъ порывомъ,—такъ дай ему, о Боже, дай намъ обоимъ умереть по крайней мѣрѣ честной, славной, смертью—тамъ, на родныхъ его поляхъ, а не здѣсь, не въ этой глухой комнатѣ".

„А горе бѣдной одинокой матери?" спросила она себя и сама смутилась, и не нашла возраженій на свой вопросъ" (180—181).

Въ этихъ замѣчательныхъ словахъ, полныхъ внутренняго прозрѣнія, Елена намекаетъ между прочимъ и на незаслуженность своего счастія, т. е. она начинаетъ инстинктивно чувствовать, что пожертвовала родиной и семьей не только для дѣятельности, но и для своего эгоистическаго личнаго самоуслажденія. Гораздо яснѣе она высказываетъ то-же въ письмѣ къ матери:

„Я искала счастья (говоритъ она)—и найду, быть можетъ, смерть. Видно, такъ слѣдовало; видно была вина...“ (190).

Она, которая прежде до своего ложнаго шага, часто молитвы мѣшала съ упреками, теперь не дерзаетъ „вопрошать Бога, зачѣмъ не пощадилъ, не пожалѣлъ...“ „Въ ея душѣ не было упрековъ“, говоритъ поэтъ (189).

Впрочемъ, Елена не вполнѣ смирилась, не вполнѣ признала свою вину, и кончила тѣмъ, что не отреклась-таки отъ своего заблужденія. Въ письмѣ къ матери (звавшей ее вернуться на родину) она послѣ приведенныхъ прекрасныхъ словъ раскаянія прибавила еще слова совсѣмъ другаго рода:

„Простите мнѣ всѣ огорченія, которыя я причинила вамъ (писала она); это было не въ моей волѣ. А вернуться въ Россію—зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?“ (190).

Елена упорно и настойчиво хочетъ продолжать неудавшееся дѣло Инсарова, хотя и сознала, что и онъ, и она сама недостойны приняться за это дѣло; она упорно не хочетъ загладить свою вину передъ родиной и семьей.

Поэтъ щадитъ свою героиню,—и оставляетъ неизвѣстнымъ въ романѣ—удалось ли ей привести въ исполненіе свое намѣреніе сдѣлаться сестрой милосердія въ Болгаріи, или она утонула на пути, какъ носились слухи.

Поэтъ щадитъ свою героиню, пытаясь даже уменьшить ея вину такими-общими соображеніями: Елена, обвиняя себя, говоритъ онъ,

„не знала, что счастіе каждаго человѣка основано на несчастіи другаго, что даже его выгода и удобство требуютъ, какъ статуя пьедестала, невыгоды и неудобства другихъ“ (181).

„Каждый изъ насъ виноватъ уже тѣмъ, что живетъ, и нѣтъ такого великаго мыслителя, нѣтъ такого благодѣтеля человѣчества, который въ силу пользы, имъ приносимой, могъ бы надѣяться на то, что имѣетъ право жить...“ (189).

Но, не говоря уже о томъ, что эти скорбныя соображенія по самому существу своему никого не оправдываютъ,—они и нисколько не упраздняютъ того общаго смысла романа, который мы вывели изъ анализа его содержанія и его типовъ. Не упраздняютъ они и великаго смысла чудесно нарисованной въ произведеніи фигуры Увара Ивановича.

Уваръ Ивановичь, „представитель хороваго начала“, „великій философъ земли русской“ (162) „черноземная сила“ „фундаментъ общественнаго зданія“ (144) по опредѣленію Шубина, выражаетъ собою, своей грандіозной фигурой, крѣпкія, твердыя, надежныя основы русской общественной жизни, основы, съ которыхъ ей не сорваться, какъ ни уклоняйся она въ разныя стороны, которыя удержатъ ее въ границахъ истины и правды. Уваръ Ивановичь лежитъ почти неподвижно на своемъ диванѣ „самосонѣ“; но онъ все видитъ и слышитъ и все понимаетъ,—и когда нужно, когда обратятся къ нему, онъ укажетъ истинный путь: онъ останавливаетъ, напр., самолюбивый, легкомысленный порывъ Шубина, когда тотъ, по поводу Инсарова и Елены, замечталъ было о своей будущей славѣ, останавливаетъ словами здраваго смысла:

„далека пѣсня... о другихъ рѣчь, а ты... того... о себѣ“ (162);

но онъ-же любитъ Шубина, ибо понимаетъ его даровитость, цѣнитъ его способности. И великая честь Шубину, что и онъ цѣнитъ Увара Ивановича,—ручательство, что творческія силы русскаго общества (представителемъ которыхъ служитъ въ романѣ Шубинъ) стоятъ на почвѣ, на твердой народной почвѣ, хоть и отклоняются порою въ сторону.

По поводу отъѣзда Елены изъ Россіи Шубинъ бесѣдуетъ съ своимъ старымъ другомъ.

„Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри“ (говоритъ онъ скорбно)... Чтожь это, Уваръ Ивановичь? Когда-жь наша придетъ пора? Когда у насъ народятся люди?

— Дай срокъ, отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ—будутъ.

— Будутъ? Почва! черноземная сила! ты сказалъ: будутъ. Смотрите же, я запишу ваше слово“ (163).

Будутъ у насъ люди,—въ этой идеѣ весь смыслъ романа, тотъ смыслъ, о которомъ говоритъ и самое заглавіе его—„Наканунѣ“.

Если-бы Елена, прежде окончательнаго рѣшенія, обратилась къ Увару Ивановичу,—онъ бы открылъ ей истину; онъ-бы сказалъ ей, что она не должна разрывать съ родиной, что надо терпѣливо и смиренно подождать, что не слѣдуетъ увлекаться себялюбивымъ порывомъ къ отвлеченной дѣятельности и личному счастью; онъ бы открылъ ей глаза и на Инсарова.

Въ концѣ романа, когда все уже кончилось для Елены, „кончилась (по слову поэта) маленькая игра жизни... ея легкое, броженіе и настала очередь смерти“,—Шубинъ вновь задалъ Увару Ивановичу прежній вопросъ—вопросъ о томъ, что ждетъ насъ впереди.

„Помните (писалъ онъ ему изъ Италіи), что вы мнѣ сказали въ ту ночь, когда сталъ извѣстенъ бракъ бѣдной Елены, когда я сидѣлъ на вашей кровати и разговаривалъ съ вами? Помните, я спрашивалъ у васъ тогда, будутъ ли у насъ люди? и вы мнѣ отвѣчали: „будутъ“. О, черноземная сила! И вотъ теперь я отсюда, изъ моего „прекраснаго далека“, снова васъ спрашиваю:—ну что же, Уваръ Ивановичъ, будутъ?“

— Уваръ Ивановичь поигралъ перстами (говоритъ поэтъ) и устремилъ въ отдаленіе свой загадочный взоръ“ (192).

Что значитъ это теперешнее молчаніе Увара Ивановича? находитъ ли онъ лишнимъ повторять разъ имъ сказанное, считая его неизмѣннымъ и непреложнымъ? или онъ думаетъ, что не будутъ у насъ люди, если Елены станутъ уходить изъ русской земли, подрывая тѣмъ ея силы, если Шубины начнутъ работать на иностранный ладъ, отрываясь отъ почвы.

Должно быть оба смысла заключаются въ знаменательномъ молчаніи „великаго философа русской земли“, „представителя хороваго начала“.

Въ-заключеніе два слова о вопросѣ, поставленномъ въ предъидущей главѣ: отчего Лиза „Дворянскаго гнѣзда“, когда разбились ея надежды на личное счастье и на общую жизнь съ Лаврецкимъ, не пошла одна на дѣятельность? Теперь этотъ вопросъ можно примѣнить и къ Еленѣ: зачѣмъ она увлеклась Инсаровымъ, зачѣмъ искала „героя“, а не стала одна дѣлать дѣло? (она вѣдь не лишена были иниціативы).

На вопросъ этотъ можно дать два отвѣта: въ 1-хъ, здѣсь выразился взглядъ Тургенева на женщину, или, лучше сказать, на нормальную человѣческую дѣятельность вообще. „Не добро быть человѣку одному“, думалъ великій поэтъ, какъ свидѣтельствуютъ три разобранныхъ большихъ романа его. Только тогда человѣческая дѣятельность будетъ высока, полна и плодотворна, когда она явится результатомъ гармоническаго взаимодѣйствія двухъ великихъ силъ—

мужскаго и женскаго начала; а безъ этого у нея подрѣзаны крылья, и особенно у жизни женской.

Другой отвѣтъ на трудный вопросъ заключается въ обстоятельствахъ времени: когда жили Наталья, Лиза, и Елена — кругъ возможной женской дѣятельности былъ очень узокъ, тѣсенъ былъ и кругъ женскаго образованія. Но какое дѣло было идти этимъ лицамъ, если не было и выбора дѣла, не было и подготовки къ нему?

Молодое женское поколѣніе Россіи счастливѣе. Въ доживаемую нами, въ заканчивающуюся нынѣ эпоху, въ числѣ другихъ великихъ начинаній, положено начало и высшему женскому образованію, — исполнилась благородная мечта, еще сто лѣтъ тому назадъ высказанная однимъ изъ величайшихъ дѣятелей русской жизни—Новиковымъ.

Откроются-ли затѣмъ для женщины новыя сферы дѣятельности, или какимъ инымъ путемъ разрѣшится занимающій навъ въ настоящую минуту вопросъ (можетъ-быть измѣнившись въ своемъ содержаніи и характерѣ и ставши другимъ вопросомъ),—это покажетъ время, покажетъ, конечно, то недалекое будущее, когда русская женщина, стоящая нынѣ (по поэтическому свидѣтельству Тургенева) нравственно выше мужчины, сравняется съ мужчиной въ образованіи: въ знаніяхъ и умственномъ развитіи.

5.

«Отцы и дѣти».

Въ романѣ „Наканунѣ“ русская жизнь изображена великимъ поэтомъ безъ вождя, безъ героя, безъ руководящей силы. Но такой горячей любовью къ родинѣ, такой вѣрой въ нее проникнутъ романъ, что не могло быть никакого сомнѣнія, что онъ изображаетъ дѣйствительно канунъ новаго дня, и что въ недалекомъ будущемъ изъ творческой фантазіи поэта выйдетъ новый образъ сильнаго русскаго человѣка, выразителя думъ и стремленій своего поколѣнія, своей эпохи.

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ два года послѣ „Наканунѣ“ явилось въ свѣтъ величайшее художественное созданіе Тургенева—новый романъ, опять изображающій „героя времени“—„Отцы и дѣти“.

Но, искушенный опытомъ, развѣнчавшій двухъ людей, на которыхъ возлагалъ великія и смѣлыя надежды, „западника“ Рудина и „славянофила“ Лаврецкаго, Тургеневъ иначе относится къ новому вождю жизни. Когда онъ изображалъ тѣхъ, мы видѣли, какъ вѣра въ нихъ боролась въ его душѣ съ сомнѣніемъ въ ихъ состоятельности; поэтъ въ самомъ ходѣ романовъ то идеализировалъ своихъ героевъ, то развѣнчивалъ. Ничего подобнаго мы не видимъ въ его отношеніяхъ къ Базарову: здѣсь нѣтъ никакихъ колебаній,—поэтъ признаетъ великую силу новаго человѣка, признаетъ его значительность, горячо любитъ его, но сразу, съ перваго его шагу убѣжденъ въ его несостоятельности, въ томъ, что онъ не есть достигнутый идеалъ. Тургеневъ вполнѣ безпристрастно, вполнѣ объективно относится къ своему послѣднему герою,—здѣсь и причина необычайной художественности его изображенія: ни одно лицо поэзіи Тургенева не стоитъ такъ твердо на своихъ ногахъ, не рисуется такъ опредѣленно ярко въ нашемъ представленіи; какъ Базаровъ.

Въ своихъ превосходныхъ замѣткахъ „По поводу Отцовъ и дѣтей“, замѣткахъ, написанныхъ 8 лѣтъ спустя послѣ романа, поэтъ самъ вѣрно разъясняетъ свои отношенія къ главному лицу „Отцовъ и дѣтей“:

„воспроизведенный мною Базаровскій типъ (говоритъ онъ) не успѣлъ пройти чрезъ постепенные фазисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литературные типы. На его долю не пришлось — какъ на долю Онѣгина или Печорина—(мы могли бы прибавить: и Рудина или Лаврецкаго)—эпохи идеализаціи, сочувственнаго превознесенія. Въ самый моментъ появленія новаго человѣка—Базарова — авторъ отнесся къ нему критически... объективно“.

Къ приведеннымъ словамъ Тургеневъ присоединилъ горестное замѣчаніе:

„кто знаетъ! въ этомъ была, быть можетъ, если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ по крайней мѣрѣ столько же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы“ (I, 111).

Но съ этимъ замѣчаніемъ поэта мы можемъ, конечно,

не согласиться, тѣмъ болѣе, что оно прекрасно опровергается дальнѣйшими справедливыми указаніями его на необходимыя условія истиннаго творчества. Художнику „нужна“, говоритъ Тургеневъ,

„правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій... и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи: не даромъ даже на казенномъ языкѣ художества зовутся „вольными“, свободными. Можетъ ли человѣкъ „схватывать“, „уловлять“ то, что̀ его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ: не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, который каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить, какъ заповѣдь,—онъ сказалъ:

...дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ.

И вотъ эту-то свободу отношенія и изображенія мы, дѣйствительно, и видимъ въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, — обстоятельство, подымающее романъ на непосягаемую художественную высоту.

Замѣчательно, однако, что художественность и объективность великаго произведенія не были оцѣнены въ свое время по достоинству русскимъ обществомъ. Тургеневъ вспоминаетъ сонетъ Пушкина „Поэту,“—ему самому пришлось испытать то горькое чувство, которое внушило это стихотвореніе его великому предшественнику. Не была понята правдивая и безпристрастная любовь Тургенева къ своему герою, – и на знаменитаго писателя посыпались обвиненія самыхъ противоположныхъ свойствъ:

„Въ то время, какъ одни (пишетъ онъ въ названной выше замѣткѣ) обвиняютъ меня въ оскорбленіи молодаго поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, извѣщаютъ меня, что съ „хохотомъ презрѣнія излагаютъ мои фотографическія карточки“,—другіе, напротивъ, съ негодованіемъ упрекаютъ меня въ низкопоклонствѣ передъ самымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. „Вы ползаете у ногъ Базарова!“ восклицаетъ одинъ корресподентъ: вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки!“ (112).

Въ „Современникѣ“, передовомъ и либеральномъ журналѣ 60-хъ годовъ, появилась рѣзкая и грубая статья „Асмодей нашего времени“, въ которой Тургеневъ сравнивался съ Аскоченскимъ, романъ его признавался не худо-

жественнымъ произведеніемъ, а злобной клеветою на молодое поколѣніе; Базаровъ очень не понравился многословному критику. Не смотря на крайнюю слабость и бездарность статьи (чтобы не сказать болѣе), не смотря на доходящую до фантастическаго нелѣпость ея доводовъ— она имѣла большой успѣхъ, она имѣла успѣхъ, не смотря даже на то, что даровитый критикъ направленія близкаго къ „Современнику" иначе отнесся къ дѣлу. Писаревъ въ своей статьѣ „Базаровъ" (Соч. I) написалъ:

„Тургеневъ никому и ничему въ своемъ романѣ не сочувствуетъ вполнѣ. Если бы сказать ему: „Иванъ Сергѣичь, вамъ Базаровъ не нравится, чего же вамъ угодно?"—то онъ на этотъ вопросъ не отвѣтилъ бы ничего. Онъ никакъ не пожелалъ бы молодому поколѣнію сойтись съ отцами въ понятіяхъ и влеченіяхъ. Его не удовлетворяютъ ни отцы, ни дѣти, и въ этомъ случаѣ его отрицаніе глубже и серьезнѣе отрицанія тѣхъ людей, которые, разрушая то, что̀ было до нихъ, воображаютъ себѣ, что они—соль земли и чистѣйшее выраженіе полной человѣчности... ...Скажу больше: общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ раболѣпнаго поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго. Тургеневъ не любитъ безпощаднаго отрицанія, и между тѣмъ личность безпощаднаго отрицателя выходитъ личностью сильною. и внушаетъ каждому читателю невольное уваженіе. Тургеневъ склоненъ къ идеализму, а между тѣмъ ни одинъ изъ идеалистовъ; выведенныхъ въ его романѣ, не можетъ сравниться съ Базаровымъ ни по силѣ ума, ни по силѣ характера. Я увѣренъ что многіе изъ нашихъ журнальныхъ критиковъ захотятъ во что̀-бы то ни стало, увидать въ романѣ Тургенева затаенное стремленіе унизить молодое поколѣніе и доказать, что дѣти хуже родителей; но я точно также увѣренъ, что непосредственное чувство читателей, не скованныхъ обязательными отношеніями къ теоріи, оправдаетъ Тургенева, и увидитъ въ его произведеніи не диссертацію на заданную тему, а вѣрную, глубоко прочувствованную и безъ малѣйшей утайки нарисованную картину современной жизни" (148—149).

Замѣтимъ мимоходомъ важное обстоятельство, что со взглядомъ Писарева на положеніе въ романѣ Базарова совершенно сошелся г. Катковъ:

„Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ (писалъ онъ Тургеневу-то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. Такого-ли впечатлѣнія нужно было желать? Въ повѣсти чувствуется, что авторъ хотѣлъ характеризовать начало мало ему сочувственное, но какъ будто коле-

бался въ выборѣ тона и безсознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное въ отношеніяхъ автора къ герою повѣсти, какая-то неловкость и принужденность. Авторъ передъ нимъ какъ будто теряется, и не любитъ, а еще пуще боится его!" (Соч. Тург. I, 113).

Оба цитированные критика неправы, что не видятъ, какъ Тургеневъ безповоротно развѣнчалъ Базарова, какъ онъ, хоть и съ болью сердца, но разбилъ „высокій пьедесталъ" своего героя. Но они совершенно вѣрно оба, съ своихъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, указали на безпристрастіе Тургенева, на отсутствіе въ немъ тенденціи.

Когда ожиданіе Писарева, что поэта обвинятъ въ желаніи унизить „дѣтей" въ пользу „отцовъ", исполнилось, молодой критикъ энергически осмѣялъ плохую статью „Современника".

Но не смотря на все это,—молодое поколѣніе временно отвернулось отъ Тургенева. Мы знаемъ теперь даже, что его требовала на какой-то судъ учащаяся въ Гейдельбергѣ русская молодежь.

„На мое имя легла тѣнь (съ чувствомъ глубокой горести написалъ поэтъ въ 1869 г.). Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ" (114).

Слава Богу, печальныя ожиданія великаго писателя не сбылись! Сочувствіе юности черезъ нѣсколько лѣтъ вновь хлынуло къ нему волною, и уже болѣе не покидало его и проводило его въ могилу. Это совпало съ возвращеніемъ сочувствій молодаго поколѣнія къ великому учителю Тургенева—Пушкину. Но поэту пришлось испытать не мало горькихъ минутъ.

Отчего произошло все это? трудно отвѣтить, трудно рѣшить этотъ психологическій и историческій вопросъ. Самъ Тургеневъ готовъ былъ видѣть причину охлажденія къ нему въ томъ, что типъ Базарова не прошелъ подъ его перомъ „эпохи идеализаціи". Можетъ быть это и вѣрно; но ужь никакъ нельзя согласиться съ благодушнымъ мнѣніемъ поэта, что здѣсь была ошибка. Не ошибка была здѣсь, а нѣчто совсѣмъ другое: великій художникъ переросъ общество, переросъ своихъ читателей: однимъ хотѣлось идеализаціи Базарова, другимъ приниженія,—а правда—мало кому понравилась.

И такъ, Базаровъ изображенъ вполнѣ объективно: поэтъ

его любитъ, но въ то-же время сразу, безъ колебаній и сомнѣній развѣнчиваетъ. Слѣдовательно (можно-бы спросить) романъ „Отцы и дѣти", въ которомъ впервые Тургеневъ не идеализируетъ, не возвеличиваетъ своего героя, какъ онъ дѣлалъ прежде, долженъ производить впечатлѣніе печальное съ самыхъ первыхъ страницъ, ибо и въ нихъ уже нѣтъ вѣры поэта въ состоятельность новаго человѣка, новаго вождя жизни?

Повидимому на такой вопросъ должно отвѣтить утвердительно; но на самомъ дѣлѣ утвердительный отвѣтъ будетъ невѣрнымъ.—Да „герой" развѣнчанъ, какъ развѣнчаны силою безпощаднаго тургеневскаго анализа и прежніе герои; но послѣ него осталась жизнь—осталась и вѣра поэта въ эту жизнь. За Базаровымъ въ романѣ изображенъ цѣлый міръ, міръ молодости, счастья, религіозныхъ вѣрованій,—и этотъ міръ остался цѣльнымъ, когда разбились мечты сильной личности о своемъ могуществѣ, о своемъ великомъ назначеніи. Гордая личность не смогла охватить исчерпать дѣйствительности однимъ созданнымъ ею принципомъ,—и ушла изъ міра; но родникъ жизни не изсякъ и бьетъ въ романѣ живымъ ключемъ [1]).

Обратимся къ личности Базарова. Кто такой этотъ человѣкъ? Онъ— нигилистъ, находимъ мы отвѣтъ въ романѣ. Но это слово „нигилистъ", нѣкогда ясное и понятное, теперь стало очень неопредѣленнымъ. Вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ его, или лучше—выражаемое имъ понятіе стали смѣшивать и отождествлять съ понятіями матерьялистъ, соціалистъ, даже революціонеръ и заговорщикъ. Но здѣсь простое недоразумѣніе, и нигилизмъ означаетъ совсѣмъ другое; это слово имѣетъ свой собственный смыслъ.

Базаровъ—это сильная, трезвенная личность, опирающаяся, на себя, свободная или желающая быть свободной отъ всего, что можетъ спутать завлечь человѣка, закружить его и лишить воли и самообладанія.

---

[1]) Кстати будетъ вспомнить, что было сказано объ этомъ въ журналѣ „Время" 1862 г. № 4:

„За миражемъ внѣшнихъ дѣйствій и сценъ льется такой глубокій такой неистощимый потокъ жизни, что всѣ эти дѣйствія и сцены, всѣ лица и событія ничтожны передъ этимъ потокомъ. Выше Базарова тотъ страхъ, та любовь, тѣ слезы, которые онъ возбуждаетъ Выше его жизнь".

Аркадій Кирсановъ хочетъ расположить Базарова, если не къ сочувственному, такъ къ снисходительному взгляду на Павла Петровича.

„Да вспомни его воспитаніе, время, въ которомъ онъ жилъ (говоритъ Аркадій).

— Воспитаніе? подхватилъ Базаровъ.—Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ,—ну хоть какъ я напримѣръ... А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Нѣтъ, братъ, это все распущенность, пустота! (IV, 230).

Въ этихъ словахъ—весь Базаровъ, съ его жаждою свободы для человѣческой личности, съ его вѣрою въ могущество человѣческаго духа, въ возможность его независимости отъ условій мѣста и времени. Передъ нами идеалистъ свободный и сильный, въ своемъ сознаніи, а не грубый матерьялистъ [1]).

Аркадій Кирсановъ такъ опредѣляетъ Базарова, и съ его опредѣленіемъ соглашаются отецъ его, Николай Петровичь, и дядя Павелъ Петровичь.

„Нигилистъ это человѣкъ, который не слоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа навѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ (217)

Но это опредѣленіе вполнѣ неточно и потому .невѣрно Это опредѣленіе скептика, а не Базарова. Основное начало, во имя котораго живетъ этотъ послѣдній, совсѣмъ иное.

„Въ передѣлѣ была, братецъ ты мой, нашего хлѣба покушала“ (285).

говоритъ Аркадію Базаровъ про Одинцову (про которую Тургеневъ выразился, что „эта молодая женщина уже успѣла перечувствовать и передумать многое“, 279).—Базаровъ пережилъ больше, чѣмъ Одинцова, и многое извѣдалъ въ жизни. Онъ видѣлъ и знаетъ, какъ закруживаетъ человѣка то что Павелъ Петровичь Кирсановъ называетъ „принципами“ (и что Апол. Григорьевъ гораздо точнѣе называлъ

---

[1]) Вспомнимъ опять статью „Времени“ (1862 г. № 4) объ „Отцахъ и дѣтяхъ“; тамъ говорится:

„Глубокій аскетизмъ проникаетъ всю фигуру Базарова. Онъ не избѣгаетъ чувственныхъ удовольствій, потому что не боится ихъ. Тѣмъ упорнѣе и суровѣе отказывается онъ отъ такихъ наслажденій, которыя могутъ поработить его“.

„жизненными силами“, или „вѣяніями“), и онъ захотѣлъ свободы отъ этихъ „вѣяній“; господства человѣческой личности надъ ними.

Базаровъ какъ будто пережилъ то, что̀ мы видѣли въ предшествовавшихъ „Отцамъ и дѣтямъ“ произведеніяхъ Тургенева. Мы видѣли, какъ начало романтическое, которому въ разныхъ видахъ его поддались Веретьевъ и Яковъ Пасынковъ; подорвало ихъ жизнь. Мы видѣли, какъ сдѣлало несостоятельнымъ Рудина (при всей громадности его духовныхъ силъ) отвлеченно-умственное, философское, обобщающее начало, которому онъ безусловно отдался во власть. Мы были свидѣтелями, какъ тщетно боролись въ Лаврецкомъ великія жизненныя силы: начало народное, начало смиренія—съ одной стороны, скептицизмъ и романтизмъ—съ другой.—Базаровъ хочетъ избѣгнуть ошибокъ своихъ предшественниковъ, и вотъ—онъ отрицаетъ всѣ эти „вѣянія“, спутавшія ихъ и закружившія, или—лучше сказать—онъ борется съ этими вѣяніями, потому что онѣ живутъ въ его собственной душѣ, онъ ихъ знаетъ, онъ ихъ испыталъ. Онъ, сознавая слабыя стороны ихъ, хочетъ противопоставить имъ силу своей личности и ей подчинить ихъ:

„я уже въ клиникѣ замѣтилъ (говоритъ онъ однажды Аркадію): кто злится на свою боль—тотъ непремѣнно ее побѣдитъ“ (323).

Базаровъ отрицаетъ все, въ чемъ онъ видитъ хотя-бы тѣнь стѣсненія личности, отрицаетъ съ энтузіазмомъ страстно вѣрующаго въ свою силу и въ правду своего положенія человѣка, съ энтузіазмомъ идеалиста, неудовлетворяющагося ничѣмъ, что̀ не есть, по его мнѣнію, абсолютная истина.

Такъ, онъ не хочетъ признавать ни умственныхъ, ни нравственныхъ обобщеній:

„что такое наука—наука вообще? (говоритъ онъ Павлу Петровичу). Есть науки, какъ есть ремесла, званія; а наука вообще не существуетъ вовсе“ (221).

„Надо быть справедливымъ, Евгéній (замѣчаетъ ему въ другой разъ Аркадій, заступаясь за дядю).

— Это изъ чего слѣдуетъ?“ (223),

возражаетъ онъ, отвергая принципъ справедливости, какъ нравственное обобщеніе. На томъ-же основаніи отвергаетъ онъ и искусство.

Романтическое чувство, рыцарское обожаніе, преклоненіе передъ любимымъ существомъ—вызываетъ въ Базаровѣ насмѣшку, приводитъ его въ негодованіе.

„Я все-таки скажу (заявляетъ онъ своему другу Аркадію), что человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви (онъ разумѣетъ въ данномъ случаѣ Павла Петровича), и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакой человѣкъ—не мужчина“ (229).

Въ другой разъ онъ говоритъ уже про себя, когда ѣдетъ съ Аркадіемъ отъ Одинцовой:

„Лучше камни бить на мостовой, чѣмъ позволить женщинѣ завладѣть хотя бы кончикомъ пальца. Это все... Базаровъ чуть было не произнесъ своего любимаго слова „романтизмъ“, да удержался, и сказалъ вздоръ“ (325).

Замѣчательно, что онъ подкрѣпляетъ здѣсь свое мнѣніе ссылкою на народъ, на его взгляды:

„Вѣдь вотъ ты, прибавилъ онъ, обращаясь къ сидѣвшему на козлахъ мужику,—ты, умница, есть у тебя жена?

Мужикъ показалъ обоимъ пріятелямъ свое плоское и подслѣповатое лице.

— Жена-то? Есть. Какъ не быть женѣ.

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Безъ причины не бьемъ.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьетъ?

Мужикъ задергалъ возжами... Онъ видимо обидѣлся.

— Слышишь Аркадій Николаевичъ! (закончилъ Базаровъ). А насъ съ вами прибили... вотъ оно что значитъ быть образованными людьми“ (325).

Отвергая романтизмъ, Базаровъ поэтому самому и говоритъ Одинцовой, въ свой послѣдній пріѣздъ къ ней, что —„любовь... вѣдь это чувство напускное“ (403). Ему еще кажется тогда, что онъ вполнѣ вырвалъ изъ своего сердца овладѣвшую-было имъ любовь.

Довольно опредѣленно высказывается Базаровъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ, возникшемъ изъ-за отзыва Базарова объ одномъ сосѣдѣ-помѣщикѣ: „дрянь, аристократишко“. Павелъ Петровичъ вступился за принципъ аристократизма.

„Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы... говорилъ Базаровъ: — подумаешь. сколько иностранныхъ и безполезныхъ словъ Русскому человѣку они даромъ не нужны.

— Что же ему нужно, по вашему? Послушать васъ, такъ мы находимся внѣ человѣчества, внѣ его законовъ. Помилуйте—логика исторіи требуетъ...

— Да на что намъ эта логика? Мы и безъ нея обходимся.

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Вы, я надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!" (250).

. . . . . .

— Матерьялизмъ, который вы проповѣдуете (пробуетъ возразить Павелъ Петровичъ), былъ уже не разъ въ ходу и всегда оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово! перебилъ Базаровъ. Онъ начиналъ злиться, и лицо его приняло какой-то мѣдный и грубый цвѣтъ.—Во-первыхъ, мы ничего не проповѣдуемъ; это не въ нашихъ привычкахъ...

— Что же вы дѣлаете?

— А вотъ что мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ ни торговли, ни правильнаго суда..

— Ну, да, да, вы обличители,—такъ, кажется, это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ, и чортъ знаетъ о чемъ: когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ порокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману" (252—253).

Въ послѣднихъ словахъ отрицаніе коснулось народа и его жизни. Базаровъ подробнѣе развиваетъ эту тему въ дальнѣйшемъ ходѣ разговора:

„я тогда буду готовъ согласиться съ вами (говоритъ онъ своему противнику), когда вы представите мнѣ хоть одно постановленіе въ современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ, которое бы не вызывало полнаго и безпощаднаго отрицанія.

— Я вамъ милліоны такихъ постановленій представлю, воскликнулъ Павелъ Петровичъ:—милліоны! Да вотъ, хоть община, напримѣръ.

Холодная усмѣшка скривила губы Базарова.—Ну, насчетъ общины, промолвилъ онъ, поговорите лучше съ вашимъ братцемъ. Онъ теперь, кажется, извѣдалъ на дѣлѣ, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобныя штучки.

— Семья, наконецъ, семья, такъ какъ она существуетъ у нашихъ крестьянъ! закричалъ Павелъ Петровичъ.

— И этотъ вопросъ, я полагаю, лучше для васъ же самихъ не разбирать въ подробности. Вы, чай, слыхали о снохачахъ? Послушайте меня, Павелъ Петровичь, дайте себѣ денька два сроку, сразу вы едва ли чтó нибудь найдете. Переберите всѣ наши сословія, да подумайте хорошенько надъ каждымъ...“ (255—256).

Базаровъ говорилъ неохотно, неохотно выяснялъ свои воззрѣнія. Ему даже, по словамъ поэта, „вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ такъ распространился“ передъ Павломъ Петровичемъ (253). Онъ даже не остановилъ Аркадія, когда тотъ, вмѣшавшись въ споръ, сталъ путать дѣло, потому что вовсе не понимаетъ Базарова, хотя и воображаетъ себя его ученикомъ.—Отрицанія и разрушенія требуетъ современное состояніе народа, говорилъ Аркадій:

„мы должны исполнять эти требованія, мы не имѣемъ права предаваться удовлетворенію личнаго эгоизма.

Эта послѣдняя фраза (замѣчаетъ поэтъ), видимо не понравилась Базарову; отъ нея вѣяло философіей, т. е. романтизмомъ, ибо Базаровъ и философію называлъ романтизмомъ; но онъ не почелъ за нужное опровергать своего молодаго ученика“ (250).

Не смотря, однако, на такое отсутствіе заботы о выясненіи своей мысли, мы видимъ, изъ словъ Базарова, его убѣжденія и стремленія: онъ не вѣритъ во всѣ тѣ жизненныя начала, во всѣ принципы и учрежденія, подъ дѣйствіемъ и управленіемъ которыхъ живутъ люди, потому что не видитъ въ этихъ началахъ абсолютной правды и полной свободы для человѣческой личности.

Между прочимъ онъ, какъ мы замѣтили, отвергъ, въ приведенномъ спорѣ, и матерьялизмъ. И такое отрицаніе матерьялизма, какъ системы и какъ вѣрованія, вовсе не случайная фраза въ устахъ Базарова. Есть въ романѣ сцена, гдѣ онъ высказывается о матерьялизмѣ гораздо опредѣленнѣе и тоже въ отрицательномъ духѣ. Онъ бесѣдуетъ съ Аркадіемъ въ имѣніи своего отца, лежа въ полѣ, на травѣ.

„Я думаю: хорошо моимъ родителямъ жить на свѣтѣ! (говоритъ онъ). Отецъ въ 60 лѣтъ хлопочетъ, толкуетъ о „палліативныхъ“ средствахъ, лечитъ людей, великодушничаетъ съ крестьянами, — кутитъ, однимъ словомъ; и матери моей хорошо: день ея до того напичканъ всякими занятіями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

— А ты?

— А я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобразіе; что за пустяки!

— Позволь тебѣ замѣтить, то, что̀ ты говоришь, примѣняется вообще ко всѣмъ людямъ...

— Ты правъ, подхватилъ Базаровъ.—Я хотѣлъ сказать, что они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не безпокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я... я чувствую только скуку да злость" (343—344).

Изъ этихъ въ высшей степени важныхъ и интересныхъ размышленій Базарова мы видимъ, конечно, что онъ не вѣритъ въ духовную, вѣчную жизнь. Но точно также мы видимъ, что онъ жаждетъ подобной вѣры, и что онъ положительно отвергаетъ матерьялизмъ. Базарову невыносимо тяжело считать себя смертнымъ и онъ не можетъ примириться съ мыслью о человѣческомъ ничтожествѣ.

Замѣчательно, однако, что, признавая несостоятельность матерьялизма, Базаровъ какъ-будто признаетъ и его неизбѣжность. Отсюда волненіе, тоска, злость, приникающія его слова. Здѣсь передъ нами въ душѣ героя романа открывается противорѣчіе.

Это противорѣчіе можно прослѣдить и въ другихъ случаяхъ. Презрительно подсмѣявшись надъ матерьялизмомъ въ разговорѣ съ Павломъ Петровичемъ, утверждая, что это иностранное слово (онъ даже не удостоиваетъ сказать —понятіе) вовсе не нужно русскому человѣку (какъ не нужны ему—аристократизмъ, парламентаризмъ и т. д.), Базаровъ однако самъ придерживается нѣкоторыхъ матерьялистическихъ положеній. Мало того, онъ даже какъ-бы искусственно, насильственно возбуждаетъ въ себѣ матерьялистическія воззрѣнія. Это распространяется и на область его чувствъ, и на область умственныхъ обобщеній.

„Этакое богатое тѣло!.. хоть сейчасъ въ анатомическій театръ" (285),

говоритъ Базаровъ съ искусственной развязностью про Одинцову, которая произвела на него сразу сильное впѣчатлѣніе, и притомъ впечатлѣніе совсѣмъ не въ томъ родѣ, какъ онъ старается показать Аркадію: Аркадій, къ удивленію сво-

ему, видѣлъ, что Базаровъ смущался передъ Одинцовой, даже краснѣлъ. Свою любовь къ Одинцовой, любовь сильную и вовсе не чувственную (вовсе не Инсаровскую) Базаровъ, злясь на свой романтизмъ, старается самъ, насильственно и искуственно свести на чувственность: вотъ чѣмъ объясняется странное противорѣчіе въ знаменитой сценѣ его рѣшительнаго объясненія съ Одинцовой, противорѣчіе словъ Базарова, полныхъ достоинства и рыцарскаго уваженія къ женщинѣ, съ его грубымъ порывомъ къ ней и грубыми объятіями и поцалуемъ; ему удалось на мигъ превратить свое романтическое чувство въ „страсть похожую на злобу и, быть можетъ, сродни ей...“ (316).

То-же мы видимъ и въ его разсужденіяхъ. Отсюда и понятны противорѣчія его общаго взгляда съ частными воззрѣніями.—Онъ, выше всего поставившій личность человѣческую и желающій ей свободы, свободы даже отъ условій мѣста и времени, вдругъ начинаетъ увѣрять Одинцову, что

„изучать отдѣльныя личности не стоитъ труда. Всѣ люди другъ на друга похожи, какъ тѣломъ, такъ и душой; у каждаго изъ нихъ мозгъ, селезенка, сердце, легкія одинаково устроены; и такъ называемыя нравственныя качества одни и тѣ же у всѣхъ: небольшія видоизмѣненія ничего не значатъ. Достаточно одного человѣческаго экземпляра, чтобы судить обо всѣхъ другихъ. Люди—что деревья въ лѣсу; ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждою отдѣльною березой“.

Согласно съ этимъ и его заключеніе, въ дальнѣйшемъ ходѣ разговора, объ отношеніи человѣка къ обществу. Между умнымъ и глупымъ, говоритъ онъ, такая-же разница, какъ между больнымъ и здоровымъ.

„Мы приблизительно знаемъ, отчего происходятъ тѣлесные недуги; нравственныя болѣзни происходятъ отъ дурнаго воспитанія, отъ всякихъ пустяковъ, которыми съизмала набиваютъ людскія головы, отъ безобразнаго состоянія общества, однимъ словомъ. Исправьте общество, и болѣзней не будетъ“ (291).

Какъ замѣтно, явно не вяжутся эти слова съ основною идеей, съ основнымъ взглядомъ Базарова на человѣческую личность!

Такой-же примѣръ противорѣчія и его бесѣда съ Аркадіемъ Кирсановымъ въ полѣ подъ стогомъ сѣна. Только что возмутившись мыслью о смертности человѣка, только

что заявивши, что человѣкъ не можетъ не жить для ближнихъ, не признавать чувства состраданія (подобно муравью), удовлетворяться однимъ матерьяльнымъ, только что сказавши:

„кажется: чего лучше? ѣшь, пей, и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нѣтъ; тоска одолѣетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними“ (345).

т. е., можемъ мы пояснить, хочется трудиться для людей, жить для нихъ; только-что сказавши все это, Базаровъ тутъ-же начинаетъ насильственно останавливать свою мысль на матерьялизмѣ и логически выводить отсюда совершенно невяжущуюся съ его общимъ взглядомъ теорію эгоизма и затѣмъ теорію ощущеній:

„ты сегодня (говоритъ онъ Аркадію) сказалъ, проходя мимо избы вашего старосты Филиппа—она такая славная, бѣлая—вотъ, сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ рости будетъ;—ну, а дальше?

— Полно, Евгеній... послушать тебя сегодня, поневолѣ согласишься съ тѣми, которые упрекаютъ насъ въ отсутствіи принциповъ.

— Ты говоришь, какъ твой дядя. Принциповъ вообще нѣтъ—ты объ этомъ не догадался до сихъ поръ! а есть ощущенія. Все отъ нихъ зависитъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Напримѣръ я: я придерживаюсь отрицательнаго направленія—въ силу ощущенія. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки?—тоже въ силу ощущенія. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу.

— Что-жь? и честность—ощущеніе?

— Еще бы!

— Евгеній!.. началъ печальнымъ голосомъ Аркадій.

— А? что? не по вкусу? перебилъ Базаровъ.—Нѣтъ, братъ! Рѣшился все косить—валяй и себя по ногамъ!..“ (346—347).

Очевидно, что эта теорія ощущеній совершенно не вяжется съ жаждою свободы человѣческой личности отъ всякихъ „вѣяній“, отъ „романтизма“, говоря терминомъ Базарова.—Замѣчательна здѣсь фраза: „валяй и себя по ногамъ“, а также выраженія: „глубже этого люди никогда не

проникнутъ“ и „я въ другой разъ тебѣ этого не скажу“. Въ этихъ выраженіяхъ слышится отчаянье, какая-то горькая и безотрадная уступка матерьялизму, который въ-сущности противенъ Базарову.

Зачѣмъ-же, спрашивается, герой „Отцовъ и дѣтей“ такъ склоняется къ матерьялизму, хотя и не сочувствуетъ ему и готовъ отрицать его? Какъ объяснить это противорѣчіе?— Объясняется оно тѣмъ, что Базаровъ попалъ въ неразрѣшимую двойственность: если онъ отвергнетъ сознательно и вполнѣ матерьялизмъ, какъ ему-бы хотѣлось, тогда ему придется признать вѣру въ духовный міръ, въ Бога; а признаніе этой вѣры заставитъ поступиться своимъ принципомъ, т. е. своимъ убѣжденіемъ въ абсолютномъ могуществѣ человѣческой личности.

Тѣмъ-же объясняется и отрицаніе Базаровымъ искусства, какъ обобщающаго начала, въ которомъ (Базаровъ это чувствуетъ смутно своимъ великимъ умомъ) заключена какая-то абсолютная истина, признавши которую придется опять-таки поступиться своимъ взглядомъ, своимъ міросозерцаніемъ.

Базаровъ вовсе не обѣдленъ эстетическимъ чувствомъ и способенъ понимать поэзію. По крайней мѣрѣ мы имѣемъ на это нѣкоторый намекъ въ романѣ. Отецъ Базарова, Василій Ивановичъ, говоритъ сыну о прогрессѣ въ крестянской жизни. А тотъ оригинально возражаетъ ему сравненіемъ изъ области поэзіи, свидѣтельствующимъ, что эта область не Чужда Базарову и что онъ въ ней понимаетъ дѣло:

„Вчера я прохожу (говоритъ онъ) мимо забора и слышу, здѣшніе крестьянскіе мальчики, вмѣсто какой-нибудь старой пѣсни, горланятъ: время новое приходитъ, сердце чувствуетъ любовь... вотъ тебѣ и прогрессъ“ (417—418).

Такія слова странны, повидимому, съ устахъ Базарова: ихъ скорѣй можно ожидать отъ человѣка высоко ставящаго искусство, признающаго его важнымъ элементомъ общественной жизни, отражающимъ въ себѣ ея сущность.

А между тѣмъ тотъ-же Базаровъ говоритъ Павлу Петровичу про молодыхъ русскихъ художниковъ, не уважающихъ Рафаэля.

„По моему... Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ; да и они не лучше его“ (256).

А въ разговорѣ съ Аркадіемъ онъ такъ выражается о Пушкинѣ:

„Природа навѣваетъ молчаніе сна“, сказалъ Пушкинъ.

— Никогда онъ ничего подобнаго не сказалъ, промолвилъ Аркадій.

— Ну, не сказалъ, такъ могъ и долженъ былъ сказать, въ качествѣ поэта. Кстати, онъ должно быть въ военной службѣ служилъ?

— Пушкинъ никогда не былъ военнымъ.

— Помилуй, у него на каждой страницѣ: На бой, на бой! за честь Россіи!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Вѣдь это клевета, наконецъ.

— Клевета? Эка важность! Вотъ вздумалъ какимъ словомъ испугать! Какую клевету ни взведи на человѣка, онъ въ-сущности заслуживаетъ въ двадцать разъ хуже того“ (347—348).

Не говоря уже о неспокойномъ состояніи духа, слышномъ въ этихъ словахъ чувствуется, что отрицаніе Базаровымъ поэзіи—какое-то напряженное, искусственное и насильственное отрицаніе, въ которое, по крайней мѣрѣ во всемъ его объемѣ, сомнительно, чтобы вѣрилъ самъ высказывающій его. Вотъ почему и приведенныя слова о Пушкинѣ, не смотря на свою рѣзкость, вовсе не возбуждаютъ негодованія на тургеневскаго героя въ самыхъ даже горячихъ почитателяхъ великаго поэта: крайняя рѣзкость нападенія заставляетъ сомнѣваться въ его искренности.

Мы дошли до противорѣчій въ душѣ Базарова. Такихъ противорѣчій въ немъ очень много. Но прежде чѣмъ выяснять остальныя, остановимся нѣсколько на его личности,— до сихъ поръ мы говорили преимущественно объ его убѣжденіяхъ.

Прежде всего Базаровъ—человѣкъ сильный. Это прекрасно поняла Катя, указавшая Аркадію на энергію, на могучую волю Базарова; да это чувствуется и всякимъ. И самъ Базаровъ это прекрасно сознаетъ, и потому надѣется на себя, придерживается высокаго мнѣнія о самомъ себѣ:

„Когда я встрѣчу человѣка, который не спасовалъ бы передо мною... тогда я измѣню свое мнѣніе о самомъ себѣ“, говоритъ онъ Аркадію (346)

Это сознаніе своей силы приводитъ его, однако, къ крайнему себялюбію (несимпатичная черта въ его харак-

терѣ). Высокомѣріе порой бьетъ ему въ голову и отуманиваетъ его, становя даже на самой границѣ смѣшного, не смотря на всю его чуткость къ смѣшному. Такова напр. его выходка у Кукшиной, когда на слова послѣдней: „вы, стало быть, раздѣляете мнѣніе Прудона?“ онъ надменно выпрямляется и гордо говоритъ:

„Я ничьихъ мнѣній не раздѣляю; я имѣю свои“ (273).

Передъ Аркадіемъ Кирсановымъ открывается (говоритъ поэтъ) „вся бездонная пропасть“ самолюбія Базарова, когда послѣдній въ деревнѣ Одинцовой выражаетъ удовольствіе, что пріѣхалъ Ситниковъ и дѣйствіемъ своей пошлости ослабилъ слишкомъ высоко настроенныя струны:

„Мнѣ, пойми ты это,—мнѣ нужны подобные олухи (говоритъ Базаровъ). Не богамъ же, въ самомъ дѣлѣ, горшки обжигать!“ (321).

Аркадій почувствовалъ послѣ этого, что не только Ситникова, но и его самого Базаровъ считаетъ передъ собою олухомъ

Но за этой отталкивающей чертою въ характерѣ Базарова открывается передъ нами цѣлый рядъ чертъ другого рода, весьма симпатичныхъ.

Базаровъ—уменъ, остроуменъ, простъ.

Уже первое впечатлѣніе, производимое его некрасивой въ сущности наружностью, говоритъ въ его пользу: его лице, оживленное спокойной улыбкой,

„выражало самоувѣренность и умъ“, замѣчаетъ поэтъ (198).

Умъ сквозитъ всюду въ его мысляхъ и рѣчахъ,—мы видѣли уже не мало примѣровъ этого.

Онъ много учился и учится и много знаетъ.

„Онъ чѣмъ занимается? (спрашиваетъ Николай Петровичъ сына).

— Главный предметъ его—естественныя науки (отвѣчаетъ Аркадій). Да онъ все знаетъ“ (200).

И это совершенно вѣрно. Онъ знакомъ и съ русскими общественными ученіями, напр. (какъ увидимъ потомъ) съ славянофильствомъ, и съ отрицаемой имъ русской художественной литературой, какъ это открывается напр. изъ случайнаго презрительнаго отзыва его о письмахъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ; ему знакомы и народная русская жизнь, и принципы общественной жизни западно-

европейской; онъ и врачъ хорошій, и знаетъ—какія деревья посадить на песчаной почвѣ сада Николая Петровича, и т. д., и т. д. Но онъ никогда не хвалится своими знаніями, никогда не рисуется ими, и они органически вошли, какъ элементы, въ его собственное, выработанное имъ самимъ міросозерцаніе.

Остроуміе Базарова напоминаетъ намъ остроуміе Шубина, и такъ-же бьетъ ключемъ на каждомъ шагу, свободно и непринужденно, проявляясь—и тогда, когда онъ уѣзжаетъ съ взволнованнымъ и смущеннымъ сердцемъ отъ Одинцовой, отвѣчая на вопросъ Аркадія: „развѣ она тебя отпуститъ?“ словами: „я у ней не нанимался“ (320); и тогда, когда онъ дерется на дуэли съ Павломъ Петровичемъ, называя эту дуэль—„рыцарскимъ турниромъ“ и приглашая на нее въ качествѣ секунданта тупоумнаго лакея Петра, человѣка, стоящаго, по его словамъ, „на высотѣ современнаго образованія“ и могущаго „исполнить свою роль со всѣмъ необходимымъ въ подобныхъ случаяхъ комильфо“ (375); и тогда, когда, подъѣзжая къ деревнѣ отца и слыша перебранку мужиковъ, онъ говоритъ Аркадію:

„По непринужденности обращенія... и по игривости оборотовъ рѣчи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишкомъ притѣснены“ (326),

и т. д., и т. д., въ цѣломъ длинномъ рядѣ всевозможныхъ случаевъ. Только остроуміе его не такъ изящно и весело, какъ у Шубина; но зато оно болѣе ѣдко и болѣе сильно.

Съ этой чертою характера совершенно гармонируетъ—презрительная вражда Базарова ко всему пошлому, такъ ярко выразившаяся въ его отношеніяхъ къ Ситникову и Кукшиной.

Эти два лица, нарисованныя Тургеневымъ съ такимъ могущественно-художественнымъ юморомъ, эти двѣ пародіи на отрицаніе, превосходно оттѣняютъ собою фигуру Базарова. Кукшина и Ситниковъ служатъ въ романѣ выраженіемъ того, какъ пошлые люди усвоиваютъ новую доктрину, новое „вѣяніе“ жизни; какъ, подражая внѣшней сторонѣ дѣятельности „героя времени“, они, сами того не зная, служатъ жизненнымъ обличеніемъ ложнаго въ новой док-

тринѣ; въ ихъ личностяхъ выступаетъ на всенародныя очи ея комическая сторона.

Здравый и насмѣшливый умъ Базарова намекаетъ намъ на то, что въ его характерѣ сильно народное начало, и это подтверждается цѣлымъ рядомъ фактовъ [1]). Такъ, мы видимъ въ немъ, напримѣръ, способность русскаго человѣка отнестись къ самому себѣ безпристрастно и осудить себя.

„Я начинаю соглашаться съ дядей (замѣтилъ Базарову однажды Аркадій),—ты рѣшительно дурнаго мнѣнія о русскихъ.

— Эка важность! (отвѣтилъ тотъ). Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ прескверпаго мнѣнія“ (242).

Базаровъ близокъ къ народу (И пусть не возражаютъ на это ссылкою на слова мужика о немъ; „извѣстно, баринъ; развѣ онъ что̀ понимаетъ“ и на замѣчаніе поэта, что его герой въ глазахъ мужиковъ „былъ все-таки чѣмъ-то въ-родѣ шута гороховаго“ (418—419),—все это, какъ увидимъ, объясняется иначе).

Въ Базаровѣ не было „барства“, и вотъ почему онъ

„владѣлъ (по словамъ Тургенева) особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обходился съ ними небрежно“ (212);

вотъ почему слуги въ домѣ Кирсановыхъ

„привязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ; они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ“ (243).

„Дворовые мальчишки (говоритъ поэтъ) бѣгали за „дохтуромъ“, какъ собаченки“. Это, должно быть, тѣ мальчишки, которыхъ Базаровъ, тотчасъ по пріѣздѣ въ Марьино, взялъ съ собою на охоту за лягушками и которымъ онъ такъ просто объяснилъ — зачѣмъ онъ будетъ рѣзать лягушекъ.

Ѳеничка, тоже вышедшая изъ народа, чувствуетъ къ Базарову сильную симпатію; она, всегда боящаяся и чуждающаяся Павла Петровича, его аристократизма, вполнѣ довѣрчиво относится къ Базарову, присутствуя при спорѣ его съ Павломъ Петровичемъ, она вся на его сторонѣ:

---

[1]) Про Базарова въ журналѣ „Время“ (1862 г. № 4) справедливо сказано было, что онъ „болѣе русскій человѣкъ, чѣмъ всѣ остальные въ романѣ“.

„Я и не знаю, о чемъ у васъ спортъ идетъ (говоритъ она), а вижу, что вы его и такъ вертите, и такъ...

Ѳеничка показала руками, какъ, по ея мнѣнію, Базаровъ вертѣлъ Павла Петровича“ (371).

Ѳеничка не только довѣряла Базарову, говоритъ Тургеневъ,

„не только его не боялась, она при немъ держалась вольнѣе и развязнѣе, чѣмъ при самомъ Николаѣ Петровичѣ. Трудно сказать, отчего это происходило; можетъ быть оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаровѣ отсутствіе всего дворянскаго... Въ ея глазахъ онъ и докторъ былъ отличный, и человѣкъ простой“ (366).

Замѣчательно, что самъ Павелъ Петровичь кончилъ тѣмъ, что призналъ Базарова правымъ за его простоту, за отсутствіе въ немъ „барства“.

„Я начинаю думать (говоритъ онъ брату послѣ дуэли), что Базаровъ былъ правъ, когда упрекалъ меня въ аристократизмѣ“. Нѣтъ, милый братъ, полно намъ ломаться и думать о свѣтѣ: мы люди уже старые и смирные; пора намъ отложить въ сторону всякую суету“ (392),—

и онъ проситъ Николая Петровича, забывши родовые предразсудки, жениться на Ѳеничкѣ.

Базаровъ самъ сознаетъ свое духовное родство съ народомъ и даже гордится этимъ,

„Нѣтъ, вы не русскій послѣ всего, что̀ вы сейчасъ сказали! (говоритъ ему Павелъ Петровичъ въ одномъ спорѣ). Я васъ за русскаго признать не могу.

— Мой дѣдъ землю пахалъ, съ надменною гордостію отвѣчалъ Базаровъ.—Спросите любаго изъ вашихъ-же мужиковъ, въ комъ изъ насъ,—въ васъ или во мнѣ,—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете.

Мы видѣли, что Базаровъ, отвергая нѣкоторые принципы или „вѣянія“, иронически указывалъ на ихъ иностранное происхожденіе; мы видѣли, что въ дѣлѣ любви и отношеній къ женщинѣ Базаровъ подкрѣплялъ для Аркадія свое мнѣніе ссылкою на взгляды народа. Въ приводимомъ теперь спорѣ съ Павломъ Петровичемъ онъ попытался вообще въ своихъ воззрѣніяхъ опереться на народъ.

„Вы порицаете мое направленіе (замѣтилъ онъ), а кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?“ (252).

Базаровъ — русскій человѣкъ не только по простотѣ своей и характеру ума, но въ немъ есть и русское добродушіе. Оно проявилось, напримѣръ, въ его дуэли съ Павломъ Петровичемъ. На эту дуэль онъ былъ вызванъ противъ своей воли, въ него стрѣляли въ перваго, цѣлясь; онъ выстрѣлилъ не мѣтя, и потомъ сейчасъ-же, бросивъ пистолетъ въ сторону,

„приблизился къ своему противнику.—Вы ранены? промолвилъ онъ.

— Вы имѣли право подозвать меня къ барьеру, проговорилъ Павелъ Петровичь,—а это пустяки. По условію каждый имѣетъ еще по одному выстрѣлу.

— Ну, извините, это до другаго раза, отвѣчалъ Базаровъ и обхватилъ Павла Петровича, который начиналъ блѣднѣть.—Теперь я уже не дуэлистъ, а докторъ, и прежде всего долженъ осмотрѣть вашу рану“ (381).

Вотъ народныя черты въ характерѣ Базарова и отношенія его къ народу. — Но замѣчательно приэтомъ, что Базаровъ въ то-же время отрицаетъ вполнѣ народъ; мы видѣли уже его взглядъ на общину и крестьянскую семью; вспомнимъ теперь его общій отзывъ о народѣ. Павелъ Петровичь сказалъ Базарову, что не можетъ считать его и его единомышленниковъ представителями народныхъ стремленій; „вы идете противъ своего народа“, сказалъ онъ.

„А хоть-бы и такъ? воскликнулъ Базаровъ. Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ, это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что-жь? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ—онъ русскій, а развѣ я самъ не русскій?“ (251).

Вы умѣете говорить съ народомъ, замѣчаетъ Павелъ Петровичъ, „и презираете его въ то-же время“.

„Что-жь, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія! отвѣчаетъ Базаровъ“ (252).

Здѣсь мы опять свидѣтели противорѣчія въ душѣ героя романа.

Внимательный взглядъ на его характеръ открываетъ и еще противорѣчія.

Отрицатель брака и семейныхъ привязанностей, Базаровъ оказывается (и это служитъ къ его чести) любящимъ сыномъ, — въ его душѣ живетъ отрицаемое имъ семейное начало. Онъ простъ, часто до грубости, въ своемъ обращеніи съ людьми; онъ сдержанъ до крайности; но можно,

сквозь эту грубость и сдержанность, подмѣтить его сердечную привязанность къ своимъ старикамъ-родителямъ. — Онъ хочетъ ѣхать отъ Кирсановыхъ къ отцу, —

„Я его давно не видалъ, и мать тоже (говоритъ онъ Аркадію); надо стариковъ потѣшить. Они у меня люди хорошіе“ (261).

Онъ, правда, соскучился у нихъ, и рѣшился черезъ нѣсколько дней опять уѣхать; но ему не легко было это сдѣлать, не легко было сказать отцу о своемъ намѣреніи:

„мнѣ придется... его огорчить... Ничего! До свадьбы заживетъ“ (355).

сказалъ онъ Аркадію; но, не смотря на это „ничего“,—

„цѣлый день прошелъ (говоритъ поэтъ), прежде чѣмъ онъ рѣшился увѣдомить Василія Ивановича о своемъ намѣреніи“ (355);

а уѣхавши, „онъ былъ не совсѣмъ доволенъ собою“ (358). Умирая, онъ какъ-то отбросилъ свою сдержанность и сталъ ласковѣй и сердечнѣе; когда ему однимъ утромъ какъ-будто полегчило, онъ пожелалъ, чтобы мать его причесала и поцѣловалъ у ней руку (427). А посѣтившую его Одинцову просилъ приласкать его стариковъ:

„вѣдь такихъ людей, какъ они (прибавилъ онъ), въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать“ (433).

Но если какое изъ отрицаемыхъ Базаровымъ жизненныхъ началъ сказалось съ особенною силою живущимъ въ его душѣ, такъ это романтизмъ: Базаровъ—романтикъ въ своихъ отношеніяхъ къ Одинцовой, а также и къ Ѳеничкѣ, причемъ изъ-за послѣдней участвуетъ даже, вопреки своему убѣжденію, злясь на себя и смѣясь надъ собой, въ „рыцарскомъ поединкѣ“ (поддавшись вліянію „феодаловъ“, какъ онъ выражается). Онъ, какъ рыцарь даму своего сердца, полюбилъ Одинцову; онъ уподобился въ этомъ своемъ увлеченіи столь презираемому имъ Тогенбургу,—и это его мучило и бѣсило. Базаровъ (разсказываетъ Тургеневъ)

„любовь въ смыслѣ идеальномъ или, какъ онъ выражался, романтическомъ, называлъ белибердой, непростительной дурью, считалъ рыцарскія чувства чѣмъ-то въ родѣ уродства или болѣзни, и не однажды выражалъ свое удивленіе, почему не посадили въ желтый домъ. Тогенбурга со всѣми миннезенгерами и трубадурами? — „Нравится тебѣ женщина“, говаривалъ онъ, „старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись—земля не клиномъ сошлась“. Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ея мыслей, ея несомнѣнное расположеніе къ нему — все, казалось, говорило

въ его пользу; но онъ скоро понялъ, что съ ней „не добьешься толку“, а отвернуться отъ нея онъ, къ изумленію своему, не имѣлъ силъ. Кровь его загоралась, какъ только онъ вспоминалъ о ней; онъ легко сладилъ бы съ своею кровью, но что-то другое въ него вселилось, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ чѣмъ всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость. Въ разговорахъ съ Анной Сергѣевной онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединѣ, онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ“ (301).

Попробовалъ-было Базаровъ выдернуть себя, какъ „рѣдьку изъ грядки“, изъ атмосферы любви, — и, къ удивленію своему, не имѣлъ на это силы. Во второе свое посѣщеніе Одинцовой, прощаясь съ нею, послѣ того, какъ Аркадій посватался за Катю, Базаровъ сказалъ:

„я нахожу, что я уже и такъ слишкомъ долго вращался въ чуждой для меня сферѣ. Летучія рыбы нѣкоторое время могутъ подержаться на воздухѣ, но вскорѣ должны шлепнуться въ воду; позвольте-же и мнѣ плюхнуть въ мою стихію.

Одинцова посмотрѣла на Базарова. Горькая усмѣшка подергивала его блѣдное лицо. „Этотъ меня любилъ! подумала она — и жалко ей стало его“ (412—413).

Такъ и не смогъ Базаровъ отдѣлаться отъ овладѣвшаго его душой романтическаго чувства. Это и подорвало его самоувѣренность, подорвало его силы.

Онъ понялъ, наконецъ, что въ душѣ его — непобѣдимыя, неодолимыя противорѣчія, что въ немъ самомъ живетъ, и живетъ сильною жизнью, все то, что онъ не хотѣлъ признавать и отрицалъ: и романтизмъ, и философія, и народное начало, и семейное чувство, и т. д.; и т. д.; онъ понялъ, что созданное имъ міросозерцаніе не въ-силахъ подавить прежнихъ принциповъ жизни, что человѣческая личность съ ея стремленіями къ освобожденію отъ власти „жизненныхъ силъ“, или „вѣяній“, не можетъ уничтожить этихъ силъ, и что—одно изъ двухъ: или ложны стремленія человѣка къ свободѣ, или долженъ быть другой, неизвѣстный ему, Базарову, путь къ обузданію того, что закруживаетъ и покоряетъ нашу личность и лишаетъ ее самостоятельности.—И Базаровъ сошелъ со сцены жизненной борьбы. Въ послѣднее посѣщеніе имъ деревни родителей мы видимъ его уже за кулисами.

Борецъ кончилъ свою борьбу, и съ чувствомъ горечи и тоски смотритъ на пройденный путь.

Онъ-было попробовалъ на первыхъ порахъ уединиться и предаться работѣ; но скоро, разсказываетъ поэтъ,—

„самъ пересталъ запираться: лихорадка работы съ него соскочила, и замѣнилась тоскливою скукой и глухимъ безпокойствомъ. Странная усталость замѣчалась во всѣхъ его движеніяхъ; даже походка его, твердая и стремительно смѣлая, измѣнилась. Онъ пересталъ гулять въ-одиночку и началъ искать общества... Василій Ивановичъ сперва обрадовался этой перемѣнѣ, но радость его была непродолжительна. „Енюша меня сокрушаетъ", жаловался онъ втихомолку женѣ; онъ не то что недоволенъ или сердитъ, это-бы еще ничего; онъ огорченъ, онъ грустенъ — вотъ что ужасно. Все молчитъ, хоть бы побранилъ насъ съ тобою; худѣетъ, цвѣтъ лица такой нехорошій" (417).

Вотъ въ это-то время своей безнадежной хандры Базаровъ и велъ тотъ извѣстный разговоръ съ мужикомъ, на который обыкновенно указываютъ (съ легкой руки самого поэта), какъ на свидѣтельство отчужденности героя романа отъ народа.

„Иногда Базаровъ отправлялся на деревню (разсказываетъ Тургеневъ) и, подтрунивая по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ. „Ну, говорилъ онъ ему, „излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ: вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, — вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы". Мужикъ либо не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ-родѣ слѣдующихъ: „А мы могимъ... тоже, потому значитъ... какой положенъ у насъ, примѣрно, придѣлъ".—„Ты мнѣ растолкуй, что такое есть вашъ міръ?" перебивалъ его Базаровъ: „и тотъ-ли это самый міръ, чтó на трехъ рыбахъ стоитъ?" (418).

Но этотъ разговоръ имѣетъ совсѣмъ не тотъ смыслъ, который ему часто придаютъ. Базаровъ вовсе и не разсчитывалъ, что мужикъ пойметъ его слова, вовсе и не хотѣлъ пониманія; ему, разочаровавшемуся въ собственномъ міровоззрѣніи, просто хотѣлось потѣшить себя созерцаніемъ несостоятельности и другихъ міровоззрѣній,—онъ въ приведенныхъ словахъ излагаетъ передъ мужикомъ принципы славянофильства и ищетъ хоть нѣкотораго, слабаго и горькаго утѣшенія въ убѣжденіи, что эти принципы народу непонятны; онъ для этого даже немножко (безсознательно, впрочемъ) кривитъ душою, подбирая нарочно непонятныя мужику слова, хотя и съумѣлъ-бы употребить иныя выраженія.

Въ высшей степени важна и интересна и въ художе-

ственномъ, и въ психологическомъ отношеніи сцена смерти Базарова. Если мы не будемъ бояться упрека въ фатализмѣ, мы должны признать, что эта смерть—не случайность: Базаровъ умираетъ потому, что разбились его вѣрованія и убѣжденія; ему нальзя больше жить—ибо нечѣмъ жить, и случайность зараженія трупомъ является только поводомъ, а никакъ не причиною смерти.

Не страхъ и не тоска разлуки съ жизнью мучатъ Базарова въ послѣдніе дни его земнаго существованія, или по крайней мѣрѣ не столько они, сколько нѣчто другое. Умирая, Базаровъ все думаетъ о своемъ разбившемся міровоззрѣніи, сокрушается объ его несостоятельности.

„Странно (говоритъ онъ) хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходитъ. Вижу какое-то пятно... и больше ничего... Сила-то, сила... вся еще тутъ, а надо умирать!... Да, поди, попробуй отрицать смерть. Онъ тебя отрицаетъ, и баста!“ (426).

Подчинившись романтическому чувству, находя уже лижнимъ бороться съ нимъ, поддавшись желанію увидѣть въ послѣдній разъ любимую женщину, Базаровъ говоритъ посѣтившей его Одинцовой:

„Со мной кончено. Попалъ подъ колесо. И выходитъ, что нечего было думать о будущемъ. Старая штука смерь, а каждому вновѣ. До сихъ поръ не трушу... а тамъ придетъ безпамятство, и ф ю и т ь! (Онъ слабо махнулъ рукой)... Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, моль, какого человѣка Россія теряетъ... Это чепуха; но не разувѣряите старика... Чѣмъ бы бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать приласкайте... Я нуженъ Россіи... Нѣтъ, видно не нуженъ. Да и кто нуженъ?“ (433).

Послѣднія слова показываютъ намъ, что сдержанный отрицатель Базаровъ любилъ родину и думалъ о ней, о служеніи ей, о посвященіи ей своихъ силъ.

Но самое замѣчательное, что есть въ этой сценѣ смерти послѣдняго тургеневскаго „героя“, — это исторія съ исповѣдью и съ соборованьемъ. Базаровъ, какъ извѣстно, согласился на просьбу отца причаститься. Обыкновенно это объясняютъ его желаніемъ утѣшить стариковъ; да онъ и самъ сказалъ: „я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить“ (429). Но дѣло здѣсь гораздо серьезнѣе и глубже, чѣмъ представляется съ перваго взгляда. — Василію Ивановичу не легко было, по его словамъ, предложить сыну „исполнить долгъ христіанина“.

„Каково-то мнѣ это тебѣ говорить, это ужасно; но еще ужаснѣе. вѣдь на вѣкъ, Евгеній... ты подумай, каково-то...

Голосъ старика перервался, а по лицу его сына“

(разсказываетъ поэтъ, и на эти знаменательныя слова его слѣдуетъ обратить особенное вниманіе),

„по лицу его сына, хотя онъ и продолжалъ лежать съ закрытыми глазами, проползло что-то странное.—Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить, промолвилъ онъ наконецъ, но мнѣ кажется, спѣшить еще не къ чему“.

Если-бы Базаровъ въ данную минуту думалъ о просимомъ отцомъ только какъ о простой формальност, могущей того успокоить, онъ бы отнесся къ дѣлу проще, онъ бы не задумывался и не волновался, онъ бы не медлилъ. Но должно быть слова вѣрующаго старика вызвали въ его душѣ представленіе о цѣломъ великомъ міросозерцаніи, до тѣхъ поръ ему чуждомъ, о религіозномъ взглядѣ на жизнь и смерть (умирающій многое переживаетъ въ умѣ своемъ и сердцѣ), и онъ, отчаявшійся въ своемъ міросозерцаніи, задумался надъ великимъ воззрѣніемъ на человѣка и его судьбу.

Таинство совершено было надъ Базаровымъ, когда онъ находился уже въ безсознательномъ состояніи. Но

„когда его соборовали (разсказываетъ поэтъ), когда святое мѵро коснулось его груди, одинъ глазъ его раскрылся и, казалось, при видѣ священника въ облаченіи, дымящагося кадила, свѣчъ передъ образомъ, что-то похожее на содроганіе ужаса отразилось на помертвѣломъ лицѣ“ (434).

Два взляда на жизнь, быть можетъ, мелькнули въ замирающемъ сознаніи, и ужасъ Базарова, кто знаетъ, былъ, можетъ быть, ужасомъ отъ признанія собственной ошибки.

„Отцы и дѣти“—названъ романъ Тургенева, и названіе это какъ будто намекаетъ на противоположностъ двухъ поколѣній, противоположность во взглядахъ и жизни. И въ самомъ дѣлѣ мы видимъ въ романѣ съ одной стороны молодыхъ людей—Базарова, Аркадія Кирсанова, Катерину Сергѣевну, Ѳеничку; съ другой стороны — Николая Петровича и Павла Петровича Кирсановыхъ, стариковъ родителей Базарова. Между Базаровымъ и Павломъ Петро-

вичемъ происходятъ въ романѣ ожесточенные споры; дѣло доходитъ между ними даже до дуэли... Но, собственно говоря, этимъ почти и ограничивается весь разладъ двухъ поколѣній, будто-бы трагически изображенный въ романѣ, какъ обыкновенно принято думать. — Конечно, Базаровъ расходится въ взглядахъ съ отцомъ своимъ и съ матерью, съ Николаемъ Петровичемъ. Но это разногласіе не есть что-либо особое и чрезвычайное, свойственное именно данной эпохѣ, именно двумъ опредѣленнымъ поколѣніямъ русскихъ людей,—это обычное, хоть и печальное явленіе въ жизни образованныхъ классовъ народа, обычная разница взглядовъ старости и молодости. Вражды тутъ нѣтъ. Мы видѣли взаимную любовь Базарова и его родителей; вспомнимъ, что тотъ-же Базаровъ, хоть и называлъ Николая Петровича „отставнымъ человѣкомъ", но очень ему симпатизировалъ и считалъ его и называлъ человѣкомъ хорошимъ.—Что-же касается другихъ молодыхъ людей романа, то, собственно говоря, и нѣтъ даже никакого внутренняго разлада между ними и старымъ поколѣніемъ. — Да и самая вражда Павла Петровича и Базарова есть не столько разладъ людей двухъ поколѣній, сколько вражда двухъ принциповъ: аристократизма и, пожалуй, нѣкотораго рода байронизма—съ простыми отношеніями къ жизни.

Но въ романѣ изображенъ разладъ другаго рода, болѣе существенный, разладъ между Базаровымъ съ его убѣжденіями—съ одной стороны, и Аркадіемъ Кирсановымъ, Катериной Сергѣевной, Ѳеничкой, Николаемъ Петровичемъ (когда послѣдній примкнулъ къ этимъ молодымъ людямъ, женившись на Ѳеничкѣ — съ другой. — Аркадій Кирсановъ только кажется ученикомъ и послѣдователемъ Базарова; а на самомъ дѣлѣ онъ лишь временно и не глубоко, не сильно увлекся идеями и личностью своего необыкновеннаго друга. Онъ гораздо моложе Базарова духомъ, и за нимъ, за Катей, за Ѳеничкой, за помолодѣвшимъ Николаемъ Петровичемъ остается жизнь, послѣ того, какъ Базаровъ ушелъ изъ нея. Самъ Базаровъ это сознаетъ, и не даромъ считаетъ и называетъ Аркадія „птенцомъ".

Какъ первая поняла это. Она указала Аркадію на то, что онъ началъ освобождаться отъ вліянія Базарова.

„Онъ (говорила она про послѣдняго) не то, что мнѣ ненравится, а я чувствую, что и онъ мнѣ чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

Это почему? (удивился Аркадій).

— Какъ вамъ сказать... Онъ хищный, а мы съ вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой“ (395).

Базаровъ хотѣлъ ломать жизнь во имя своего міровоззрѣнія, во имя своего принципа, — и кончилъ убѣжденіемъ въ своей несостоятельности. Катя, Аркадій и другіе — это люди жизни, живою душой воспринимающіе ея впечатлѣнія, не подавляющіе ихъ къ себѣ, дающіе волю и просторъ своимъ душевнымъ стремленіямъ. — Базаровъ, руководящая сила жизни, умеръ, ушелъ изъ міра „герой времени“ оказался несостоятельнымъ; но Аркадій, Катя, Ѳеничка, эта почва, эти основы жизни, ея волнующіяся стихіи — остались; жизнь русская не изсякла, по представленію поэта,—значитъ возможно и наступленіе времени, когда появится новый герой, новый руководитель, который можетъ быть найдетъ, наконецъ, истинное знамя, за которымъ всѣ пойдутъ.

И есть что́-то отрадное и свѣтлое въ этомъ сохраненіи жизни, въ той радости молодыхъ людей романа, изображеніемъ которой онъ оканчивается. Замѣчательно, что самъ Базаровъ сочувственно отнесся къ этой молодости: вспомнимъ его отзывъ Аркадію о Катѣ, когда тотъ и не подозрѣвалъ еще, чѣмъ будетъ для него Катя.

„Чудо—не она (говорилъ Базаровъ про Одинцову), а ея сестра.

— Какъ? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вотъ свѣжо, и нетронуто, и пугливо, и мочаливо, и все что̀ хочешь“ (295).

Базаровъ сочувственно смотритъ и на бракъ Аркадія съ Катей, на ихъ молодую счастливую будущность.

Нынѣшняя молодежь больно хитра стала“,

сказалъ онъ Аннѣ Сергѣевнѣ, когда они оба неожиданно узнали о сватовствѣ Аркадія; и тутъ-же искренно прибавилъ:

„Желаю вамъ окончить это дѣло самымъ пріятнымъ образомъ; а я издали порадуюсь“ (412).

Когда онъ разставался окончательно съ Аркадіемъ и съ злобной горечью говорилъ ему, что дороги ихъ разошлись;

а Аркадій печально сказалъ: „ты навсегда прощаешься, Евгеній... и у тебя нѣтъ другихъ словъ для меня“,—

„Базаровъ почесалъ у себя въ затылкѣ.—Есть, Аркадій, есть у меня другія слова, только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ,— это значитъ: разсыропиться. А ты поскорѣй женись; да своимъ гнѣздомъ обзаведись, да надѣлай дѣтей побольше. Умницы они будутъ уже потому, что во́-время родятся, не то что мы съ тобой“ (414).

Отвѣтомъ на сочувствіе Базарова молодой жизни, остающейся послѣ него и будущей, которая еще придетъ со временемъ, служитъ сочувственное воспоминаніе о немъ, о быломъ борцѣ, объ орлѣ, надломившемъ свои крылья, воспоминаніе Кати и Аркадія: когда въ Марьинѣ на прощальномъ обѣдѣ въ честь отъѣзжавшаго Павла Петровича пили тосты, Катя шепнула на-ухо своему мужу: „въ память Базарова“, и чокнулась съ нимъ; а „Аркадій въ отвѣтъ пожалъ ей крѣпко руку“ (436).

Кромѣ молодой жизни осталось послѣ смерти Базарова еще великое, начало, съ которымъ онъ стоялъ передъ смертью лицемъ къ лицу и которое, быть можетъ, смутило его,—религіозное міросозерцаніе, вѣра въ жизнь безконечную, обѣщающая человѣку свободу, ту свободу, которой такъ тщетно искалъ Базаровъ на иныхъ путяхъ. Тургеневъ оканчиваетъ романъ выраженіемъ величайшаго сочувствія своего этому религіозному міросозерцанію, которымъ живетъ уже цѣлые вѣка русскій народъ. Поэтъ описываетъ запущенное сельское кладбище; по могиламъ его безвозбранно бродятъ овцы; но между этими могилами есть одна (говоритъ онъ),

„до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное, однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ похороненъ въ этой могилѣ. Къ ней, изъ недалекой деревушки, часто приходятъ два уже дряхлые старичка—мужъ съ женою. Поддерживая другъ друга, идутъ они отяжелѣвшею походкой; приблизятся къ оградѣ, припадутъ и станутъ на колѣни, и долго горько плачутъ, и долго, и внимательно смотрятъ на нѣмой камень, подъ которымъ лежитъ ихъ сынъ; помѣняются короткимъ словомъ, пыль смахнутъ съ камня, да вѣтку елки поправятъ, и снова молятся, и не могутъ покинуть это мѣсто, откуда имъ какъ будто ближе до ихъ сына, до воспоминаній о немъ... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое-бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными гла-

зами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи „равнодушной“ природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной...“ (439—440).

Въ этихъ чудныхъ, вдохновенныхъ словахъ выражается, каковы-бы ни были личныя воззрѣнія самого Тургенера, выражается несомнѣнно затаенный религіозный идеалъ его высокой поэзіи, тотъ идеалъ, который свѣтитъ намъ и въ чистомъ образѣ Лизы, единственнаго лица, выдержавшаго строгій судъ тургеневскаго анализа. Это—тотъ-же самый религіозный идеалъ; который проникаетъ собою послѣднія произведенія Пушкина и Гоголя, и который проявляется обыкновенно въ концѣ дѣятельности всѣхъ нашихъ крупныхъ поэтовъ, безразлично — наклонны ли они болѣе къ западничеству, или къ славянофильству.

ГЛАВА IV.

Третій періодъ дѣятельности Тургенева.

1.

«Призрани». — «Довольно». — «Дымъ». — «Два пріятеля». — «Переписка». — «Ася». — «Вешнія воды».

„Отцами и дѣтьми“ завершился главный періодъ дѣятельности Тургенева, время вѣры и свѣтлыхъ надеждъ. Правда, поэтъ-аналитикъ и скептикъ, Тургеневъ въ этомъ періодѣ послѣдовательно, одного за другимъ, развѣнчивалъ своихъ героевъ, разлагалъ и анатомировалъ ихъ образы передъ глазами читателя и такимъ путемъ приходилъ самъ и насъ приводилъ къ убѣжденію въ ихъ несостоятельности; но признавая несостоятельнымъ того или другаго „героя времени“, поэтъ продолжалъ постоянно вѣрить (кикъ мы видѣли) въ производившую ихъ почву, въ русское общество, въ жизнь, продолжалъ вѣрить, что жизнь эта изведетъ изъ своихъ нѣдръ новаго вождя. И оттого отраднымъ тепломъ, свѣтомъ вѣяло отъ произведеній великаго художника; сердце читателя замирало отъ восторженныхъ чувствъ, не смотря на печальное окончаніе всѣхъ этихъ произведеній. Ту-же вѣру мы видимъ и въ послѣднемъ великомъ романѣ—въ „Отцахъ и дѣтяхъ“. Базаровъ сошелъ со сцены, самъ замѣтивъ ошибочность своего міровоззрѣнія; но молодая жизнь осталась, бодрая и веселая. А въ концѣ романа выступило передъ нами въ своей лучезарной красотѣ религіозное сазерцаніе жизни (правда, выступило въ общихъ и неопредѣленныхъ чертахъ). — Но все это, эти надежды, эта свѣтлая вѣра—проявились въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ въ послѣдній разъ въ тургеневскомъ творчествѣ.

Сынъ своего сомнѣвающагося времени, самъ скептикъ по складу своего характера, великій поэтъ не могъ остановиться всею душою на религіозномъ началѣ и его поло-

жить въ основу своей дальнѣйшей дѣятельности. А между тѣмъ человѣческія начала, тѣ начала, которыми жило его поколѣніе, были имъ исчерпаны; прошли черезъ горнило души его, и склонились осужденные его праведнымъ поэтическимъ судомъ и люди отвлеченной мысли, и романтики, и люди твердой воли, искавшіе опоры только въ своей личности.—Новыхъ героевъ въ прежнемъ духѣ не являлось и не могло болѣе явиться въ дѣйствительности,— и тоска овладѣла душой поэта, онъ пришелъ къ разочарованіи въ жизни.

Раздвоеніе душевное, къ которому всегда влекъ его скептическій умъ, раздвоеніе, долго сдерживаемое вѣрою въ героическое, вѣрою въ творческія силы человѣчества, овладѣло Тургеневымъ. Онъ смутился, онъ пришелъ въ ужасъ передъ тѣмъ, передъ чѣмъ смутился и его послѣдній герой—передъ силою физической, матеріальной природы, враждебной всему человѣческому, враждебной стремленіямъ нашего „я" къ безусловному, къ безсмертному, къ вѣчному. Эти смущеніе и ужасъ, эти раздвоеніе душевное, сомнѣніе и разочарованіе онъ выразилъ въ дивно-поэтическихъ формахъ въ двухъ своихъ произведеніяхъ лирическо-фантастическаго и отчасти философскаго характера — въ „Призракахъ" и „Довольно".

Фантазія „Призраки" написана въ 1863 году. Здѣсь въ образѣ фантастическаго существа—Эллисъ поэтъ рисуетъ намъ свою музу. Эллисъ носитъ его по разнымъ странамъ, вызываетъ для него изъ глубины вѣковъ явленія минувшей жизни.

„Полетаемъ съ тобой до зари, вотъ и все (говоритъ Эллисъ). Я могу тебя отнести куда только ты вздумаешь — во всѣ края земли. Отдайся мнѣ (VIII. 7).

Въ чудныхъ разнообразныхъ картинахъ, которыя муза показываетъ поэту, Тургеневъ олицетворилъ богатство и разнообразіе своего творчества, своихъ великихъ созданій.— Эллисъ несетъ его къ бурному морю около острова Уайта, на широкія берега великой русской рѣки, на берега Волги, въ горы и лѣса Шварцвальда, въ роскошную природу острова Isola Bella, въ Парижъ и Петербургъ; вызываетъ передъ его очи вблизи Рима легіоны Цезаря, въ Германіи возлѣ Мангейма—изнѣженные и легкомысленные призраки XVIII

вѣка, людей въ пудренныхъ парикахъ, золоченыхъ кафтанахъ и кружевныхъ манжетахъ, гуляющихъ между стѣнами стриженой зелени.—Приведемъ два-три примѣра этихъ изумительно художественныхъ картинъ.—„Закрой глаза и не дыши“, сказала Эллисъ,

и мы помчались съ быстротою вихря (разсказываетъ поэтъ). Съ потрясающимъ шумомъ врывался воздухъ въ мои уши.

Мы остановились, но шумъ не прекращался. Напротивъ: онъ превратился въ какой-то грозный ревъ, въ громовой гулъ...

— Теперь ты можешь открыть глаза,—сказала Эллисъ.

Я повиновался... Боже мой, гдѣ я?

Надъ головой тяжелыя дымныя тучи; онѣ тѣснятся, онѣ бѣгутъ какъ стадо злобныхъ чудовищъ... а тамъ, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море.-. Бѣлая пѣна судорожно сверкаетъ и кипитъ въ немъ буграми — и, вздымая косматыя волны, съ грубымъ грохотомъ бьетъ оно въ громадный, какъ смоль черный утесъ. Завываніе бури, леденящее дыханіе расколыхавшейся бездны, тяжкій плескъ прибоя, въ которомъ по временамъ чудится чтó-то похожее на вопли, на далекіе пушечные выстрѣлы, на колокольный звонъ — раздирающій визгъ и скрежетъ прибрежныхъ голышей, внезапный крикъ невидимой чайки, на мутномъ небосклонѣ шаткій остовъ корабля — всюду смерть, смерь и ужасъ... Голова у меня закружилась — и я снова съ замираніемъ закрылъ глаза...

Что это! гдѣ мы?

На южномъ берегу острова Уайтъ, передъ утесомъ Блакгангъ, гдѣ такъ часто разбиваются кораби, промолвила Эллисъ“ (12).

Этой страшной, грозной картинѣ совершенно противоположна другая, производящая сладостное впечатлѣніе:

„Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкій—не то свѣтъ, не то туманъ—обливалъ меня со всѣхъ сторонъ (говоритъ поэтъ). Сперва я не различалъ ничего: меня слѣпилъ этотъ лазоревый блескъ—но вот помемногу начали выступать очер[illegible]рекрасныхъ горъ, лѣсовъ; оз[illegible] раскинулось подо мною съ дрож[illegible] въ глубинѣ звѣздами, съ [illegible]ковымъ ропотомъ прибоя. Запах[illegible]анцевъ обдалъ меня во[illegible] и вмѣстѣ съ нимъ, и тоже ка[illegible]волною, принеслись с[illegible] чистые звуки молодаго женскаг[illegible] Этотъ запахъ; эти [illegible] и потянули меня внизъ—и я нач[illegible]каться... спускать[illegible] кошному мраморному дворцу, [illegible]бѣлѣвшему сред[illegible] рощи. Звуки лились изъ его на[illegible]крытыхъ окон[illegible] усѣяннаго пылью цвѣтовъ, плес[illegible] его стѣны [illegible] тивъ, весь одѣтый темной зеле[illegible]анцевъ и [illegible] тый лучезарнымъ паромъ, весь [illegible]статуями[illegible] нами, портиками храмовъ, подн[illegible]ъ лона[illegible] лый островъ...

Isola Bella!—проговорила Э[illegible]

Остановимся еще на одномъ эпизодѣ. Близь Рима, на старинной латинской дорогѣ, среди древнихъ развалинъ муза вызываетъ тѣни прошлаго, образы древняго міра.

„Здѣсь,—произнесла Эллисъ и подняла руку: здѣся! — Проговори громко, три раза сряду, имя великаго римлянина.

Что-же будетъ?

— Ты увидишь.

Я задумался. Divus Cajus Julius Caesar!—воскликнулъ я вдругъ, — divus Cajus Julius Caesar!—повторилъ я протяжно;—Caesar!

Послѣднія отзвучія моего голоса не успѣли еще замереть, когда мнѣ послышалось...

Мнѣ трудно сказать, что̀ именно. Сперва мнѣ послышался смутный, ухомъ едва уловимый, но безконечно повторявшійся взрывъ трубныхъ звуковъ и рукоплесканій. Казалось, гдѣ-то, страшно далеко, въ какой-то бездонной глубинѣ, внезапно зашевелилась несмѣтная топла — и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, какъ-бы сквозь сонъ, сквозь подавляющій, многовѣковой сонъ. Потомъ воздухъ заструился и потемнѣлъ надъ развалиной... Мнѣ начали мерещиться тѣни, миріады тѣней, милліоны очертаній, то округленныхъ какъ шлемы, то протянутыхъ какъ копья; лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этихъ копьяхъ и шлемахъ—и вся это армія эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно... Несказанное напряженіе, достаточное для того, чтобы приподнять цѣлый міръ, чувствовалось въ ней; но ни одинъ образъ не выдавался ясно... И вдругъ мнѣ почудилось, какъ-будто трепетъ пробѣжалъ кругомъ, какъ-будто отхлынули и разступились какія-то громадныя волны... „Caesar, Caesar vinit!“ зашумѣли голоса, подобно листьямъ лѣса, на который внезапно налетѣла буря... прокатился глухой ударъ—и голова блѣдная, строгая, въ лавровомъ вѣнкѣ, съ опущенными вѣками, голова императора стала медленно выдвигаться изъ-за развалины.!.

Ча языкѣ человѣческомъ нѣтъ словъ для выраженія ужаса, который мое сердце. Мнѣ казалось, что раскрой эта голова свои глаза, свои губы—и я тотчасъ же умру.—Эллисъ!—простонала я: я я не могу, не надо мнѣ Рима, грубаго, грознаго Рима... Прочь, сюда!

лоду шепнула она, — и мы умчались. Я успѣлъ еще за зный, громовый на этотъ разъ, крикъ легіоновъ... се (16—18).

чу ожественныя картины, которыя въ бу- утъ служить образцами высокой поэзіи воряющія намъ тургеневское творчество самосознаніи поэта, о томъ, что онъ и великій умъ, чувствовалъ, при всей ромности, свое значеніе, понималъ, что ое доступно его творческой фантазіи,

что передъ нимъ открыта глубокая книга жизни въ ея настоящемъ и прошедшемъ.

Не совсѣмъ то говоритъ намъ изображеніе имъ своей музы. Здѣсь мы, напротивъ, видимъ необычайную, безпощадную (до несправедливости безпощадную) строгость его къ себѣ, и нетолько какъ къ поэту, но и какъ къ человѣку.

Три характерныхъ и странныхъ черты слѣдуетъ отмѣтить въ образѣ музы-Эллисъ. Во 1-хъ, она является поэту въ видѣ смутнаго, неопредѣленнаго призрака, и лишь по-немногу, постепенно начинаетъ воплощаться и очеловѣчиваться; только въ моментъ своей гибели принимаетъ она окончательно реальныя формы.—Когда поэтъ впервые явился на ея зовъ „на уголъ лѣса къ старому дубу“,

„она казалась (говоритъ онъ) вся какъ-бы соткана изъ полупрозрачнаго, молочнаго тумана — сквозь ея лицо мнѣ виднѣлась вѣтка, тихо колеблемая вѣтромъ—только волосы да глаза чуть-чуть чернѣли, да на одномъ изъ пальцевъ сложенныхъ рукъ блистало блѣднымъ золотомъ узкое кольцо... Ея глаза обратились на меня: взглядъ ихъ выражалъ не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное вниманіе. Я ждалъ, не произнесетъ-ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной, и все глядѣла на меня своимъ мертвенно-пристальнымъ взглядомъ“ (5).

Только послѣ нѣсколькихъ полетовъ съ поэтомъ она стала измѣняться, осуществляться. Такъ, принеся его домой отъ бурнаго моря, она „внезапно возникла“ передъ нимъ въ образѣ „прелестной женщины“:

„Легко отдѣляясь отъ земли, она плыла мимо — и вдругъ подняла обѣ руки надъ головою. Эта голова и руки, и плечи мгновенно вспыхнули тѣлеснымъ теплымъ цвѣтомъ; въ темныхъ глазахъ дрогнули живыя искры; усмѣшка тайной нѣги шевельнула покраснѣвшія губы...“ (13).

Токою явилась она и на другой день: „не столь прозрачной, какъ наканунѣ“, съ лицемъ „болѣе женственнымъ“ и „болѣе важнымъ“ (14).

Другая странная черта въ образѣ Эллисъ—отсутствіе въ ней народности:

„это была (говоритъ поэтъ) женщина съ маленькимъ, нерусскимъ лицемъ“ (стр. 9).

Что хотѣлъ Тургеневъ выразить этимъ указаніемъ на нерусское лице своей музы? Быть можетъ, онъ наме-

калъ на свое западничество.... Но онъ былъ здѣсь несправедливъ къ себѣ. Великій поэтъ Тургеневъ дорогъ намъ именно какъ поэтъ, а какъ таковой онъ не былъ и не могъ быть ненароднымъ, нерусскимъ, онъ не могъ быть даже западникомъ или славянофиломъ въ отвлеченномъ смыслѣ: мы и видѣли, что въ своихъ высшихъ созданіяхъ онъ не склонялся ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ направленій. Если же онъ назвалъ лице своей музы нерусскимъ, то это, конечно, въ томъ смыслѣ, въ какомъ его можно противуположить напр. Островскому, въ поэзіи котораго такъ явно преобладаютъ народныя стихіи; умъ, анализъ и сомнѣніе, перевѣшивающіе другіе элементы въ творчествѣ Тургенева, придаютъ какъ-бы западническій оттѣнокъ его поэзіи; но въ этомъ случаѣ онъ раздѣляетъ участь съ Пушкинымъ, въ поэзіи котораго преобладало воображеніе, художественное начало, созидающее образы. А кто-же рѣшится сказать, что Пушкинъ не народный поэтъ? Со временъ Петра Великаго западныя стихіи входятъ въ нашу русскую жизнь какъ начала, съ которыми мы сроднились.

Третья оригинальная черта Эллисъ—присутствіе въ ней чего-то злого и злобнаго; она—блуждающая комета, чуждая высшихъ жизненныхъ началъ.—„Я взглянулъ въ ея глаза" (разсказываетъ поэтъ про одно изъ позднѣйшихъ свиданій съ нею),

„я взглянулъ въ ея глаза... мнѣ стало жутко: въ этихъ глазахъ что̀-то двигалось—медленнымъ, безостановочнымъ и зловѣщимъ движеніемъ свернувшейся и застывшей змѣи, которую начинаетъ отогрѣвать солнце" (26).

Самый поцелуй Эллисъ оставляетъ на губахъ —

„странное ощущеніе, какъ-бы прикосновеніе тонкаго и мягкаго жала... Незлыя піявки такъ берутся" (10).

Въ горахъ Шварцвальда, очарованный красотою природы, поэтъ говоритъ своей музѣ:

„Эллисъ, ты должна любить этотъ край!"

А она возрожаетъ:

— Я ничего не люблю.
Какъ же это? А меня?
— Да... тебя! отвѣчаетъ она равнодушно.

и затѣмъ „съ какимъ-то холоднымъ увлеченіемъ“ восклицаетъ: „впередъ!“ (31—32).

Но особенно замѣчателенъ слѣдующій разговоръ:

„Эллисъ!—сказалъ я вдругъ (повѣствуетъ поэтъ)—ты, можетъ быть, преступная, осужденная душа?

Голова моей спутницы наклонилась. — Я тебя не понимаю, — шепнула она.

Заклинаю тебя именемъ Бога... началъ-было я.

— Что ты говоришь? — промолвила она съ недоумѣніемъ. — Я не понимаю“ (10).

А когда она показывала поэту бурное море около утеса Блакганга, и говорила, что тамъ „часто разбиваются корабли“,—онъ замѣтилъ въ ея голосѣ присутствіе злорадства.

Не счастье и не радость приноситъ она съ собою.

„Вѣдь этакъ умрешь, пожалуй, или сойдешь съ ума“,

разсуждаетъ поэтъ о своихъ летаніяхъ съ нею, „сидя въ роздумьѣ подъ окномъ“:

„Надо все это бросить. Это опасно. Вонъ и сердце какъ странно бьется. А когда я летаю, мнѣ все кажется, что его кто-то сосетъ, или какъ будто изъ него что-то сочится—вотъ какъ весной сокъ изъ березы, если воткнуть въ нее топоръ. А все-таки жалко. Да и Эллисъ... Она играетъ со мной какъ кошка съ мышью... а впрочемъ едва-ли она желаетъ мнѣ зла. Отдамся ей въ послѣдній разъ — нагляжусь — а тамъ... Но если она пьетъ мою кровь? Это ужасно (24—25).

Такимъ образомъ какъ-будто несочувственными чертами рисуетъ здѣсь Тургеневъ свою музу. И такъ-же относится онъ къ себѣ самому: „молодушнымъ“ является онъ въ своихъ летаніяхъ съ Эллисъ, робкимъ передъ тѣми грандіозными явленіями, которыя оно ему показываетъ.

Какъ объяснить эту странность чуть не враждебнаго, строгаго отношенія къ себѣ и къ своей музѣ?—Объясняется это разочарованіемъ поэта въ жизни, его сомнѣніемъ, раздвоеніемъ душевнымъ, его испугомъ передъ грозною силой внѣшней природы; передъ этою послѣдней силой смутилась, оробѣла и Эллисъ. И поэтъ казнитъ за этотъ страхъ и себя, и свою музу; признаетъ несостоятельными и себя, и ее.

Когда Эллись несла его, по его требованію, отъ Петербурга на югъ прочь отъ „больной ночи, больного дня, больного города“,—ему стало невыносимо тяжело:

„Грустно стало мнѣ (пишетъ поэтъ). и какъ-то равнодушно скучно... И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подо мною; весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этотъ наростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому проступила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди мухи, тысячу разъ ничтожнѣе мухъ; ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ, — какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло! Сердце во мнѣ медленно перевернулось, и не захотѣлось мнѣ болѣе глядѣть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку... Да, мнѣ стало скучно — хуже чѣмъ скучно. Даже жалости я не ощущалъ къ своимъ собратьямъ: всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я назвать едва дерзаю: въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе всего, и болѣе всего во мнѣ было отвращеніе — къ самому себѣ“ (35).

Эти чувства и думы смутили Эллисъ: „Перестань (шепнула она), перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжелъ становишься“ (36).

Но и сама она, сама Эллисъ, муза, испугалась внѣшней природы, ея грозной, безсмысленной силы, испугалась смерти и пришла въ отчаянье.

Вотъ что случилось во время того-же полета изъ Петербурга на югъ:

„Эллисъ какъ-то странно ко мнѣ прижималась (повѣствуетъ поэтъ); она почти толкала меня. Я посмотрѣлъ на нее—и кровь во мнѣ застыла. Кому случалось увидать на лицѣ другого внезапное выраженіе глубокаго ужаса, причину котораго онъ не подозрѣваетъ—тотъ меня пойметъ Ужасъ, томительный ужасъ кривилъ, искажалъ блѣдныя, почти стертыя черты Эллисъ. Я не видалъ ничего подобнаго даже на живомъ человѣческомъ лицѣ. Безжизненный, туманный призракъ, тѣнь... и этотъ замирающій страхъ...

Эллисъ, что съ тобой?—проговорилъ я наконецъ.

— Она... она... отвѣчала она съ усиліемъ,—она!

Она? кто она?

— Не называй ее, не называй, — торопливо пролепетала Эллисъ. Надо спасаться, а то всему конецъ — и навсегда... Посмотри: вонъ тамъ!

Я обернулъ голову въ сторону, куда указывала мнѣ трепещущая рука—и увидалъ нѣчто... нѣчто дѣйствительно страшное.

Это нѣчто было тѣмъ страшнѣе, что не имѣло опредѣленнаго образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, какъ брюхо ящерицы — не туча и не дымъ, медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ

землей. Мѣрное, широкое колебаніе сверху внизъ и снизу вверхъ, колебаніе, напоминающее зловѣщій размахъ крыльевъ хищной птицы, когда она ищетъ свою добычу; по временамъ неизъяснимо противное приниканіе къ землѣ, — паукъ такъ приникаетъ къ пойманной мухѣ... Кто ты, что́ ты, грозная масса? Подъ ея вліяніемъ — я это видѣлъ, я это чувствовалъ—все уничтожалось, все немѣло... Гнилымъ, тлетворымъ холодкомъ несло отъ нея—отъ этого холодка тошнило на сердцѣ и въ глазахъ темнѣло и волосы вставали дыбомъ. Это сила шла; та сила, которой нѣтъ сопротивленія, которой все подвластно, которая безъ зрѣнія, безъ образа, безъ смысла—все видитъ, все знаетъ, и какъ хищная птица выбираетъ свои жертвы, какъ змѣя ихъ давитъ и лижетъ своимъ мерзлымъ жаломъ...

Эллисъ, Эллисъ! закричалъ я какъ изступленный. — Это смерть! сама смерть!

Жалобный звукъ, уже прежде слышанный мною, вырвался изъ устъ Эллисъ—на этотъ разъ онъ скорѣе походилъ на человѣческіс отчаянный вопль—и мы понеслись. Но нашъ полетъ былъ странно и страшно неровенъ... А между тѣмъ вслѣдъ за нами, отдѣлившись отъ неизъяснимо ужасной массы, покатились какіе-то длинные, волнистые отпрыски, словно протянутыя руки, словно когти... Еще тревожнѣе, еще отчаяннѣе заметалась Эллисъ. „Она увидала! Все кончено! Я пропала!. .“ слышался ея прерывистый шепотъ. „О, я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!“

Это было слишкомъ невыносимо... Я лишился чувствъ“ (36—38).

Когда поэтъ очнулся, его взяло тяжелое раздумье объ Эллисъ, о музѣ;

„Ужели и она подлежитъ ея власти? Развѣ она не безсмертна? Развѣ и она обречена ничтожеству, разрушенію? Какъ это возможно?“

и вслѣдъ затѣмъ онъ услышалъ вблизи себя тихій стонъ и увидѣлъ, что въ двухъ шагахъ отъ него

„лежала распростертая молодая женщина въ бѣломъ платьѣ, съ разбросанными густыми волосами, съ обнаженнымъ плечомъ. Одна рука закинулась на голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутыхъ губахъ выступила легкая алая пѣна. Неужели это Эллисъ?..

Эллисъ! ты ли это?—воскликнулъ я. Вдругъ, медленно затрепетавъ, приподнялись широкія вѣки; темные, пронзительные глаза впились въ меня—и въ то-же мгновенье въ меня впились и губы, теплыя, влажныя, съ кровянымъ запахомъ... мягкія руки обвились вокругъ моей шеи, горячая, полная грудь судорожно прижалась къ моей. — Прощай! прощай на вѣкъ! — явственно произнесъ замиравшій голосъ — и все исчесло“ (38—39).

И такъ, муза умерла, исчезла, уничтожилась; смерть, матерьяльная сила природы побѣдила; восторжествовали

сомнѣнія и невѣріе.—Но какимъ образомъ невѣріе и отчаяніе могутъ быть поэзіей? А между тѣмъ „Призраки“ насквозь проникнуты поэзіей.—Дѣло въ томъ, что невѣріе и сомнѣніе поэта — не полныя; подъ ними, какъ искра подъ слоемъ тяжелаго пепла, горитъ, хотя и слабымъ свѣтомъ, огонь вѣры, который самъ поэтъ робко не смѣетъ замѣтить, которому онъ не смѣетъ отдаться. Эллисъ умерла; но вотъ, однако, какими знаменательными словами оканчиваются „Призраки“:

„Но что значатъ (говоритъ поэтъ) тѣ пронзительно-чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, какъ только заговорятъ при мнѣ о чьей-нибудь смерти? Они становятся все громче, все пронзительнѣй... И зачѣмъ я такъ мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожествѣ“ (40).

Въ этихъ словахъ слышится затаенная вѣра, затаенная робкая надежда, какъ и въ духѣ и тонѣ всего разсказа.— Вотъ почему поэтъ и казнитъ въ немъ и себя, и свою музу за недостатокъ воли, за малодушіе, за неумѣніе отдаться этой затаенной вѣрѣ, за нерѣшительность.

То, что въ „Призракахъ“ выражено художественными образами, то въ „Отрывкѣ изъ записокъ умершаго художника“ — „Довольно“ (слѣдующаго, 1864 года) высказано полу-отвлеченно, полу-лирически, съ высоко-поэтическимъ одушевленіемъ и въ то-же время почти безотрадно скорбнымъ чувствомъ.

„Строго и безучастно ведетъ каждаго изъ насъ судьба (говоритъ „умершій художникъ“)—и только на первыхъ порахъ мы, занятые всякими случайностями, вздоромъ, самими собою — не чувствуемъ ея черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить и не стыдно надѣяться. Истина — не полная истина — о той и помину быть не можетъ,—но даже та малость, которая намъ доступна — замыкаетъ тотчасъ намъ уста, связываетъ намъ руки, сводитъ насъ „на-нѣтъ“. —Тогда одно остается человѣку, чтобы устоять на ногахъ и не разрушиться въ прахъ, не погрязнуть въ тинѣ самозабвенія... самопрезрѣнія: спокойно отвернуться отъ всего, сказать: довольно!—и скрестивъ на пустой груди ненужныя руки, сохранить послѣднее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознанія собственнаго ничтожества“ (49).

Подъ „судьбою“ въ этихъ скорбныхъ словахъ художникъ разумѣетъ физическую природу и ея законы; а ис-

тина, по его мнѣнію, состоитъ въ томъ, что все подвластно этимъ законамъ и ничто не выше ихъ, не свободно отъ нихъ.

„Увы! (говоритъ онъ) не привидѣнія, не фантастическія, подземныя силы страшны; не страшна Гофманщина, подъ какимъ-бы видомъ она ни являлась... Страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелко-неинтересна—и нищенски плоска. Проникнувшись этимъ сознаньемъ, отвѣдавъ этой полыни, никакой уже медъ не покажется сладкимъ“ (стр. 50).

Онъ предвидитъ, что ему возразятъ на это указаніемъ на „великія представленія, великія утѣшительныя слова: народность, право, свобода, человѣчество“ (50). — Но, отвѣчаетъ онъ на возраженіе, не эти представленія, не эти слова управляютъ міромъ. Мы видимъ въ людской жизни, какъ въ древности, такъ и теперь — „все ту же пеструю и въ сущности несложную картину“:

„то-же легковѣріе и та-же жестокость, та-же потребность крови, золота, грязи, тѣ-же пошлыя удовольствія, тѣ-же безсмысленныя страданія во имя... ну, хоть во имя того-же вздора, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ осмѣяннаго Аристофаномъ... та-же естественность неправды — словомъ, то-же хлопотливое прыганье бѣлки въ томъ-же старомъ, даже не подновленномъ колесѣ“ (51).

„Но искусство?.. красота?.. Да (говоритъ онъ), это сильныя слова; они пожалуй, сильнѣе другихъ, мною вышеупомянутыхъ словъ. Венера Милосская, пожалуй несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89 года“ (52).

Но—и искусство, и красота—несостоятельны. И притомъ (продолжаетъ онъ)

„не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, его тлѣнъ и прахъ—вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство въ данный мигъ, пожалуй, сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетговена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гете — и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ какъ о подражаніи природѣ; но въ концѣ-концовъ природа неотразима; ей спѣшить нечего, и рано или поздно она возьметъ свое. Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ ея дитя; но человѣческое—искусственное—ей враждебно, именно потому, что силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ. Человѣкъ—дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтеній: все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только на счетъ другаго и должно въ свое время

уступить мѣсто другому--она создаетъ, разрушая, и ей все равно: что она создаетъ, что она разрушаетъ—лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла правъ своихъ... А потому она такъ-же спокойно покрываетъ плѣсенью божественный ликъ Фидіасовскаго Юпитера, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на съѣденіе презрѣнной моли драгоцѣннѣйшіе строки Софокла... Гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, бѣднымъ художникамъ сладить съ этой глухонѣмой, слѣпорожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ впередъ, все пожирая?" (52—53).

На это можно-бы, казалось, отвѣтить или возразить словами Шиллера: одно преходящее прекрасно, „и сама природа, въ непрерывной игрѣ своихъ возникающихъ, исчезающихъ формъ, не чуждается красоты" (53).—Да, отвѣчаетъ сомнѣвающійся художникъ, это такъ,

„это, пожалуй, справедливо — но только тамъ, гдѣ нѣтъ личности, нѣтъ человѣка, нѣтъ свободы: поблекшее крыло бабочки возникаетъ вновь и черезъ тысячу лѣтъ тѣмъ-же самымъ крыломъ той-же самой бабочки; тутъ строго и правильно, и безлично совершаетъ свой кругъ необходимость... но человѣкъ не повторяется какъ бабочка, и дѣло его рукъ, его искусства, его свободное твореніе, однажды разрушенное — погибаетъ навсегда... Ему одному дано „творить"... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на часъ, — какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество — и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ" самъ по себѣ, именно онъ, не кто другой, именно это я словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному — и живетъ, долженъ жить въ мгновеньи и для мгновенья. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу!" (53—54).

Сознавши все это, понявши, заключаетъ художникъ,— нельзя уже ничего дѣлать, ничѣмъ увлекаться... „Нѣтъ... нѣтъ Довольно... довольно... довольно!" (55) Передъ этимъ горькимъ сознаніемъ все въ жизни лишается смысла,—

„и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полнаго сближенія, безвозвратной преданности — даже оно теряетъ все свое обаяніе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да: человѣкъ полюбилъ, залепеталъ о вѣчномъ блаженствѣ, о безсмертныхъ наслажденіяхъ—смотришь: давнымъ-давно уже нѣтъ слѣда самаго того червя, который выѣлъ послѣдній остатокъ его изсохшаго языка" (50).

Вотъ къ какимъ безотраднымъ выводамъ, къ какому отчаянью пришелъ художникъ, написавшій свои записки — „Довольно".—Но замѣчательно, что въ первой половинѣ

этихъ записокъ, гдѣ говорится о высокой и чистой любви нѣтъ отчаянья. Воспоминанія объ этой любви (дивно прекрасныя по чувству и художественному его выраженію) проникнуты тоскою, грустью почти безотрадной; но это потому, что любовь завершилась разлукой, а не потому, чтобы „счастье безвозвратной преданности“ потеряло „все свое обаяніе“ отъ мысли о невѣчности всего въ мірѣ. Напротивъ, не смотря на эту мысль, въ душѣ человѣка сохранилось, не уничтожилось внутреннее, вѣчное достоинство этого минувшаго чистаго счастья. И въ этомъ кроется искра вѣры въ возможность чего-то вѣчнаго, безусловнаго, въ возможность для человѣка побороться съ природой и ея всеуничтожающей силой; невѣрящій, но скорбящій о вѣрѣ, жаждущій вѣры художникъ какъ-будто вѣритъ въ вѣчность своей святой, неумершей любви:

„я пробѣгаю (говоритъ онъ) кроткимъ и умиленнымъ взоромъ все мое прошедшее, все наше прошедшее... Надежды нѣтъ и нѣтъ возврата — но и горечи нѣтъ во мнѣ и нѣтъ сожалѣнья — и яснѣе небесной лазури, чище перваго снѣга на горныхъ высотахъ, возстаютъ, какъ образы умершихъ боговъ, прекрасныя воспоминанья“.

Къ этимъ прекраснымъ воспоминаньямъ музѣ не пришлось-бы ревновать его, какъ въ „Призракахъ“ ревновала Эллисъ поэта къ пѣвицѣ на островѣ Isola Bella: воспоминанія эти—свѣтлы, и образъ той, къ кому онѣ относятся, должно быть вдохновлялъ художника и въ его жизни и въ его творчествѣ:

„я думаю о тебѣ (пишетъ онъ)... и много другихъ воспоминаній другихъ картинъ встаетъ передо мною — и повсюду ты, на всѣхъ путяхъ моей жизни встрѣчаю я тебя“ (45).

Эта чистая любовь была свѣтомъ въ душѣ — и этотъ свѣтъ не погасъ и теперь, — слабый лучъ его мерцаетъ въ сердцѣ. а вмѣстѣ съ нимъ мерцаетъ и лучъ вѣры, не окончательно залитый волнами сомнѣнія.

„Надо признаться (пишетъ художникъ): все потускнѣло вокругъ-вся жизнь поблекла. Свѣтъ, который даетъ ея краскамъ и значеніе, и силу, — тотъ свѣтъ, который исходитъ изъ сердца человѣка, погасъ во мнѣ“...

но онъ сейчасъ-же дѣлаетъ оговорку:

„нѣтъ, онъ еще не погасъ—но едва тлѣетъ безъ лучей и безъ теп-

лоты. Помнится, однажды поздней ночью, въ Москвѣ, я подошелъ къ рѣшетчатому окну старенькой церкви и прислонился къ неровному стеклу. Было темно подъ низкими сводами—позабытая лампадка едва теплилась краснымъ огонькомъ передъ древнимъ образомъ—и смутно виднѣлись однѣ только губы святаго лика—строгія, скорбныя; угрюмый мракъ надвигался кругомъ и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый лучъ ненужнаго свѣта... И въ сердцѣ моемъ — теперь такой-же свѣтъ и такой-же мракъ" (42–43).

Это чудное поэтическое сравненіе записокъ умершаго художника превосходно поясняетъ состояніе души самого Тургенева въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности: мракъ скептицизма и отчаянья преобладалъ въ эту эпоху въ душѣ великаго поэта; но не угасалъ, однако, въ ней и слабый лучъ чистаго свѣта вѣры (На вѣчную жажду поэтомъ этой вѣры указываетъ самое отчаяніе, порожденное сомнѣніями. Благородное сердце великаго писателя не могло спокойно остоновиться на скептицизмѣ).

Да не будь этого луча вѣры въ его сердцѣ, и не написалъ-бы онъ ничего болѣе послѣ „Довольно", а подобно своему „умершему художнику", „скрестилъ бы на пустой груди ненужныя руки" (49) и не „поплелся" бы „съ изнеможеніемъ въ кости" „вновь въ этотъ міръ", на борьбу,— а онъ еще писалъ, еще боролся послѣ „Довольно" около 20 лѣтъ, до самой своей смерти.

Однако, подорванная вѣра не позволяла болѣе поэту создавать такихъ захватывающихъ и просвѣтляющихъ душу произведеній, какъ прежніе романы, какъ „Дворянское гнѣздо", какъ „Отцы и дѣти". Послѣ „Призраковъ" и „Довольно" изъ-подъ пера Тургенева вышелъ длинный рядъ романовъ и повѣстей; но это все сочиненія болѣзненныя и скорбныя, хотя и высоко-художественныя и поэтическія. Изъ типовъ въ нихъ на первый планъ выступаетъ, и раньше уже мелькавшій (но именно только мелькавшій въ творчествѣ великаго художника), образъ слабаго, безхарактернаго, малодушнаго человѣка. Содержаніемъ ихъ обыкновенно служитъ исторія борьбы въ человѣкѣ духовнага начала съ матерьяльнымъ. Общественная жизнь если и изображается поэтомъ въ этихъ романахъ, то лишь въ болѣзненныхъ своихъ проявленіяхъ: такъ въ „Дымѣ" и „Нови" выступаютъ передъ нами отрицатели и революціонеры двухъ противоположныхъ лагерей.

Въ 1867 году Тургеневъ написалъ большой романъ „Дымъ“. Мнѣ приходилось упоминать, какое тяжелое впечатлѣніе, сравнительно съ прежними его созданіями, произвело это. Тютчевъ въ стихотвореніи „Лѣсъ“ прекрасно выразилъ общее впечатлѣніе.

Героемъ „Дыма“ является безхарактерный человѣкъ Литвиновъ. Въ его душѣ происходитъ борьба между страстной, бурной и не совсѣмъ чистой любовью къ Иринѣ и спокойной и доброй привязанностью къ кроткой и чистой дѣвушкѣ Танѣ. Человѣкъ хорошій и честный, но безвольный, слабый, Литвиновъ весь отдается первому чувству, и, самъ себя безпощадно осуждая и презирая, наноситъ, однако, чуть не смертельный ударъ своей невѣстѣ Танѣ.

Уже отдавшись страсти и зная, что Ирина его любитъ, Литвиновъ ожидаетъ пріѣзда въ Баденъ Тани.

„Странная перемѣна произошла въ немъ (разсказываетъ поэтъ)... во всей его наружности, въ движеніяхъ, въ выраженіи лица; да и онъ самъ чувствовалъ себя другимъ человѣкомъ. Самоувѣренность исчезла, и спокойствіе исчезло тоже, и уваженіе къ себѣ; отъ прежняго душевнаго строя не осталось ничего. Недавнія, неизгладимыя впечатлѣнія заслонили собою все остальное. Появилось какое-то небывалое ощущеніе, сильное, сладкое—и недоброе; таинственный гость забрался въ святилище и овладѣлъ имъ, и улегся въ немъ, молчкомъ, но во всю ширину, какъ хозяинъ на новосельи. Литвиновъ не стыдился болѣе, онъ трусилъ—и въ то же время отчаянная отвага въ немъ загоралась; взятымъ, побѣжденнымъ знакома эта смѣсь противоположныхъ чувствъ, не безъизвѣстна она и вору, послѣ первой кражи. А Литвиновъ былъ побѣжденъ, побѣжденъ внезапно... и что̀ сталось съ его честностью?“(V, 140).

А между тѣмъ онъ, до вторичной встрѣчи съ Ириной, такъ много и такъ хорошо приготовлялся къ будущей полезной работѣ, къ честной жизни съ избранною имъ и уважаемою подругой; теперь-же...

„Онъ махнулъ рукою на все свое правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее: онъ зналъ, что онъ бросается очертя голову въ омутъ, куда и заглядывать не слѣдовало... но не это его смущало. То дѣло было поконченное, а какъ предстать передъ своего судью? И хоть бы точно судья его встрѣтилъ—ангелъ съ пламеннымъ мечемъ: легче было бы преступному сердцу... а то еще самому придется ножъ вонзать... Безобразно! А вернуться назадъ, отказаться отъ того другаго, воспользоваться свободой, которую ему сулятъ, которую признаютъ за нимъ... Нѣтъ! лучше умереть! Нѣтъ, не надо той постылой свободы... а низвергнуться въ прахъ, и чтобы тѣ глаза съ любовію склонились...“ (154).

Литвиновъ напоминаетъ намъ своимъ безволіемъ, своею слабостью героевъ прежнихъ повѣстей—„Два пріятеля“, „Переписка“, „Ася“. (1853, 1855, 1857 гг.). — Главное лице первой изъ нихъ—Вязовнинъ—бросаетъ добрую, милую и любящую его молодую жену по безхарактерной привычкѣ къ безалаберной холостой жизни, и глупо и пошло гибнетъ въ Парижѣ на дуэли изъ-за лоретки.—Герой „Переписки“ забываетъ зарождавшуюся-было въ душѣ привязанность къ хорошей и умной русской дѣвушкѣ и рабски отдается во власть страсти къ глупой и корыстной иностранкѣ-танцовщицѣ.—А въ повѣсти „Ася„ молодой человѣкъ Н*, радостно наслаждавшійся жизнью, мечтавшій о счастьѣ,—проглядѣлъ это счастье, пропустилъ его между рукъ, да разбилъ еще и чужое, горячее и искреннее сердце, потому что не хватило у него характера признать въ душѣ своей чувство любви и смѣло отдаться этому чувству. „Прощайте, мы не увидимся болѣе“, писала ему Ася послѣ того свиданія, на которомъ она такъ тщетно ждала его признанья.

„Не изъ гордости я уѣзжаю—нѣтъ, мнѣ нельзя иначе. Вчера, когда я плакалъ передъ вами, еслибъ вы мнѣ сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, такъ лучше... Прощайте навсегда!“

Письмо Аси открыло глаза безхарактерному человѣку; но было уже поздно.

„Одно слово... О, я безумецъ! (восклицаетъ онъ). Это слово... я со слезами повторялъ его наканунѣ, я расточалъ его на-вѣтеръ, я твердилъ его среди пустыхъ полей... но я не сказалъ его ей, я не сказалъ ей, что я люблю ее...“ (VII, 320).

Литвиновъ подъ-конецъ оправился отъ своего паденія: скрѣпя сердце, весь замирая отъ муки, онъ уѣхалъ все-таки отъ Ирины, когда она высказала ему свое рѣшеніе остаться въ своей сферѣ и пожелала, чтобы онъ жилъ подлѣ нея ея тайнымъ вздыхателемъ; чувство чести выручило и спасло его. Гораздо ниже Литвинова упалъ герой повѣсти „Вешнія воды“—Санинъ, человѣкъ не менѣе хорошій, чѣмъ Литвиновъ, но гораздо слабѣйшій его волею.—Но прежде, чѣмъ обратиться къ нему, остановимся нѣсколько на образѣ Ирины.

Это женщина не дюжинная, даровитая, съ умомъ, способная чувствовать горячо и сильно, одаренная даже волею. Но въ ея душѣ происходитъ, еще съ раннихъ лѣтъ, роковая борьба: гордое тщеславіе, страсть къ свѣту, къ внѣшнему блеску и матерьяльнымъ благамъ борятся въ ней съ искреннимъ сердечнымъ чувствомъ, съ стремленіемъ къ правдѣ и добру.—Въ домѣ своего отца, обѣднѣвшаго князя Осинина, потомка захудалаго древняго рода, Ирина тщеславно мучится сознаніемъ бѣдности, стыдится этой бѣдности. Но въ то-же время въ сердцѣ ея зарождается чистое чувство любви къ студенту Литвинову; когда, побѣдивъ свою гордость, она отдается душой этому чувству, она становится добрѣе, мягче, спокойнѣе.—Однако возрожденію не суждено было долго продолжаться: первый успѣхъ въ свѣтѣ, на балу, все разрушаетъ, и Ирина, сама глубоко страдая, нанося жестокую рану Литвинову, рѣшается разорвать съ нимъ и вступить на другую жизненную дорогу: матерьяльное начало быстро, хотя и не безъ жестокой боли, побѣдило въ ея душѣ чистыя духовныя стремленія. Она сама предчувствовала это, предчувствовала, что не устоитъ передъ соблазномъ, и, надобно ей отдать справедливость, она желала избѣгнуть роковой борьбы, — она не хотѣла ѣхать на балъ. Но недогадливый и слабый волею юноша Литвиновъ самъ взялся, по просьбѣ князя, уговорить ее:

„Ирина (разсказываетъ поэтъ) пристально и внимательно посмотрѣла на него, такъ пристально и такъ внимательно, что онъ смутился, и поигравъ концами своего пояса, спокойно промолвила:

— Вы этого желаете? вы?

— Да... я полагаю, отвѣчалъ съ запинкой Литвиновъ.—Я согласенъ съ вашимъ батюшкой... Да и почему вамъ не поѣхать... людей посмотрѣть и себя показать, прибавилъ онъ съ короткимъ смѣхомъ.

— Себя показать, медленно повторила она.—Ну, хорошо, я поѣду... Только помните, вы сами этого желали.

— То-есть, я... началъ было Литвиновъ.

— Вы сами этого желали, перебила она“ (V, 53).

У Литвинова не хватило воли и тогда, когда Ирина, уже передъ самымъ отъѣздомъ на балъ, сдѣлала еще разъ попытку отстраниться отъ предстоявшей ей опасной борьбы.

„Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руку, и внезапно хвативъ конецъ вѣтки, украшавшей ея голову, промолвила:

— Хочешь? Скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома.

У Литвинова сердце такъ и покатилось. Рука Ирины уже срывала вѣтку...

— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ же, подхватилъ онъ торопливо, въ порывѣ благодарныхъ и великодушныхъ чувствъ: я не эгоистъ, зачѣмъ стѣснять свободу... когда я знаю, что твое сердце...

— Ну, такъ не подходите, платье изомнете, поспѣшно проговорила она.

Литвиновъ смѣшался" (54—55).

Если-бы въ характерѣ Литвинова была твердость, если-бы онъ владѣлъ собою и могъ-бы служить опорой Иринѣ, а не былъ бы ей „безвозвратно покорёнъ", —кто знаетъ, можетъ быть въ Иринѣ доброе начало и восторжествовало-бы: задатковъ добра въ ней было много.

Эти задатки добра и заставляютъ ее презрительно относиться къ тому обществу, въ которое кинулю ее тщеславіе, ненавидѣть тотъ мишурный блескъ, которымъ она окружена. Она искренно и правдиво говоритъ Литвинову въ Баденѣ, послѣ многолѣтней разлуки, что отъ всей души рада встрѣчѣ съ нимъ, какъ съ живымъ человѣкомъ, между тѣмъ какъ она окружена бездушными карьеристами и фатами. Она искренно отдаетъ свое сердце Литвинову; но въ ней не хватаетъ уже силы бросить ненавидимый ею свѣтъ и всецѣло отдаться иной жизни, тихой, простой и правдивой. Зло слишкомъ въѣлось въ ея сердце: презрительно смѣясь надъ окружающимъ ее міромъ, и моля Литвинова спасти ее отъ этой пошлости, она въ то-же время не можетъ отказаться отъ льстиваго преклоненія передъ высокими лицами, отъ благоговѣйныхъ отношеній къ дорогимъ кружевамъ и одеждамъ, даже отъ кокетства изъ-за денегъ съ презираемымъ мужемъ. Въ самое ея чувство къ Литвинову забирается что̀-то злобное, нечистое, грубо-матерьяльное,—отсюда ея вражда къ бѣдной, оскорбляющей, страдающей Танѣ. Литвиновъ разсказываетъ Иринѣ о своемъ объясненіи съ Таней, о томъ, что онъ сказалъ ей о необходимости разлуки.

„Ну... и что-жь она? Согласна? (зло и иронически спрашиваетъ Ирина).

— Ахъ, Ирина! что это за дѣвушка! Она вся самоотверженіе, вся благородство.

— Вѣрю, вѣрю... впрочемъ, ей другого ничего и не оставалось.

— И ни одного упрека, ни одного горькаго слова мнѣ, человѣку, который испортилъ всю ея жизнь, обманулъ ее, бросилъ безжалостно...

Ирина разсматривала свои ногти.

— Скажи мнѣ, Григорій... она тебя любила?

— Да, Ирина, она любила меня.

Ирина помолчала, оправила платье.

— Признаюсь,—начала она,—я хорошенько не понимаю, зачѣмъ это тебѣ вздумалось съ нею объясняться?

— Какъ зачѣмъ, Ирина? Неужели бы ты хотѣла, чтобъ я лгалъ, притворялся передъ нею, передъ этою чистою душой? Или ты полагала...

— Я ничего не полагала,—перебила Ирина. — Я, каюсь, мало о ней думала... Я не умѣю думать о двухъ людяхъ разомъ.

— То-есть ты хочешь сказать...

— Ну, и что-жь? Она уѣзжаетъ, эта чистая душа? вторично перебила Ирина.

— Я ничего не знаю, отвѣчалъ Литвиновъ. — Я еще долженъ увидаться съ ней. Но она не останется.

— А! счастливый путь!“ (172—173).

Когда Литвиновъ предлагаетъ Иринѣ бросить свѣтъ и бѣжать съ нимъ, она сначала соглашается. Но потомъ въ душѣ ея происходитъ тяжелая борьба,—и она видитъ, что не можетъ этого сдѣлать. Пошлость, оказывается, пересилила въ ней сохранившіеся задатки добра. Вотъ что пишетъ она Литвинову въ рѣшительную минуту:

„Милый мой! я всю ночь думала о твоемъ предложеніи... я не стану съ тобою лукавить. Ты былъ откровененъ со мною, и я буду откровенна: я не могу бѣжать съ тобою, я не въ силахъ это сдѣлать. Я чувствую, какъ я передъ тобою виновата; вторая моя вина еще больше первой—я презираю себя, свое малодушіе, я осыпаю себя упреками, но я не могу себя перемѣнить“.

Она говоритъ далѣе, что ихъ планъ—бѣжать былъ „прекрасенъ, но несбыточенъ“.

„О, мой другъ, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины!.. Оставить этотъ свѣтъ я не въ силахъ, но и жить въ немъ безъ тебя не могу. Мы скоро вернемся въ Петербургъ, пріѣзжай туда, живи тамъ, мы найдемъ тебѣ занятія, твои прошедшіе труды не пропадутъ, ты найдешь для нихъ полезное примѣненіе... только живи въ моей близости, только люби меня, какова я есть, со всѣми моими слабостями и пороками, и знай, ничье сердце никогда не будетъ такъ нѣжно тебѣ предано, какъ сердце твоей Ирины“ (192—193).

Письмо это тяжело поразило Литвинова:

„Темная бездна внезапно обступила его со всѣхъ сторонъ, и онъ глядѣлъ въ эту темноту безсмысленно и отчаянно“, говоритъ поэтъ (193).

Но письмо въ то-же время и отрѣзвило его, пробудило

въ его душѣ чувство чести и благородства, замолчавшее было подъ злымъ дѣйствіемъ страсти,—и это производитъ въ романѣ отрадное впечатлѣніе на читателя.

„Поѣзжай за нами въ Петербургъ“, повторялъ онъ съ горькимъ внутреннимъ хохотомъ: „мы тамъ тебѣ найдемъ занятія“. Въ столоначальники что-ли меня произведутъ? И кто эти мы? Вотъ когда сказалось ея прошедшее! Вотъ то тайное, безобразное, котораго я не знаю, но которое она пыталась-было изгладить и сжечь какъ бы въ огнѣ!.. И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидаетъ! Жить въ ея близости, посѣщать ее, дѣлить съ ней развращенную меланхолію модной дамы, которая и тяготится, и скучаетъ свѣтомъ, а внѣ его круга существовать не можетъ, быть домашнимъ другомъ ея и, разумѣется, его превосходительства... пока... пока минетъ капризъ, и пріятель-плебей потеряетъ свою пикантность... вотъ это возможно и пріятно и, пожалуй, полезно... говоритъ же она о полезномъ примѣненіи моихъ талантовъ? а тотъ умыселъ—несбыточенъ! несбыточенъ...“ (193—194).

Литвиновъ пріѣхалъ къ себѣ въ деревню душевно разбитый; но поживъ тамъ года два, очнулся, успокоился — и вернулся къ Танѣ. А та все позабыла и все простила ему.

Обойдя пока политическую и общественную сторону романа „Дымъ“, обратимся къ повѣсти „Вешнія воды“, въ которой мы видимъ тотъ-же мотивъ, что и въ отношеніяхъ Литвинова къ Иринѣ и Танѣ. Только здѣсь поэтъ прибѣгъ къ нѣсколько иному пріему: онъ разложилъ на составныя начала тѣ сложныя чувства, которыя управляютъ героями „Дыма“, запутывая ихъ въ неисходныя противорѣчія. Такъ, все, что есть темнаго, мутнаго, сладострастнаго въ характерѣ Ирины и въ чувствѣ къ ней Литвинова, въ „Вешнихъ водахъ“ поэтъ выдѣлилъ въ особый образъ Марьи Николавны Полозовой и въ страсть Санина къ этой Марьѣ Николавнѣ. Все-же чистое и святое въ любви онъ воплотилъ въ свѣтломъ образѣ Джеммы. Въ душѣ Санина происходитъ на нашихъ глазахъ опредѣленная борьба свѣтлаго, одухотвореннаго, чистаго чувства съ мутной чувственной страстью,— борьба духа человѣческаго съ грубой матерьяльной природой и ея могучими силами. Повѣсть „Вешнія воды“ по своей художе-

ственности есть одно изъ высшихъ созданій искусства,—вся проникнутая чувствомъ, она совершенно чужда отвлеченной разсудочности, и лица ея, отъ Джеммы и Марьи Николавны до благороднаго старика Панталеоне Чипатола изъ Варезе, до сухаго торгаша-педанта Клюбера и даже до честнаго пуделя Тартальи, живыя лица, яркіе жизненные образы.

Чистая дѣвушка Джемма—существо прекрасное душою и тѣломъ, и даровитое, чуткое, впечатлительное. Санинъ восторженно любуется ею, когда она съ неподражаемымъ искусствомъ читаетъ комическія сцены или поетъ, слабымъ, но пріятнымъ голосомъ, возводя порой глаза кверху,—ему кажется тогда,

„что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ" (IX, 51).

Сама живая душою, она не любитъ своего жениха, мертвеннаго педанта Клюбера, и ея чувство переходитъ въ презрѣніе, когда тотъ не сумѣлъ и не захотѣлъ, по своей холодности и разсчетливости, защитить ее отъ оскорбленія. Санина, человѣка простодушно-веселаго, довѣрчиваго, откровеннаго, умнаго и свѣжаго душою (71) она полюбила первой, чистой дѣвственной любовью. Санинъ самъ полюбилъ ее. Но, слабый и безхарактерный, не рѣшающійся долго дать себѣ яснаго отчета въ томъ, что́ происходитъ въ его душѣ, не рѣшающійся на твердый шагъ, онъ было взялся, по просьбѣ матери Джеммы, уговорить Джемму не отказывать Клюберу. Происходитъ между молодыми людьми объясненіе,—въ этомъ объясненіи выказывается вся нѣжность и самоотверженность чувства чистой дѣвушки. Санинъ передалъ ей желаніе ея матери, малодушно умолчавъ о своемъ взглядѣ на дѣло.

„Джемма, промолвилъ онъ,—отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назадъ черезъ плечо свою шляпу—и устремила на него глаза, довѣрчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что онъ заговоритъ... Но видъ ея лица смутилъ и словно ослѣпилъ его. Теплый блескъ вечерняго солнца озарялъ ея молодую голову—и выраженіе этой головы было свѣтлѣе и ярче самаго этого блеска.

— Я васъ послушаюсь, monsieur Dimitri, начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови; но какой же совѣтъ дадите вы мнѣ? (114).

Санинъ заговорилъ и сталъ путаться въ своихъ мысляхъ и чувствахъ, въ своихъ словахъ...

„Это все мнѣніе мамы, перебила Джемма... Это я знаю; но ваше какое мнѣніе?

— Мое? — Санинъ помолчалъ. Онъ чувствовалъ, чтó-то подступило къ нему подъ горло и захватывало дыханіе. — Я тоже полагаю... началъ онъ съ усиліемъ.

Джемма выпрямилась.—Тоже? вы тоже?

— Да... то-есть... Санинъ не могъ, рѣшительно не могъ прибавить ни единаго слова.

— Хорошо, сказала Джемма. Если вы, какъ другъ, совѣтуете мнѣ измѣнить мое рѣшеніе... то-есть, не мѣнять моего прежняго рѣшенія— я подумаю. Она, сама не замѣчая, что дѣлаетъ, начала перекладывать вишни обратно изъ тарелки въ корзину... Мама надѣется, что я васъ послушаюсь.. Что-жь? Я, быть можетъ, точно послушаюсь васъ.

— Но позвольте, фрейлейнъ Джемма, я сперва желалъ бы узнать, какія причины побудили васъ...

— Я васъ послушаюсь, повторила Джемма, — а у самой брови все надвигались, щеки блѣднѣли; она покусывала нижнюю губу“ (114).

На этотъ разъ Санинъ очнулся и успѣлъ спасти свое счастье; онъ вдругъ заговорилъ искренно и для него смѣло:

„Подождите... я вамъ скажу, я вамъ напишу... а вы до тѣхъ поръ не рѣшайтесь ни на чтó... подождите!“ (115).

Джемма поняла, что онъ ее любитъ, и вся просвѣтлѣла, и на-встрѣчу подошедшей матери „залилась внезапными... для нея самой неожиданными слезами“ (115).

Затѣмъ послѣдовало письменное признаніе Санина въ любви и поэтическое объясненіе въ городскомъ саду, гдѣ Джемма стыдливо и просто спросила Санина, когда онъ сказалъ, что нашелъ въ ней счастье всей своей жизни:

„Всей жизни? Точно?

— Всей жизни, на-вѣкъ и навсегда! воскликнулъ Санинъ съ новымъ порывомъ“ (128).

Затѣмъ послѣдовало сватовство, и Санинъ сталъ хлопотать объ устройствѣ своихъ денежныхъ дѣлъ. — И въ это время опять, но уже болѣе ярко, выступаетъ передъ нашими глазами безхарактерность героя повѣсти: рѣшившись остаться во Франкфуртѣ, онъ, вопреки своимъ убѣжденіямъ, хочетъ продать крестьянъ, легкомысленно закрывая глаза на неблаговидность этого замысла.

„Вы говорите: продать имѣніе (замѣчаетъ ему фрау Леноре). Но какъ же вы это сдѣлаете? Вы, стало быть, и крестьянъ тоже продадите?

Санина точно что въ бокъ кольнуло. Онъ вспомнилъ, что, разговаривая съ г-жей Розелли и ея дочерью о крѣпостномъ правѣ, которое, по его словамъ, возбуждало въ немъ глубокое негодованіе, онъ неоднократно завѣрялъ ихъ, что никогда и ни за что своихъ крестьянъ продавать не станетъ, ибо считаетъ подобную продажу безнравственнымъ дѣломъ.

— Я постараюсь продать мое мнѣніе человѣку, котораго я буду знать съ хорошей стороны, произнесъ онъ не безъ запинки—или, быть можетъ, сами крестьяне захотятъ откупиться.

— Это всего лучше, согласилась и фрау Леноре. А то продавать живыхъ людей... Barbari! проворчалъ Панталеоне, который, вслѣдъ за Эмилемъ, показался-было у дверей, тряхнулъ тупеемъ и скрылся" (139).

Но, вопреки и этимъ своимъ словамъ, Санинъ начинаетъ вести переговоры о продажѣ крестьянъ не съ человѣкомъ, котораго знаетъ съ хорошей стороны, а съ случайно подвернувшимся подходящимъ лицемъ — Марьей Николаевной Полозовой. Онъ встрѣчается во Франкфуртѣ съ мужемъ этой Марьи Николаевны, своимъ товарищемъ по воспитанію, совершенно оскотинившимся обжорой Полозовымъ (удивительно ярко обрисованная въ повѣсти личность), и тотъ увозитъ его къ женѣ въ Висбаденъ, обнадеживая, что она купитъ имѣнье. Встрѣча съ Марьей Николавной роковымъ образомъ рѣшаетъ судьбу слабаго волею Санина: онъ отдается весь во власть мутно-чувственному увлеченью.

Не будучи „отъявленною красавицей", Марья Николавна поражаетъ, говоритъ поэтъ, нечистымъ обаяніемъ своего „мощнаго, не то русскаго, не то цыганскаго цвѣтущаго тѣла".—Она умна, толкова, даровита, очень образована (по-латыни даже знаетъ и Энеиду прочитала въ подлинникѣ), отецъ ея, богатый откупщикъ, далъ ей блестящее воспитаніе. Она многое понимаетъ даже въ искусствѣ,, напр. въ театральномъ; въ совершенствѣ владѣя народною русскою рѣчью и любя говорить по-русски, она также въ совершенствѣ владѣетъ и французскимъ языкомъ; она людей понимаетъ и умѣетъ пользоваться ихъ слабостями. Она вездѣ можетъ освоиться и всюду чувствуетъ себя какъ дома. Но она безнравственна до мозга костей, безнравственна въ полномъ смыслѣ этого слова: для нея не существуетъ различія добра и зла, она живетъ и хочетъ жить только для наслажденья, вся сознательно отдавшись матерьяльной жизни. Въ разговорѣ съ Санинымъ въ театрѣ она такъ опредѣляетъ себя:

„я не прочь размышлять... оно весело, да и на то умъ намъ данъ; но о послѣдствіяхъ того, что я сама дѣлаю—я никогда не размышляю, и когда придется, не жалѣю себя—ни на эстолько: не стбитъ. У меня есть поговорка: „cela ne tire pas à conséquence"—не знаю, какъ это сказать по-русски. Да и точно: чтб tire à conséquence? — Вѣдь отъ меня отчета не потребуютъ здѣсь, на землѣ; а тамъ (она подняла палецъ кверху), ну, тамъ—пусть распоряжаются какъ знаютъ. Когда меня будутъ тамъ судить, то я не я буду!" (185).

„Знаете чтб (говоритъ она дальше): на меня цѣпей наложить нельзя, но вѣдь и я ненакладываю цѣпей. — Я люблю свободу и не признаю обязанностей—не для себя одной" (186).

Марья Николавна рѣшила увлечь Санина и покорить его себѣ; она держала объ этомъ пари съ мужемъ,—и выиграла.

Безхарактерный человѣкъ, Санинъ въ нѣсколько дней поддался очарованію мутной страсти, и образъ Джеммы, первое время охранявшій его отъ соблазна, оказался безсильнымъ надъ его душою.

Овладѣвши Санинымъ, Марья Николавна спрашивала его:

„Куда же ты ѣдешь?.. Въ Парижъ или во Франкфуртъ?

— Я ѣду туда, гдѣ будешь ты, и буду съ тобой, пока ты меня не прогонишь, отвѣчалъ онъ съ отчаяніемъ, и припалъ къ рукамъ своей властительницы. Она высвободила ихъ, положила ихъ ему на голову—и всѣми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безотвѣтные волосы, сама вся выпрямилась, на губахъ змѣилось торжество — а глаза, широкіе и свѣтлые до бѣлизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость побѣды. У ястреба, который когтитъ пойманную птицу, такіе бываютъ глаза" (200).

Такъ кончилась исторія Санина. Повидимому, безотрадное чувство отчаянія лежитъ въ основѣ повѣсти: человѣкъ пожертвовалъ духомъ, покорившись матерьяльному увлеченію, позабылъ и презрѣлъ чистое чувство, оскорбилъ, унизилъ и заставилъ страдать возвышенно-свѣтлую душу. Но не совсѣмъ безотрадное впечатлѣніе производятъ, однако, на насъ „Вешнія воды". Это потому, что за ихъ грустными образами и сценами видится возвышенный идеалъ поэта. Для насъ совершенно ясно, что поэтъ всѣмъ сердцемъ своимъ сочувствуетъ чистой дѣвушкѣ Джеммѣ и чистому чувству къ ней своего безвольнаго героя; а увлеченіе Санина мутной страстью онъ изобразилъ въ отталкивающемъ видѣ и скорбитъ объ этомъ увлеченіи. Высота идеала поэта придаетъ чистый характеръ всей повѣсти, и подробно нарисо-

ванныя въ ней сцены соблазна не возбуждаютъ въ душѣ никакого мутнаго чувства: читатель охраненъ отъ этихъ соблазновъ свѣтлымъ образомъ Джеммы, охраненъ лучше, чѣмъ Санинъ, — явное свидѣтельство, что Санина нельзя смѣшивать и отождествлять съ творцомъ его: въ Тургеневѣ было гораздо больше свѣтлой вѣры, чѣмъ въ его безвольномъ героѣ. Эта вѣра и придаетъ произведенію поэтическій оттѣнокъ, и повѣсть вмѣстѣ съ тяжелымъ впечатлѣніемъ возбуждаетъ въ насъ и какое-то отрадное чувство. Поэтъ говоритъ даже намъ, что Санинъ вовсе и не любилъ Марью Николавну, и показываетъ, какъ чувство къ Джеммѣ, затемненное на-время нечистой страстью, выдержало испытаніе времени, и черезъ тридцать лѣтъ воскресло въ душѣ Санина съ прежнею чистотою и силою. Мрачны и безотрадны начинающія повѣсть размышленія ея героя о своей нравственной погибели; но его розыски Джеммы, его сношенія съ нею и переписка проливаютъ отрадный свѣтъ и въ его душу, и въ душу читателя: свидѣтельство, что свѣтъ поэзіи и вѣры не погасъ въ душѣ поэта, когда онъ писалъ „Вешнія воды“. Чувство правдивой и свѣтлой любви представлено въ повѣсти (какъ и въ лирическомъ „Довольно“) вѣчнымъ, вопреки скорбной мысли о непрочности и ничтожности всего человѣческаго.

2.

Романы „Дымъ“ и „Новь“.

Въ романѣ „Дымъ“, кромѣ изображенія личныхъ, или общечеловѣческихъ чувствъ его героевъ, кромѣ ихъ интимной жизни (о чемъ уже было говорено), поэтъ нарисовалъ намъ еще и жизнь общественную. Но грустное впечатлѣніе производятъ картины этой послѣдней, и къ нимъ, главнымъ образомъ, относится названіе произведенія, про нихъ особенно говоритъ Литвиновъ, уѣзжая изъ Бадена: „дымъ, дымъ... все дымъ и паръ“ (V, 202).

Характеръ общественныхъ романовъ и общественное

значеніе имѣли: „Рудинъ“, „Дворянское гнѣздо“, „Наканунѣ“, „Отцы и дѣти“. Тамъ выступали передъ нами дѣятели, воплощавшіе въ себѣ внутренній смыслъ своей эпохи, и вліяніе духа живого слышалось въ ихъ словахъ и дѣлахъ. Хотя всѣ они и оказались въ концѣ-концовъ несостоятельными, т. е. не достигли идеала, но они все-таки дѣло дѣлали, и положительные результаты ихъ слова или ихъ дѣятельности остались въ жизни послѣ того, какъ сошли со сцены ихъ личности. Въ „Дымѣ“ же, и въ послѣдовавшемъ за нимъ черезъ 10 лѣтъ (въ 1877 г.) большомъ романѣ „Новь“ — передъ нами лишь болѣзненныя, отрицательныя явленія русской общественности, лица, протестующія словомъ и дѣломъ противъ дѣйствительности, безъ идеала лучшей дѣйствительности или во имя идеала, стоящаго гораздо ниже ея.—И въ „Дымѣ“, и въ „Нови“ поэтъ нарисовалъ намъ отрицателей двухъ противоположныхъ лагерей,— отрицателей-сановниковъ, считающихъ себя консерваторами, и отрицателей-революціонеровъ. И тѣ, и другіе недовольны русской жизнью и желаютъ передѣлать ее по своимъ грубымъ мечтаніямъ. И тѣ, и другіе одинаково ничтожны, по взгляду поэта, — и къ тѣмъ, и къ другимъ онъ относится то съ негодующимъ, порой близкимъ къ презрѣнію, смѣхомъ, то съ скорбно-безотраднымъ сожалѣніемъ, состраданіемъ.

Въ „Дымѣ“ эти отрицатели изображены среди заграничной жизни, не столько дѣятелями, сколько мечтающими о будущей дѣятельности, разговаривающими о ней. Въ „Нови“ поэтъ перенесъ ихъ на родную почву, привелъ въ столкновеніе съ народомъ, заставилъ ихъ дѣйствовать.

Представителями отрицателей-консерваторовъ въ „Дымѣ“ являются лица, окружающія Ирину: мужъ ея — генералъ Ратмировъ, другіе молодые, имѣющіе далеко пойти по службѣ генералы: тучный, раздражительный, снисходительный, „одинъ изъ извѣстныхъ предводителей дворянской оппозиціи“—князь Коко,

„который въ Парижѣ, въ салонѣ принцессы Матильды, въ присутствіи императора, такъ хорошо сказалъ: „Madame, le principe de la propriété est profondement ébranlé en Russie“ (V, 2)

и иныя, подобныя ему лица. Съ неподражаемымъ юморомъ нарисовалъ поэтъ ихъ пикникъ у Стараго Замка. — Литвиновъ случайно попалъ (разсказываетъ онъ)

„на пикникъ молодыхъ генераловъ, особъ высшаго общества, съ значительнымъ вѣсомъ. Значительность ихъ сказывалась во всемъ: въ ихъ сдержанной развязности, въ миловидно-величавыхъ улыбкахъ, въ напряженной разсѣянности взгляда, въ изнѣженномъ подергиваніи плечъ, покачиваніи стана и сгибаніи колѣнъ; она сказывалась въ самомъ звукѣ голоса, какъ бы любезно и гадливо благодарящаго подчиненную толпу. Всѣ эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь какимъ-то истинно дворянскимъ и гвардейскимъ запахомъ, смѣсью отличнѣйшаго сигарочнаго дыма и удивительнѣйшаго пачули. И руки у всѣхъ были дворянскія, бѣлыя, большія, съ крѣпкими, какъ слоновая кость, ногтями; у всѣхъ усы такъ и лоснились, зубы сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцемъ на щекахъ, лазурью на подбородкѣ. Иные изъ молодыхъ генераловъ были игривы, другіе задумчивы; но печать отмѣннаго приличія лежала на всѣхъ. Каждый, казалось, глубоко сознавалъ собственное достоинство, важность своей будущей роли въ государствѣ и держалъ себя и строго, и вольно, съ легкимъ оттѣнкомъ той рѣзвости, того „чортъ меня побери“, которые такъ естественно появляются во время заграничныхъ поѣздокъ“ (65).

Но не весельемъ дышали рѣчи генераловъ: эти рѣчи все сбивались на политическіе вопросы, и молодые сановники выражали свое неудовольствіе на освобожденіе крестьянъ, на относительную свободу печати и другія великія реформы императора Александра II.

„Журналы! обличеніе! (вспыльчиво говорилъ „раздражительный генералъ“) Если-бъ это отъ меня зависѣло, я бы въ этихъ вашихъ журналахъ только и позволилъ печатать, что таксы на мясо или на хлѣбъ, да объявленія о продажѣ шубъ да сапоговъ.

— Да дворянскихъ имѣній съ аукціона, ввернулъ Ратмировъ“ (70).

Словечко Ратмирова подхватилъ „снисходительный генералъ“.

„Вотъ нашъ пріятель, Валеріанъ Владиміровичъ, упомянулъ о продажѣ дворянскихъ имѣній. Что-жь? развѣ это не фактъ?

— Да ихъ и продать теперь невозможно; никому онѣ не нужны! воскликнулъ раздражительный генералъ.

— Можетъ быть... можетъ быть. Потому-то и надо заявлять этотъ фактъ... этотъ грустный фактъ на каждомъ шагу. Мы разорены—прекрасно; мы унижены—объ этомъ спорить нельзя; но мы, крупные владѣльцы, мы все-таки представляемъ начало... un principe. Поддерживать этотъ принципъ—нашъ долгъ. Pardon, madame, вы, кажется, платокъ уронили. Когда нѣкоторое, такъ сказать, омраченіе овладѣваетъ даже высшими умами, мы должны указывать — съ покорностью указывать (генералъ протянулъ палецъ)—указывать перстомъ гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить съ почтительною твердостью: „воротитесь, воротитесь назадъ...“ Вотъ что мы должны говорить.

— Нельзя же, однако, совсѣмъ воротиться, задумчиво замѣтилъ Ратмировъ.

Снисходительный генералъ только оскорбился.

— Совсѣмъ, совсѣмъ назадъ, mon très cher. Чѣмъ дальше назадъ, тѣмъ лучше.

Генералъ опять вѣжливо взглянулъ на Литвинова. Тотъ не вытерпѣлъ.

— Ужъ не до семибоярщины-ли намъ вернуться, ваше превосходительство?

— А хоть бы и такъ! Я выражаю свое мнѣніе, не обинуясь; надо передѣлать... да... передѣлать все сдѣланное.

— И девятнадцатое февраля?

— И девятнадцатое февраля, насколько это возможно. On est patriote ou on ne l'est pas. А воля? скажутъ мнѣ. Вы думаете сладка народу эта воля? Спросите-ка его...

— Попытайтесь, подхватилъ Литвиновъ,—попытайтесь отнять у него эту волю... (71—72).

Въ продолжающемся въ томъ-же духѣ разговорѣ снисходительный генералъ выражается еще опредѣленнѣе:

„Я не врагъ такъ называемаго прогресса (говоритъ онъ); но всѣ эти университеты да семинаріи тамъ, да народныя училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce fond du sac, la petite propriété, pire que le prolétariat (генералъ говорилъ почти изнѣженнымъ, разслабленнымъ голосомъ), voilà ce qui m'effraie... вотъ гдѣ нужно остановиться... и остановить (онъ опять ласково взглянулъ на Литвинова). Да-съ, нужно остановить. Не забудьте, вѣдь у насъ никто ничего не требуетъ, не проситъ. Самоуправленіе, напримѣръ, развѣ кто его проситъ? Вы его развѣ просите? или ты? или вы, mesdames?.. Друзья мои любезные, зачѣмъ же зайцемъ-то забѣгать? Демократія вамъ рада, она кадитъ вамъ, она готова служить вашимъ цѣлямъ... да вѣдь это мечъ обоюдо-острый. Ужъ лучше по-старому, по-прежнему... вѣрнѣй гораздо. Не позволяйте умничать черни, да ввѣрьтесь аристократіи, въ которой одной и есть сила... Право, лучше будетъ. А прогрессъ... Я собственно ничего не имѣю противъ прогресса. Не давайте намъ только адвокатовъ, да присяжныхъ, да земскихъ какихъ-то чиновниковъ,—да дисциплины, дисциплины пуще всего не трогайте, а мосты и набережныя, и гошпитали вы можете строить, и улицъ газомъ отчего не освѣщать?“ (73).

Кромѣ пикника у Стараго Замка, на которомъ такъ опредѣленно высказались убѣжденія молодыхъ генераловъ, будущихъ сановниковъ, Тургеневъ сводитъ Литвинова съ ними еще на вечерѣ у Ирины и показываетъ пустоту ихъ существованія, ихъ интересовъ.

„Если-бы Литвиновъ обращалъ даже больше вниманія на то, что говорилось вокругъ него (говоритъ поэтъ), онъ все-таки не вынесъ бы

ни одного искренняго слова, ни одной дѣльной мысли, ни одного новаго факта изо всей этой безсвязной и безжизненной болтовни. Въ самыхъ крикахъ и возгласахъ не слышалось увлеченія; въ самомъ порицаніи не чувствовалось страсти; лишь изрѣдка изъ-подъ личины мнимо-гражданскаго негодованія, мнимо-презрительнаго равнодушія плаксивымъ пискомъ пищала боязнь возможныхъ убытковъ, да нѣсколько именъ, которыхъ потомство не забудетъ, произносилось со скрипѣніемъ зубовъ... И хоть бы капля живой струи подо всѣмъ этимъ хламомъ и соромъ! Какое старье, какой ненужный вздоръ, какіе плохіе пустячки занимали всѣ эти головы, эти души, и не въ одинъ только этотъ вечеръ занимали ихъ они, не только въ свѣтѣ,—но и дома, во всѣ часы и дни, во всю ширину и глубину ихъ существованія! И какое невѣжество въ концѣ-концовъ! Какое непониманіе всего, на чемъ зиждется, чѣмъ украшается человѣческая жизнь!" (121—122).

И то же невѣжество, ту же пустоту и ту же пошлость показываетъ намъ Тургеневъ въ обществѣ противоположномъ, въ средѣ отрицателей-революціонеровъ.

„Ну, что... понравилось вамъ наше Вавилонское столпотвореніе?" (27)

спрашиваетъ Потугинъ Литвинова, послѣ встрѣчи на собраніи у Губарева.

На этомъ собраніи были всѣ главные представители отрицанія: и самъ вожакъ Губаревъ, пишущій, по словамъ Бамбаева, сочиненіе „обо всемъ", въ родѣ Бекля, „только поглубже", и не умѣющій двухъ словъ связать, по опредѣленію Потугина, хотя и произносящій фразы, въ родѣ: „сверху до-низу все гнило" (16), или: „всѣ будутъ въ свое время потребованы къ отчету, со всѣхъ взыщется" (19);—и Бамбаевъ, „человѣкъ хорошій изъ числа пустѣйшихъ", „вѣчно безъ гроша и вѣчно отъ чего-нибудь въ восторгѣ", шляющійся „съ крикомъ, но безъ цѣли по лицу нашей многосносной матушки земли";—и Ворошиловъ, „словно на ординарцы приставленный къ наукѣ", человѣкъ „золотой доски" (28), видимо, презирающій всякое старье и дорожащій „однѣми сливками образованности, послѣднею передовою точкой науки", все или молчащій, или вдругъ, безъ нужды и даже повода, сыплящій съ языка „имена новѣйшихъ ученыхъ", „заглавія только что вышедшихъ брошюръ, вообще имена, имена, имена", что ему самому доставляетъ высокое наслажденіе (12);—и Суханчикова, проповѣдующая необходимость и неизбѣжность швейныхъ машинъ, быстро произносящая рѣзкіе приговоры и заставляющая Бичеръ-Стоу

бить по щекамъ какого-то ретрограда Тентелеева, чванливо осмѣлившагося ей представиться;—и Титъ Биндасовъ, „съ виду шумный буршъ, а въ-сущности кулакъ и выжига, по рѣчамъ террористъ, по призванію квартальный“;—и разныя другія лица. Всѣ они благоговѣйно склоняются передъ Губаревымъ, повинуются ему,—и не потому, чтобы онъ былъ уменъ, или знающъ, или обладалъ характеромъ, а просто потому (говорилъ Потугинъ), что онъ „захотѣлъ быть начальникомъ, и всѣ его начальникомъ признали“ (29): „кто палку взялъ, тотъ и капралъ“ (30).

Вотъ какими чертами рисуетъ Тургеневъ бесѣду у Губарева:

„Самъ Губаревъ рѣдко вмѣшивался въ пренія; зато другіе усердно надсаживали грудь. Случалось не разъ, что трое, четверо кричали вмѣстѣ въ-теченіе десяти минутъ, и всѣ были довольны и понимали. Бесѣда продолжалась за-полночь и отличалась, какъ водится, обиліемъ и разнообразіемъ предметовъ... Дымъ отъ сигаръ стоялъ удушливый; всѣмъ было жарко и томно, всѣ охрипли, у всѣхъ глаза посоловѣли, потъ лилъ градомъ съ каждаго лица. Бутылки холоднаго пива появлялись и опоражнивались мгновенно. „Чтó, бишь, я такое говорилъ?“ твердилъ одинъ; „да съ кѣмъ я сейчасъ спорилъ и о чемъ?“ спрашивалъ другой. И среди всего этого гама и чада, по-прежнему переваливаясь и шевеля въ бородѣ, безъ устали расхаживалъ Губаревъ, и то прислушивался, приникая ухомъ къ чьему-нибудь разсужденію, то вставлялъ свое слово, и всякій невольно чувствовалъ, что онъ-то, Губаревъ, всему матка и есть, что онъ здѣсь хозяинъ и первенствующее лицо...“ (23—25).

Интересна комическая, или ироническая судьба всѣхъ этихъ героевъ отрицанія: Губаревъ, вернувшись въ Россію, сдѣлался, что называется, „дантистомъ“, въ родѣ своего старшаго братца; Бамбаевъ обратился въ его шута и получилъ кличку m-r Ростона; Ворошиловъ вступилъ въ военную службу; Суханчикова, Матрена Кузьминишна, прогнанная Губаревымъ, уѣхала съ горя въ Португалію, съ двумя „матреновцами“, своими послѣдователями, „людьми ея партіи“; а Биндасовъ „попалъ въ акцизные“ (по словамъ не переставшаго восторгаться и въ самомъ униженіи своемъ Бамбаева) (209—212).

Въ такомъ же духѣ, какъ въ „Дымѣ“, изображены поэтомъ наши отрицатели и въ романѣ „Новь“.

Съ замѣчательнымъ искусствомъ нарисовалъ поэтъ фигуры—либеральнаго сановника Сипягина и рисующагося и

тщеславящагося своимъ аристократизмомъ фата помѣщика Калломѣйцова, происходящаго изъ рода огородника Коломенцова.

Сипягинъ, по рѣзкому, но, въ-сущности, справедливому слову Маріанны,—не человѣкъ, а чиновникъ (323); а по остроумному опредѣленію Нежданова въ письмѣ къ Силину, онъ—баринъ учтивый и либеральный: „все снисходитъ, все снисходитъ—а то вдругъ возьметъ и воспаритъ; преобразованный мужчина!“ (284).—Сипягинъ играетъ въ либерализмъ, и на этомъ, а также на псевдо-народности своихъ стремленій и вкусовъ строитъ свою карьеру.—Зная о взглядахъ Нежданова, онъ пригласилъ его, однако, въ учителя къ своему сыну, и въ спорѣ Нежданова съ Калломѣйцевымъ, также какъ и послѣдняго съ Соломинымъ, старается показать себя стоящимъ выше крайностей, воображаетъ себя примиряющимъ непримиримое и пугающимъ противниковъ силою своего авторитета:

„Онъ зналъ латинскій языкъ (говоритъ поэтъ), и Виргиліевское: Quos ego! (я васъ!) не было ему чуждымъ. Сознательно онъ не сравнивалъ себя съ Нептуномъ; но какъ-то сочувственно вспоминалъ о немъ“ (332).

Когда пренія Калломѣйцева и Соломина приняли рѣзкій характеръ,—Сипягинъ

„понялъ (разсказываетъ Тургеневъ), что наступила минута положить, такъ-сказать, предѣлъ... остановить! И онъ положилъ предѣлъ; онъ остановилъ! Помахивая кистью правой руки, локоть которой оставался опертымъ о столъ, онъ произнесъ длинную, обстоятельную рѣчь.

(Сипягинъ вообще охотникъ произносить „спичи“ и претендуетъ на краснорѣчіе).

„Съ одной стороны, онъ похвалилъ консерваторовъ,—а съ другой, одобрилъ либераловъ, отдавая симъ послѣднимъ нѣкоторый преферансъ и причисляя себя къ ихъ разряду; превознесъ народъ — но указалъ на нѣкоторыя его слабыя стороны; выразилъ полное довѣріе къ правительству, — но спросилъ себя: исполняютъ ли всѣ подчиненные его благія предначертанія? Призналъ пользу и важность литературы, но объявилъ, что безъ крайней осторожности она немыслима! Взглянулъ на западъ: сперва порадовался—потомъ усомнился; взглянулъ на востокъ: сперва отдохнулъ—потомъ воспрянулъ! И наконецъ предложилъ выпить тостъ за процвѣтаніе тройственнаго союза: религіи, земледѣлія и промышленности!“ (424—425).

Поддѣлываясь къ духу времени, Сипягинъ любилъ

„щегольнуть нѣкоторыми изреченіями, долженствовавшими доказать, что и онъ самъ—не только русскій человѣкъ, но „русакъ", и близко знакомъ съ самой сутью народной жизни! Такъ, напримѣръ, на замѣчаніе Калломѣйцева, что дождь можетъ помѣшать уборкѣ сѣна, онъ немедленно отвѣчалъ, что „пусть будетъ сѣно черно—зато греча бѣла"; употребилъ также поговорки,—вродѣ: „товаръ безъ хозяина сирота", „десять разъ примѣрь, одинъ разъ отрѣжь"; „когда хлѣбъ, тогда и мѣра"... Правда, иногда съ нимъ случалось, что онъ вдругъ промахнется и скажетъ, напримѣръ: „знай куликъ свой шестокъ!" или „красна изба углами!" Но общество, въ средѣ котораго эти бѣды съ нимъ случались, большею частью и не подозрѣвало, что тутъ „notre bon русакъ" далъ промахъ... Подобныя изреченія, во время и у мѣста пущенныя имъ въ Петербургѣ, заставляли высокопоставленныхъ, вліятельныхъ дамъ восклицать: „Comme il connait bien les moeurs de notre peuple! А высокопоставленные, вліятельные сановники прибавляли: Les moeurs et les besoins!" 428—429).

Безподобно обрисована въ романѣ комическая фигура Калломѣйцева. Какъ Сипягинъ рисуется своимъ либерализмомъ, такъ этотъ своимъ мнимымъ консерватизмомъ, за которымъ кроется простое себялюбіе, тщеславіе и боязнь убытковъ.

„Стоило (разсказываетъ поэтъ) кому нибудь чѣмъ нибудь задѣть Семена Петровича, задѣть его консерваторскіе, патріотическіе и религіозные принципы,—о! тогда онъ дѣлался безжалостнымъ! Все его изящество испарялось мгновенно; нѣжные глазки зажигались недобрымъ огонькомъ; красивый ротикъ выпускалъ некрасивыя слова—и взывалъ, съ пискомъ взывалъ къ начальству" (256).

Калломѣйцевъ очень недоволенъ, какъ и генералы „Дыма", реформами императора Александра.

„Это земство! Къ чему оно? (разсуждаетъ онъ съ Валентиной Михайловной). Только ослабляетъ администрацію и возбуждаетъ... лишнія мысли... (Калломѣйцевъ поболталъ въ воздухѣ обнаженной лѣвой рукой, освобожденной отъ давленія перчатки). . и несбыточныя надежды (Калломѣйцевъ подулъ себѣ на руку). Я говорилъ объ этомъ въ Петербургѣ... mais, bah! Вѣтеръ не туда тянетъ" (257—258).

Калломѣйцевъ—и противъ народнаго образованія, народныхъ школъ. Онъ разсказалъ за обѣдомъ у Сипягиныхъ,

„какъ, посѣтивъ однажды народную школу, онъ поставилъ ученикамъ вопросъ: Что есть строфокамилъ? И такъ какъ никто не умѣлъ отвѣтить, ни даже самъ учитель, то онъ, Калломѣйцевъ, поставилъ другой вопросъ: Что есть пиѳикъ?—при чемъ привелъ стихъ Хемницера:

„И Пиѳикъ слабоумъ, списатель звѣрскихъ лицъ!“ И на это ему никто не отвѣтилъ.—Вотъ вамъ и народная школа!“

побѣдоносно заключилъ онъ (289—290).

Ретроградство Калломѣйцева доходитъ до цинизма:

„онъ договорился, наконецъ, дотого (разсказываетъ поэтъ), что привелъ—правда въ видѣ шутки — тостъ одного знакомаго ему барина, за нѣкоторымъ имениннымъ банкетомъ: „Пью за единственные принципы, которые признаю — воскликнулъ этотъ разгоряченный помѣщикъ — за кнутъ и за Редереръ!“ (271).

Въ другой разъ Калломѣйцевъ, за обѣдомъ,

„обхвативъ, по-модному, большой бѣлый хлѣбъ обѣими руками и переламывая его пополамъ надъ тарелкой супа, какъ это дѣлаютъ завзятые парижане въ Café-Riche“.

изъявилъ желаніе

„раздробить, превратить въ прахъ всѣхъ тѣхъ, которые сопротивляются — чему-бы и кому-бы то ни было!“ (329).

Калломѣйцевъ хвалится своимъ чуткимъ носомъ:

„Я еще въ бытность мою чиновникомъ по особымъ порученіямъ у московскаго генералъ-губернатора—avec Ladislas—навострился на этихъ господъ—на красныхъ, да вотъ еще на раскольниковъ. Чутьемъ, бывало, беру верхнимъ. Тутъ Калломѣйцевъ „кстати“ разсказалъ, какъ онъ однажды, въ окрестностяхъ Москвы, поймалъ за каблукъ старика-раскольника, на котораго нагрянулъ съ полиціей и „который едва было не выскочилъ изъ окна избы... И такъ до той минуты смирно сидѣлъ на лавкѣ, бездѣльникъ!“

Калломѣйцевъ забылъ прибавить (говоритъ поэтъ), что этотъ самый старикъ, посаженный въ тюрьму, отказался отъ всякой пущи—и уморилъ себя голодомъ“ (292).

Неспособный уважать чужихъ религіозныхъ убѣжденій, Калломѣйцевъ считаетъ нужнымъ, однако, для виду, и конечно не искренно, для манифестаціи передъ Соломинымъ, смутить встрѣтившагося сельскаго священника, звучно поцѣловавъ (послѣ благословенія) его потную, красную руку.

Ladislas, упомянутый Калломѣйцевымъ, какъ его товарищъ по службѣ, не сходитъ у него съ языка. Этотъ пресловутый Ladislas, по его словамъ,

„собирается написать романъ изъ большого свѣта... Это будетъ прелесть!

говоритъ великосвѣтскій чиновникъ:

„Nous aurons enfin le grand monde russe peint par lui-même“ (258).

Не одна смерть раскольника лежитъ на душѣ Калломѣйцева: когда онъ пріѣхалъ къ губернатору съ Сипягинымъ, по дѣлу арестованнаго Маркелова, и сталъ не въ мѣру и не кстати усердствовать, такъ что вызвалъ ядовитый вопросъ Маркелова:

„что это у васъ, ваше превосходительство, чиновникъ по тайной полиціи, что-ли? такой усердный?“ (531),

тогда и самъ губернаторъ почелъ нужнымъ остановить расходившагося франта:

„Кстати, мнѣ нужно переговорить съ вами, Семенъ Петровичъ (сказалъ онъ).

— А что?

— Да такъ; нехорошо.

— А именно?

— Да знаете, вашъ должникъ-то, мужикъ этотъ, что ко мнѣ жаловаться приходилъ....

— Ну?

— Вѣдь онъ повѣсился.

— Когда?

— Это все равно—когда; а только нехорошо.

Калломѣйцевъ пожалъ плечами и отошелъ, щегольски покачиваясь, къ окну“ (530).

Отрицателямъ изъ высшаго свѣта совершенно соотвѣтствуютъ въ романѣ отрицатели-революціонеры: Кисляковъ, Маркеловъ, купецъ Голушкинъ и другіе.—Эти лица раздѣляются на пошляковъ, говорящихъ съ чужого голоса, и на искренно увлеченныхъ революціей, заговоромъ. Но и тѣ и другіе вызываютъ въ душѣ поэта и читателя главнымъ образомъ—смѣхъ и сожалѣніе.

Представителемъ первыхъ служитъ купецъ Голушкинъ, человѣкъ лѣтъ сорока, „сынъ разбогатѣвшаго торговца москательнымъ товаромъ изъ старовѣровъ-ѳедосѣевцевъ“.

„Самъ онъ (разсказываетъ поэтъ) не увеличилъ отцовскаго состоянія, ибо былъ, какъ говорится, жуиръ, эпикуреецъ на русскій ладъ — и никакой въ торговыхъ дѣлахъ сообразительности не имѣлъ“. Онъ „вообще производилъ впечатлѣніе парня дурковатаго, избалованнаго и крайне самолюбиваго. Самъ онъ почиталъ себя человѣкомъ образованнымъ, потому что одѣвался по-нѣмецки и жилъ хотя грязненько да открыто, знался съ людьми богатыми и въ театръ ѣздилъ, и протежировалъ каскадныхъ актрисъ... Жажда популярности была его главною страстью: греми, молъ, Голушкинъ, по всему свѣту! То Суворовъ или Потемкинъ— а то Капитонъ Голушкинъ!—Эта же самая страсть, побѣдившая въ немъ

прирожденную скупость, бросила его, какъ онъ не безъ самодовольства выражался, въ оппозицію (прежде онъ говорилъ просто „въ позицію“, но потомъ его научили), свела его съ нигилистами: онъ высказывалъ самыя крайнія мнѣнія, трунилъ надъ собственнымъ старовѣрствомъ, ѣлъ въ постъ скоромное, игралъ въ карты—а шампанское пилъ, какъ воду. И все сходило ему съ рукъ; потому, — говорилъ онъ, — у меня всякое, гдѣ слѣдуетъ, начальство закуплено, всякая прорѣха зашита, всѣ рты заткнуты, всѣ уши завѣшены“ (348—349).

Очень живыми чертами нарисованъ обѣдъ у этого Голушкина, гдѣ онъ и его приказчикъ Васька, преданный, по его словамъ, революціи, выказываются во всей красѣ. Этотъ Васька, „прилизанный, чахоточный человѣкъ съ кувшиннымъ рыльцемъ“, съ такимъ видомъ „скалилъ зубы“, что нельзя было понять—

„что онъ такое: пошлый ли дурачокъ, или напротивъ, всесовершеннѣйшій выжига и плутъ“ (379).

На пресловутомъ обѣдѣ шелъ дѣловой разговоръ въ такомъ родѣ:

„Намъ не нужно постепеновцевъ, сумрачно проговорилъ Маркеловъ.

— Постепеновцы до сихъ поръ шли сверху, замѣтилъ Соломинъ,— а мы попробуемъ снизу.

— „Не нужно, къ чорту! не нужно, рьяно подхватилъ Голушкинъ: надо разомъ, разомъ!

— То-есть, вы хотите въ окно прыгнуть?

— И прыгну! завопилъ Голушкинъ. — Прыгну! и Васька прыгнетъ! Прикажу—прыгнетъ! А? Васька? Вѣдь прыгнешь?

Прикащикъ допилъ стаканъ шампанскаго.

— Куда вы, Капитонъ Андреичъ, туда и мы. Развѣ мы разсуждать смѣемъ?

А! то-то! Въ бараній рогъ согну!“ (382—383).

Когда, въ концѣ романа, Маркелова арестовали, Голушкинъ до того струсилъ, что сталъ на колѣнкахъ ползать передъ губернаторомъ.

Конечно, умнѣе, образованнѣе и, вѣроятно, искреннѣе Голушкина „неутомимый путешественникъ“ Кисляковъ; но тщеславенъ онъ и комиченъ пожалуй, что не менѣе глупаго купца-раскольника и революціонера. Уважающій этого Кислякова и довѣряющій ему Маркеловъ вручилъ Нежданову пачку его писемъ.

„Неждановъ вернулся (разсказываетъ) къ себѣ въ комнату и пробѣжалъ отданныя ему письма: молодой пропагандистъ въ нихъ толко-

валъ постоянно о себѣ, о своей судорожной дѣятельности; по его словамъ, онъ въ послѣдній мѣсяцъ обскакалъ одиннадцать уѣздовъ, былъ въ девяти городахъ, двадцатипяти селахъ, пятидесяти-трехъ деревняхъ, одномъ хуторѣ и восьми заводахъ; шестнадцать ночей провелъ въ сѣнныхъ сараяхъ, одну въ конюшнѣ, одну даже въ коровьемъ хлѣвѣ (тутъ онъ замѣтилъ въ скобкахъ съ нотабене, что блоха его не беретъ); лазилъ по землянкамъ, по казармамъ рабочихъ, вездѣ поучалъ, наставлялъ, книжки раздавалъ и на-лету собиралъ свѣдѣнія; иныя записывалъ на мѣстѣ, другія заносилъ себѣ въ память, по новѣйшимъ пріемамъ мемноники; написалъ 14 большихъ писемъ, 28 малыхъ и 18 записокъ (изъ коихъ 4 карандашемъ, одну кровью, одну сажей, разведенной на водѣ); и все это онъ успѣвалъ сдѣлать, потому что научился систематически распредѣлять время, принимая въ руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкаго, Карреліуса и другихъ публицистовъ и статистиковъ. Потомъ онъ говорилъ опять-таки о своей звѣздѣ, о томъ, какъ и въ чемъ именно онъ дополнилъ теорію страстей Фуріэ; увѣрялъ, что онъ первый отыскалъ, наконецъ, „почву", что онъ „не пройдетъ надъ міромъ безо всякаго слѣда", что онъ самъ удивляется тому, какъ это онъ, 22-хъ лѣтній юноша, уже рѣшилъ всѣ вопросы жизни и науки, и что онъ перевернетъ Россію, даже „встряхнетъ" ее!—Dixi!! приписывалъ онъ въ строку. Это слово „dixi" попадалось часто у Кислякова и всегда съ двумя восклицательными знаками" (346—347).

Искреннѣе Кислякова, и сердечнѣе, и ужъ вовсе не преданъ себялюбію — шуринъ Сипягина Маркеловъ. Но это человѣкъ жалкій. Это—существо честное и сильное (сильное своей вѣрою, убѣжденностью), но тупое, ограниченное, упрямое (295, 298—299). Онъ неудачникъ во всемъ. Служилъ онъ въ полку, но вышелъ въ отставку по непріятности съ командиромъ-нѣмцемъ, — съ тѣхъ поръ онъ возненавидѣлъ нѣмцевъ. Страстно влюбился онъ въ одну дѣвушку; „но та измѣнила ему самымъ безцеремоннымъ манеромъ и вышла за адъютанта",—Маркеловъ возненавидѣлъ и адъютантовъ(298).

„Его ограниченный умъ (говоритъ про него поэтъ) билъ въ одну и ту-же точку: чего онъ не понималъ, то для него не существовало... Ему вообще не везло никогда и ни въ чемъ: въ корпусѣ онъ носилъ названіе неудачника. „Человѣкъ искренній, прямой натура страстная и несчастная, онъ могъ въ данномъ случаѣ, отказаться безжалостнымъ, кровожаднымъ, заслужить названіе изверга—и могъ такъ-же пожертвовать собою, безъ колебанія и безъ возврата" (229).

Онъ добръ къ мужикамъ и простъ съ ними, но ни онъ ихъ не понимаетъ, ни они его, и пропаганда его комична. А между тѣмъ онъ считаетъ себя совершенно готовымъ и къ этой прогандѣ, и ко всякаго рода дѣйствіямъ. Онъ такъ и родился готовымъ, иронически говоритъ про него Соло-

минъ.—Кончилось тѣмъ, что мужики его выдали,—и тогда смутно стало у него на душѣ: то въ его голову забирались сомнѣнія, что

„и Кисляковъ вралъ, и Василій Николаевичъ приказывалъ пустяки, и всѣ эти статьи, книги, сочиненія соціалистовъ, мыслителей, каждая буква которыхъ являлась ему чѣмъ-то несомнѣннымъ и несокрушимымъ, все это пуфъ“;

то ему казалось, что „нѣтъ; то все правда“, а это онъ виноватъ, онъ не сумѣлъ, не то сказалъ, не такъ принялся (533).

Гораздо умнѣе Маркелова, и даже обладаетъ остроуміемъ, юморомъ, Сила Паклинъ. Онъ нѣсколько скептикъ, и потому на него косо смотрятъ его сотоварищи, не совсѣмъ ему довѣряютъ; но онъ человѣкъ искренній. Только жалокъ онъ не менѣе Маркелова; жалокъ тогда, напр., когда труситъ передъ Сипягинымъ и, самъ того вовсе не ожидая, открываетъ либеральному сановнику мѣстопребываніе Нежданова и Маріанны.

Наивная и серьезная, серьезно любящая Нежданова и преданная своему дѣлу Машурина, недалекій Пименъ Остродумовъ—ничѣмъ особеннымъ не замѣчательны.

Соломинъ... но это личность очень неопредѣленно нарисованная поэтомъ. Человѣкъ спокойный, „прохладный“, какъ выразилась „Фимушка“; Соломинъ такъ сдержанъ, такъ не высказывается, что даже трудно сказать—принадлежитъ ли онъ душою къ партіи отрицателей-революціонеровъ; онъ смотритъ на нихъ, во всякомъ случаѣ, скептически, особенно на ихъ поспѣшность и вообще на ихъ практическую дѣятельность. Впрочемъ, онъ не типъ въ романѣ, а лишь блѣдный намекъ на лице.

Романъ „Новь“, какъ помнятъ, конечно, многіе изъ насъ, появившись въ свѣтъ въ 1877 году, не произвелъ особеннаго впечатлѣнія на читающее общество, или, точнѣе сказать, впечатлѣніе его было гораздо слабѣй произведеннаго не только великими романами „Дворянское гнѣздо“, „Наканунѣ“ и другими, но и предшествовавшимъ ему большимъ сочиненіемъ, родственнымъ ему по духу—„Дымомъ“. — И это не потому, чтобы ослабѣлъ поэтическій геній Тургенева: лица „Нови“—лица живыя, и художественно нарисованъ ихъ

быть. Но дѣло въ томъ, что романъ изображаетъ только болѣзненныя явленія жизни, въ немъ не на чѣмъ и не на комъ остановиться съ отрадою и полнымъ сочувствіемъ, въ немъ нѣтъ героическаго.

Главное лицо „Нови“ — Неждановъ—человѣкъ умный, даже даровитый, симпатичный, но совершенно безвольный, безхарактерный, и потому блѣдный, мало привлекающій къ себѣ наше вниманіе. У него есть поэтическій талантъ, онъ сочиняетъ очень недурные стихи, напримѣръ:

Окружи меня цвѣтами
Солнце въ комнату впусти, и т. д.

Но онъ не смѣетъ отдаться своему дарованію, влеченію своей природы, потому что это несогласно съ его отвлеченными, революціонными убѣжденіями. А въ эти убѣжденія, съ другой стороны, въ пропаганду въ народѣ и въ возмущеніе народа, онъ, „россійскій Гамлетъ“, по опредѣленію Паклина, скептикъ и чуткій душой человѣкъ, тоже не вѣритъ, не можетъ вѣрить. Очень художественно нарисованы въ романѣ сцены, гдѣ Неждановъ ходитъ въ народъ въ „костюмѣ“ и проповѣдуетъ, проповѣдуетъ вполнѣ неудачно, самъ это видя и потомъ почти смѣясь надъ собою, но не веселымъ, а безотрадно горькимъ смѣхомъ.—Сознаніе своей полной несостоятельности приводитъ Нежданова къ самоубійству.

Маріанна—та вѣритъ въ дѣло, на которое пошла; она радостно вступаетъ въ жизнь, радостно хочетъ „опро́ститься“, какъ выразилась Татьяна, отказаться отъ всего барскаго. Но она—полудитя, и едва-ли хорошенько понимаетъ—на что̀ она идетъ, за что принимается. Поэтъ довольно неопредѣленными чертами обрисовалъ ея образъ; но можно догадываться, что едва-ли она останется на той дорогѣ, на которую вступила, тѣмъ болѣе, что едва-ли останется на этой дорогѣ и Соломинъ, за котораго она вышла замужъ послѣ смерти Нежданова.

„Дымъ“ представляетъ въ содержаніи своемъ болѣе интереса, чѣмъ „Новь“, не только потому, что герои его, Литвиновъ, Ирина и Татьяна, гораздо менѣе блѣдны характерами, чѣмъ Неждановъ, не только по своей трагической исторіи интимныхъ отношеній этихъ лицъ, но и потому

еще, что въ немъ есть чрезвычайно важная въ общественномъ и психологическомъ смыслѣ личность—Потугинъ.

Что за человѣкъ Потугинъ? — Прежде всего нужно замѣтить, что совершенно несправедливо иногда отождествляютъ у насъ это лицо съ самимъ творцомъ его. Во 1-хъ, Потугинъ слишкомъ узокъ для того, чтобы выразить все богатое содержаніе воззрѣній Тургенева, и есть не болѣе, какъ одинъ изъ множества типовъ, созданныхъ творческой фантазіей великаго поэта; во 2-хъ, О. Ѳ. Миллеръ, въ своихъ „Публичныхъ лекціяхъ", справедливо указываетъ, что „дымомъ" въ романѣ Тургеневъ назвалъ не только другихъ лицъ, но и самого Потугина со всѣми его взглядами и убѣжденіями.

Потугинъ — человѣкъ не дюжинный, умный и острый, и вмѣстѣ—добрый, простой и смиренный. Онъ умѣетъ и любитъ говорить, но и молчать и наблюдать онъ умѣетъ; онъ насквозь видитъ людей и жизнь понимаетъ. Но онъ, какъ бо̀льшая часть героевъ Тургенева послѣдняго періода дѣятельности поэта, слабъ волею: онъ весь во власти овладѣвшей его душой, совершенно безнадежно любимой имъ Ирины, и оттого грусть, близкая къ безотрадному отчаянью, есть одна изъ характерныхъ чертъ его образа.

Потугинъ—западникъ и врагъ славянофильства.

„Да-съ, да-съ, я западникъ (настойчиво заявляетъ онъ Литвинову), я преданъ Европѣ, т. е. говоря точнѣе, я преданъ образованности, той самой образованности, надъ которою такъ мило у насъ теперь потѣшаются, цивилизаціи, да, да, это слово еще лучше—и люблю ее всѣмъ сердцемъ, и вѣрю въ нее, и другой вѣры у меня нѣтъ и не будетъ. Это слово ци-ви-ли-за-ція (Потугинъ отчетливо, съ удареніемъ произнесъ каждый слогъ) и понятно, и чисто, и свято, а другія всѣ, народность тамъ, что-ли, слава, кровью пахнутъ... Богъ съ ними!" (36).

Славянофилы, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ того-же разговора,—прекраснѣйшіе люди, а „живутъ буквой буки".

„Все молъ будетъ, будетъ. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десятки вѣковъ ничего своего не выработала, ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ... Но постойте, потерпите: все будетъ. А почему будетъ позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, молъ, образованные люди—дрянь; но народъ... о, это—великій народъ! Видите этотъ армякъ? вотъ откуда все пойдетъ. Всѣ другіе идолы разрушены; будемъ же вѣрить въ армякъ. Право, если-бъ я былъ живописцемъ, вотъ-бы я какую картину написалъ: образованный человѣкъ стоитъ передъ мужикомъ и кланяется ему низко: вы-

лечи-молъ меня, батюшка-мужичокъ, я пропадаю отъ болѣсти; а мужикъ, въ свою очередь, низко кланяется образованному человѣку: научи-молъ меня-батюшка-баринъ, я пропадаю отъ темноты. Ну и, разумѣется, оба ни съ мѣста. А стоило-бы только дѣйствительно смириться — не на однихъ словахъ—да попризанять у старшихъ братьевъ, что они придумали лучше насъ и прежде насъ!" (32—33).

Въ другомъ разговорѣ съ Литвиновымъ Потугинъ идетъ гораздо дальше въ отрицаніи величія русской самобытности; но впрочемъ онъ предупреждаетъ своего собесѣдника, что находится „въ самомъ мизантропическомъ настроеніи, и всѣ предметы представляются" ему въ преувеличенно-скверномъ видѣ" (101). — Онъ высказывается здѣсь противъ крестьянскаго общиннаго владѣнія землею, противъ русскихъ самородковъ, надъ которыми жестоко и остроумно смѣется. Онъ говоритъ, что мы ничего не изобрѣли:

„старыя наши выдумки къ намъ приползли съ Востока, новыя мы съ грѣхомъ пополамъ съ Запада перетащили, а мы все продолжаемъ толковать о русскомъ самостоятельномъ искусствѣ" (105).

„Русское художество! (иронически восклицаетъ онъ)... русское искусство! Русское пруженье я знаю, и русское безсиліе знаю тоже, а съ русскимъ художествомъ, виноватъ, не встрѣчался. Двадцать лѣтъ сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности—Брюлову, и вообразили, что и у насъ, молъ, завелась школа, и что она даже почище будетъ всѣхъ другихъ... Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо!

— Но, однако, позвольте, Созонтъ Иванычъ, замѣтилъ Литвиновъ.— Глинку вы, стало быть, тоже не признаете?

Потугинъ почесалъ у себя за ухомъ.

— Исключенія, вы знаете, только подтверждаютъ правило. Но и въ этомъ случаѣ мы не могли обойтись безъ хвастовства! Сказать бы, напр., что Глинка былъ, дѣйствительно, замѣчательный музыкантъ, которому обстоятельства, внѣшнія и внутреннія, помѣшали сдѣлаться основателемъ русской оперы, никто бы спорить не сталъ. Но нѣтъ, какъ можно! Сейчасъ надо его произвести въ генералъ-аншефы, въ оберъ-гофъ-маршалы по части музыки, да другіе народы кстати оборвать: „ничего-молъ подобнаго у нихъ нѣту" (103—104).

Вотъ главныя черты западническихъ воззрѣній Потугина, возбудившія такъ много толковъ и бывшія, между прочимъ, причиною разрыва съ Тургеневымъ другого крупнаго представителя нашей литературы — Достоевскаго. — Но здѣсь кроется просто недоразумѣніе. На прямой и, такъ сказать, грубый смыслъ словъ Потугина не слѣдуетъ полагаться, не слѣдуетъ ему довѣрять, какъ нельзя довѣрять словамъ

Чацкаго, будто ему хотѣлось бы занять у китайцевъ—„премудраго незнанья иноземцевъ“.

Принять прямо все, что̀ говоритъ Потугинъ про Россію,—можно подумать, что онъ ее терпѣть не можетъ. А между тѣмъ есть огромная доля преувеличенія даже въ его знаменитой фразѣ про родину:

„Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу“ (36).

Не ненависть къ родинѣ подсказываетъ Потугину его рѣзкія обличенія, а нѣчто другое.

„Да-съ, я и люблю, и ненавижу свою Россію (говоритъ онъ), свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вотъ ее покинулъ: нужно было провѣтриться немного, послѣ двадцатилѣтняго сидѣнія за казеннымъ столомъ, въ казенномъ зданіи; я покинулъ Россію, и здѣсь мнѣ очень пріятно и весело; но я скоро назадъ поѣду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не рости на ней морошкѣ!“ (37).

Дѣло въ томъ, что Потугинъ, этотъ преданный Европѣ Потугинъ,—коренной русскій человѣкъ съ его наклонностью къ безпощадному самообличенію (помогающему видѣть свои недостатки), къ самобичеванію, доходящему до крайности. Въ Потугинѣ мы видимъ ту черту нашего народнаго характера, про которую Базаровъ сказалъ: русскій человѣкъ тѣмъ и хорошъ, что самъ о себѣ прескверпаго мнѣнія. Вотъ откуда идетъ Потугинскій пессимизмъ; да еще изъ его недовольства самимъ собою, своею слабостью, своею безхарактерностью, въ которой онъ видитъ не только свою личную черту...

Какъ русскій человѣкъ, Потугинъ высоко ставитъ—смиреніе:

„Нѣтъ, любезнѣйшій Григорій Михайловичъ (говоритъ онъ Литвинову, когда тотъ указываетъ ему на дурныя явленія западной жизни), будемте посмирнѣе, да потише: хорошій ученикъ видитъ ошибки своего учителя, но молчитъ о нихъ почтительно; ибо самыя эти ошибки служатъ ему въ пользу и наставляютъ его на прямой путь“ (37).

Потугинъ, осуждая славянофильство за неуваженіе къ западу, прибѣгаетъ къ сравненію изъ русскаго богатырскаго эпоса. Онъ осуждаетъ, въ другомъ случаѣ, этотъ эпосъ, всю нашу народную поэзію вообще. Но онъ очевидно превосходно знаетъ эту поэзію; его пересказы былинъ свидѣтельствуютъ, что онъ чуетъ своимъ русскимъ сердцемъ духъ народнаго творчества и любитъ его, самъ, быть мо-

жетъ, того не сознавая; онъ жизнь, свою и чужую, объясняетъ этимъ творчествомъ, видитъ его типическій смыслъ.

„Вы вотъ, сколько я могъ замѣтить, довольно равнодушны къ родной словесности (говоритъ онъ какъ бы съ нѣкоторымъ упрекомъ Литвинову), и потому, быть можетъ, не имѣете понятія о Васькѣ Буслаевѣ?

— О комъ?

— О Васькѣ Буслаевѣ, новгородскомъ удальцѣ... въ сборникѣ Кирши Данилова.

— Какой Буслаевъ? промолвилъ Литвиновъ, нѣсколько озадаченный такимъ неожиданнымъ оборотомъ рѣчи.—Я не знаю.

— Ну, все равно. Такъ вотъ я на что хотѣлъ обратить ваше вниманіе. Васька Буслаевъ, послѣ того какъ увлекъ своихъ новгородцевъ на богомолье въ Ерусалимъ и тамъ, къ ужасу ихъ, выкупался нагимъ тѣломъ въ святой рѣкѣ Іорданѣ, ибо не вѣрилъ „ни въ чохъ, ни въ сонъ, ни въ птичій грай", — этотъ логическій Васька Буслаевъ взлѣзаетъ на гору Ѳаворъ, а на вершинѣ той горы лежитъ большой камень, черезъ который всякаго рода люди напрасно пытались перескочить... Васька хочетъ тоже свое счастье извѣдать. И попадается ему на дорогѣ мертвая голова, человѣчья кость; онъ пихаетъ ее ногой. Ну и говоритъ ему голова: „Что ты пихаешься? Умѣлъ я жить, умѣю и въ пыли валяться— и тебѣ то же будетъ". И точно: Васька прыгаетъ черезъ камень, и совсѣмъ-было перескочилъ, да каблукомъ задѣлъ и голову себѣ сломилъ. И тутъ я кстати долженъ замѣтить, что друзьямъ моимъ славянофиламъ, великимъ охотникамъ пихать ногою всякія мертвыя головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься надъ этой былиной.

— Да къ чему все это? перебилъ наконецъ съ нетерпѣньемъ Литвиновъ.—Мнѣ пора, извините...

— А къ тому, отвѣчалъ Потугинъ, и глаза его засвѣтились такимъ дружелюбнымъ чувствомъ, какого Литвиновъ даже не ожидалъ отъ него,—къ тому, что вотъ вы не отталкиваете мертвой человѣчьей головы и вамъ, быть можетъ, за вашу доброту и удастся перескочить черезъ роковой камень.

(Потугинъ разумѣетъ здѣсь, въ этомъ сравненіи, себя, свою роковую страсть къ Иринѣ и страсть къ ней Литвинова).

— „Не стану я васъ больше удерживать, только вы позвольте обнять васъ на прощанье.

— Я и пытаться не буду прыгать, промолвилъ Литвиновъ, троекратно цѣлуясь съ Потугинымъ, и къ скорбнымъ ощущеніямъ, переполнявшимъ его душу, примѣшалось на мигъ сожалѣніе объ одинокомъ горемыкѣ" (197—199).

Потугинъ, проповѣдующій преклоненіе передъ Западомъ, на самомъ дѣлѣ негодуетъ на нашу слѣпую, рабскую подражательность.

„Ругать-то мы его ругаемъ (говоритъ онъ про наши отношенія къ Западу), а только его мнѣніемъ и дорожимъ, т. е. въ сущности мнѣніемъ парижскихъ лоботрясовъ...

„Привычки рабства слишкомъ глубоко въ насъ внѣдрились (говоритъ онъ нѣсколько далѣе); не скоро мы отъ нихъ отдѣлаемся. Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ, большею частью, живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ-называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ... Теперь, напр., мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное; такая ужъ, видно, наша натура. Но главное дѣло, чтобъ былъ у насъ баринъ" (29—30).

Потугинъ глубоко вѣритъ въ Россію, въ русскій народъ, въ здоровую, крѣпкую мощь нашего народнаго организма, и потому не боится того, что мы перенимаемъ чужое. Притомъ онъ оговаривается, что — кто же насъ „заставляетъ перенимать зря?"

„Вѣдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно; стало быть, вы соображаете, вы выбираете... Вы только предлагаете пищу добрую, а народный желудокъ ее переваритъ по-своему (говоритъ онъ); и со-временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ свой сокъ. Возьмите примѣръ хоть съ нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти выражали понятія, съ которыми нужно было познакомить русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ вливалъ эти слова цѣликомъ, бочками въ нашу утробу. Сперва, точно, вышло нѣчто чудовищное, а потомъ—началось именно то перевариванье, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія привились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ, чѣмъ ихъ замѣнить,—и теперь вашъ покорный слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля... да-съ, да-съ, изъ Гегеля... не употребивъ ни одного не-славянскаго слова. Что произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ. Весь вопросъ въ томъ—крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрягахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы; точно такъ же, какъ восторгаться до пѣны у рта тому, что мы-молъ русскіе — способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своемъ здоровьи, но въ восторгъ отъ него не прихожу: совѣстно-съ.

— Все такъ, Созонтъ Иванычъ, заговорилъ въ свою очередь Литвиновъ;—но зачѣмъ же непремѣнно подвергать насъ подобнымъ испытаніямъ? Сами жъ вы говорите, что сначала вышло нѣчто чудовищное! ну—а коли это чудовищное такъ бы и осталось? Да оно и осталось, вы знаете.

— Только не въ языкѣ—а ужъ это много значитъ! А нашъ народъ не я дѣлалъ; не я виноватъ, что ему суждено проходить черезъ такую

школу... Я, пожалуй, готовъ согласиться, что, вкладывая иностранную суть въ собственное тѣло, мы никакъ не можемъ навѣрное знать напередъ, что̀ такое мы вкладываемъ: кусокъ хлѣба или кусокъ яда?—да вѣдь извѣстное дѣло—отъ худого къ хорошему никогда не идешь черезъ лучшее, а всегда черезъ худшее,—и ядъ въ медицинѣ бываетъ полезенъ. Однимъ тупицамъ или пройдохамъ прилично указывать съ торжествомъ на бѣдность крестьянъ послѣ освобожденія, на усиленное ихъ пьянство послѣ уничтоженія откуповъ... Черезъ худшее къ хорошему!“ (33—35).

Таковы взгляды и убѣжденія Потугина. Этотъ человѣкъ, повидимому, такъ слѣпо пристрастный къ Европѣ и такъ сурово обличающій Россію, — въ душѣ коренной русскій, глубоко любящій свою родину, вполнѣ вѣрящій въ нее, въ ея нравственное здоровье, въ ея великое будущее, и потому не закрывающій глазъ и на ея недостатки. И вотъ почему его рѣзкія выходки не оскорбляютъ нашего патріотическаго чувства, и есть что̀-то отрадное и ободряющее въ блескѣ его безпощаднаго остроумія. Частица души самого Тургенева свѣтитъ въ образѣ героя романа. Потугинъ, его остроуміе и его вѣра въ Россію смягчаютъ общее суровое и скорбное впечатлѣніе романа „Дымъ“, примѣшиваютъ къ этому впечатлѣнію и нѣчто свѣтлое. Въ „Дымѣ“ больше вѣры, чѣмъ въ „Нови“, и этимъ первое произведеніе стоитъ выше второго. Впрочемъ, и романъ „Новь“ съ его Маріанной, заблуждающейся, но искренней, живой и вѣрующей молодой душой, которая, можетъ быть, современемъ сойдетъ съ ложной дороги на истинную,—тоже не лишенъ вѣры.

Намъ осталось разсмотрѣть небольшія повѣсти Тургенева, въ которыхъ великій писатель поэтически анализируетъ идею чудеснаго, и затѣмъ скорбныя „Стихотворенія въ прозѣ“.

3.

Повѣсти: „Стукъ... стукъ... стукъ!“—„Странная исторія“.—„Собака“.—„Пѣснь торжествующей любви“.—„Разсказъ отца Алексѣя“.—„Стихотворенія въ прозѣ“.

Къ послѣднему періоду творческой дѣятельности Тургенева, кромѣ произведеній, рисующихъ безхарактерныхъ,

безвольныхъ людей, кромѣ романовъ, изображающихъ болѣзненныя явленія русской общественности, относится еще рядъ оригинальныхъ небольшихъ повѣстей фантастическаго содержанія или характера. Въ нихъ Тургеневъ поэтически, въ художественныхъ формахъ анализируетъ идею чудеснаго. Чудесное является въ нихъ то простымъ обманомъ или самообманомъ человѣка, то проявленіемъ неизвѣданныхъ или малоизвѣданныхъ силъ природы, то дѣйствіемъ духа, чудомъ. Этотъ анализъ поэтомъ фантастическаго, кромѣ достоинства художественныхъ формъ, въ которыя онъ заключенъ, важенъ еще по психологическому, субъективному значенію своему для личности Тургенева. „Страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго въ мірѣ", говоритъ умершій художникъ въ своихъ запискахъ, озаглавленныхъ „Довольно"; и то-же самое, по свидѣтельству Я. П. Полонскаго въ его воспоминаніяхъ о Тургеневѣ, говорилъ самъ великій поэтъ. Въ этихъ словахъ слышится жажда имъ сверхъестественнаго, чуда; эта жажда и вызвала изъ его души рядъ фантастическихъ повѣстей. Остановимся на нѣсколькихъ изъ нихъ, болѣе характерныхъ, обнимающихъ собою промежутокъ времени отъ 1866 года („Собака") до 1881 („Пѣснь торжествующей любви")

„Стукъ... стукъ... стукъ!..", студія, 1870 г., относится къ чудесному съ величайшимъ скептицизмомъ и недовѣріемъ; оно представлено здѣсь простымъ самообманомъ человѣческаго себялюбія. Герой произведенія—офицеръ Тѣглевъ—изображенъ очень несимпатичной личностью. Ограниченный, мало знающій, отличающійся громаднымъ самолюбіемъ, хотя, впрочемъ, добродушный и простосердечный, онъ подъ вліяніемъ направленія, даннаго нѣкоторымъ кругамъ русскаго общества повѣстями Марлинскаго, искренно воображаетъ себя „фатальнымъ человѣкомъ".

„Марлинскій теперь устарѣлъ (говоритъ Тургеневъ), никто его не читаетъ, и даже надъ именемъ его глумятся; но въ 30-хъ годахъ онъ гремѣлъ какъ никто—и Пушкинъ, по понятію тогдашней молодежи, не могъ идти въ сравненіи съ нимъ. Онъ не только пользовался славой перваго русскаго писателя, онъ даже—что гораздо труднѣе и рѣже встрѣчается—до нѣкоторой степени наложилъ свою печать на современное ему поколѣніе. Герои à la Марлинскій попадались вездѣ, особенно въ провинціи и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языкомъ; въ обществѣ держа-

лись сумрачно, сдержано—„съ бурей въ душѣ и пламенемъ въ крови", какъ лейтенантъ Бѣлозоръ „Фрегата Надежды". Женскія сердца „пожирались" ими. Про нихъ сложилось тогда прозвище: „фатальный". Типъ этотъ, какъ извѣстно, сохранялся долго, до временъ Печорина. Чего-чего не было въ этомъ типѣ? И байронизмъ, и романтизмъ; воспоминанія о французской революціи, о декабристахъ—и обожаніе Наполеона; вѣра въ судьбу, въ звѣзду, въ силу характера, поза и фраза—и тоска пустоты; тревожныя волненія мелкаго самолюбія—и дѣйствительная сила и отвага; благородныя стремленія—и плохое воспитаніе, невѣжество, аристократическія замашки—и щеголяніе игрушками..." (IX, 2).

Тѣглевъ былъ такимъ „фатальнымъ" человѣкомъ; два совершенно случайныхъ происшествія утвердили его въ вѣрѣ въ свою фатальность: однажды ему удалось съ тонкаго, пловущаго льда спасти собаку, и въ другой разъ на карточномъ вечерѣ у баттарейнаго командира угадалъ три карты подрядъ. Товарищи не любили его, но вѣрили, особенно послѣ этихъ двухъ случаевъ, въ его „звѣзду". Человѣкъ онъ былъ (иронически говоритъ Тургеневъ) „съ предопредѣленіемъ", какъ бываютъ люди „со вздохомъ" и „со слезою" (4).

Пошлый и тщеславный, Тѣглевъ не женился на любимой имъ и любившей его дѣвушкѣ, потому что она была мѣщанка и высокопоставленный дядя его не одобрялъ этого брака; а между тѣмъ дѣвушку эту тетка его, у которой она, сирота, воспитывалась, прогнала изъ дому изъ-за него.

Случайно услышавъ ночью на улицѣ въ туманѣ таинственный голосъ, произнесшій его имя—Илья (потомъ оказалось, что это крестьянская дѣвушка звала на свиданье разнощика Илью), Тѣглевъ рѣшилъ, что слышалъ голосъ покинутой имъ Маши, что она умерла, лишила себя жизни, какъ грозила ему при разлукѣ.—Онъ отправился на другой же день изъ лагеря въ городъ—разузнавать о судьбѣ дѣвушки (причемъ не забылъ завиться). Оказалось, что она дѣйствительно умерла, но отъ холеры. Это послѣднее обстоятельство разрушало всѣ соображенія и фатальныя вѣрованія Тѣглева: ему нужно было, чтобы она отравилась, и онъ до тѣхъ поръ приставалъ къ лечившему ее доктору, пока тотъ, чтобы отвязаться, не сказалъ ему, наконецъ:

„Ну, отравилась она, коли вамъ этакъ пріятнѣе" (36).

Тѣглевъ поблагодарилъ его, даже руку пожалъ, и затѣмъ рѣшилъ, что и онъ долженъ умереть, ибо, кромѣ этой причины, по его нелѣпымъ ариѳметическимъ разсчетамъ итоги цифръ годовъ, мѣсяцевъ и дней рожденія и смерти его и Наполена совпадутъ, если онъ умретъ 21-го іюля 1834 года. Онъ такъ и сдѣлалъ: застрѣлился въ названное число, поддержалъ репутацію „фатальнаго человѣка".

Тѣглевъ оставилъ послѣ себя письмо къ высокопоставленной особѣ, своему высшему начальнику; это письмо производило „тяжелое и непріятное" впечатлѣніе; только подъ конецъ его (говоритъ разсказчикъ),

„вырвался изъ сердца Тѣглева искренній крикъ. „Ахъ, Ваше В—ство! такъ заключалъ онъ свое посланіе, — я сирота, меня некому было любить съ-молоду — и всѣ меня чуждались... а единственное сердце, которое отдалось мнѣ,—я самъ загубилъ" (33).

Эти искреннія слова объясняютъ намъ, почему разсказчикъ повѣсти говоритъ про Тѣглева, что „помимо его напускной фатальности надъ нимъ дѣйствительно тяготѣетъ трагическая судьба, которой онъ самъ не подозрѣваетъ" (7). Эта судьба—тяжелыя обстоятельства его жизни.

Совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, иначе объясненное является чудесное въ прекрасной повѣсти 1869 года—„Странная исторія". Здѣсь фантастическое есть дѣйствіе таинственной физической силы—магнетизма. Юродивый Василій, самъ неподозрѣвающій, что онъ магнетизеръ, считающій себя въ своемъ болѣзненномъ положеніи человѣкомъ Божьимъ, постникъ и молельщикъ, носящій тяжелыя вериги, совершаетъ чудеса, вызываетъ тѣни умершихъ своею таинственной силой, развившейся въ его организмѣ вмѣстѣ съ страшной падучей болѣзнью.

Разсказчикъ повѣсти говоритъ, какъ Василій показалъ ему оригинальную голову его давно умершаго гувернера-француза. Василій вошелъ тихо и незамѣтно въ полуосвѣщенную комнату; онъ

„дышалъ усиленно, точно на гору взбирался или ношу поднималъ, а глаза его какъ-будто расширялись, какъ-будто приближались ко мнѣ (повѣствуетъ разсказчикъ), и неловко мнѣ становилось подъ ихъ упорнымъ, тяжелымъ, грознымъ взоромъ; по временамъ эти глаза загорались зловѣщимъ внутреннимъ огонькомъ; подобный огонекъ замѣчалъ я у

борзой собаки, когда она „воззрится“ въ зайца и, подобно борзой собакѣ, тотъ весь устремлялся своимъ взоромъ вслѣдъ за моимъ, когда я „дѣлалъ угонку“, т. е. пробовалъ отвести глаза въ сторону.

Такъ прошло не знаю сколько времени: быть можетъ, минута; быть можетъ, четверть часа. Онъ все глядѣлъ на меня; я все ощущалъ нѣкоторую неловкость и страхъ и все думалъ о французѣ. Раза два я попытался сказать самому себѣ: „что за вздоръ! что за комедія!“ попытался улыбнуться, пожать плечомъ... Напрасно! Всякое рѣшеніе во мнѣ тотчасъ „застывало“—я другого слова подобрать не умѣю. Мною овладѣло какое-то оцѣпенѣніе (т. VIII, стр. 268—269).

Затѣмъ юродивый сталъ приближаться странными движеніями и прыжками, набѣжалъ какой-то туманъ,—и послѣдовало видѣніе. Это видѣніе утомило всего болѣе самого Василія:

„онъ подошелъ, шатаясь, къ стѣнѣ, уперся въ нее головой и обѣими руками, и, задыхаясь, какъ запаленая лошадь, хриплымъ голосомъ проговорилъ: чаю!“ (269).

Замѣчательно, что съ магнетизмомъ Василія связанъ и обманъ,—только не Василій обманываетъ, а воспитавшая его женщина торговка Мастридія Карповна, хитрая, плутоватая и пристрастная къ водкѣ. Она развила въ своемъ пріемышѣ какими-то извѣстными ей средствами падучую болѣзнь и вмѣстѣ таинственную силу. Поэтъ намекаетъ, что Василій—не единственный случай подобныхъ ея дѣйствій: онъ слышалъ въ ея комнатѣ, когда пришелъ къ ней, „жалобный пискъ ребенка“; а Василія она назвала своимъ сыномъ „по духу“ и прибавила: „много у меня сиротъ-то!“.

Въ повѣсти очень симпатичными чертами нарисованъ образъ молодой дѣвушки—Софи Т*.—Вотъ какою представилась она разсказчику, когда онъ впервые увидѣлъ ее въ домѣ ея отца:

„Лицо у ней было совсѣмъ дѣтское, круглое, съ маленькими, пріятными, но неподвижными чертами; голубые глазки подъ высокими, тоже неподвижными неровными бровями, глядѣли внимательно, почти изумленно, точно они начали замѣчать что-то для нихъ неожиданное; пухлый ротикъ, съ приподнятой верхней губой, не только не улыбался, но, казалось, не имѣлъ этой привычки вовсе... Общее впечатлѣніе, производимое этой дѣвушкой, было не то, чтобы болѣзненное, но загадочное“. Она казалась „существомъ съ особеннымъ... неяснымъ отпечаткомъ. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполнѣ понималъ и только чувствовалъ, что мнѣ еще не удавалось встрѣтить болѣе искреннюю душу. Жалость... да! жалость возбуждала во мнѣ эта молодая, серьезная, настороженная жизнь—Богъ вѣдаетъ

почему! „Не отъ земли сея“, думалось мнѣ, хотя собственно въ выраженіи лица ея не было ничего „идеальнаго“ (257—258).

При второй встрѣчѣ, на балу, она показалась разсказчику болѣе поэтической; онъ говоритъ про нее:

„ничего болѣе трогательно-молодого и чистаго нельзя было себѣ представить“ (271).

Софи была дѣвушка искренно и глубоко вѣрующая. Онъ разсказалъ ей о своей встрѣчѣ съ „Васинькой“, распространился о магнетизмѣ и закончилъ восклицаніемъ: „не допускаете же вы чудесъ?“.

„Конечно, допускаю, спокойно промолвила она.—Да и какъ можно не допускать ихъ? Развѣ не сказано въ Евангеліи, что у кого на одно горчишное сѣмя вѣры, тотъ можетъ горы поднимать съ мѣста? Нужно только вѣру имѣть, чудеса будутъ.

— Видно, мало вѣры въ наше время стало, возразилъ я:—что-то не слыхать про чудеса!

— Однако, вотъ бываютъ же; вы сами видѣли. Нѣтъ; вѣра не перевелась въ наше время; а начало вѣры...

— Начало премудрости страхъ Божій, перебилъ я.

— Начало вѣры, продолжала Софи, нисколько не смутившись:—самоотверженіе... уничиженіе!

— Даже уничиженіе? спросилъ я.

— Да. Гордость человѣческая, гордыня, высокомѣріе, вотъ что надо искоренить до тла. Вы вотъ упомянули о волѣ... ее-то и надо сломить.

Я окинулъ взоромъ всю фигуру молоденькой дѣвушки, произносившей такія рѣчи... „А вѣдь этотъ ребенокъ не шутитъ!“ подумалось мнѣ

. . . . . .

Для чистаго нѣтъ ничего нечистаго (продолжала она). Лишь бы учителя найти, наставника найти!“ (272—274).

Святымъ выраженіемъ лица, съ которымъ она говорила эти слова она напомнила собесѣднику „до-Рафаэлевскихъ мадоннъ“.

Софи и отыскала себѣ наставника, учителя: она пошла за пустившимся въ скитанія юродивымъ Василіемъ и стала служить ему. И тогда къ ея

„прежнему, задумчиво-изумленному выраженію присоединилось другое, рѣшительное, почти смѣлое, сосредоточенно-восторженное выраженіе. Дѣтскаго въ этомъ лицѣ уже не оставалось ни слѣда“ (282).

Замѣчательныя отношенія автора къ Софи: онъ сожалѣетъ ее, скорбитъ о ней, потому что служеніе ея—ошибка и матерьяльную силу она приняла за духовную; но онъ сочувствуетъ ея вѣрѣ, ея жаждѣ духовнаго, чудеснаго.

„Раздумье нашло на меня (говоритъ онъ). Я ничего не понималъ; и не понималъ, какъ могла такая хорошо воспитанная, молодая богатая дѣвушка бросить все и всѣхъ, родной домъ, семью, знакомыхъ, махнуть рукой на всѣ привычки, на всѣ удобства жизни, и для чего? Для того, чтобы пойти вслѣдъ полусумашедшему бродягѣ, чтобъ сдѣлаться его прислужницей?.. Я не понималъ поступка Софи; но я не осуждалъ ее... я не могъ не сожалѣть, что Софи пошла именно этимъ путемъ, но отказать ей въ удивленіи, скажу болѣе, въ уваженіи, я также не могъ. Не даромъ она говорила мнѣ о самоотверженіи, объ уничиженіи... у ней слова не рознились съ дѣломъ. Она искала наставника и вождя, и нашла его... въ комъ, Боже мой!

Да, она заставила топтать. попирать себя ногами... Миръ сердцу твоему, бѣдное, загадочное существо!“ (283—284).

Написанный тремя годами ранѣе „Странной исторіи“, небольшой разсказъ „Собака“ (1866 г.), не смотря на не значительность, повидимому, своего содержанія, на ничтожный, какъ кажется, характеръ главнаго лица, съ которымъ случается необычайное событіе, на чуть не ироническое отношеніе автора къ самому этому событію, — замѣчателенъ однако, въ высшей степени, потому что въ немъ совершается чудо, и поэтъ такъ и оставляетъ его чудомъ, не объясняя его, какъ въ двухъ ранѣе приведенныхъ повѣстяхъ, ни обманомъ, ни магнетизмомъ, ни какимъ-кибо другимъ естественнымъ путемъ. Мало того, онъ даже какъ-будто подсмѣивается надъ недопущеніемъ возможности чудеснаго: его не допускаетъ въ началѣ повѣсти (повторяя свою затвержденную фразу и въ концѣ ея) статскій совѣтникъ Антонъ Степанычъ, которому „незадолго передъ тѣмъ, по выраженію его завистниковъ, „влѣпили станислашку“, и который говоритъ „съ разстановкой, туго и басомъ“.

„Но если допустить возможность сверхъестественнаго, возможность его вмѣшательства въ дѣйствительную жизнь,—то позвольте спросить, какую роль послѣ этого долженъ играть здравый разсудокъ?—провозгласилъ Антонъ Степанычъ и скрестилъ руки на желудкѣ...

Это совершенно справедливо,—замѣтилъ Скворевичъ.

— Объ этомъ и спорить никто не станетъ,—прибавилъ Кинаревичъ.

И я согласенъ,—поддакнулъ фистулой изъ угла хозяинъ дома, г. Финоплентовъ“ (VIII, 56).

Въ этомъ просвѣщенномъ разговорѣ свободомыслящихъ чиновниковъ, въ самыхъ ихъ фамиліяхъ (намекающихъ на пѣніе съ чужого голоса) слышится иронія поэта.

Герой разсказа Порфирій Капитонычь, не отличающійся

возвышенными свойствами и даже прыснувшій со смѣха, когда г. Финоплентовъ попробовалъ-было спросить его: „да вы, можетъ быть, очень праведной жизни?“ — не лишенъ, однако, нравственныхъ достоинствъ и вообще—человѣкъ симпатичный: онъ уменъ, остроуменъ, смѣлъ, простъ, даже сердеченъ и искрененъ, чуждъ тщеславія и себялюбія.

Этому Порфирію Капитонычу было, по словамъ старичка-раскольника, „предостереженіе“: сталъ онъ слышать, какъ только потушитъ у себя въ комнатѣ на-ночь свѣчку, что скребется у него подъ кроватью собака. Знакомый раскольникъ, которому онъ открылъ это, направилъ его къ другому своему единовѣрцу въ городъ Бѣлевъ, и тамъ Порфирію Капитонычу помогли. Вотъ какъ онъ самъ разсказываетъ объ этомъ! человѣкъ, къ которому онъ пришелъ, прежде всего поразилъ его „проницательностью“ своихъ глазъ; онъ ввелъ его въ свою хибарку.

„самъ сѣлъ и платокъ клѣчатый изъ кармана досталъ, и у себя на колѣняхъ разложилъ—и платокъ-то дырявый—да такъ важно на меня взираетъ (говоритъ герой разсказа), хоть-бы сенатору или министру какому, и не сажаетъ меня. И что еще удивительнѣе: чувствую я вдругъ что робѣю, такъ робѣю... просто душа въ пятки уходитъ. Нижетъ онъ меня глазами насквозь, да и полно. Однако я поправился, да и разсказалъ ему всю мою исторію. Онъ помолчалъ, поежился, пожевалъ губами, да и ну спрашивать меня, опять-таки какъ сенаторъ, величественно такъ, не торопясь. Имя, молъ, ваше какъ? Лѣта? Кто были родные? Въ холостомъ-ли званіи или женаты? Потомъ онъ опять губами пожевалъ, нахмурился, палецъ уставилъ да и говоритъ: Иконѣ святой поклонитесь, честнымъ преподобнымъ соловецкимъ святителямъ Зосимѣ и Савватію.—Я поклонился въ землю, и такъ ужь и не поднимаюсь, такой въ себѣ страхъ къ тому человѣку ощущаю и такую покорность, что, кажется, что̀-бы онъ ни прикажи, исполню тотчасъ-же!.. Вы вотъ, я вижу; господа, ухмыляетесь (обращается онъ по адрееу либиральныхъ чиновниковъ), а мнѣ не до смѣху было тогда, ей-ей.—Встаньте, господинъ, проговорилъ онъ наконецъ.—Вамъ помочь можно. Это вамъ не въ наказаніе послано, а въ предостереженіе; это значитъ, попе́ченіе о васъ имѣется; добрѣ. знать, кто за васъ мо̀лится. Ступайте вы теперь на базаръ и купите вы себѣ собаку—щенка, котораго вы при себѣ держите неотлучно—день и ночь. Ваши видѣнья прекратятся, да кромѣ того будетъ вамъ та собака на потребу.

Меня вдругъ точно свѣтомъ озарило: ужь какъ-же мнѣ эти слова полюбились! Поклонился я Прохорычу и хотѣлъ-было уйти, да вспомнилъ, что нельзя же мнѣ его не поблагодарить: досталъ изъ кошелька трехрублевую бумажку. Только онъ мою руку отвелъ отъ себя прочь и говоритъ мнѣ: отдайте, говоритъ, въ часовеньку нашу, али бѣднымъ,

а услуга та неоплатная. Я опять ему поклонился—чуть не въ поясъ—и тотчасъ маршъ на базаръ!" (66—67).

Все такъ и случилось, какъ говорилъ Прохорычъ: Порфирій Капитонычъ купилъ щенка, избавился отъ „навожденія"; а когда щенокъ выросъ, онъ дважды спасъ своего хозяина отъ бѣшеной собаки.—Удивительно художественны въ повѣсти описанія этихъ двухъ случаевъ, особенно второго изъ нихъ, происшедшаго ночью, въ яркихъ лучахъ луны, озаряющей далекое поле.

Конечно, рисковано сказать, что самъ поэтъ вѣритъ въ случившееся въ его разсказѣ чудо; но что онъ болѣе сочувствуетъ вѣрящему герою повѣсти, нежели сомнѣвающимся свободомыслящимъ чиновникамъ: Скворевичу, Кинаревичу и другимъ,—это несомнѣнно.

Теперь остановимся на двухъ чрезвычайно важныхъ и очень высоко-стоящихъ въ художественномъ отношеніи повѣстяхъ — „Пѣснь торжествующей любви" и „Разсказъ отца Алексѣя". Первая изъ нихъ, какъ извѣстно, имѣла большой успѣхъ среди читателей, когда появилась въ свѣтъ четыре года тому назадъ; вторая прошла почти незамѣченной, къ сожалѣнію и теперь мало кому извѣстна, а между тѣмъ она—одно изъ высшихъ и глубочайшихъ созданій тургеневской поэзіи.

Въ обѣихъ этихъ повѣстяхъ мы видимъ опять чудесное, сверхъестественное; но оно скорѣй въ нихъ—художественная форма, избранная авторомъ для выраженія своей идеи, идеи, уже не разъ (какъ мы знаемъ) занимавшей и волновавшей его: о противорѣчіи между физической природой и ея законами—съ одной стороны; человѣческимъ духомъ, безсмертнымъ, вѣчнымъ—съ другой. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, въ смыслѣ признанія вѣчности духа, содержаніе этихъ повѣстей тоже—чудесное.

Содержаніе „Пѣсни торжествующей любви" взято изъ итальянской жизни. Молодую красавицу Валерію, существо прекрасное и чистое, любятъ два друга — Фабій и Муцій. Чувство перваго—свѣтлое; второго—мутное, нечистое.—Фабій женится на Валеріи, полюбившей его,—и супруги живутъ счастливо. — Муцій, затаивъ въ душѣ злое чувство, ѣдетъ въ Азію, страну подчиненія человѣка природѣ, его сближенія съ нею и проникновенія, какъ гово-

рять, въ ея тайны, въ ея чары. Онъ возвращается оттуда окончательно чувственнымъ, животнымъ существомъ, овладѣвъ тайнами грубаго матерьяльнаго волшебства, приворотовъ, магнетизма, съ запасомъ опьяняющихъ зелій, напитковъ, куреній. Съ нимъ пріѣзжаетъ еще болѣе его сильный во всемъ этомъ лишившійся языка малаецъ.

Муцій поселяется въ саду бывшаго друга своего Фабія, въ павильонѣ, и начинаетъ дѣйствовать на Валерію чувственнымъ и злымъ очарованіемъ своихъ снадобій и обольстительно-животными звуками своей скрипки и пѣсни, вывезенныхъ изъ Азіи.

Въ Валеріи начинается раздвоеніе, начинается безсознательная, неясная для нея самой борьба противоположныхъ стихій: духа и чувственности. Въ этомъ—смыслъ повѣсти, и фигура Валеріи—центральная фигура въ ней. Валерія это человѣкъ съ его вѣчнымъ внутреннимъ противорѣчіемъ, въ его борьбѣ духа съ матеріей.

Любя мужа своего, оставаясь въ душѣ чистой и свѣтлой, Валерія не можетъ, однако, противиться властнымъ призывамъ чувственныхъ звуковъ, чувственной грубой страсти: сонная, страдая и мучась и въ то же время страстно желая она ходитъ на свиданія съ Муціемъ и даетъ ему, сама того не зная, право пѣть „пѣснь торжествующей любви".—Тогда помутился самый источникъ ея чистоты:

„за нѣсколько недѣль до возвращенія Муція (говорится въ повѣсти), Фабій началъ портретъ своей жены, изобразивъ ее съ атрибутами святой Цициліи" (IX, 441),—

теперь она не можетъ больше быть моделью для такой картины. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ поэтъ: „отпустивши Муція въ Феррару", Фабій.

„отправился въ свою студію, гдѣ Валерія обыкновенно его ожидала, но онъ не нашелъ ее тамъ; кликнулъ ее—она не отозвалась. Фабіемъ овладѣло тайное безпокойство; онъ принялся ее отыскивать. Въ домѣ ея не было; Фабій побѣжалъ въ садъ—и тамъ, въ одной изъ отдаленнѣйшихъ аллей, онъ увидѣлъ Балерію. Съ опущенной на грудь головой со скрещенными на колѣняхъ руками, она сидѣла на скамьѣ,—а за нэй, выдѣляясь изъ темной зелени кипариса, мраморный сатиръ, съ искаженнымъ злорадной усмѣшкой лицомъ, прикладывалъ къ свирѣли свои заостренныя губы. Валерія замѣтно обрадовалась появленію мужа — и на его тревожные вопросы отвѣтила, что у ней немного болитъ голова, но что это ничего не значитъ—и что она готова пойти на сеансъ. Фабій привелъ ее въ студію, усадилъ, взялся за кисть; но къ великой своей

досадѣ, никакъ не могъ кончить лица такъ, какъ бы онъ того желалъ И не потому, что оно было нѣсколько блѣдно и казалось утомленнымъ... нѣтъ, ни того чистаго, святаго выраженія, которое такъ ему въ немъ нравилось, и которое навело его на мысль представить Валерію въ образѣ святой Цициліи—онъ сегодня не находилъ (IX, 442).

Когда истина наконецъ раскрылась, — и Муцій умеръ, пораженный кинжаломъ Фабія, Балерія (вскрикнувшая сама отъ того же удара въ своемъ очарованномъ чувственномъ снѣ) проснулась радостная, облегченная, свѣтлая. Они зажили съ мужемъ по-прежнему,—Фабій снова принялся за ея портретъ, и опять

„нашелъ въ ея чертахъ то чистое выраженіе, мгновенное затмѣніе котораго такъ смутило его"... (461).

Но свѣтлая радость продолжалась недолго:

„Въ одинъ прекрасный осенній день Фабій оканчивалъ (разсказываетъ поэтъ) изображеніе своей Цециліи; Валерія сидѣла передъ органомъ, и пальцы ея бродили по клавишамъ... Внезапно, помимо ея воли, подъ ея руками зазвучала та пѣснь торжествующей любви, которую нѣкогда игралъ Муцій—и въ тотъ-же мигъ, въ первый разъ послѣ ея брака, она почувствовала внутри себя трепетъ новой, зарождающейся жизни... Валерія вздрогнула, остановилась...

Что это значитъ? Неужели-же... (стр. 462).

Невыразимо тяжелое впечатлѣніе производитъ это окончаніе повѣсти, свидѣтельствующее о побѣдномъ воскресеніи въ Валеріи той мутной чувственной страсти, которая, казалось, совсѣмъ покинула ее со смертью Муція.—Вообще повѣсть „Пѣснь торжествующей любви" пробуждаетъ въ душѣ нашей чувство мрачнаго ужаса, ибо ея основная идея есть безотрадная мысль о торжествѣ въ человѣкѣ животнаго начала надъ духовнымъ, о побѣдѣ грубой матерьяльной природы надъ благороднымъ стремленіемъ человѣка къ духовному безсмертію.

Мрачный характеръ произведенія совершенно соотвѣтствовалъ той тяжелой минутѣ нашей исторической и общественной жизни, когда она написана и появилась въ свѣтъ: это было въ 1881 году.

Другое дѣло — „Разсказъ отца Алексѣя" (1877 г.). Впечатлѣніе, производимое имъ, мѣстами также ужасно; но въ то же время тамъ, гдѣ поэтъ, кажется, приводитъ насъ уже къ безотрадному отчаянью, вдругъ начинаетъ

блестѣть передъ читателемъ лучъ надежды и свѣтлой вѣры.

Въ разсказѣ этомъ — глубокая психологическая задача: въ личности Якова, сына отца Алексѣя, изображено душевное раздвоеніе, возникшее подъ вліяніемъ сомнѣній, скептицизма,—передъ нами разложеніе человѣка на духовное и матерьяльное начало, причемъ послѣднее олицетворяется въ образѣ дьявола, являющагося больному духомъ Якову. — Должно быть первые приступы сомнѣнія были у Якова еще въ дѣтствѣ, потому что ему тогда уже было страшное видѣніе. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ отецъ Алексѣй (человѣкъ простодушный, добрый и скорбный): „смиренникъ былъ" (замѣчаетъ онъ про сына);

„только иногда задумывался не по лѣтамъ, и здоровьемъ былъ слабенекъ. Разъ съ нимъ чудное нѣчто произошло. Десять лѣтъ тогда ему минуло. Отлучился онъ изъ дому—подъ самый Петровъ день—на зорькѣ, да почти цѣлое утро пропадалъ. Наконецъ, воротился. Мы съ женой спрашиваемъ его — гдѣ былъ. Въ лѣсъ, говоритъ, гулять ходилъ, да встрѣтилъ тамъ нѣкоего зеленаго старичка, который со мною много разговаривалъ, и такіе мнѣ вкусные орѣшки далъ!—„Какой такой зеленый старичекъ?" спрашиваемъ мы. — Не знаю, говоритъ, никогда его доселѣ не видывалъ. Маленькій старичекъ, съ горбиною, ножками все сѣменитъ и посмѣивается—и весь, какъ листъ зеленый.—„Какъ, говоримъ мы,—и лице зеленое?"—И лице, и волосы, и самые даже глаза.—Никогда нашъ сынъ не лгалъ; но тутъ мы съ женой усомнились" (IX, 366).

Затѣмъ, однако, все пошло спокойно; учился Яковъ въ въ семинаріи, и учился хорошо. Но только на 19-мъ году, передъ окончаніемъ уже курса, сталъ онъ просить отца—разрѣшить ему „идти по-свѣтскому":

„не лежитъ сердце мое (писалъ онъ) къ духовному званію, ужасаюсь я отвѣтственности, боюсь грѣха—сомнѣнія во мнѣ возродились" (367).

Отецъ погоревалъ, но—человѣкъ разумный, сердечный и любящій—благословилъ сына оставить одну дорогу и пойти по другой: Яковъ поступилъ въ университетъ. Здѣсь дѣло опять пошло хорошо; онъ и самъ учился, и сталъ уроки давать, и отцу деньги даже задумалъ высылать. Отецъ Алексѣй повеселѣлъ. Но не долго длилось его веселье: вскорѣ все оборвалось. Якова одолѣли сомнѣнія; внутри его какъ бы что-то раздвоилось, и ему сталъ представляться дьяволъ. Это обнаружилось на первыхъ же вакаціяхъ, когда онъ пріѣхалъ къ отцу.

„Да ты, Яковъ, боленъ, что-ли? (спрашивалъ тотъ). — Нѣтъ, говоритъ, батюшка, я не боленъ: а только вы, батюшка, меня не тревожьте и не распрашивайте; а то я отсюда уйду — и только вы меня и видали. Говоритъ мнѣ Яковъ — не боленъ (продолжаетъ старикъ), а у самаго лице такое, что я даже ужаснулся! Страшное, темное, нечеловѣческое словно! — Щеки этта подтянуло, скулы выпятились, кости да кожа, голосъ какъ изъ бочки... а глаза... Господи Владыко! Что это за глаза! Грозные, дикіе, — все по сторонамъ мечутся — и поймать ихъ нельзя; брови сдвинуты, губы тоже какъ-то на-бокъ скрючены... Что сталось съ моимъ Іосифомъ Прекраснымъ, съ тихоней моимъ? Ума не приложу Ужъ не рехнулся-ли онъ? — думаю я такъ-то. Скитается какъ привидѣніе, по ночамъ не спитъ, — а то вдругъ возьметъ да уставится въ уголъ и словно весь окаменѣетъ... Жутко таково!“ (369—370).

Старикъ разжалобилъ сына своею печалью, — и тотъ открылъ ему свою страшную тайну.

„Яковъ, Яковъ, ты бы попробовалъ помолился (просилъ отецъ Алексѣй): навожденіе это-бы разсѣялось. Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его! — Пробовалъ, говоритъ, да ничего не дѣйствуетъ.— Постой, постой, Яковъ: не малодушествуй; я ладономъ покурю, молитву почитаю, святой водой кругомъ тебя окроплю. — Яковъ только рукой махнулъ. Ни въ ладонъ я твой не вѣрю, ни въ воду святую; не помогаютъ они ни на грошъ“ (371).

И потекли безотрадные, тяжелые дни.—Два раза, однако, являлась надежда исцѣлить Якова отъ страшныхъ видѣній. Одинъ разъ онъ поддался-было вліянію доброй женской души, познакомившись съ сосѣдкой Марѳой Савишной, — и сомнѣнія готовы были оставить его. Другой разъ его растрогала весна да мыслъ о богомольи, о путешествіи съ отцомъ къ святынѣ Воронежской, къ ракѣ св. угодника Митрофанія,—великія, цѣльныя, поэтическія и святыя впечатлѣнія залечили-было душевное раздвоеніе, душевный разладъ. Но въ самую рѣшительную минуту дѣло кончилось, однако, опять побѣдой сомнѣнія, видѣньями, — душа человѣческая опять смутилась (на этотъ разъ почти до отчаянья) передъ дьяволомъ, передъ олицетворенною фантазіей Якова грозною силою грубоматерьяльной природы: онъ не смогъ повѣрить въ побѣду духа надъ нею.

Яковъ, какъ Валерія въ „Пѣсни торжествующей любви“,— существо прекрасное, симпатичное; онъ уменъ, добръ, искрененъ и чистъ душою. Онъ ненавидитъ своего демона, и боится его, какъ та ненавидитъ свою мутную страсть къ Муцію и боится ея. И какъ Валерія безсильна передъ этой

страстью, такъ не можетъ одолѣть своего демона, успокоить свои сомнѣнія и Яковъ.

Но далѣе начинаются различія двухъ повѣстей: Валерія осталась во власти матерьяльнаго начала, внезапно, противъ ея ожиданія воскресшаго въ ней. Яковъ, считавшій себя погибшимъ, отданнымъ своему демону, самъ того не зная, оказался освобожденнымъ отъ него смертью.

„Передъ смертью онъ нѣсколько дней не пилъ, не ѣлъ (разсказываетъ отецъ Алексѣй), — все по комнатѣ взадъ и впередъ бѣгалъ, да твердилъ, что грѣху его не можетъ быть отпущенія... но его уже онъ больше не видѣлъ“ (378).

Въ этихъ послѣднихъ словахъ (словахъ объ отсутствіи видѣнія) слышится какая-то надежда. Нравственный судъ Якова надъ собою отогналъ сомнѣнія. Эта надежда подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ — каковъ былъ Яковъ мертвый:

„ужъ очень онъ хорошъ лежалъ въ гробу (разсказываетъ старикъ отецъ): совсѣмъ словно помолодѣлъ и сталъ на прежняго похожъ Яков а Лице такое тихое, чистое, волосы колечками завились — а на губахъ улыбка. Марѳа Савишна приходила смотрѣть на него и то-же самое говорила. Она же его обставила всего цвѣтами и на сердце ему цвѣты положила—и камень надгробный на свой счетъ поставила“ (379).

Надежда закралась, при этомъ отрадномъ видѣ, и въ сердце скорбнаго старика,—и потому

„не хочу я вѣрить (говоритъ отецъ Алексѣй), чтобы Господь сталъ судить его своимъ строгимъ судомъ“ (379).

Такимъ отраднымъ религіознымъ заключеніемъ завершается страшная, всю глубину души читателя потрясающая повѣсть.

Невыразимо тяжела, но возможна побѣда безсмертнаго духа человѣческаго надъ матеріей, надъ природой, побѣда вѣры и душевной гармоніи надъ сомнѣніемъ и раздвоеніемъ— вотъ высокая мысль „Разсказа отца Алексѣя“—проявленіе затаеннаго религіознаго идеала тургеневскаго творчества.

Тяжелы и неотрадны были Тургеневу его сомнѣнія, его скептицизмъ—если вызывали они изъ души его такія выстраданныя глубокія вещи, какъ двѣ послѣднія разсмотрѣнныя нами повѣсти!

„Стихотворенія въ прозѣ“ (1878 — 1882), или „Senilia“, какъ назвалъ ихъ самъ Тургеневъ,—это небольшія замѣтки, въ поэтической формѣ высказанныя мысли, чувства, изъ которыхъ, какъ изъ зерна, могли потомъ развиться цѣлыя произведенія, или эпизоды произведеній. Самыя разнообразныя настроенія духа писателя нашли здѣсь, какъ и слѣдовало ожидать, свое выраженіе, свой отзвукъ: здѣсь и мрачныя, пессимистическія думы о человѣкѣ и смыслѣ его жизни, и отрадныя мечты и надежды, и любовь къ родинѣ, и сомнѣнія въ русскомъ обществѣ, и мысли о себѣ самомъ и своей судьбѣ, и т. д.

Съ особенной отрадой останавливаемся мы въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“ на выраженіи любви поэта къ Россіи, къ русскому народу. — „Сфинксомъ“ назвалъ поэтъ русскаго мужика (IX, 578). Но въ этомъ загадочномъ сфинксѣ онъ, однако, подмѣтилъ высокія нравственныя черты. „Хваля и умиляясь“ при воспоминаніи о благотворительности Ротшильда,

„не могу я не вспомнить (говоритъ онъ въ разсказѣ „Два богача“) объ одномъ убогомъ крестьянскомъ семействѣ, принявшемъ сироту-племянницу въ свой раззоренный домишко.

— Возьмемъ мы Катьку,—говорила баба, — послѣдніе наши гроши на нее пойдутъ,—не на что соли добыть, похлебку посолить...

А мы ее... и не соленую,—отвѣтилъ мужикъ, ея мужъ.

Далеко Ротшильду до этого мужика!“ Іюль, 1878 г. (572).

А другой русскій человѣкъ, въ разсказѣ „Повѣсить его!“, деньщикъ, казнимый въ военное время по вздорному наговору взбалмошной женщины-иностранки, видя передъ смертью, какъ эта женщина сокрушается о томъ, что надѣлала, проситъ своего барина:

„Скажите ей, ваше благородіе, чтобы она не убивалась... Вѣдь я ей простилъ.

Мой знакомый (разсказываетъ поэтъ), повторивъ эти послѣднія слова своего слуги, прошепталъ: „Егорушка, голубчикъ, праведникъ!“— и слезы закапали по его старымъ щекамъ“. Авг. 1879 г. (588).

Въ прекрасныхъ разсказахъ: „Маша“, „Щи“ (549 и 570) поэтъ живыми чертами рисуетъ всю глубину, серьезность и въ то же время реальную простоту народнаго горя, чуждающагося всякихъ эффектовъ. „Татьяна!“ говоритъ барыня крестьянкѣ, только что похоронившей сына, которую она застала хлѣбающей щи:

„Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Какъ у тебя не пропалъ аппетитъ? Какъ можешь ты ѣсть эти щи?

— Вася мой померъ,—тихо проговорила баба,—и наболѣвшія слезы снова побѣжали по ея впалымъ щекамъ. — Значитъ, и мой пришелъ конецъ: съ живой съ меня сняли голову. А щамъ не пропадать же: вѣдь они посоленыя.

Барыня только плечами пожала — пошла вонъ. Ей-то соль доставалась дешево". Май, 1878 (570).

Тяжела крестьянская бѣдность. Но зато съ какою любовью и душевной отрадой останавливается поэтъ на созерцаніи жизни достаточной, зажиточной русской деревни:

„Послѣдній день іюля мѣсяца; на тысячу верстъ кругомъ Россія—родной край.

Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на немъ— не то плыветъ, не то таетъ. Безвѣтріе, теплынь... воздухъ—молоко парное!.

И дымкомъ-то пахнетъ, и травой,—и дегтемъ маленько—и маленько кожей.—Коноплянники уже вошли въ силу и пускаютъ свой тяжелый, но пріятный духъ.

Такъ начинается чудесное описаніе; а оканчивается оно изъ сердца вырвавшимся восклицаніемъ:

„О, довольство, покой, избытокъ русской вольной деревни! О, тишь и благодать!" (535 и 537).

Отъ образовъ отрадныхъ обратимся къ картинамъ инаго порядка. Скорбная мысль, которую мы много разъ уже встрѣчали въ произведеніяхъ Тургенева, мысль, о могуществѣ матерьяльной природы и о враждебности ея всему собственно человѣческому, проходитъ черезъ цѣлый рядъ „Стихотвореній въ прозѣ". — „Necessitas-Vis-Libertas", Необходимость — Сила -- Свобода,—такъ озаглавлено одно изъ самыхъ печальныхъ между ними.

„Высокая, костлявая старуха съ желѣзнымъ лицомъ и неподвижно-тупымъ взоромъ, идетъ большими шагами, и сухою какъ палка рукою толкаетъ передъ собой другую женщину.

Женщина эта огромнаго росту, могучая, дебелая, съ мышцами, какъ у Геркулеса, съ крохотной головкой на бычачьей шеѣ—и слѣпая—въ свою очередь толкаетъ небольшую, худенькую дѣвочку.

У одной этой дѣвочки зрячіе глаза; она упирается, оборачивается назадъ, поднимаетъ тонкія, красивыя руки; ея оживленное лицо выражаетъ нетерпѣніе и отвагу... Она не хочетъ слушаться, она не хочетъ идти, куда ее толкаютъ... и все-таки должна повиноваться и идти.

Necessitas-Vis-Libertas.

Кому угодно—пусть переводитъ". Май, 1878 г. (566).

Необходимость—это непреложные законы разрушенія. Сила, жизнь—это природа до ея высшихъ формъ включительно. Свобода—это порывы человѣка къ безсмертію, къ вѣчности.—Безотрадна мысль поэта о безсиліи нашихъ свѣтлыхъ порывовъ.

Та же идея высказана въ другомъ „стихотвореніи" въ страшномъ образѣ старухи съ „желтымъ, морщинистымъ, востроносымъ, беззубымъ лицемъ", у которой глаза „застланы полупрозрачной, бѣловатой перепонкой или плевой" и которая идетъ за человѣкомъ, за его спиной, „легкими, осторожными", но непрерывными шагами и гонитъ его къ черной, грозной, зіяющей могилѣ („Старуха", 539—540).

Передъ могилой, передъ смертью, передъ уничтоженіемъ содрогается не только человѣкъ, но и животное, какъ собака въ разсказѣ того-же имени (541), какъ маленькая обезьяна въ „Морскомъ плаваніи" (591); содрогаются даже и сами безформенныя стихіи природы: когда, въ разсказѣ „Конецъ свѣта", налетѣла „морознымъ вихремъ" страшная волна разрушенья, крутясь „тьмой кромешной", когда „все задрожало вокругъ", а въ ней, „въ этой налетающей громадѣ" раздались „и трескъ, и громъ, и тысячегортанный, желѣзный лай",—тогда сама „земля завыла отъ страха" (547—548).

Но, не смотря на всю безотрадность положенія человѣка среди природы, не знающей ни добра, ни зла, ни справедливости, не считающей разума закономъ, потому что все это „человѣческія слова" („Природа", 586), не смотря не все это,—поэтъ подмѣчаетъ, однако, и въ своихъ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ" такія высокія явленія въ человѣческой жизни, въ жизни, въ бытіи вообще, которыя заставляютъ его задуматься надъ сомнительной истиною мысли о тщетѣ и ничтожествѣ всего въ мірѣ.

Мы видѣли уже примѣры доброты безпредѣльной, всепрощенія безконечнаго, доходящаго до полнаго самозабвенія, которыя Тургеневъ указалъ въ простомъ русскомъ человѣкѣ. Самоотверженіе, вродѣ того, какое владѣло душою Софи въ повѣсти „Странная исторія", рисуетъ онъ еще, и рисуетъ съ полнымъ сердечнымъ участіемъ, въ прекрасной замѣткѣ „Памяти Ю. П. Вревской" (562—563):

„Нѣжное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы, говоритъ поэтъ). Помогать нуждающимся въ помощи... она не вѣдала другаго счастія... не вѣдала—и не извѣдала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она съ этимъ давно помирилась—и вся пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдалась на служеніе ближнимъ“ (563).

Высокая идея братства людей прекрасно высказывается въ разсказахъ: „Нищій“ (543), „Милостыня“ (568), „Христосъ“ (582).

Къ бѣдняку, стыдившемуся унизиться до прошенія милостыни, подошелъ незнакомецъ съ „лицемъ спокойнымъ и важнымъ, но не строгимъ“, съ „глазами не лучистыми, а свѣтлыми“, со „взоромъ проницательнымъ, но не злымъ“, и сказалъ ему:

„Ты все свое богатство роздалъ... Но вѣдь ты не жалѣешь о томъ что добро дѣлалъ?

— Не жалѣю, отвѣтилъ со вздохомъ старикъ; только вотъ умираю я теперь.

— И не было бы на свѣтѣ нищихъ, которые къ тебѣ протягивали руку, продолжалъ незнакомецъ,—не надъ кѣмъ было бы тебѣ показать свою добродѣтель, не могъ бы ты упражняться въ ней?

Старикъ ничего не отвѣтилъ—и задумался.

— Такъ и ты теперь не гордись, бѣднякъ (заговорилъ опять незнакомецъ): ступай, протягивай руку, доставь и ты другимъ добрымъ людямъ возможность показать на дѣлѣ, что они добры.

Старикъ встрепенулся, вскинулъ глазами...“ (567).

Онъ повѣрилъ словамъ незнакомца, — сталъ просить у людей; ему подали,—

„и не было стыда у него на сердцѣ, а напротивъ: его осѣнил„ тихая радость“ (568).

Въ разсказѣ „Нищій“ человѣку нечѣмъ подать нищему,— въ смущеніи онъ пожимаетъ бѣдняку протянутую руку—и тотъ возвращаетъ ему отвѣтное братское пожатіе.

Христосъ представляется поэту какъ бы олицетвореніемъ братства людей, ихъ духовнаго равенства:

„Я видѣлъ себя юношей, почти мальчикомъ въ низкой деревенской церки (разсказываетъ онъ)...

Вдругъ какой-то человѣкъ подошелъ сзади и сталъ со мною рядомъ.

Я не обернулся къ нему, но тотчасъ почувствовалъ, что этотъ человѣкъ Христосъ,

Умиленіе, любопытство, страхъ разомъ овладѣли мною. Я сдѣлалъ надъ собою усиліе... и посмотрѣлъ на своего сосѣда.

Лицо какъ у всѣхъ,—лицо, похожее но всѣ человѣческія лица...

„Какой же это Христосъ!“ подумалось мнѣ. „Такой простой, простой человѣкъ! Быть не можетъ!“

Я отвернулся прочь. Но не успѣлъ я отвести взоръ отъ того простаго человѣка, какъ мнѣ опять почудилось, что это именно Христосъ стоялъ со мной рядомъ.

Я опять сдѣлалъ надъ собой усиліе... и опять увидѣлъ то же лицо, похожее на всѣ человѣческія лица, тѣ же обычныя, хоть и незнакомыя черты.

И мнѣ вдругъ стало жутко—и я пришелъ въ себя. Только тогда я понялъ, что именно такое лицо,—лицо, похожее на всѣ человѣческія лица—оно и есть лицо Христа. Дек., 1878 г. (581—582).

Любовь къ людямъ, братская и самоотверженная, это такой союзъ, такая сила, съ которой человѣкъ можетъ противостать разрушающимъ силамъ Природы и Необходимости и не бояться ихъ побѣды,—а повѣрить въ свою побѣду—и побѣдить.

„Любовь... сильнѣе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь“ (553),—

такими высокими словами заключается одно изъ лучшихъ „Стихотвореній въ прозѣ“—„Воробей“.

Кромѣ общихъ, высокихъ міровыхъ идей, Тургеневъ высказалъ еще въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“ и нѣкоторыя свои личныя чувства и думы о своей судьбѣ.—Такъ, онъ смиренно говоритъ, въ аллегорической формѣ, о тѣхъ нареканіяхъ, которымъ онъ порой подвергался несправедливо въ русскомъ обществѣ (544); о клеветахъ (Житейское правило“, 546); о посѣщеніи его на старости лѣтъ богиней фантазіей („Посѣщеніе“, 565); о свѣтлыхъ, отрадныхъ минутахъ, выпавшихъ на его долю, когда вернулось къ нему сочувствіе молодого поколѣнія („Камень“ 1879 г. май, 583).—Особенно трогательны въ ряду подобныхъ сочиненій—три: „Лазурное царство“ (571), „Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“ (590—591 и „Голуби“ (584).

„О, лазурное царство! О, царство лазури, свѣта, молодости и счастья! Я видѣлъ тебя... во снѣ“ (570),—

такъ начинается—и такъ оканчивается первое изъ нихъ.—А второе рисуетъ отрадную, простую и свѣтлую картину тихаго русскаго семейнаго счастья. Но это счастье—не для того, кто пишетъ о немъ съ такою любовью, оно—лишь мечта его, а въ дѣйствительности—

„свернувшись въ калачикъ, жмется и вздрагиваетъ у ногъ моихъ (говоритъ онъ) старый песъ, мой единственный товарищъ... Мнѣ холодно... Я зябну...“ (590—591).

И та-же скорбная мысль о холодѣ и тоскѣ одиночества оканчиваетъ и чудно поэтическую картину „Голуби“, гдѣ одинъ любящій слеталъ за другимъ передъ надвигавшейся бурей и привелъ его домой „и, можетъ быть, спасъ“. Буря разразилась, а они сидятъ рядышкомъ подъ навѣсомъ крыши—

„и чувствуетъ каждый своимъ крыломъ крыло сосѣда...
Хорошо имъ! (говоритъ поэтъ). И инѣ хорошо, глядя на нихъ... хоть я и одинъ... одинъ какъ всегда“. Май. 1879 г. (584).

4.

Общія заключенія о поэзіи Тургенева.

Намъ осталось сдѣлать общія заключенія о поэзіи Тургенева.—Не будемъ останавливаться на этомъ долго; вспомнимъ лишь въ общихъ чертакъ ходъ великаго творчества.

Дѣятельность Тургенева, охватившая собою цѣлую эпоху русской жизни, болѣе нежели 30-ти-лѣтній промежутокъ времени, распадается, какъ мы видѣли, на три опредѣленныхъ періода.

Первый изъ нихъ былъ временемъ подготовки, временемъ развитія великой поэтической силы. Молодой писатель, чуткій и впечатлительный, вдумчивый, отзывчивый, усвоивалъ себѣ разныя направленія русской литературы, учился.

Онъ началъ съ подражаній Лермонтову, и увлеченный титаническимъ, хотя и злымъ геніемъ этого, такъ не похожаго на него по природѣ и по характеру, человѣка,— сталъ писать стихи въ его духѣ, воспѣвать и прославлять разочарованіе и гордыя страсти.

Отъ этой крайности онъ перешелъ къ другой: къ сантиментальному натурализму“, къ болѣзненно-сосувственному изображенію людей слабыхъ и мелкихъ духомъ,

къ болѣзненно-сочувственному изображенію даже ихъ мелочныхъ притязаній. Онъ заплатилъ дань такому направленію нѣкоторыми своими комедіями и повѣстью „Пѣтушковъ“.

Но здравое поэтическое чутье было сильно въ Тургеневѣ,—и онъ долженъ былъ перейти къ иному содержанію творчества. Тогда онъ обратился къ деревнѣ и русской природѣ,—и изъ-подъ пера его стали выходить „Записки охотника“; онъ вступилъ на дорогу народности „Записки охотника“ стоятъ высоко въ художественномъ отношеніи и принадлежатъ, конечно, къ числу безсмертныхъ созданій поэта; но въ сравненіи съ другими, еще высшими его созданіями, онѣ занимаютъ второстепенное мѣсто; онѣ — „этюды“ въ его поэзіи, какъ справедливо выразился (по поводу настоящихъ моихъ чтеній о Тургеневѣ) одинъ изъ нашихъ выдающихся современныхъ художниковъ.

Идя по дорогѣ байронизма (или „лермонтизма“) и сантиментальнаго натурализма, Тургеневъ усвоивалъ своей поэзіи содержаніе такъ-сказать западнической стороны нашего просвѣщенія. Изучая, наблюдая и изображая народъ, онъ сближался съ родною почвою, давалъ народныя основы своему будущему великому творчеству. Это были двѣ его школы; и онъ вышелъ изъ нихъ хорошимъ ученикомъ: онъ усвоилъ себѣ и духъ Запада, внесенный въ нашу жизнь реформою Петра, и духъ нашей родной земли.

Приготовленный вступилъ онъ въ главный, во второй періодъ своего творчества. Онъ принялся за изображеніе русскаго общества и его типовъ, того общества и его типовъ, того общества, которое создано реформою великаго Преобразователя и въ которомъ совершается безпримѣрный въ исторіи процессъ сліянія началъ, унаслѣдованныхъ нами отъ предковъ, отъ древней Руси, съ началами, пришедшими къ намъ съ Запада.

Сперва Тургеневъ пишетъ небольшія повѣсти, въ которыхъ выступаютъ передъ нами односторонніе характеры элементарные (если можно такъ выразиться) типы, преимущественно романтики и скептики, изъ которыхъ должны процессомъ объединенія слагаться въ нашей жизни типы болѣе широкаго захвата. Появляются въ свѣть повѣсти „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Яковъ Пасынковъ“, „Дневникъ лишняго человѣка“, „Затишье“ и другія.—Здѣсь

выступаетъ уже въ опредѣленныхъ чертахъ отличительный признакъ тергеневской поэзіи—могучій и безпощадный анализъ. Поэтъ разлагаетъ и развѣнчиваетъ передъ читателемъ своихъ героевъ.—Впослѣдствіи онъ самъ какъ-бы косьвенно объясняетъ названныя повѣсти въ своей превосходной критической статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ", гдѣ указываетъ на всеобщее значеніе этихъ двухъ міровыхъ типовъ поэзіи. Въ сочиненіи статьи „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ" съ особенною ясностью и силой сказалась сознательность тургеневской поэтической дѣятельности.

Бремя съ 1855 года по 1861, время написанія великихъ романовъ: „Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Наканунѣ", „Отцы и дѣти", было эпохой полнаго развитія и разцвѣта поэтической силы Тургенева. Онъ сталъ рисовать передъ нами „героевъ времени". Въ главныхъ дѣйствующихъ лицахъ этихъ романовъ мы видимъ людей, въ которыхъ жизнь наша какъ-бы пытается гармонически уже соединить тѣ разнообразныя противоположныя начала, которыя давно со временъ Петра, бродятъ въ умахъ и сердцахъ русскихъ людей, то уживаясь рядомъ, то враждебно сталкиваясь. Такъ, въ увлеченномъ философскимъ созерцаніемъ жизни Рудинѣ мы видимъ въ то-же время и нѣчто романтическое и задатки нашего роднаго русскаго смиренія;—въ коренномъ русскомъ человѣкѣ Лаврецкомъ, котораго самъ Тургеневъ назвалъ даже славянофиломъ, явно замѣтны и сильны началы и романтическое, и скептическое.—Но полной гармоніи духовныхъ силъ нѣтъ ни въ одномъ изъ этихъ лицъ,—и вотъ выступаетъ во всеоружіи тургеневскій анализъ, и поэтъ развѣнчиваетъ одного за другимъ, послѣдовательно, всѣхъ своихъ героевъ.

Это послѣднее обстоятельство не мѣшаетъ ему, однако, быть въ данную эпоху полнымъ вѣры и свѣтлыхъ надеждъ, какъ и подобаетъ поэту во время разцвѣта его творческихъ силъ. Низлагая одного „героя времени", онъ вѣритъ въ состоятельность новаго, образъ котораго уже выясняется въ его фантазіи въ-замѣнъ прежняго. А главное—онъ вѣритъ въ русскую жизнь, изводящую изъ нѣдръ своихъ передовыхъ людей, создающую героическое. Въ „Наканунѣ" нѣтъ собственно героя; но этотъ романъ проникнутъ такимъ-же отраднымъ и свѣтлымъ чувствомъ великой надежды, какъ

и „Рудинъ“, какъ и другіе родственные ему: поэтъ вѣритъ, что состоятельна въ сущности своей, въ своей серцевинѣ воспроизводимая имъ въ поэзіи русская жизнь.

А къ тому-же есть и одинъ образъ, который не развѣнчанъ поэтомъ, который уцѣлѣлъ въ своей неприкосновенной чистоты даже и передъ силой его анализа; это— Лиза „Дворянскаго гнѣзда“. Въ ней просвѣчиваетъ затаенный, скрытый религіозный идеалъ тургеневской поэзіи.

Но Тургеневу не суждено было такъ окончить свою дѣятельность, какъ она шла втеченіи 6 свѣтлыхъ лѣтъ, не суждено, потому что въ немъ самомъ,—а въ немъ самомъ, конечно, какъ въ представителѣ русской жизни, а слѣдовательно и въ самой этой жизни,—не было еще полной гармоніи духа.—Развѣнчавъ послѣдняго изъ своихъ крупныхъ героевъ—Базарова—Тургеневъ остановился въ недоумѣніи, жизнь не давала больше героическаго,—и вѣра его поколебалась, и поэтъ смутился духомъ. Тогда начался третій, послѣдній, самый продолжительный по времени и скорбный по характеру періодъ его творчества.

Отличительное, индивидуальное свойство поэзіи Тургенева — перевѣсъ умственной стихіи выражавшійся прежде лишь анализомъ да сознательностью творчества,— сталъ выражаться теперь скептицизмомъ, примѣняемымъ ко всему и порой доходящимъ до безотрадности. — Поэтъ сталъ останавливаться на изображеніи безхарактерныхъ, безвольныхъ русскихъ людей и болѣзненныхъ, лживыхъ явленій нашей общественности, какъ мы видимъ это въ романахъ „Дымъ“ и „Новь“, въ поэтической повѣсти „Вешнія воды“.—Съ особенной-же скорбной болѣзненностью начала развиваться въ его поэзіи, въ многообразныхъ и подчасъ высоко-художественныхъ формахъ, страшная идея о противорѣчіи и враждѣ физической природы съ стремленіями духа человѣческаго къ вѣчному, идея о безсиліи человѣка передъ смертью. Въ „Призракахъ“, въ „Довольно“ въ „Вешнихъ водахъ“, въ рядѣ фантастическихъ повѣстей, въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“ боролись на нашихъ глазахъ въ душѣ Тургенева—ужасъ передъ грубою силой матерьяльной природы и жажда безсмертія, желаніе побѣды человѣческому духу. Скептицизмъ былъ въ Тургеневѣ сильнѣе вѣры... Но это было ему самому невыносимо тяжело... И

вотъ мы видимъ, какъ затаенный религіозный идеалъ его поэзіи пробивается сквозь этотъ скептицизмъ, сквозитъ въ желаніи поэтомъ побѣды духу, въ его попыткахъ найти оплотъ противъ грубыхъ волнъ природы и законовъ „Необходимости“ въ чувствѣ любви (и любви какъ всеобъемлющаго самоотверженія, и любви какъ чистаго, духомъ просвѣтленнаго личнаго счастья „безвозвратной преданности“). Здѣсь особенно ясно обозначается различіе мягкой, нѣжной, женственной натуры Тургенева съ суровой, холодной и страстной природой Лермонтова.

Нечего доказывать послѣ всего вышесказаннаго, что Тургеневъ — поэтъ въ высочайшемъ смыслѣ этого слова, что онъ, представитель цѣлой эпохи русской жизни, творчески воплотившій въ типахъ своей поэзіи все, что́ было существеннаго въ этой эпохѣ, —поэтъ великій и народный.

Въ-заключеніе остановимся на двухъ замѣчаніяхъ.

Поэтическая дѣятельность Тургенева окончилась скорбно, сомнѣніемъ и тоскою... Онъ раздѣлилъ въ этомъ случаѣ участь нашихъ крупнѣйшихъ писателей. Такъ, Пушкинъ былъ унесенъ въ могилу неожиданно пробудившимся въ немъ, вопреки общему настроенію его духа въ послѣдніе годы, тревожнымъ. страстнымъ и гордымъ чувствомъ, которое онъ нѣкогда воплотилъ въ образѣ Алеко и самъ тогда-же развѣнчалъ. Такъ, Гоголь сжегши второй томъ своихъ „Мертвыхъ душъ“, справедливо недовольный имъ, и самъ сгорѣлъ душою въ мукахъ безсилія написать продолженіе своего созданія.—Эти люди были поэтами въ истинномъ, въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова, т. е. въ ихъ духовномъ мірѣ и въ ихъ творчествѣ была гармонія душевныхъ силъ (ибо эта гармонія и есть отличительный признакъ поэзіи, ея опредѣленіе); но, хоть и превосходили они ею много великихъ дѣятелей искусства, однако не достигли еще идеала: тѣнь раздвоенія замѣтна въ творчествѣ каждаго изъ нихъ,—мы видѣли, напр., что въ душѣ Тургенева преобладало начало ума, анализа и его разлагающей силы... Здѣсь и лежитъ причина скорбнаго конца ихъ великаго творчества.

Другое замѣчаніе—въ противоположность первому — отрадное. Мы знаемъ, что въ пору полнаго развитія генія

Тургенева въ поэзіи его ясно обозначился (въ образѣ Лизы „Дворянскаго гнѣзда", въ окончаніи „Отцовъ и дѣтей", и т. д.) религіозный идеалъ. И въ этомъ Тургеневъ напоминаетъ опять своихъ великихъ предшественниковъ. Пушкинъ писалъ въ концѣ жизни религіозныя стихотворенія, перелагалъ въ свои стихи церковныя молитвы и задумывалъ сочинить цѣлую поэму религіознаго содержанія. Гоголь у Гроба Господня вымаливалъ себѣ вдохновеніе на продолженіе „Мертвыхъ душъ".—Тотъ-же религіозный интересъ, тѣ-же духовныя стремленія видимъ мы и у другихъ нашихъ крупныхъ писателей въ концѣ ихъ дѣятельности, у Достоевскаго, у гр. Льва Толстаго, у Майкова...

Все это заставляетъ насъ догадываться, что въ дальнѣйшемъ, предстоящемъ еще намъ развитіи нашей поэзіи, когда она достигнетъ проявленія и воплощенія въ себѣ большей гармоніи духа, характеръ ея будетъ религіозный.

Никому изъ нашихъ великихъ поэтовъ (недостигшихъ еще полнаго единства душевныхъ силъ), ни Пушкину, ни Гоголю, ни тѣмъ болѣе Тургеневу (поэту ума по-преимуществу, поэту-скептику) не суждено было вполнѣ войти въ эту религіозную область творчества. Наша литература еще ожидаетъ своего Іисуса Навина, который введетъ ее въ обѣтованную землю. И, кто знаетъ, можетъ быть это осуществится скоро, въ зачинающемся уже новомъ періодѣ нашей литературной жизни

UofM

UofM

89178
Т-710
N6
ОСТ 7 1909
25/X 190

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Профессора

А. Н. Незеленова.

въ шести томахъ.

Томъ второй

Иванъ Сергѣевичъ ТУРГЕНЕВЪ

въ его

ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Сочиненія Профессора А. Н. Незеленова одобрены Ученымъ Комитетомъ Минист. Народнаго Просвѣщенія и помѣщены въ каталогахъ, изданныхъ Министерствомъ для Среднихъ Учебныхъ Заведеній на стр. 84 за № 1261, 62, для Безплатныхъ народныхъ читаленъ на стр. 85.

С.-Петербургъ.
Изданіе Книгопродавца Н. Г. Мартыкова.
Александринская площадь, д. № 5.
1903.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Профессора

Александра Ильича Незеленова

По исторіи русской Литературы

ШЕСТЬ ТОМОВЪ.

Съ портретомъ автора и 10 портретами русскихъ писателей.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ

въ его поэзіи.—Критическій разборъ произведеній поэта въ связи съ его біографіей, обзоръ жизни и поэтической дѣятельности Пушкина отъ рожденія до 1826 года. — Съ портретомъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ

въ его произведеніяхъ.—Критическій разборъ произведеній его въ трехъ періодахъ дѣятельности съ портретомъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Александръ Николаевичъ Островскій

въ его произведеніяхъ.—Первый періодъ дѣятельности его до историческихъ хроникъ.—Разборъ драмъ и комедій Островскаго.—Съ портрет.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Литературныя направленія въ Екатерининскую эпоху

Скептическо-Матеріалистическое. Мистическо-нравоучительное и непосредственное народное направленіе. Законы развитія литературы Екатерининскихъ временъ. — Съ 5 портретами современныхъ писателей.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

Николай Ивановичъ Новиковъ

Издатель журналовъ 1769—1785 гг., Историко-Литературное изслѣдованіе

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Литературныя Характеристики

Критическіе разборы, рѣчи, біографическія свѣденія. — О преподаваніи русской Словесности и проч. — Съ портретомъ автора.

МАГАЗИНЪ
...НИКОВА
№ 31.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Льва Александровича Мея.

Въ пяти томахъ съ приложеніемъ статьи

Левъ Александровичъ Мей и его значеніе въ русской литературѣ. — Критико-Біографическій очеркъ. Составилъ В. Р. Зотовъ съ портретомъ и автографомъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

ОДОБРЕНЫ

и помѣщены въ каталогахъ книгъ для: Безплатныхъ народныхъ читалёнъ на стр. 121 Ученическихъ библіотекъ Среднихъ учебныхъ заведеній на стр. 82 за № 1210.

Цѣна за 5 т. 12 р. 50 к. Изданіе Н. Т. Мартынова.

СОБРАНІЕ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ

СТИХОТВОРЕНІЯ:

3 р. Лирическія стихотворенія. Отд. I. Изъ русской жизни II. Изъ духовнаго Міра. III. Изъ древняго Міра. IV. Изъ преданій о современной жизни. V. Лицейскія стихотворенія съ портретомъ автора примѣчаніями В. Р. Зотова и П. В. Быкова.

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ:

8 р. ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ. съ историческими примѣчаніями автора. I. Царская Невѣста. Драма въ 4 дѣйств. II. Псковитянка Драма въ 5 дѣйств. — III. Сервилія. Драма въ 5 дѣйств.—Переводныя Дмитрій Самозванецъ, Трагедія Шекспира. — Лагерь Валенштейна, драматическое стихотвореніе Ф. Шиллера — Буря. Драма Шекспира.

ПОВѢСТИ и РАЗСКАЗЫ ИЗЪ РУССКОЙ ЖИЗНИ.

25 к. Охота. 1. Сборное Воскресенье. Начало охотничьяго года. 2. Медвѣжья травля.

25 к. Кирилычъ. Повѣсть изъ крѣпостнаго быта.

25 к. Софья. Продолженіе повѣсти Кирилычъ.

25 к. Три повѣсти. I. Казусъ. Путевыя впечатлѣнія отъ Колпина до Петербурга. II. Лѣсныя диковинки. III. Швейка, разсказъ.

25 к. На паперти. Разсказъ.

25 к. Гривенникъ. — Неправдоподобное событіе, разсказъ.

25 к. Чубукъ. Листки изъ дневника, разсказъ.

25 к. Батя. Крестьянинъ Денисъ Герасимовъ. Правдивый разсказъ.

20 к. Пѣсня про Боярина Евпатія Коловрата изъ временъ татарщины — съ историческими примѣчаніями и предисловіемъ Ѳ. А. Витберга.

СОБРАНІЕ ПЕРЕВОДНЫХЪ СОЧИНЕНІЙ:

1 р. 50 к. Сборникъ переводовъ въ прозѣ переводы: съ польскаго чешскаго, англійскаго, французскаго. Содерж. Предчувствіе. Разсказъ — Янъ изъ Непомукъ чешская легенда. — Свѣточная пѣсня въ прозѣ Чарльса-Диккенса. — Украдены часы. Разсказъ Френча. — Дочь Миссіонера. Разсказъ Котса. — Таинственное путешествіе Фонъ-Джеральда соч. Л. Гозлана.

3 р. Лирическія стихотворенія. Переводы: съ греческаго, англійскаго, нѣмецкаго, французскаго съ примѣчаніями: Анакреонъ. — Ѳеокритъ. — Мильтонъ — Байронъ. — Шиллеръ. — Гете. — Гейне. — Андре Шенье. — Баранже. — Викторъ Гюго. — Дюпонъ. — Густавъ Нодо. Въ изящномъ коленкоров. перепл. для подарковъ 3 руб. 75 коп.

3 р. Лирическія стихотворенія. Переводы съ польскаго украинскаго языковъ. Народныя пѣсни: Щеголевъ. Русницкія и Моравскія пѣсни Волынскія думы. Шотландская Легенда. Итальянскій народный гимнъ Камерг. Короля Станисл. Августа.

10 к. Батрачка. Повѣсть Тараса Шевченко съ украинск.

35 к. Скряга Скруджъ — Святочная пѣсня въ прозѣ. Соч. Чарльса-Диккенса съ порт. пер. съ англ.

20 к. Предчувствіе: Разсказъ

20 к. Община Платона. (въ обработкѣ Бартелеми). Законы добродѣтели.—Духъ военнаго званія.

8 к. Дочь Миссіонера. Разсказъ Альфреда Котса.